Иностранная литература

12 1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия»
Москва

12

ДЕКАБРЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАЙ ВАЦИ — Стихи *(Вступление Е. Малыхиной)* 3

РЫШАРД КЛЫСЬ — «Какаду» *(Роман. Послесловие С. Ларина)* 7

ЖОРЖ БРАССЕНС — Стихи *(Вступление Натальи Кончаловской)* 80

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Острова в океане *(Роман. Продолжение)* 90

Литературное наследие

Т. С. ЭЛИОТ — Стихи *(Вступление Р. Самарина)* 221

Критика

И. ТЕРТЕРЯН — Где искать «устойчивые ценности»? (Заметки об испанском «почвенничестве») 232

Е. КНИПОВИЧ — Томас Манн о фашизме (Разные концепции «Доктора Фаустуса») 246

Публицистика

А. КАРАГАНОВ — Искусство, бизнес, политика 250

Изобразительное искусство за рубежом

ЕЛЕНА МАТУСОВСКАЯ — Мир Уайеса 257

Среди книг

Издано в СССР

М. Харитонов — Трудная судьба «Железного Густава». ◇ В. Лакшин — Увеличительное стекло зла 261

Издано за рубежом

Александр Дейч — Оратория о судьбе поэта. ◇ Г. Анджапаридзе — Молчание монаха Доусона. 265

Из месяца в месяц (Хроника) 271

На всех языках 282

Авторы этого номера 283

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1970 г. (№№ 1—12) 284

На обложке: Картина болгарского художника Георгия Ковачева «Девушка».

МИХАЙ ВАЦИ

Стихи

■

Перевод с венгерского ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

В нынешнем декабре ему исполнилось бы 46 лет. Еще совсем недавно писатель Дюла Чак воскликнул с глубокой убежденностью: «Впереди у него — половина жизни. Как много он способен свершить в ней!»

Нет и никогда уже не будет этой второй половины: жизнь Михая Ваци, одного из самых ярких и характерных поэтов Венгрии наших дней, оборвалась внезапно — он скончался в Ханое, во время поездки во Вьетнам, в который привела Ваци самая суть его человеческой личности и поэтической индивидуальности, всегда сострадательно и требовательно обращенной к людям.

Всего пятнадцать лет прожил в венгерской литературе Михай Ваци (его первый поэтический сборник вышел в 1955 году)— и остался в ней навсегда. Поэзия Ваци гражданственна в самом высоком смысле этого слова: она бескомпромиссна, чужда всякой фальши и позы, скреплена преклонением перед свободной человеческой личностью. Всеми корнями восходит она к народу, насыщена сыновней заботой о нем.

Е. МАЛЫХИНА

Кротко, как ветер

Кротко, как ветер светловолосый,
руки — в тучах, ноги — в пыли,
наперерез вращенью земли
плыл — и не ведал я, что там, вдали...
Плыл, напевал, и ласку несли
мне отовсюду листья и росы.

Кротко, как ветер светловолосый,
я обнимался с любым колоском,
коротко был с лесами знаком,
но, хоть они на пути моем
спрашивали о том да о сем,—
временем и пространством влеком,
не отвечал я на их вопросы.

Кротко, как ветер светловолосый,
над бытием, вольнее орла,
мчался я, ни для добра, ни для зла,
мчался, не напрягая крыла,
цель мне сама навстречу плыла,
высь, омывая, все дальше звала
бездной сияющей, звонкоголосой.

Кротко, как ветер светловолосый,
дверь бытия распахнув без ключей,
гнал я стада явлений, вещей,
дул на огонь — мол, гори горячей,
в поле свистал, как сто тысяч бичей...
Так вот, себе самому лиходей,
будто бы недруг, неведомо чей,
создал я сам на дороге своей
противоборства сплошные торосы.

Кротко, как ветер светловолосый,
всем, кто свести меня рад бы на нет,
острым оружьем их не задет,
нежность несу на обиды в ответ,—
враг, растерявшись, глядит мне вслед...
Плоть моя чувствует только свет —
что ваши жала мне, змеи да осы!

Кротко, как ветер светловолосый,
радость победы ношу с собой,
студит ожоги мой гордый покой,
пуль, и штыков, и страданий рой
тает, ворвавшись в мой блеск голубой.
Жизнь моя там лишь, где насмерть бой,
и побеждаю я в схватке любой —
кротко, как ветер светловолосый.

С востока

И снова жажду оглядеть я
начало моего пути:
его за два тысячелетья
снега не могут замести!
Шли куруцы, рабы, гайдуки,
с востока шли — и в кулаки
сжимались жилистые руки,
как революции ростки...

Стада, отары кочевые
пригнав сюда на водопой,
надолго спешившись впервые,
здесь мы вступили в спор с судьбой.
Нелегким было испытаньем
врастать корнями в плоть земли!
С тысячелетним опозданьем
мы здесь отчизну обрели.

И сабли вкладывать нам в ножны
случалось реже, чем другим,
и горлу было невозможно
глотать насилья жгучий дым,—
но если вспыхивал здесь кто-то —
горел он ярко! И — дотла!
Безродных, вставших против гнета,
лишь смерть остановить могла.

Здесь Толди, спесью бар пресытясь,
брал жернов — и крушил с плеча,
здесь дрался с гидрой Янош-витязь,
здесь Мати высек богача,
здесь Сердце Чистое стучало,
здесь Эр стремился в Океан,
здесь венгра с самого начала
бродяжить звал пустой карман...

Здесь обнищания проказа
ползла в бедняцкие дома,
здесь липла к душам, как зараза,
поповских суеверий тьма,
твердя, что только в ней спасенье!..
Здесь три рабочие семьи
в одни выплевывали сени
и кровь, и легкие свои...

Но день вставал отсюда, слева,
где сердце родины моей,
где самый жар терпенья, гнева,
где боль больней и кровь красней,
где, в глубину всей этой боли
свой грохот до поры зарыв,
как на притихшем минном поле,
таился неизбежный взрыв.

Чьи корни — здесь, лишь тот и в силе
постичь понятие «народ».
Он путь, что предки проложили,
по красным лоскуткам найдет —
и не свернет он в закоулки
позерства, лжи, красивых слов,
храня в душе тот властный, гулкий,
тот двухтысячелетний зов.

Пусть сокрушают

Коклюшный возраст мой давно уж позади,
я, слава богу, перерос болезни —
и вовсе не подвержен, к счастью,
ни эротическим подростковым прыщам
приобретательства и мелких выгод,
ни похотливому мужскому зуду,
сопутствующему мечтам о собственной машине,
ни изнурительным хроническим запорам
благополучия.

Все то, что в будущем могло бы стать участком, домом,
я — в виде черного недорогого кофе —
стараюсь в настоящем промотать.
Я одуванчики зарплаты
сегодняшнему ветру поручаю
и дую сам на них вдобавок,
поскольку вовсе не хочу дремать блаженно
в шезлонге сбережений, накоплений:
я молодость свою освободил от взносов
на старческое теплое белье.

В конце концов, я не агент по страхованью,
чтобы выкраивать на собственную старость
и в пользу инвалидности своей
свои же радости, свои же страсти грабить!
Нет, не пойду я в подчиненье
к стареющему скареду, который
тихонько формируется во мне
и требует уже сегодня львиной доли
от урожая всех моих усилий...
Он так и норовит кусок получше
бесцеремонно вырвать изо рта,
отговорить меня от путешествий,
убить пристрастье к книгам и цветам,
а на вино, которым друга угощаю,
строжайший наложить запрет.

Ему, склеротику, угодно,
чтоб спину гнул я на его потребу,
чтоб он, причмокивая, заграбастал
все удовольствия, добытые сегодня,
в расцвете сил моих. Он, видите ли, хочет
за счет самоограниченья моего
и благоденствовать, и развлекаться!
Он претендует, этот паралитик,
на то, чтоб убеждения мои
с его расчетами, с его наказами совпали —
и о безоговорочном гнусавит
повиновении!..

Так тирания старости — настырной, хитроумной —
мое опутывает поколенье,
прикалывая тусклые свои значки
над не состарившимися еще сердцами...

Ни у каких господ я в услуженье не был —
неужто стану холуем
ее дряхлейшества? Нет, пусть она испепелится
в огне моих страстей. Пусть сокрушают старость
удары сердца моего!

■

РЫШАРД КЛЫСЬ

«Какаду»

РОМАН

Перевод с польского В. БОРИСОВА

I

Сочельник: ожидание

Был тот час, когда из больших и унылых зданий с облезлой штукатуркой выходят бледные, измученные каждодневным сидением в канцелярии служащие, когда хозяйки с последними рождественскими покупками спешат домой, перекупщики закрывают свои пестрые, сверкающие елочными украшениями лотки, а последние крестьянские сани и розвальни в упряжках с бубенцами торопятся поскорее выбраться из города,— был тот час, когда крепчает мороз, усиливается поземка и в закоулках улиц путника подстерегают сумерки.

Я стоял на углу Krakauerstrasse и Bahnhofplatz, на углу Краковской улицы и Вокзальной площади, на самом краю тротуара, по которому ползло многоликое чудище — серая змея крадущихся в предвечерних сумерках вдоль стен домов прохожих; стоял и внимательно наблюдал за всем, что творилось на площади и в районе единственного в этом городе железнодорожного вокзала. Большие вокзальные часы показывали пятнадцать часов пятнадцать минут; снег уже больше не сыпал, но мороз усиливался с каждой минутой; вдоль здания вытянулась цепочка военных грузовиков и легковых машин; толпа продавцов газет и папирос запрудила все проходы, шумная толпа бедняков, назойливо сующая в руки прохожих свой жалкий товар,— сборище людей, у которых, так же как у меня, не было своего угла, им некуда было спешить, никто не ждал их возвращения, да и сами они, освобожденные и свободные от всего, ничего не ждали от этого вечера — он был для них таким же, как любой в году,— и не поддавались той особой предпраздничной лихорадке, которая с наступлением темноты, первой звезды и ночи все сильнее охватывала этот город.

Я страшно озяб и поднял воротник пальто. Мускулы совсем свело, а суставы рук совершенно одеревенели, так что с большим трудом мне удалось окоченевшими пальцами вытащить из кармана сигарету; справившись с этим, я стал растирать руки, дуть на ладони, чтобы немного согреть их — ведь руки мои должны были быть быстрыми и ловкими, как у карманника, решившегося на бросок, сильными и гибкими, как у борца, готовящегося к поединку; когда они наконец согрелись настолько,

что можно было свободно двигать пальцами, я направился к бару, расположенному на другой стороне площади.

Уже издалека бросалась в глаза огромная, бежавшая вдоль здания вывеска «RESTAURANT-KAFFEEHAUS KAKADU»[1]. Преисполненный самыми противоречивыми чувствами, я больше часа стоял на площади, наблюдая за входом в кафе. Заведение это казалось мне далеко не лучшим местом для встречи, назначенной Монтером, и, направляясь через площадь к ресторану, я осторожно стаскивал перчатку. Из кафе вышли двое полицейских, и руки мои, уже неподвижные и спокойные, сразу же оказались в кармане пальто, но полицейские, не обратив на меня внимания, прошли мимо и исчезли в толпе прохожих; я несколько расслабил пальцы, судорожно сжимавшие рукоятку пистолета, подошел к ресторану и, не вынимая рук из пальто, прячась за спину шедшего впереди меня железнодорожника, проскользнул в дверь — это была автоматическая самозакрывающаяся дверь хорошей венской фирмы. Я прошел через гардероб и неожиданно очутился у порога шумного, прокуренного зала.

В первый момент мне показалось, что придется тут же уйти: все столики были заняты, в зале не было ни одного свободного места, но потом я подумал, что лучше все же постоять у бара и подождать, пока не освободится какое-нибудь место, чем торчать на тротуаре или кружить по вокзальной площади, где то и дело шныряли жандармские патрули. Города я не знал, идти было не к кому, а встреча была назначена именно в этой забегаловке, значит, именно здесь мне и следовало ждать Монтера. Непрерывно наблюдая за залом, сосредоточенный и настороженный, я направился к стойке бара, по-прежнему сжимая пальцами рукоятку пистолета, холодное прикосновение которого давало мне зыбкое чувство уверенности, что пока я держу его в руках, ничто не потеряно и в любой момент, если кто-нибудь вздумает меня задержать, я смогу пробиться на улицу. Мысль эта приносила мне некоторое облегчение, хотя я, разумеется, вполне отдавал себе отчет в том, что улица не могла быть для меня ничем иным, чем она, по сути, была для всех, и что — очутись я на улице — сам этот факт по существу ничего еще не решал.

Я подошел к стойке, у которой толпилась кучка подвыпивших мужчин, и только тогда заметил в углу, возле возвышения для оркестра, свободный столик — это меня вполне устраивало. Я поспешил занять место, сев лицом к двери, ведущей в гардероб. Расстегнул пальто, снял шарф и еще раз внимательно оглядел зал, заполненный толпою одиноких мужчин.

Между столиками то и дело сновали проститутки; они подсаживались к мужчинам, уверенные в себе, наглые той особой наглостью, что присуща людям, которым терять уже нечего, вульгарные в своих усилиях заполучить на одну ночь щедрого любовника, жалкие, несчастные и одинокие, заливающие свою тоску водкой, которую им так охотно предлагали случайные дружки в награду за проведенные вместе часы, за покорность, с которой им приходилось выслушивать плоские и сальные анекдоты, за все те унижения, которые доставались на их долю; внешне беззаботные и веселые, а на самом деле притаившиеся и хищные, они словно изголодавшиеся волчицы подстерегали свои жертвы.

На эстраду после перерыва, наконец, вернулись оркестранты и заняли места у пюпитров, из гардероба ринулась в зал толпа только что прибывших с поезда едущих с фронта отпускников; шумные, самонадеянные, вырвавшиеся из пут железной дисциплины и снова вернувшиеся в обычную колею жизни, солдаты вермахта толпились у стойки, одурманенные бездельем, упоенные праздностью, заново смакующие жизнь, не желающие упустить ни минуты.

---

[1] Ресторан-кафе «Какаду» *(нем.)*.

— Два *große Bier!*[1]

— Водка, мама, налей два водка.

— *Schnaps bitte, ein Schnaps.*[2]

Проститутки сразу оживились, оркестр играл вальс Иоганна Штрауса, немцы гоготали, воздух густел от испарений человеческих тел, а у меня стучало в висках и становилось душно от прокисшего, одуряющего и опасного дыхания этой харчевни, охотнее всего я сбежал бы сейчас из «Какаду», но чувствовал, что мною уже овладела какая-то ленивая усталость. Мне и в самом деле деваться было некуда, города я не знаю, а в «Какаду» тепло, играет музыка, те, кто уже напился, поют, осипшими голосами заливаются проститутки, сидящие за столиками люди стараются перекричать друг друга; поневоле я слушаю путаные речи соседей, жду прихода официанта и ежеминутно поглядываю в сторону дверей, ведущих в раздевалку и к двум уборным, а так как в любой момент может появиться Монтер, слежу также и за входной дверью,— впрочем, за эти годы я вообще научился никогда не садиться спиной к дверям.

Это может показаться странным, но я и в самом деле боялся дверей, и всякий раз, когда сидел или стоял к ним спиной, чувствовал себя беззащитным, как попавший в западню зверь, у которого вырвали клыки и когти, или как заблудившийся в густом тумане и окруженный со всех сторон врагами человек, ежесекундно ожидающий смертельного удара ножом в незащищенную спину,— это, может быть, смешно, но я всегда именно так себя чувствовал, когда двери оказывались вне поля моего зрения. Но сейчас я был спокоен и, пожалуй, даже доволен: все-таки я сидел в хорошо натопленном зале, среди оглушительного говора, шумного оркестра, постукивания стаканов и бокалов, рева поющих у прилавка пьяниц и отвратительного хохота проституток, которым наконец стало сопутствовать счастье — их яростные усилия увенчались первыми успехами, в конце концов их заметили, они нашли себе постоянные места у столиков и теперь могли пить сколько влезет, у них были «гости», и время для них приобрело иное измерение; им уже некуда было спешить, уже не нужно было лихорадочно искать случайных любовников на одну минуту, на один час, на одну ночь — им, старым, изношенным, лишенным всякой привлекательности клячам, приманивающим в этой чаще стульев и заставленных бутылками столиков голубоглазых оленей в мундирах *feldgrau*[3]. В зале не прекращалась дикая чехарда, толпа посетителей, словно волна грязной воды, то откатывалась, то снова набегала. Самые мерзкие подонки, торговцы, спекулянты, сутенеры — у них были деньги,— шпики с красными физиономиями, воры и валютчики — у этих тоже водились деньги — вперемежку с профессиональными шантажистами собрались этим вечером в этом зале в погоне за утраченным временем, вынюхивая какое-нибудь новое дельце, интригу, на которой можно было неплохо заработать, на худой конец донос, за который полагались в награду литр водки и сотня сигарет. С каждой минутой меня знобило все сильнее, а жар обострял слух и зрение. Дожидаясь официанта, я от нечего делать, а может, отчасти и из профессионального любопытства смотрел и слушал:

— Бронка, ты девка что надо...

— Лучше, чем рыжая Зоська?

— Это мы решим потом, моя крошка...

— Рыжую Зоську пристукнули вчера в развалинах на Каштановой, номер семнадцать.

— Что ты говоришь?

---

[1] Два пива! *(Нем.)*

[2] Водки, пожалуйста, одну порцию водки *(нем.)*.

[3] Защитного цвета *(нем.)*.

— Вытащили вчера утром из подвала, без рейтуз, голова разбита кирпичом. Я видел собственными глазами...

— Чего это ее туда понесло?

— А ей негде было ночевать.

— Черт побери! Куда этот Фелек подевался? Надо счет получить...

— Стоит у буфета, в хоре старцев и поет *requiem* по усопшим...

— Вот так «Какаду»!

— Опять барабанная дробь. Как в цирке, когда сумасшедший готовится к последнему сальто без страховки...

— Как ты приятно пахнешь, девочка...

— Селедкой?

— Нет, ландышевым мылом...

— Франька, старая чертовка, ты меня задушишь. Не будь нахалкой, все равно больше, чем положено, не получишь.

— Не мели глупостей...

— Эй, девочка, твою грудь совсем сожрала чахотка. Это господь бог тебя наказал за то, что глумишься над юнцом...

— Земля пахнет кровью.

— На полях весной вместо травы вырастают кресты, мир понемногу превращается в огромное кладбище...

— Ты куда собралась, Франя?

— Недалеко, мой мальчик.

— Расскажи, как к тебе попасть, когда ты будешь среди звезд?..

— Проклятая жизнь! Вот уже тридцать лет у меня одни неприятности. И зачем меня мама родила?..

— Боже мой, как Войтек сегодня налакался!..

— Представление подходит к концу. Сейчас он еще обнимет свою девочку — на большее он уже не способен,— потом будет блевать, а под конец разревется как младенец, и дело с концом...

— Будем снисходительны, мальчики. Человек, как только налижется, забывает о своих бедах...

— У кого из вас еще есть охота тяпнуть?

— Подходите, христиане! Господь бог сегодня каждому ставит четвертинку счастья...

Мой столик в самом конце зала, в узком проходе неподалеку от эстрады, он торчит словно коралловый риф на дне океана, и все проходящие мимо люди непременно натыкаются на него и глядят на меня со злостью, как будто это моя вина, что столик поставили именно тут; к счастью, никто ко мне не подсаживается, все молча проходят дальше.

Сидящий напротив пианист, склонившись над роялем, играет «La Comparsita»; он то и дело с любопытством поглядывает в мою сторону — почуял уже, что я здесь впервые, знает, что я не принадлежу к числу постоянных посетителей «Какаду»; заинтригованный и обеспокоенный, он размышляет о возможных причинах, которые привели меня сюда, в это злачное место, именно в этот день, а его близорукие глаза под толстыми стеклами очков проворно бегают и поблескивают, как две золотые рыбки за стеклом аквариума; он смотрит на меня, ничего не зная обо мне и ни о чем не догадываясь, а я сижу, чувствуя, что нервы мои напряжены до предела, сжимаю в кармане рукоятку пистолета и жду появления официанта или Монтера. Папиросный дым окутывает людей, столики и черную громаду рояля.

Стены «Какаду» синеют синевой морской бездны, отражающей чистую небесную лазурь, и порою мне начинает казаться, будто я покоюсь на дне морском и одиночество мое так же огромно и безбрежно, как сомкнутые надо мною воды, а возврата для меня уже нет, раз я оказался на дне, и если я еще что-то чувствую, кроме одиночества, то это ненависть, ненависть ко времени,— только теперь я впервые понял его цен-

ность, его ощутимую реальность, почувствовал его тяжесть, цвет и вкус, время стало тягучим словно резина. Ожидание изнуряло, мною вдруг овладело чувство полной отрешенности, словно бы я неожиданно оказался перед лицом неотвратимой смерти и нетерпеливо ждал, когда приведут в исполнение приговор, в душе все еще надеясь на помилование; мне приходили в голову все новые и новые сравнения, но на самом деле я уже думал только о том, как бы забыть о глухих, ритмичных ударах сердца, отмерявшего время, которое еще недавно вовсе не казалось мне враждебным и о существовании которого я даже и не подозревал.

Я покоился на дне моря, меня лихорадило все сильнее, и зал «Какаду» напоминал нутро подводной лодки, а очки пианиста — стекла перископа, за которыми проплывали равнодушные и медлительные осьминоги; я потерпел крушение, ждал помощи, стремился спастись, но знал, что если крикну, мой крик все равно замрет в пространстве, не достигнет цели. Я не был даже уверен, думает ли обо мне сейчас моя девушка,— если б я по крайней мере знал хоть это, был в этом уверен, может быть, мне стало бы легче, но я знал, что этого нет, она ушла от меня, ушла легко, не задумываясь, как всегда, как делала это уже много раз, поссорившись из-за какой-то ерунды, ушла в полной уверенности, что обманута, а на самом деле ее обмануло время, это оно лишило наш общий мир всякой радости.

Подняв голову, я неожиданно увидел возле столика официанта в поношенной грязной куртке, совершенно пьяного, с трудом державшегося на ногах, с отекшим красным лицом и подпухшими глазами; он стоял, нетерпеливо мял в руках полотенце и глядел на меня враждебно и недоверчиво — должно быть, тоже заметил уже, что здесь, в «Какаду», я чужой, что и в город-то попал случайно, и это заранее восстановило его против меня. Он не мог рассчитывать на то, что я напьюсь и ему перепадут солидные чаевые, к каким он привык, прислуживая местным королям черного рынка, я был для него чужаком, приблудным псом, и поэтому он сразу отнесся ко мне недружелюбно, так же как и я к нему; я чувствовал, что мы оба потихоньку начинаем ненавидеть друг друга, наконец, затянувшееся молчание стало для него невыносимым, и, убрав со стола бутылки и пивные кружки, он чуть ли не с обидой в голосе заговорил:

— Вы будете что-нибудь заказывать или нет?

— Заказа придется долго ждать?

— А вам что, некогда?

Я взглянул на часы: стрелки приближались к пятнадцати сорока пяти, официанта мне пришлось ждать чуть ли не полчаса, и у меня были все основания высказать ему свое недовольство, что я и не преминул сделать:

— Долгонько мне пришлось ждать, пока вы соизволили подойти к моему столику.

— Вы спешите?

— Конечно.

— Тогда ищите другой ресторан. Может, там вас побыстрее обслужат.

— Нет, уже поздно, я останусь здесь.

— Что подать?

Я заколебался. Меня мучила жажда, я был голоден, но до сих пор не подумал, что заказать; меню на столике не было, хотя, в сущности, это не имело никакого значения, возможности кухни были в те времена весьма ограничены, цены на мясные блюда бешеные, а из безалкогольных напитков меня привлекала только минеральная вода — в эрзац-чай и эрзац-кофе обычно добавляли сахарин, которого я терпеть не мог, словом, я представления не имел, что можно заказать; официант не скрывал

своей неприязни, и я вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным перед этим субъектом с физиономией рассвирепевшего бульдога.

— Что у вас есть из горячего?

— Ничего.

— Даже супа нет?

— Даже супа...

Теперь он взял реванш, я был в его руках, он мог лишить меня единственного в тот день горячего блюда, его глаза блестели от нескрываемой радости; он думал, что избавится от меня очень быстро, в этом заведении он был безраздельным властелином, знал это и мог спровадить любого, кто ему не понравился, кто неосторожно восстановил его против себя, за исключением тех, кого боялся сам, а обо мне он ничего не знал, эта неосведомленность стала его временным союзником; и вот началось дурацкое состязание — кто кого, а меня всегда унижало, если я вынужден был иметь дело с противником, к которому не испытывал уважения.

— Какие у вас есть напитки?

— Никаких!

— Как? — удивился я.— У вас ничего не найдется выпить?

— Есть водка, пиво, ячменный кофе, чай.

— А хозяин есть?

— А в чем дело?

— Позови его сюда.

Он впервые посмотрел на меня с интересом, но вовсе не казался смущенным, как раз наоборот, похоже было, что вся эта история действительно стала его забавлять; он отвесил мне нарочито глубокий поклон и спросил с язвительной иронией:

— А может, и хозяйку позвать?

— Нет, шельма. Слушай меня внимательно. Если в течение трех минут ты не приведешь сюда хозяина, тебе будет очень плохо. Хозяину скажи, что его ждет человек из *Kripo*[1]. Ясно?

Официант, поначалу столь уверенный в себе, исполненный иронии и нескрываемой враждебности, был сбит с толку моим тоном и неожиданной переменой в поведении, а когда до его сознания дошло наконец слово «Крипо», это грозное слово, вызывающее у людей страх, мне в свою очередь представилась возможность увидеть происшедшую в нем перемену. Он оказался обыкновенной свиньей, что меня, впрочем, ничуть не позабавило.

— Прошу покорнейше извинить. Я не хотел обидеть...

— Позови хозяина.

— Для вас всегда что-нибудь найдется на кухне...

— Я хочу говорить с хозяином, ты понял?!

— Есть свекольный борщок с картофелем, фасолевый суп, гороховый суп с гренками, на второе жареная рыба...

Внезапно он совершенно отрезвел, и это меня несколько удивило — я не думал, что можно так испугаться слова «Крипо», тем более что официант, как, вероятно, и другие служащие «Какаду», должен был сталкиваться с людьми из Крипо; но тут мне пришло в голову, что, пожалуй, больше всего на него подействовало то, что я был здесь чужим и был совсем непохож на всех тех, кого он знал до сих пор, видно, это его и пугало.

Он поспешно направился к кухне, я проводил его взглядом до самой двери, а когда он исчез за нею, взглянул в сторону бара, где за стойкой суетились две молодые и красивые девушки; оркестр играл вальс «Очарование», в висках у меня стучало, я чувствовал себя все хуже и хуже, в горле пересохло от жажды, а в расставленные на стойке кружки лилось из открытых кранов темное и светлое пиво. Я отвернулся от бара, взгля-

[1] Сокращение от Kriminalpolizei *(нем.)* — уголовная полиция.

нул на склонившегося над клавишами пианиста, он поглядывал на меня с дружеской иронией, я улыбнулся ему, он кивнул мне, послышались быстрые шаги официанта, его возбужденный голос, а когда я глянул перед собой, то по другую сторону столика увидел высокого, хорошо сложенного мужчину средних лет, который, опершись обеими руками о край покрытого скатертью стола, внимательно и выжидающе смотрел на меня; я упорно продолжал молчать, и он заговорил первым:

— Чем могу служить?

— Вас зовут Грегори?

— Да. А с кем я имею честь?

— Крипо.

— Понимаю. Чем могу служить?

Я взглянул на официанта, который нервно переминался с ноги на ногу, с необыкновенным усердием поправлял скатерть, переставлял фужеры, пепельницу, схватил его за плечо и сказал тихо:

— Пошел вон, мошенник.

— Я вам уже не понадоблюсь?

— Нет. Оставь нас одних.

Он ушел. Грегори наклонился еще ниже над столиком — так, что прямо передо мной оказалось его темное, продолговатое, сосредоточенное лицо, сморщил брови — густую полоску сросшихся над выступом носа волос — и снова спросил:

— Слушаю вас! Чем могу служить?

— Я хотел только спросить, что означает слово «Какаду»?

— Это название птицы, а точнее говоря, название одной из разновидностей чубатого попугая.

— Какаду несет яйца?

— Это зависит от условий, в которых живет птица.

— Я орнитолог-любитель, хотел бы купить несколько какаду.

— У нас имеется несколько штук для продажи.

— Ладно, я беру их.

— У нас всего пять штук.

— Значит пять?

— Да. Пять.

Я взглянул на часы, часы показывали восемь минут пятого — итак, впереди еще пятьдесят две минуты ожидания.

— Поставщик на месте?

— Нет. Но придет с клеткой в назначенное время.

— Все в порядке.

Я встал с места и подал ему руку, он пожал ее с улыбкой, по лицу его видно было, что он почувствовал облегчение.

— Боже мой! Какая у вас горячая рука!

— Я простудился. Плохо себя чувствую.

— У вас, наверно, жар.

— Да.

— Я дам вам аспирину.

— Спасибо. Буду очень обязан.

— Пойдемте отсюда. Вы подождете Монтера в соседней комнате. Там никого нет. Можете запереться, так будет безопаснее.

— Хорошо.

— Я жду вас уже три часа. Монтер спрашивал о вас по телефону. А я не знал, что отвечать.

— Поезд сильно опоздал.

— Так я и подумал.

Мы прошли через зал, потом по длинному, примыкающему к кухне коридору. Грегори вытащил из кармана ключ, открыл дверь и впустил меня в небольшую, довольно мрачную комнату с окрашенными масля-

ной краской в грязно-розовый цвет стенами, с несколькими столиками и с очень узким, выходящим на Вокзальную площадь, окном, которое было зарешечено и к тому же занавешено плотной материей.

— Вы сегодня, вероятно, ничего не ели?

— Не ел.

— У нас сегодня хороший свекольник и колбаса с капустой. Деревенская, домашняя колбаса.

— Мне ужасно хочется пить. Принесите две большие кружки теплого пива.

— С сахаром?

— У вас есть сахар?

— Для вас найдется.

— Отлично. И, пожалуйста, аспирину.

— Вы непременно должны что-нибудь съесть.

— У меня совсем нет аппетита.

— Все равно надо поесть.

— Ладно, пусть будет колбаса, уж очень вы ее хвалите.

— Сейчас подам, только зажгу свет.

— Нет, этого делать не надо.

— Вы предпочитаете сидеть в темноте?

— Да.

— Как угодно.

Я остался один. Комната была хорошо натоплена, я переложил пистолет во внутренний карман пиджака, потом снял пальто, бросил его на стоящий поблизости стул и лишь тут, сев за столик, вытащил пачку «гвоздиков» и закурил — огонек на мгновение осветил комнату, и я увидел, что сижу напротив огромного зеркала в тяжелой позолоченной раме.

Вскоре появился Грегори с подносом. Он молча поставил передо мной тарелку с двойной порцией колбасы, в двух больших кружках дымилось горячее пиво, рядом лежали хлеб, аспирин и ключ от двери.

— На всякий случай советую запереться. Так будет лучше.

— Спасибо. Конечно.

Я проводил его до порога, он еще раз улыбнулся, кивнул мне и направился к кухне, а я вставил в замок ключ и только тогда заметил, что дверь, которая через мгновение должна была отгородить меня от мира, обита цельным куском толстого железа; повернув ключ, я подумал, что в таком бункере можно долго обороняться, револьверная пуля не пробьет покрывавшего эту дверь панциря, высадить ее тоже было немыслимо, так как помимо всего она была укреплена двумя толстыми болтами из кованого железа.

Вернувшись к столику, я выпил залпом кружку пива и принялся за еду. Колбаса, наверно, и в самом деле была отменной, но мне с трудом удалось проглотить несколько кусочков, да и те сразу же вызвали тошноту, обильно приправленный шкварками картофель тоже внушал отвращение, тогда я взялся за капусту и в конце концов ограничился ею. Покончив с едой, я отодвинул тарелку как можно дальше, от запаха колбасы и сала с поджаренным луком меня чуть не рвало, я схватил вторую кружку пива и запил им две таблетки аспирина.

Как же медленно шло время, как ужасно медленно оно еще будет тянуться до встречи с Монтером и до той минуты, когда наконец я окажусь с поклажей на вокзале и все пойдет своим чередом! Я знал, однако, что каждая минута этого утомительного ожидания, так же как каждый наступающий день, как любой день, приближает меня к окончательной развязке, а сознавать это становилось тем более мучительно, что с каждым днем все сильнее наваливалось на меня чувство одиночества. Это

чувство не покидало меня даже тогда, когда я был среди людей. У меня был совсем другой жизненный опыт, чем у них, другое отношение к миру, в котором мне до сих пор удалось уцелеть,— таким оно было только у моих мертвых, уже погибших товарищей.

В течение многих лет я оборонялся от одиночества, ища спасения в любви, но всегда терпел поражение, так же как и в этот, последний раз, хотя сперва был уверен, что новое чувство, вначале столь прекрасное, выдержит все испытания; но уже спустя несколько месяцев в нашей идиллии что-то нарушилось, и постепенно я дал втянуть себя в извечную игру, вернее, торг двух полов, стремящихся доказать друг другу правоту собственного «я», уже задетого всевозможными комплексами,— торг отвратительный и унижающий само содержание любви, торг базарных торговцев, хорошо зарабатывающих раз в году во время ярмарки, обвиняющих друг друга во всех своих невзгодах и бедах, ищущих любой ценой оправдания своему ничтожеству, лени, мелочности, эгоизму и нарастающей в сердце ненависти к миру и людям, прибегающих в своем подсознательном стремлении очиститься от накопившейся в них с годами скверны не к помощи разума, а все к тем же взаимным обвинениям. Я дал вовлечь себя в этот торг, и наступил день, когда я с ужасом обнаружил, что в наши отношения закралось чувство обоюдной неприязни и злобы, что с каждой минутой мы становимся все более чужими — только и делаем, что подкарауливаем друг друга, враждебно встречая каждое слово, взгляд, неосторожный жест; но даже тогда я еще полностью не сознавал, что это начало конца, и все еще надеялся, что этот первый акт драмы — временный кризис: просто сдали нервы, расшатанные ужасами войны и жизни в обстановке осады и рабства.

Любовь обожает красивый фон, но тогда я этого не знал и, наверно, потому потерпел еще одно поражение; я был беспечен, слишком верил собственному чувству, а это была ошибка, которую я осознал только сейчас; в этой темной зарешеченной комнатке «Какаду» я понял также, что по-настоящему никогда не был любим, а наши отношения слишком рано подверглись тяжелому испытанию и не выдержали его, но что не следует жалеть об этом — ведь хоть какое-то время я был действительно счастлив и хранил в памяти все то лучшее, что было в этой любви и чего уже никто и ничто на свете не сможет у меня отнять.

Мы познакомились в поезде, оказалось, что едем в один и тот же город, условились о встрече, потом виделись ежедневно в одном и том же кафе, наконец я пригласил ее к себе, в маленький домик у тополиной аллеи, в мансарду, которая стала моим прибежищем и где я иногда работал в свободное от заданий время — урывками, ведь время мое принадлежало не мне. Мои полотна ей нравились, она любила острый и приторный, проникавший во все уголки мастерской запах масляных красок, воздух, которым мы вместе дышали, мебель, которой пользовались, даже нашу общую постель, в которую сперва мы шли столь охотно; маленькая, увешанная полотнами мастерская солдата, стремившегося посвятить себя искусству, казалась нам островком тишины в окружавшем нас огромном океане, островком покоя и отдохновения; однако со временем первоначальное чувство покоя и безмятежности развеялось, и эта же комнатка стала первым поводом для непрестанных придирок, которые в конце концов привели нас к взаимной неприязни и отчуждению; оно все усиливалось, под конец мы совсем отдалились друг от друга и рады были любому предлогу для ссоры, любое, даже самое пустяковое событие перерастало в трагедию, переполняло нас ненавистью, мучительные споры о том, кто виноват — а виноваты мы были оба,—тянулись без конца, причем каждый из нас всегда был готов оправдать свое собственное бессилие и отвращение к совместной жизни в тесной, заставленной мебелью комнатке, комнатке-кухне, с кастрюлями и электрической плиткой, и

каждый день, каждый час, каждая минута приближали момент окончательного разрыва.

В ушах у меня все еще звучали ее слова:

«Алик, все это не имеет никакого смысла. Мы по-разному смотрим на вещи, и у нас совершенно разные требования к жизни. Мы не подходим друг другу».

«Дорогая,— отвечал я ей.— Если есть любовь, то все остальное пустяки, можно обо всем договориться, даже если этот мир остается прежним — таким, каким мы его видим каждый день».

«В этой комнате? — издевалась она.— В этой комнате, где мы задыхаемся и где едва хватает места для твоих книг, мольберта, картин и кровати? Я не могу поселиться с тобой в этой комнате и не хочу всю жизнь ездить к тебе на трамвае».

«Или на рикше,— пытался шутить я.— Если нас еще что-то и соединяет, то именно кровать, но сейчас даже и в кровати ты стала совсем другой. Ты все больше отдаляешься от меня. Я становлюсь для тебя совсем чужим. Даже тело твое уже не такое доверчивое, как прежде, в первые дни нашей любви».

«Это не моя вина. Здесь я не могу быть такой, как прежде».

«Такой, как в первые дни нашего знакомства,— подсказал я.— Тогда я был для тебя загадкой. Каждый день ты открывала во мне что-то новое и с каждым днем все больше теряла ко мне интерес, все чаще ты видела мои недостатки и все реже замечала то, что могла бы ценить».

«Это не моя вина!»

«Ну, конечно, дорогая,— соглашался я с болью.— Разумеется, ты, как всегда, права. В том, что любви больше нет, виноват всегда мужчина».

Я сижу в темной, зарешеченной комнатке «Какаду», жду появления Монтера, вспоминаю все разговоры, которые часами вел с моей девушкой, стараясь спасти по крайней мере то, что еще можно было бы спасти,— но безуспешно; расставание причинило мне боль, хотя я и понимал, что другого выхода у нас уже нет, а теперь чувствовал, что мне это уже безразлично, жизнь ежечасно открывала перед нами все новые и новые возможности, их можно было принять или не воспользоваться ими, но не считаться с ними было нельзя, каждый день приносил надежду на какую-то новую встречу, искушал и манил миражем всех тех желаний, которые не сбылись, но в которые я еще смутно верил.

Я взглянул на часы, в густеющих сумерках светящиеся стрелки указывали на цифру пять и одиннадцать — шестнадцать часов пятьдесят пять минут, время тянулось ужасно медленно, Монтер не появлялся, и я мог размышлять сколько мне угодно о том, как ненавидел время, я бы умертвил его, если б не мое презрение к легкой смерти; не считая автоматического пистолета, у меня был при себе еще и яд — яд был лучше: маленькая ампула цианистого калия действовала безотказно и мгновенно. Я готов был к тому, что в любой момент она может мне понадобиться; я, солдат, ежедневно смотревший смерти в глаза, не представлял предела собственных возможностей, не знал, что именно может меня сломить — это могла быть боль, а могло быть и стремление любой ценой сохранить жизнь; до сих пор мне еще не приходилось переступать барьера пыток, и я не имел ясного представления, как буду себя вести в час изощренных физических мучений, ведь меня еще ни разу не допрашивали, до сих пор я ускользал от расставленных силков, но *это* могло случиться, и тогда ампула цианистого калия стала бы моим союзником, я на нее твердо рассчитывал, если бы пришлось оказаться в безвыходном положении. То, что я мог выбрать смерть, придавало мне решимость, рука моя ни разу не дрогнула, глаз никогда не выпускал из виду цели, нервы выдерживали любое испытание, я был спокоен, ибо имел надеж-

ного союзника, а моя героическая восторженность постепенно облекалась в плоть реального опыта.

Никогда я не страдал излишней самонадеянностью и всегда был в состоянии полной боевой готовности, настороженный и собранный, словно человек, судьба которого вот-вот решится, или игрок в покер, вытаскивающий из колоды свою последнюю карту,— я, коммивояжер смерти, для которого жизнь стала игрой, самой азартной из всех игр, какие я знал, а я любил ставить *va banque* и, даже проигрывая, не чувствовал себя побежденным, ибо твердо верил, что можно проиграть много битв, но нельзя проиграть войны.

Если б она знала, кем я был на самом деле, быть может, все сложилось бы иначе, но ведь ей известна была лишь одна сторона моей биографии, она знала, что я художник, весь смысл жизни которого — искусство. На первых порах ей казалось это занятным; обывательница с психологией лавочницы, она была даже польщена тем, что спит с художником, но потом, убедившись, что художники не лишены тех же человеческих слабостей, что и прочие смертные, и вопреки ее ожиданиям в них нет ничего необыкновенного, она, невзирая на свою несомненную интеллигентность и сообразительность, все же не сумела понять, что необычность бытия художника заключена не столько в его человеческих качествах, сколько в самом существе его дарования и его повседневного профессионального труда. Придя, наконец, к выводу, что ее представления не соответствуют действительности, она даже не пыталась скрывать своего разочарования из злости, в какой-то мере чувствовала себя просто обманутой и в конце концов признала сам факт сожительства с мужчиной, для которого искусство было единственным и наиболее существенным содержанием всех его жизненных устремлений, слишком банальным, а может быть, даже и унизительным. Я нередко чувствовал, как ей недостает в моей биографии другого, героического плана, но упорно молчал и тщательно скрывал все, что могло бы меня разоблачить, я не считал для себя возможным покупать чувства женщины ценою всего того, что я уже испытал и что мне придется еще испытать,— ценою перенапряжения нервов, страха, пролитой крови и убийств.

Я не считал для себя возможным забавляться любовью или оружием. Знал, что на свете немало было глупцов, которые погибали именно из-за такого рода забав. Но она не догадывалась, кем я был на самом деле, как сложна и трудна моя жизнь, не понимала, пожалуй, также, каким заброшенным и одиноким я себя чувствовал, не представляла себе, как тяжело мне в этом одиночестве сохранить веру в себя; я искал в ней дружбы и понимания, страстно желал, чтобы она стала свидетельницей моего творчества, рассчитывал на слово одобрения, на поддержку в моих усилиях что-то создать наперекор войне и смерти, но с каждым днем мы все больше отдалялись друг от друга, и только когда наступил окончательный разрыв, я понял, как ей нужен был хотя бы отдаленный намек на мое участие в тех делах, которые я так тщательно от нее скрывал и, пока продолжалось бы в этой стране осадное положение и борьба, ни за что перед нею не раскрыл,— она все чаще издевалась надо мной, это было тем забавнее, что, ничего не ведая, она высказывала свои иронические замечания в комнате, в которой находился тайник с оружием и боеприпасами — тайник, к которому я обращался чуть ли не ежедневно, оружие, которым я так часто успешно пользовался.

Каждому расставанию сопутствует поначалу ощущение разочарования и пустоты; я чувствовал себя обманутым в собственных ожиданиях, и мне было совсем нелегко примириться с мыслью, что совместно прожитые с нею дни ушли безвозвратно, что ничего уже нельзя будет

исправить и завершилась еще одна неудачная история в моей жизни, но теперь я думал об этом холодно и спокойно, а потом вдруг обнаружил, что во мне уже нет ни горечи, ни грусти, это показалось даже несколько странным, и на минуту пришла в голову мысль, что виной всему усталость и терзающая меня уже несколько часов лихорадка; со мной и в самом деле творилось что-то странное, нечто такое, чего я и сам не мог бы определить, может быть, просто сказывалось волнение — я все больше беспокоился о Монтере, который все не появлялся, а время условленной встречи медленно и неумолимо истекало, неся с собой напряжение и страх, подсовывая разгоряченному воображению картину самых ужаснейших событий, которые только могли произойти.

II

Сочельник: в ловушке

Не шелохнувшись, сидел я на стуле, опершись локтями на покрытый скатертью стол, в темной, зарешеченной комнатке «Какаду» и сквозь разорванную лучом уличного фонаря тьму всматривался в стену, на которой в тяжелой, позолоченной раме висело зеркало; мое бледное и изнуренное лицо постепенно стало затушевываться, так что в конце концов можно было различить лишь его контуры и огонек торчащей в углу рта сигареты.

Я закрыл глаза, меня неумолимо клонило ко сну, в жарко натопленной комнате было душно, я сидел как бы отрезанный от всего мира, и сон наваливался на меня всей своей тяжестью. Но я не поддавался, боролся со сном, с собственной усталостью и считал каждую минуту, приближавшую меня к встрече с Монтером, однако неуверенность и страх за его судьбу нарастали с такой силой, что готовы были захлестнуть меня, словно волна, которую ни остановить, ни укротить я был не в состоянии.

«Какаду» — скверное место,— подумал я сквозь дремоту.— Если полиция что-нибудь пронюхала — дело дрянь, все мы можем оказаться в мерзкой ситуации».

Я положил на стол обе руки и опустил на них голову.

«Все это слишком затянулось,— думал я.— Монтер совершенно не считается с тем, что «Какаду» далеко не лучшее место для такой встречи».

Я открыл глаза и взглянул на окно — на карнизе лежал толстый слой снега, стекла тоже были залеплены белым пухом и в темноте светились голубоватым блеском.

«Сочельник,— подумал я с грустью.— Именно сегодня. А я даже не знаю, выпутаюсь ли из этой истории. Слишком долго их нет. Монтер уже должен был бы прийти».

Где-то в глубине коридора хлопнула дверь, я поднял голову и стал прислушиваться. Сперва до меня донесся топот подкованных сапог и говор мужских голосов, потом в дверь моей комнаты несколько раз постучали — резко и неистово, словно хотели ее высадить, однако замок не пускал.

Отодвинув стул, я тихо встал и двинулся к двери, чтобы открыть ее, хотел уже повернуть ключ в замке, как вдруг с ужасом подумал, что это не могли быть люди, которых я ждал, ведь я не услышал условленного сигнала.

Когда постучали вторично, я инстинктивно отскочил на середину комнаты и бросил взгляд на прикрытое грязной занавеской, узкое и

длинное, занесенное снегом, хорошо зарешеченное окно — и мне стало ясно, что, если в дверь ломится полиция, мне отсюда не выйти.

Я оказался в западне. Предусмотрительно отступив подальше в глубь комнаты, я прижался к самой стене, все время думая о том, что в меня могут попасть и через окно, может быть, они уже притаились под окном, ожидая лишь подходящего момента, чтобы открыть стрельбу, возможно, пока их удерживала надежда, что я сам открою дверь, не стану защищаться и сдамся без боя; мысли об этом теснились в моей голове вместе с размышлениями о причинах, которые помешали Монтеру явиться в «Какаду», в назначенное место встречи. Его могли, конечно, арестовать, но все же трудно было поверить, что я попал в ловушку именно по этой причине, я даже мысли не допускал, что он мог меня выдать, но тем не менее то, что сейчас происходило, было похоже на предательство.

Как можно осторожнее я пододвинул к себе стул — любой шум мог помочь им точно определить место, где я находился,— и положил на него четыре запасные обоймы, чтобы они в любой момент были под рукой. За дверью на какое-то время воцарилась тишина, был слышен только испуганный голос хозяина «Какаду» и еще два других, приглушенных и неясных мужских голоса, но через минуту снова кто-то с ожесточением принялся ломиться в дверь, за которой я сидел, как в ловушке. Я взглянул на часы — стрелки показывали семнадцать часов двадцать пять минут. Монтер должен был прийти в семнадцать, и если он до сих пор не появился по независящей от него причине, то мое положение уже ничем нельзя было изменить, рано или поздно я все равно попаду к ним в руки, револьверная перестрелка могла только предостеречь Монтера об опасности, но я вовсе не был уверен, что в этот момент Монтер не находится в таком же или в еще худшем положении. Его могли схватить во время перевозки груза, он мог обороняться во время облавы, по улицам городка все время кружили патрули, я видел, как на Вокзальной площади жандармы то и дело задерживали прохожих и обыскивали их, собственно, я и сам укрылся от них в «Какаду», поверив, что выбранное Монтером для встречи место безопасно и надежно.

Прислонившись спиной к стене и не выпуская из рук пистолета, я ежеминутно поглядывал то на дверь, то на ярко освещенное уличным фонарем окно. Неожиданно шум за дверью прекратился. Я переложил пистолет в левую руку, предварительно отведя предохранитель, а правую, мокрую от пота, вытер о штанину — ясно уже, что будет: они отойдут от двери и попытаются добраться до меня через окно. Я напряг всю свою волю, меня била нервная дрожь; облизав сухие, спекшиеся от температуры губы, я медленно, шаг за шагом, двигался вдоль стены к окну, а оказавшись возле него, чуть-чуть приоткрыл занавеску и осторожно выглянул на площадь.

Сперва я заметил стоявшего напротив полицейского в темно-синем мундире, а потом еще какого-то штатского в кожаном пальто, который беспокойно ходил взад и вперед по тротуару и время от времени поглядывал в сторону окна, за которым я притаился с пистолетом в руке, готовый в любую минуту отразить нападение. Похоже, что они не собираются подойти поближе, видно, ждут подкрепления, догадался я; вероятно, они не были уверены, кого именно захватят в малом зале «Какаду», а возможно, предполагают, что нас много, что взяли в кольцо целую группу, и поэтому готовятся к акции осмотрительно. Если это так, если они рассчитывают накрыть в «Какаду» нескольких вооруженных людей, значит, нас предали, и если Монтер ничего об этом не знает, он должен с минуты на минуту появиться со своими парнями, чтобы так же, как я, попасть в заранее подготовленную ловушку.

На слабо освещенной площади стояло несколько военных грузовиков, а напротив здания вокзала я заметил еще две черные полицейские

машины. Шел снег, продавцы газет и папирос попрятались, редкие прохожие, несмотря на ранний час, поспешно пробирались по заметенным снегом мостовым и тротуарам, исчезая в темной, зияющей глубине ближайших улочек. Полицейский закурил сигарету — он стоял лицом ко входу в ресторан «Какаду»,— штатский в кожаном пальто остановился рядом с ним, и они довольно долго о чем-то оживленно беседовали. Я стоял, наблюдал за ними, а время шло, в любую минуту на площади мог появиться Монтер, поэтому я решил, что если кто-нибудь из них подойдет к окну, я буду стрелять, ведь мне отсюда все равно не уйти; я довольно спокойно примирился с этим фактом, мне даже стало как-то весело, когда я подумал о том, что эта обитая листом железа дверь и окно с толстой решеткой в одинаковой мере отгораживают как их от меня, так и меня от них и что пройдет немало часов, пока они наконец не извлекут из этой клетки мой труп, ибо ни на мгновение не сомневался, что буду обороняться до последнего патрона. Моя уверенность в том, что в данной ситуации я буду поступать именно так, а не иначе, была вполне обоснованной — мне уже доводилось проверять себя в сходных обстоятельствах, и я ни разу не шел на поводу у инстинкта, не стремился сохранить жизнь или продлить ее любой ценой, многократная проверка перед лицом смерти придавала мне сейчас столь необходимые спокойствие и самообладание.

Я был наготове. И не собирался сдаваться. У меня не было ни малейшего желания подвергать себя испытанию пыткой. Внутренне я был убежден, что не способен совершить предательство, однако не знал, как бы повел себя во время многочасового допроса, меня никогда не пытали, и я просто не представлял своей нервной и физической выносливости к боли, нет, я предпочитал не допустить испытания, которое могло бы вдруг обнаружить мою слабость и — что всего важнее — привести меня к полному поражению. Я всегда выбирал в жизни проверенные и надежные дороги, старался идти только по ним, хотя порою и хотелось отправиться по неизведанной тропе — отчасти из простого любопытства, а отчасти из желания лучше узнать самого себя.

Из окна мне видны были площадь и тротуар, на котором стоял полицейский. Субъект в кожаном пальто вернулся в «Какаду», вскоре снова посыпались резкие удары в дверь, и я подумал, не выйти ли мне к ним навстречу, я уже знал, что в коридоре их только двое, неожиданная вылазка могла захватить их врасплох, а если б мне удалось выбраться из «Какаду» на улицу — все же были бы некоторые шансы на спасение. Решив рискнуть, я еще раз взглянул на Вокзальную площадь, быстрым взглядом окинул район прилегающих к площади улочек и уже собирался отойти от окна, чтобы осуществить свой план, как вдруг увидел Монтера: он и еще трое незнакомых парней спокойно направлялись в сторону «Какаду». Меня охватил ужас, я попытался открыть окно, чтобы крикнуть и предупредить о грозящей опасности, но было слишком поздно, я видел, как они один за другим вошли в широко распахнутые двери «Какаду». Их было трое, в коридоре — двое шпиков, нужно было спешить. Отойдя от окна, я быстро накинул пальто, взял со стула запасные обоймы с патронами, положил их в левый карман, потом потихоньку, на цыпочках подобрался к двери и осторожно стал поворачивать в замке ключ — очень медленно и очень осторожно, чтобы в коридоре не могли догадаться, что стучат уже в открытую дверь. Хорошо смазанный замок открылся без малейшего скрипа, я ухватился левой рукой за ручку двери и оперся плечом о дверной косяк.

Я застыл в ожидании первого выстрела. Теперь я уже знал, что сделаю, если Монтер войдет со своими людьми в коридор, отделяющий главный зал «Какаду» от моей западни, знал, что в этой ситуации полиция сама неожиданно может оказаться в ловушке, под угрозой с двух

сторон; стоило только с силой толкнуть эту обитую железом дверь, и у меня оказалось бы отличное поле обстрела, огонь с двух сторон должен был парализовать полицейских, а единственный выход, который у них еще оставался,— по возможности быстрее отступить в сторону кухни, ведь другого пути у них не было, если, конечно, пули Монтера и его друзей не настигли бы их раньше; и все же я понимал, что едва ли выйду живым из этой переделки.

С поднятым вверх пистолетом, готовый к броску, готовый в любую минуту ринуться в бой, я ждал первого выстрела. Тело мое снова сотрясала нервная дрожь, в голове стоял шум от стремительного прилива крови, я зажмурил глаза, и когда подумал, как все мгновенно может измениться, меня охватило неуемное желание расхохотаться — ведь сперва это я был в западне и вроде бы оказался в безвыходном положении, но не прошло и получаса, как мои преследователи сами угодили в приготовленную для меня, а может быть, для Монтера и его людей ловушку; игра начиналась заново, я чувствовал себя как азартный игрок, который бросил на чашу весов все, чем он еще владеет, и лихорадочно ждет приговора. Я знал Монтера и был уверен, что он не оставит меня одного в этой дыре, не улизнет тайком из «Какаду», заметив опасность; этот полуфранцуз, полуполяк, говорящий на странном польско-французском жаргоне, до сих пор ни разу не обманул моих надежд, на его помощь можно было смело рассчитывать. Я уже слышал мужские голоса и шаги, направлявшиеся по коридору к двери, за которой я притаился, готовый в любую минуту открыть стрельбу... И вдруг воцарилась напряженная тишина, все голоса затихли, а потом послышался осторожный стук — два удара коротких, три длинных, три коротких и снова два длинных,— я слушал с удивлением и в первое мгновение даже ничего не соображал, ибо это был условленный сигнал, о котором мы заранее договорились с Монтером; на всякий случай я все же отступил от двери, открыл ее резким толчком и направил свой пистолет на толпящихся в коридоре мужчин.

— Ну, старик! — весело окликнул меня Монтер, увидев направленное в его сторону оружие.— Спрячь игрушку. Здесь все свои. Не надо никого пугать.

Разумеется, Монтер был прав, но разве мог он догадаться, что я перенес за эти бесконечно долгие минуты ожидания, разве мог знать, что я испытал, когда наконец его увидел? Мною овладели мучительное разочарование, обида, горечь и неистовая ярость за все то, что мне пришлось пережить по их вине, а когда вспомнил, что чуть было не затеял эту идиотскую перестрелку с товарищами Монтера, которых не знал и не мог знать, почувствовал, что бледнею,— до меня вдруг дошло наконец, чем все это могло кончиться.

— Мерзавцы! — бросил я в ярости, вернулся в комнату, в темный угол и спрятал там пистолет в карман.

Они молча вошли вслед за мной, хозяин «Какаду» сразу же занялся окном, тщательно зашторил его и только после этого зажег свет.

— Чего ты бесишься? — спокойно спросил Монтер.

Я закусил губу, но все еще не мог овладеть собой, меня душила ярость, и в эту минуту я смотрел на Монтера почти с ненавистью; его чуть хрипловатый, гортанный голос и мягкое неправильное произношение раздражали меня, а удивленные взгляды его товарищей, которые, казалось, были обижены моим поведением, окончательно вывели меня из равновесия.

— Послушай, Монтер! — сердито начал я.— Конечно, может, все твои люди круглые идиоты. Но если среди них есть хотя бы парочка нормальных, почему ты прислал мне именно этих? А?

Монтер нахмурил брови, молча пододвинул стул и сел за стол.

— Чего ты бесишься? — повторил он.

— Какого черта ты прислал двух кретинов?

Он с удивлением посмотрел на меня.

— Черт побери, скажи толком, что случилось?

— Нет, это не работа!

— Ладно, ладно! Но скажи наконец, в чем дело, дружище?

— Спроси у него! — бросил я, указывая на хозяина «Какаду».— Он тебе все объяснит.

— Это я виноват! — торопливо признался хозяин.— Я не знал, что у вас есть условленный сигнал.

— Они так ломились в дверь, что, наверно, было слышно в ближайшем полицейском участке. Я только удивляюсь, как это мы все не попали в дьявольскую переделку...

Монтер задумчиво кивнул головой.

— Я велел им ждать меня здесь, в коридоре,— пояснил он усталым голосом.— Они не имели права ни стучать в дверь, ни с кем-нибудь заговаривать, ни предпринимать что-либо без моего ведома...

— Это моя вина! — снова вмешался хозяин «Какаду».— Я не знал, что у вас есть условленный сигнал...

Монтер сдвинул шляпу на затылок, удобно расположился на стуле, бросил мрачный взгляд на своих людей и промолвил с плохо скрываемой злостью:

— Да, Хмурый, ты прав. Я поручил это дело круглым идиотам, которые не в силах были даже запомнить того, что им было сказано, хотя именно в этом и заключалась их прямая обязанность...

— Хватит об этом,— неожиданно отозвался один из них, в котором я узнал субъекта в кожаном пальто, вертевшегося под окном, и которого все время принимал за шпика.

— Заткнись, Ворон,— рявкнул Монтер.— Это касается также и тебя. *Comprenez-vous?* [1]

— Понимаю,— ответил Ворон.— С каждым раз в жизни случается какая-нибудь дурацкая история. Сегодня, видно, наш день, потому так и случилось.

— Не накликал бы ты беду, Ворон,— уже спокойно сказал Монтер.— Если так будет продолжаться, можешь уже сейчас прочесть заупокойную.

— Ладно,— засмеялся Ворон,— прочту литанию и дьяволу, и господу богу. На всякий случай. Еще неизвестно, кому мы больше нравимся.

— Молись, Ворон,— согласился Монтер.

Он внимательно посмотрел на обрюзгшее красное лицо хозяина «Какаду», и мне показалось, что за весь этот инцидент он больше всего сердит именно на него, хотя хозяин тут вовсе был ни при чем, а потом уже произнес неторопливо, с присущим ему акцентом:

— Послушай, Ваня! Мы ужасно голодны. С самого утра у нас ничего не было во рту. Принеси что-нибудь поесть и четвертинку водки.

— Может быть, жареной колбаски?

— *Voilà* [2]! И четвертинку.

— Будет исполнено!

Хозяин «Какаду» тщательно обмахнул салфеткой скатерть, высыпал на поднос из пепельницы окурки и только после этого ушел на кухню. Люди Монтера уселись вокруг стола, не снимая ни шляп, ни мокрой от таявшего снега верхней одежды, от которой в хорошо нагретом помещении вскоре сильно запахло чем-то кислым; я стоял в стороне от них, все еще исполненный неприязни к этим людям, а они ведь пришли сюда

[1] Понятно? *(Франц.)*

[2] Здесь: да, вот именно *(франц.)*.

только за тем, чтобы в случае необходимости прикрыть меня от возможной атаки полиции, готовые, как и я, драться насмерть. В тот день они были авангардом, перед ними стояла нелегкая задача, они выполняли тяжелую обязанность, и в начале пути им угрожала большая опасность, чем мне,— они это сознавали, но готовы были на риск ради общего дела, к тому же они были исполнены презрения к смерти, как многие молодые парни, не успевшие еще узнать настоящую цену жизни. И все же сейчас они были для меня чужими, я смотрел на этих ребят и не чувствовал к ним никакой симпатии, а если их судьба в какой-то мере меня и интересовала, то лишь настолько, насколько эффективной может оказаться их помощь в той задаче, которую мне предстояло решить. Я понимал, что, возможно, мы никогда больше в жизни не встретимся, и это в какой-то мере освобождало меня от общепринятых любезностей, которых я терпеть не мог и с которыми редко считался даже в общении с теми людьми, с кем стремился сохранить дружеские отношения. Монтер долго молчал, глубоко задумавшись, а потом вытащил из кармана пачку немецких сигарет, бросил ее на стол и — неожиданно для всех — разразился громким непринужденным смехом.

— Что это тебя так развеселило? — спросил я задиристо.

— Ох, негодяи! — сказал он, ласково глядя на своих парней.— Просто закоренелые тупицы! Представляю, как ты себя чувствовал в такой зарешеченной дыре, когда они ломились в дверь.

— Я все время был уверен, что это полиция...

— *Oui* [1]. Так я и подумал.

Я взглянул на Ворона: мне было интересно, какое впечатление произвели на него мои слова и понял ли этот паренек со светлой рыжеватой шевелюрой и зелеными глазами, к чему мог привести его безрассудный поступок, я искал на его лице подтверждения собственных опасений и беспокойства, но кроме веселых искорок не заметил в его взгляде ничего, что могло бы принести мне хоть некоторое удовлетворение — этот парень вовсе не чувствовал себя виноватым, поэтому, сердито насупив брови, я смотрел на него почти враждебно; но тут Ворон наклонился над столом и спросил:

— Ты видел меня через окно?

— Да.

— И видел, как я разговаривал с полицейским?..

— Видел.

— Проклятие! — выругался он.— Ты, наверно, принял меня за шпика?

— Да.

— А знаешь, я ведь собирался подойти к окну. Мне помешало только присутствие полицейского...

— Тебе повезло, дурень! — взорвался я.— Ты, наверно, и в самом деле решил, что я приехал сюда только затем, чтобы продырявить твою башку?!

Товарищи Монтера посмотрели друг на друга и громко расхохотались. Ворон наклонился над столом еще ниже, а потом с озабоченным выражением протянул мне руку.

— Дай лапу, Хмурый,— сказал он серьезно.— И, ради бога, не сердись на меня. Я чувствую себя сейчас круглым идиотом. Надо быть осторожнее...

— Ладно. Забудем об этом. К счастью, все обошлось благополучно.

Я пожал руку Ворона, взял у него сигарету, Монтер пододвинул мне стул и жестом пригласил сесть. Настроение в комнате сразу изме-

[1] Да *(франц.)*.

нилось, я увидел вокруг улыбающиеся и дружеские лица, мы уже свыклись друг с другом, смех разрядил возникшее было напряжение — однако меня все еще колотила нервная дрожь, а быть может, это был озноб, и мне пришлось крепко стиснуть зубы; я сел возле Монтера, напротив двери, и спросил:

— С грузом все в порядке?

— Да,— ответил Монтер.

— Когда уходит поезд?

— Через полчаса.

— Успеем?

— Конечно. Успеем и поесть, и выпить по рюмке. Надо согреться. Мы совсем закоченели.

Я молча кивнул головой. В комнату с громадным подносом, уставленным тарелками, вошел хозяин «Какаду», на тарелках дымились внушительные порции жареной колбасы, на столе появился еще хлеб, соленые огурцы и бутылка водки. Хозяин молча наполнил рюмки и тотчас удалился.

— Я не буду пить.

— Ты что, записался в трезвенники? — спросил Монтер.

— Нет. Просто осторожность,— объяснил я.— Осторожность или предусмотрительность, как хотите. Мне надо ехать. Никогда не знаешь, что может случиться в дороге. И хотелось бы, чтоб голова была ясная. Это ты в состоянии понять?

— Все еще задираешься?

— А ты считаешь, что я не имею права отказаться от водки?

— Ах, *mon ami*[1]! — ответил он.— Ты всегда прав.

Он повернулся к товарищам и поднял рюмку.

— Ваше здоровье, ребята! *Salud!*

— Будь здоров.

Голодные и озябшие парни с удовольствием выпили и жадно набросились на еду. Мне не хотелось есть, я закурил новую сигарету и, с нетерпением ожидая, когда ребята кончат ужин, смотрел на них, на Монтера и поразился тому, как он изменился. Когда мы начинали нашу деятельность, он казался совсем молодым человеком, а сейчас ему можно было дать по меньшей мере лет сорок. Тогда это был красивый, стройный юноша, а теперь — пожилой человек с седыми висками. Боже мой, и не удивительно, такая работа могла хоть кого извести, ведь все это время мы жили в постоянной тревоге, нервы были напряжены до предела. Даже ночью мы должны были быть готовы к любым неожиданностям, даже сон не давал полного покоя. Сколько же лет миновало с нашей первой встречи с Монтером? Пять, девять, пятнадцать — нет, всего лишь три года; три осени, три лета, три зимы, а мне казалось, что прошла вечность.

Я сидел на стуле, лицом к двери, смотрел на Монтера и его друзей, нам пора было уходить из «Какаду», время набирало иной темп, теперь оно мчалось, словно бешеная собака, с каждой секундой приближая нас к отходу поезда; уже пробило восемнадцать часов, я беспокоился, но старался этого не показывать, нельзя же было лишать их возможности перекусить и передохнуть. Они ели молча, торопливо, не глядя по сторонам, отгороженные друг от друга молчанием, каждый был занят своим делом; я отлично понимал, что означает эта полная грозной сосредоточенности тишина — они тоже ощущали натиск времени, неумолимо толкавшего нас в этот вечер навстречу событиям, которые трудно было даже предвидеть, впрочем, их задача показалась мне сейчас по-детски легкой: они должны были проводить меня к поезду, только к поезду, а

[1] Мой друг *(франц.)*.

там, в течение трех долгих часов езды и трех долгих стоянок я был предоставлен самому себе. В конце пути меня должны были встретить люди и получить багаж — так замыкался круг неотложных дел этого дня, который все еще длился и должен был длиться до полуночи.

Итак, я сидел неподвижно на стуле, лицом к двери, прислушивался к доносившимся из коридора голосам и смотрел на Монтера и его людей.

Впервые я встретил Монтера три года назад, и встреча эта так же, как и сегодня, в сочельник вечером, не была случайной, она была тщательно подготовлена, хотя все делалось помимо нас. Мы встречались вот уже года три, но ничего до сих пор не знали друг о друге — ни он обо мне, ни я о нем,— не знали даже, как кого зовут, и несмотря на то, что вместе участвовали во многих опасных и трудных делах, оставались чужими. Для меня Монтер был лишь Монтером, тридцатилетним худощавым человеком с продолговатым лицом и очень красивыми глазами, в которых, кроме холодной сосредоточенности, ничего нельзя было прочесть; его биография для меня не существовала, я знал лишь один ее раздел, относящийся к совместной нашей деятельности, но этого было мало, слишком мало, чтобы по-настоящему составить представление о человеке; не ведая о том, каким он был в действительности, я не мог его ни любить, ни не любить, мне неизвестны были его взгляды, я понятия не имел о том, что он думает, и поэтому он был для меня таким же чужим, как, наверно, и я для него. Для него я был просто Хмурый, мужчина неопределенного возраста — а мне исполнилось всего двадцать четыре года,— без имени и фамилии, встречались мы довольно редко, это были короткие, поспешные встречи, опасность, навстречу которой мы шли, сближала нас ненадолго, только на время совместной операции. Еще меньше я знал о его людях, которых он привел с собой в малый зал «Какаду», их я вообще видел впервые, Монтер всякий раз приводил с собой новых ребят, и я имел все основания предположить, что прежних уже нет в живых. Подумать только, что я должен был полностью положиться на этих незнакомых людей, вверить им свою судьбу, свою жизнь, а эти молодые парни принимали участие в делах, о которых я не рассказал бы даже самому близкому другу, если бы он у меня был, но тем не менее я им верил,— это было даже забавно, я сидел в малом зале «Какаду» и ждал, когда они наконец будут готовы двинуться вместе со мной в путь и позаботятся о моей безопасности, пока я не окажусь в купе поезда,— да, это было забавно, но если бы в тот зимний вечер я вдруг оказался в ловушке, эти ребята должны были отвлечь внимание полиции на себя, стать под обстрел противника, и все ради меня, ради человека, о котором они ничего не знали.

III

Сочельник: на вокзале

Наконец произошло то, чего я ждал вот уже несколько часов: я прибыл на вокзал и, чтобы получше оценить обстановку, задержался на несколько минут в главном зале. Со всех сторон меня окружала шумная толпа пассажиров, ожидавших прибытия поездов. Где-то неподалеку кружил Монтер со своими людьми, он рыскал, высматривая полицию, а я протиснулся к газетному киоску и, поставив на пол тяжелый кожаный чемодан, потребовал «*Berliner Zeitung*», два иллюстрированных журнала — «*Die Wehrmacht*» и «*Flügel*» — и стал пододвигаться поближе к выходу на перрон; у самого выхода я остановился, бросил взгляд в сторону зала, где находился станционный буфет, над дверью которого кра-

совались яркие афиши, рекламирующие новейшие фильмы, и стал читать объявления: кинотеатр «Риальто» — «Любовь шейха», потрясающая драма о любви и смерти, два часа незабываемых переживаний в пустыне Сахара, фильм немецко-испанского производства»; кинотеатр «Кассино» — «Ганс Мозер и Тео Линген в полном юмора фильме «Семь лет счастья», вы снова увидите незабываемую пару комиков в их самых лучших ролях»... Тут я перевел взгляд с афиши на ведущую к буфету дверь и увидел Монтера, он стоял в проходе и оглядывался, наконец заметив меня, поспешно бросился навстречу.

— Слушай, Хмурый, мы должны сейчас же идти на перрон. Иного выхода нет.

— Что случилось?

— В буфете сидит Волк из НСЗ [1].

— Он тебя видел?

— Нет.

— Проклятие! Не хватало еще, чтобы мы встретились в поезде.

— Он не поедет.

— Откуда ты знаешь?

— Сидит с какими-то подозрительными типами и выпивает. Уже здорово накачался. Еле на ногах стоит, а потом — у него в этом городе семья. Нет, в сочельник он никуда не двинется.

— Ты уверен?

— Безусловно! Не зря же он носит на груди медальон с изображением божьей матери. Сегодня у них праздник.

— Он тебя знает?

— Знает. Однажды уже стрелял в меня.

— Ясно. Давай сматываться отсюда. Если он увидит нас вместе, могут быть неприятности.

— Иди на перрон. Я сейчас тоже приду туда с ребятами.

— Буду стоять под часами.

— Есть...

Я взял чемодан, вышел на перрон и с удивлением обнаружил, что невзирая на мороз здесь полно людей. Я стал проталкиваться сквозь толпу пассажиров, ожидающих прибытия поезда, в глубь перрона, поставил чемодан на каменном возвышении, прямо под висевшими на железном столбе часами, и внимательно огляделся. Место было удобное, отсюда отлично можно было наблюдать за всем, что творится по обеим сторонам пути и около станционных строений. Я смотрел на заснеженные пути, на здание вокзала и ожидал появления Монтера с его людьми. Пока все шло по заранее разработанному плану, думал я, и если полиции в последний момент не удастся захватить нас врасплох, доверенный мне груз попадет на место в условленное время.

Только теперь, оказавшись на перроне в радиусе света, излучаемого низко висевшими фонарями, я почувствовал облегчение, хотя оно и не принесло мне ни успокоения, ни радости — ведь мне предстояло еще несколько часов езды поездом, где каждая стоянка могла оказаться новой западней; я по-прежнему был готов к худшему, но теперь ясно сознавал, что в любом положении, каким бы оно ни было, я все же буду менее беспомощным, чем в темной зарешеченной комнатке «Какаду», из которой, если бы меня в самом деле окружили полицейские, я едва ли сумел бы выбраться и где надежды на спасение было очень мало; по-

---

[1] НСЗ (Народове Силы Збройне) — Национальные вооруженные силы — подпольные воинские формирования, созданные в 1942 году крайне правыми польскими националистическими кругами; члены НСЗ яростно боролись против всех левых сил движения Сопротивления и шли на сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами. Часть отрядов НСЗ в 1944 году влилась в ряды АК (Армии Крайовой, руководимой польским лондонским эмигрантским правительством).

этому, оценивая положение, в котором я здесь очутился, я не мог не испытывать известного удовлетворения.

Затерявшись в толпе пассажиров, я стоял на перроне и ждал Монтера; конечно, я волновался, опасаясь, как бы его не заметил Волк,— раз он уже однажды стрелял в Монтера, такая встреча могла плохо кончиться.

Неожиданно мне пришло в голову, что только благодаря счастливому стечению обстоятельств Монтер и я не стали врагами, ведь легко могло случиться, что меня преследовал бы Монтер, а я преследовал бы Монтера, и в этом не было бы ничего сверхъестественного. Я никогда прежде не интересовался политикой, и в первые годы оккупации и подпольной борьбы так плохо разбирался в политической ситуации, что не слишком ясно представлял, к какой партии хотел бы принадлежать и в рядах какой подпольной армии хотел бы сражаться. Только благодаря случаю я оказался на стороне левых, однако случай мог привести меня и в националистический лагерь, и в этом не было бы моей вины, ибо в то время я был как слепец, я даже не представлял себе, что в моей стране так много людей, стремившихся спасти Отечество, не понимал, какое множество мутных течений бывает порой у реки, на волне которой я очутился,— вот почему я подумал, что только благодаря счастливой случайности я не стал врагом Монтера, а боролся вместе с ним против Волка и его друзей из НСЗ.

За минувшие годы я многому научился, узнал многое, о чем раньше и не подозревал. До войны я жил в мире несколько нереальном, поэтому вначале мне пришлось учиться всему заново, начинать жизнь с азов, словно я только что родился, а рядом не было никого, кто бы руководил моими первыми шагами, предостерег бы от мелей, на которые я все время натыкался, не было никого, кто помог бы мне найти собственный путь, я всегда был страшно одинок, и одиночество это в конце концов привело меня к тому, что я окончательно отдалился от людей, стал недоверчив, молчалив, скрытен и до такой степени боялся выразить свои мысли и чувства, что в шутку меня окрестили Отшельником. Возможно, что это полуироническое определение, свидетельствовавшее об известном разочаровании во мне, принадлежало одной из тех женщин, с которыми я спал, но которым никогда не принадлежал полностью; впрочем, это не имело существенного значения — кличка пристала ко мне, и с тех пор для всех близких знакомых я оставался Отшельником, а для товарищей, с которыми потом сблизился в общей борьбе, был Хмурым, но ни те, ни другие не знали меня по-настоящему.

Но я и сам не отдавал себе полностью отчета в том, кто я; и если бы меня спросили, кем я в сущности являюсь, наверно, не смог бы дать точного ответа, ибо знал, кем хочу быть, но не знал, что представляю собой сейчас; мне надо было преодолеть еще немало ступеней и пройти через многие тяжкие испытания, каждый день я вел строгий учет своим успехам и поражениям и был предельно суров и требователен к самому себе, всегда я требовал от себя больше, чем от других, но когда во время ночных раздумий подводил итоги пережитому, на моем счету всегда оказывалось больше неудач, нежели настоящих успехов, и, случалось, нередко я был на грани банкротства, но в том, что я до сих пор еще не потерпел полного краха, не было ничьей заслуги.

Я стоял на перроне вокзала под огромными висевшими на железном столбе часами и, в ожидании Монтера, пытался представить себе, что со мной было бы, если б я оказался во враждебном лагере. Подумав, я пришел к выводу, что в то время, когда я лихорадочно искал путей свободы, я, вероятно, не задумываясь, присоединился бы к любой группе, которая вовлекла бы меня в борьбу и предоставила оружие, даже не вникая особенно в ее идеи и лозунги. Следовательно, я мог оказаться и в НСЗ —

при одной этой мысли меня охватила дрожь; еще более ужасало меня то, что я и в самом деле мог поверить в их правоту и, более того, оказавшись с ними, обязан был в нее поверить, но если бы так случилось, если я стал бы на защиту столь ненавистных и враждебных мне позиций, если б оказался среди этих людей, со временем меня все равно стало бы преследовать чувство вины, вытекающее из самого факта сотрудничества с группировкой, которая в своем стремлении устранить политических противников не останавливалась даже перед предательством. Но в первые дни моих поисков я ничего об этом не знал. Чтобы разобраться в ситуации, мне нужно было время и люди, которые разъяснили бы мне задачи и цели различных подпольных группировок, чтобы я смог сам сделать выбор. За меня решил случай, и я оказался на стороне Монтера, но случай мог толкнуть меня и в лагерь Волка, сделать сознательный выбор я был тогда еще не в состоянии. Мне просто повезло, я оказался среди тех, кто боролся честно и бескомпромиссно, чья программа не вызывала у меня никаких возражений, и это давало мне огромное внутреннее удовлетворение.

Наконец на перроне появился Монтер. Сперва в толпе суетящихся пассажиров я заметил его баварскую шляпу с цветком эдельвейса, а затем продолговатое лицо и глаза, глядевшие в сторону часов, под которыми я стоял. Но вот он меня увидел, махнул рукой и стал пробираться между чемоданами и узлами, между заполнившими перрон пассажирами, а очутившись передо мной, многозначительно кивнул:

— Все в порядке, Хмурый. Через десять минут ты будешь в пути.

— Найти бы только место в купе. Похоже на то, что сегодня будет страшная давка. Не могу же я с такой поклажей ехать на подножке.

Монтер стоял передо мною, стройный и высокий, со сдвинутой, как всегда, на затылок шляпой, и улыбался.

— Не будешь ехать на подножке, *mon ami*,— сказал он, вынимая изо рта сигарету.— Ворон постарается найти для тебя место в купе.

— Ты всегда обо всем помнишь, старина.

Монтер рассмеялся.

— Нет, не всегда. Сегодня я сделал ошибку, которая могла оказаться роковой. Это скверно. В последнее время я что-то часто стал забывать о том, что в нашем деле нельзя делать промахов, если, конечно, мы хотим дожить до победы...

— Не будем об этом говорить.

— Я должен был тебя предупредить.

— Да.

Монтер взглянул на часы.

— Поезд опаздывает, черт бы его взял! Так хочется, чтоб все это было уже позади.

— Мне тоже, дружище.

— Через четыре часа будешь на месте.

— Да. Если не нарвусь на кого-нибудь по дороге.

Монтер кивнул головой и после минутного молчания сказал:

— А ты поменьше думай. Нашел время об этом думать.

— Должен признаться, временами я сыт всем этим по горло.

— Не только ты. Каждый из нас мечтает о том времени, когда наконец можно будет спокойно сесть на задницу.

Я улыбнулся — неожиданно мне пришло в голову все то, о чем я передумал, ожидая Монтера, меня развеселило его наивное желание, и вдруг я понял, что даже когда кончится война и оккупация, мы еще долго не сможем, как он выразился, «спокойно сесть на задницу». Период борьбы за независимость окончится — это верно, но одновременно начнется нечто несравненно более сложное: борьба за власть в стране, разделенной на атакующие друг друга лагери, борьба напряженная и

острая, в чем мы уже имели случай убедиться на собственной шкуре,— не будет оккупантов, но останутся люди из НСЗ, останемся мы, да еще кое-какие группировки, в зависимости от развития политической ситуации кто-то из нас — или они, или мы — должен будет сложить оружие, однако я знал, что ни та, ни другая сторона не уступит своих позиций без борьбы, а следовательно, пройдет еще немало времени, прежде чем исполнится желание Монтера, да и многих людей, мечтающих, наконец, покончить со всем этим и начать мирную жизнь.

Я смотрел на Монтера и видел, как на губах его появляется исполненная горечи улыбка.

— Уже во второй раз,—сказал он, —во второй раз в сочельник ждут меня дома жена и дети, а я провожу этот вечер на вокзале и совсем не уверен, увижу ли их еще когда-нибудь...

Я молча кивнул и бросил взгляд на запруженный людьми перрон, на присыпанные снегом пути, бегущие в сторону белых и холодных холмов, окружающих со всех сторон этот город, а потом — на усеянное звездами небо, чистое и гладкое, как ледышка. Мороз с каждой минутой крепчал, я поднял воротник и тщательно обмотал шарфом шею, на лацканы пальто лег иней, руки совершенно одеревенели, и мне пришлось поспешно их растирать, чтобы вернуть пальцам обычную гибкость.

— Теперь уже осталось недолго,— сказал Монтер.

— Что недолго?

— Скоро все это кончится.

— Безусловно. Поэтому и было бы очень глупо влипнуть именно сегодня...

Монтер наклонился ко мне и тихо добавил:

— Мы выбрали самое лучшее время. А это гарантия успеха.

— Да. До сих пор все сходило удачно..

— И сегодня сойдет.

Я пожал плечами.

— Впрочем, это не имеет никакого значения. Все равно дело надо довести до конца. Неизвестно только, зачем мы столько об этом болтаем.

Монтер снова улыбнулся.

— Мы просто устали, дружище. Наверно, поэтому.

Монтер был прав — мы устали, очень устали, все это длилось слишком долго, и мы не знали, сколько еще продлится, того и гляди, сами себя доконаем, нервы уже стали сдавать, еще немного, и я, наверно, пристрелил бы Ворона; его спас случай и то, что во мне теплилась какая-то надежда, что не все потеряно, но в следующий раз при подобных обстоятельствах нервы могут не вынести напряжения, и тогда действительно всему конец, поэтому следовало постоянно помнить об этом, я должен все время помнить, что в трудную минуту нас может выручить только спокойствие и присутствие духа.

Монтер вытащил пачку сигарет, я взял одну. Он зажег спичку и дал мне прикурить.

— Ну что за чертовщина с этим поездом?

— Целый день валил снег. Наверно, заносы. Застрял в сугробах и теперь еле ползет.

— А время летит.

— Летит. И нас в любую минуту могут накрыть.

— Сегодня облавы не будет.

— Ты в этом убежден?

— Есть сведения из верного источника.

— А Волк?

— Что Волк?

— Если он встретит нас на перроне, мы засыпались.

— Мои ребята не спускают с него глаз. Если он вздумает выйти на перрон, нас предупредят.

— А тут даже негде спрятаться.

— Не волнуйся, Хмурый. Не так уж он опасен, чтобы нам от него прятаться.

— И все же. Он ведь стрелял в тебя.

— Сегодня не осмелится.

— Он может натравить на нас полицию.

— Сегодня это исключено. Он так пьян, что света божьего не видит. А если даже и выползет на перрон, все равно не заметит нас в такой толчее.

— Ладно. В принципе это не имеет значения. Так или иначе придется до прихода поезда торчать здесь...

— Да, черт побери! Это верно.

Я неожиданно расхохотался, Монтер с беспокойством взглянул на меня:

— Что тебя так рассмешило?

— Знаешь, мне пришло в голову, что ведь я вполне мог оказаться на месте Волка, вот это меня и рассмешило.

— Да брось ты!

— Ты считаешь, что это невозможно?

— Конечно.

— Глубоко ошибаешься, друг.

— Не болтай глупостей.

— Но ведь я вполне мог оказаться у них.

— И ты работал бы с этими негодяями?

— Я ведь ничего о них не знал.

— Все равно в конце концов ты бы сообразил, с кем имеешь дело.

— Это верно.

— Тогда не о чем и говорить.

— Ты думаешь?

— Ну ясно, раз ты с нами, а не с ними, какой же смысл говорить об этом!

Мы разговаривали все время полушепотом — ни время, ни место не способствовали свободному обмену мыслей, тем не менее из того, что сказал Монтер, я мог сделать вывод, что мои сомнения ему совершенно чужды, он просто считал невозможным, чтобы я оказался в чужом лагере, а ко всем моим предположениям относился с юмором, впрочем, не таким уж добродушным, и я понял, что если бы вдруг открыл ему все то, о чем так часто думал, что казалось мне запутанным и туманным и что я с таким трудом пытался уяснить для себя, Монтер скорее всего счел бы меня чудаком, человеком сложным и непонятным, резко отличающимся от всех до сих пор известных ему людей, совершенно не способным воспринять самые простые и очевидные истины,— в этом не было ничего удивительного, у нас была общая цель, но шли мы к ней разными путями. У Монтера было уже то преимущество, что он был на несколько лет старше меня, начал свою сознательную жизнь в другое время и в совершенно иных условиях, чуть ли не с детских лет принимал участие в революционном движении. Тем самым судьба уберегла его от ловушек, в которые я так легко мог угодить по неведению, из-за плохого знания действительности и слабых с ней реальных связей — ведь до войны я жил вдали от людей, среди книг, красок и полотен, уже созданных мною и тех, что мне еще предстояло создать, в то время для меня существовал лишь мир собственной безудержной фантазии и я пребывал в каком-то полусне. Меня разбудили и вернули к реальной жизни отзвуки ружейных выстрелов, я увидел на улице окровавленных старцев, над которыми измывались с циничным хладнокровием; а однажды толстый фельдфе-

бель в мундире *feldgrau* ударил меня по лицу и столкнул с тротуара на мостовую — и я в первый раз испытал всю горечь унижения; впрочем, это было лишь первое звено в длинной цепи унижений, первая капля в чаше, которая переполнилась так быстро, что вскоре я почувствовал в себе бешенство раба, жаждущего расплаты со своим поработителем, а осознав это, готов был на любой шаг, лишь бы снова почувствовать вкус свободы, отстоять свое человеческое достоинство, непрестанно подвергаемое столь тяжким испытаниям.

Мне никогда не удавалось поговорить об этом с Монтером, обстановка, в которой проходили наши довольно частые встречи, не благоприятствовала размышлениям о сложности человеческих судеб. Мы не могли даже поговорить о том, что испытали и пережили вместе, наши встречи всегда протекали в атмосфере сосредоточенности и напряженного ожидания, мы всегда находились в преддверии событий, хода которых ни я, ни он не могли предугадать, все наши разговоры в конце концов сводились к сухому обмену чисто деловой информацией.

Монтер нетерпеливо поглядывал то на висевшие над моей головой часы, то на двери вокзала, откуда непрерывным потоком шли все новые и новые пассажиры. И вдруг оба мы одновременно услышали доносившийся из-за массива белых холмов гудок паровоза, пока еще далекий и приглушенный, а потом в морозной тишине гулко разнеслось и глухое громыхание колес.

Толпа на перроне заволновалась, в зале ожидания послышались тревожные звонки, а над нами, под сводами перрона, захрипели мегафоны и тяжелый дребезжащий голос произнес:

— *Achtung! Achtung! Der Zug nach Krakau läuft gerade ein, es ist verboten vor der Abfahrt im Speisewagen Platz zu nehmen. Achtung! Achtung!..*[1]

Я взглянул на железнодорожное полотно — поезд с грохотом въезжал на станционные пути и мчался к перрону, на котором стояли мы с Монтером; пассажиры хватали вещи и пробирались на самый край перрона, чтобы занять места поудобнее. Вот показалась груженная мешками с песком платформа, а следом за ней и паровоз, мелькнул почтовый вагон, и наконец поезд остановился, пронзительно скрежеща тормозами.

— Идем! — крикнул Монтер.— Следи за Вороном. Он будет стоять в вагоне у окна.

— Ладно, буду следить!

В общей сутолоке бросившихся к вагонам людей мы медленно проследовали в конец перрона, толкучка создалась невообразимая, в одно мгновенье все входы в купе были забиты сваленными тут же, у самых дверей, чемоданами и узлами, мужчины, не обремененные багажом, лезли в окна, вскакивали на буфера, чтобы оказаться поближе к подножкам, перебирались на другую сторону поезда, откуда легче было проникнуть в тамбур; у вагона, к которому мы как раз подошли, придавили какую-то женщину, и ее пронзительный крик прозвучал так отчаянно, что толпа на мгновение притихла, но в следующую же секунду шум разразился с еще большей силой — чтобы услышать друг друга, приходилось выкрикивать каждое слово. Некоторое время я следовал за Монтером и внимательно вглядывался в окна купе, мимо которых мы пробирались, чтобы не прозевать Ворона, но все безуспешно; мы добрались уже чуть ли не до середины поезда, где находился вагон-ресторан и два почти совсем пустых вагона первого класса, к которым никто даже не пытался приблизиться,— на дверях этих вагонов красовались белые таблички с четко выведенной черным лаком надписью «*Nur für*

[1] Внимание! Внимание! Поезд следует до станции Краков. До отправления поезда запрещается занимать места в вагоне-ресторане. Внимание! Внимание!.. *(Нем.)*

Deutsche—Nur für Deutsche—Nur für Deutsche» [1], за ними снова тянулась длинная вереница серых и разболтанных вагонов.

Монтер остановился и, пытаясь перекричать толпу, скомандовал:

— Подожди здесь! Нет смысла таскаться с чемоданом по перрону. Как только найду Ворона, сразу вернусь!

— Поторопись! Мы можем опоздать.

— Будь спокоен. У нас еще уйма времени. Паровоз набирает воду, так что успеем.

— Ладно. Буду ждать тебя здесь.

Монтер ринулся чуть ли не бегом, и я тут же потерял его из виду. Чемодан был чертовски тяжелый, я поставил его на перрон и с тревогой глянул в ту сторону, куда должны были подать паровоз, но нигде не заметил красной фуражки начальника станции, видно, до отъезда и в самом деле оставалось еще порядочно времени. Несколько успокоившись, я повернул голову и взглянул на вагон, перед которым стоял,— все его окна были закрыты, за исключением одного, в котором я увидел офицера вермахта; он стоял, высунувшись из окна, в накинутом на плечи пальто и, опираясь локтями на опущенную раму, с интересом наблюдал за бурлившей на перроне толпой. Когда я увидел его лицо, на мгновение обращенное в мою сторону, меня охватило странное, похожее на ревность чувство; впрочем, то была не ревность, а нечто совсем другое, я подумал, что если бог существует, то он дал этим людям такие лица только за тем, чтобы они демонстрировали их всем покоренным и истерзанным народам Европы,— у него было исключительно красивое лицо, к тому же удивительно мужественное и серьезное, и при этом совершенно лишенное той холодности и презрительного высокомерия, каким офицеры оккупационных войск так охотно перед нами щеголяли. Майор, которого я так упорно рассматривал, видимо, почувствовал мой взгляд и еще раз посмотрел в мою сторону. Я тотчас отвернулся, ибо по опыту знал, что это могло вызвать самую неожиданную реакцию — нам, рабам, не разрешалось слишком долго смотреть в глаза нашим поработителям, это могло плохо кончиться. Тут я услышал окрик Монтера — он бежал ко мне по перрону — и, схватив чемодан, двинулся ему навстречу.

Вдруг толпа заволновалась, среди пассажиров началась дикая паника, в первый момент я даже не мог понять, что случилось, мне пришлось остановиться, чтобы не потерять из виду Монтера, но как только схлынула первая волна бегущих, услышал лай полицейских собак и гортанные возгласы жандармов, окруживших перроны и всю территорию вокзала. Я понял, что происходит, и, с отчаянием оглядевшись вокруг, увидел вдалеке людей Монтера, пробиравшихся в мою сторону в обезумевшей от страха толпе, увидел их побледневшие и встревоженные лица; протиснувшись сквозь толпу, ребята остановились неподалеку от того места, где стоял я, у полотна, на другой стороне перрона, но ничем не могли мне помочь, положение казалось безнадежным, похоже было, что мы все попались — Монтер, я и эти парни. Полиции на вокзале становилось все больше и больше, теперь уже охранялся каждый проход, а так как я торчал на месте, меня непрестанно толкали бежавшие в разные стороны пассажиры; я искал взглядом стройную фигуру Монтера, вот он появился — выбравшись из толпы, запыхавшийся и бледный от волнения, он устремился ко мне и быстро произнес:

— Пошли скорее, Хмурый. Ворон уже в купе. Мы должны во что бы то ни стало избавиться от этого груза. Если заставят раскрыть чемодан — все пропало.

— Сегодня не должно было быть облавы! — бросил я со злостью.— Ведь ты сказал, что сегодня облавы не будет.

[1] Только для немцев *(нем.)*.

Монтер беспомощно пожал плечами.

— У меня была точная информация. Но с ними никогда ничего неизвестно.

Он взял у меня из рук чемодан и решительным шагом двинулся вперед, я последовал за ним, но не прошли мы и нескольких метров, как я заметил, что жандармские патрули проверяют и багаж находившихся на перроне пассажиров, задерживая тех, кто пытался прорваться за кордон полицейских. Я схватил Монтера за плечо:

— Послушай, друг. Здесь нам не пройти, надо поискать другой путь.

Монтер посмотрел на меня рассеянным взглядом:

— Где? Через минуту то же самое будет и с другой стороны. Они окружили весь вокзал.

Однако мы вернулись и снова очутились в той части перрона, где стояли почти пустые вагоны с белыми табличками, на которых виднелась надпись *«Nur für Deutsche — Nur für Deutsche — Nur für Deutsche»*.

— Постой! — проговорил я быстро.— У меня есть идея. Я знаю, что надо сделать.

Монтер опустил чемодан на землю, я снова заметил среди мечущихся в панике пассажиров его ребят, непрерывно сновавших невдалеке от нас, заглянул в открытое окно вагона, в котором видел офицера вермахта, но сейчас там было пусто, я решил, что майор, наверно, вышел на этой станции, но тут же увидел его у газетного киоска. Он повернулся и с пачкой иллюстрированных журналов под мышкой направился к вагону; наши взгляды встретились, и на лице майора мелькнула улыбка — похоже было, что паника на вокзале очень забавляла его,— я ответил ему многозначительной улыбкой и кивком головы дал понять, что знаю, в чем дело,— мне пришла в голову мысль, что он принял меня за проезжего немца, и на душе стало сразу легче. Майор вошел в вагон, схлынули последние пассажиры, и перед нами оказалось пустое пространство перрона, по которому медленно направлялся в нашу сторону жандармский патруль из трех человек. Я взглянул на Монтера — он был спокоен, обе руки держал в карманах пальто, я знал, что в этот момент он так же, как и я и как его парни, которые, готовые ко всему, стояли поблизости, лихорадочно сжимает рукоятку пистолета. По всей вероятности, если жандармы подойдут к нам и прикажут открыть чемодан, Монтер выстрелит первым, теперь мы уже не могли двинуться с места, это вызвало бы еще большее подозрение и привлекло бы к нам особое внимание полиции. Жандармов отделяло от нас всего каких-нибудь тридцать метров, они смотрели на нас — тогда я взял чемодан и протянул руку Монтеру.

Монтер нервно заморгал, он сразу догадался, что я намерен предпринять, лицо его дрогнуло, но он спокойно протянул мне руку.

— То, что ты хочешь сделать,— очень рискованно.

— Подскажи мне лучший выход.

— Проклятие!

— Если я не войду в этот вагон, нас всех схватят.

— Да.

— Попробую. Может, удастся. Пока что иного выхода не вижу.

Жандармы находились уже метрах в двадцати от нас, с каждой секундой они приближались все ближе и ближе, однако нам следовало подождать, пока они подойдут еще ближе; в этой обстановке следовало проявлять полное спокойствие и хладнокровие — задача нелегкая, но тем не менее никак нельзя было обнаружить, как важно для нас избежать этой встречи, поэтому мы ни в коем случае не должны были ни спешить, ни нервничать. Меня била лихорадка, и когда я снова обра-

тился к Монтеру, мой голос так прерывался и дрожал от волнения, что я едва мог говорить.

— Когда ты едешь в Берлин?

— Завтра.

— Праздник проведешь с семьей?

— Да.

— Жаль, что мы не можем поехать вместе.

— Я тоже об этом жалею.

— Надеюсь, мы еще встретимся.

— Позвони мне завтра.

— Но ты ведь должен будешь уехать.

— Да, завтра вечером.

— Я позвоню в «Какаду».

— Во сколько?

— Давай договоримся.

— Лучше утром. Скажем, часов в одиннадцать.

— Отлично.

— Я буду ждать звонка. В это время я обычно всегда дома.

— Прекрасно. Я непременно позвоню, лишь бы поскорее соединили.

— Но ведь завтра праздник.

— Я, может быть, буду занят...

— Понимаю. Но если удастся, все-таки позвони.

— Да, да, непременно позвоню.

Я взглянул на вагон, в который должен был сесть. В открытом окне снова показался стройный офицер; он посмотрел на меня, потом бросил взгляд на приближающихся жандармов и улыбнулся, видимо, решил, что я немец,— ну что ж, тем лучше, жандармы уже были в нескольких шагах от нас; Монтер внешне был спокоен, и только по глазам его было видно, что нервы у него напряжены до предела, он отпустил мою руку и громко сказал:

— Передай привет Монике. И скажи ей, что Вилли прислал мне письмо.

— Да. Спасибо. Я передам ей от тебя привет.

Жандармы уже почти подошли к нам, когда Монтер щелкнул каблуками и попрощался со мной, выбросив руку вперед; они медленно проходили мимо нас, и я очень отчетливо видел их каменные лица, их руки, сжимавшие приклады автоматов; они миновали нас, я взял чемодан и, садясь в вагон, все еще слышал нестерпимый, режущий ухо ритмичный топот их тяжелых, подкованных гвоздями сапог; не поворачивая головы, я одним рывком втащил в вагон свой чемодан и оказался в коридоре рядом с улыбающимся майором, который вежливо открывал передо мною дверь в купе.

IV

Сочельник: в поезде

Итак, мне еще раз повезло в этой странной игре, где наименьшей ставкой была чужая жизнь, а наибольшей — собственная. Не раз я уже разыгрывал партию в свою пользу, прибегая даже к мистификации, от которой никогда не отказывался, если меня к этому вынуждал противник и создавшееся положение, но всегда отдавал себе отчет в том, что игра только началась и, в зависимости от обстоятельств и удачи, либо я ее выиграю, либо, что также не было исключено, вообще не встану из-за стола, ибо мои партнеры не любили проигрывать, а если вдобавок

они вовремя сообразят, что я игрок, которого разыскивают все полицейские службы страны, то нелегко мне будет бросить эту недоигранную партию, инициатором которой был я сам.

Чемодан с грузом покоился на полке в купе майора вермахта, а я ехал в неосвещенном, чудовищно набитом людьми вагоне третьего класса, где почти невозможно было дышать от спертого воздуха, но зато давно не испытывал такого облегчения, такого чувства полной безопасности. Я был всего лишь обыкновенным путником без вещей, новую эту роль я принял с радостью, нервы успокоились, и впереди у меня было достаточно времени, чтобы не спеша закурить и обдумать план дальнейших действий. Наконец, после долгого раздумья я пришел к выводу, что правильнее всего будет на ближайшей же остановке пойти за чемоданом и снова вернуться сюда, не следовало оставлять груз в немецком вагоне; хотя это было наиболее подходящее и надежное для него место, но мое отсутствие могло в конечном счете вызвать беспокойство и вполне обоснованные подозрения у едущего в одиночестве офицера — нет, мне нельзя было так рисковать.

Поезд уже с час был в пути, когда я наконец решился осуществить свой план. До ближайшей остановки было еще около получаса езды, в моем распоряжении оставалось не так уж много времени; я осторожно открыл дверь вопреки предупреждениям и уговорам спутников, вышел из купе и стал медленно пробираться по обледеневшим подножкам в сторону вагона первого класса. Другой возможности у меня не было, поезд состоял из очень старых вагонов, внутренних переходов не существовало, зато вдоль всех вагонов шли подножки, и по ним можно было пройти весь состав в любом направлении; я знал об этом, и в другое время года такая вылазка не представляла бы для меня особого труда, но сейчас стоял мороз, резкий северный ветер буквально сбивал с ног, вдобавок ко всему поднялась настоящая вьюга, поэтому не успел я добраться до конца вагона, как уже начал жалеть о предпринятой попытке — риск был слишком велик,— тем не менее я должен был любой ценой забрать груз из-под опеки майора и еще до остановки поезда на ближайшей станции вернуться с чемоданом в купе, в котором ехал до сих пор. Я думал об этом и еще о множестве других дел, а ледяной ветер хлестал меня по лицу крупинками слипшегося снега с такой силой, что я вынужден был закрыть глаза и спрятать лицо в воротник пальто; так я довольно долго ехал, не двигаясь с места и уцепившись за железные поручни двери, а когда ветер немного стих и с крыши вагона перестал сыпать снег, снова осторожно двинулся вперед, тщательно ощупывая ногой каждую обледеневшую и скользкую подножку, по которой должен был перебираться к очередному вагону. Любое неосторожное движение могло привести к гибели, я пробрался всего лишь вдоль двух вагонов, когда сверху на меня свалилась такая куча снега, что мне пришлось вторично остановиться, снег совсем засыпал мне глаза, а поезд, стуча колесами, мчался вперед, словно обезумев. Когда же, наконец, я смог что-то разглядеть, то увидел, что мы проезжаем по совершенно безлюдной местности, среди белых гор и карликовых деревьев, бесшумно уплывавших назад; и мне вдруг почудилось, что все это уже когда-то со мной было, что однажды суровой вьюжной ночью я уже ехал так на ступеньках вагона, но самым странным было то, что мною вдруг овладела мысль, что все, что я делаю,— ужасная бессмыслица, и сам я показался себе никчемным, слабым и беспомощным, ведь я мог погибнуть из-за одного неосторожного шага; и тут, когда я подумал об этом, меня охватил такой панический страх, что долгое время я был не в состоянии сдвинуться с места, но в конце концов все же превозмог себя и снова медленно двинулся вперед.

Еще немного — и я вернулся бы обратно, хотя был уже близок к

цели; дальнейший путь с каждой минутой становился все труднее и труднее, усилие, которое мне пришлось сделать, чтобы преодолеть последний отрезок пути, было поистине нечеловеческим. Я добрался до места, где снег на подножке превратился в груду льда, и всякий раз, когда я ставил на нее ногу, нога соскальзывала вниз, к мчавшейся в противоположную сторону земле, руки мои неимоверно устали, а ладони окоченели до такой степени, что временами я их совершенно не чувствовал; я был близок к полному отчаянию, двигаться вперед заставляла меня лишь мысль о том, что, бросив багаж без присмотра, я легко могу потерять его совсем. Ничего не оставалось, как снова и снова ставить ногу на злополучную подножку; я то чертыхался, то стонал от огромного напряжения, но в конце концов мне все же удалось преодолеть и это препятствие — всю длину покрытой льдом ступеньки я прополз на коленях, судорожно вцепившись руками в поручни. Наконец я достиг цели, открыл дверь и буквально вполз в тамбур вагона; от усталости у меня дрожали колени, и я вынужден был опереться спиной о стену, мне казалось, что иначе я упаду.

Я вынул пачку сигарет, закурил, переложил пистолет из пиджака во внутренний карман пальто и долго еще стоял в тамбуре, лихорадочно растирая окоченевшие руки. А когда, наконец, пальцы согрелись, снял с правой руки перчатку и, зажав в ладони пистолет, осторожно вошел в купе. Чемодан лежал там, где я его положил. Успокоившись, я взглянул на майора, который сидел возле окна на мягком обитом зеленой кожей сиденье, и в синеватом свете затемненной лампочки увидел его красивое лицо и внимательно наблюдавшие за мной глаза.

— Ну, до сих пор все шло как нельзя лучше,— неожиданно произнес майор на чистейшем польском языке.— Но боюсь, что удача может в конце концов изменить и вам. Задумывались ли вы над этим?

Я не сразу нашелся, что ответить, слишком уж все было неожиданно, меня поразила уверенность, с которой этот человек обратился ко мне,— очевидно, он был убежден, что я поляк; я стоял, не двигаясь с места, пристально всматриваясь в офицера, который так же, как и я, держал руку в кармане, и вдруг мне показалось, что сквозь сукно шинели я отчетливо различаю очертания направленного на меня пистолета; я понимал, что в любой момент он может выстрелить, и поэтому ждал, ни на секунду не отрывая глаз от его лица с лихорадочно поблескивающими глазами; в напряженной тишине отчетливо слышался все нарастающий шум нашего прерывистого дыхания, но так как я все еще молчал, первым заговорил майор:

— Прошу вас, садитесь. И, пожалуйста, только без глупостей,— сказал он с оттенком вежливой иронии в голосе.— Это может плохо для вас кончиться. Не думайте, что меня можно захватить врасплох...

Не поворачивая головы, я медленно притворил за собою дверь и спросил с плохо разыгранным удивлением:

— *Gestatten Sie mir die Frage nach...*[1]

— О, давайте прекратим эту комедию,— прервал меня офицер на середине фразы.— Я знаю, кто вы. Должен сказать вам, что мне пришлось довольно долго ждать вашего возвращения. В какой-то момент я даже подумал, что вы уже не придете, но, оказывается, ошибся...

Я все еще стоял у двери со странным чувством замешательства и растерянности, мысли мои были заняты лихорадочным поиском выхода из положения, в котором я очутился, но ни одно из приходивших в голову решений не казалось достаточно надежным; надо просто тянуть время, решил я, ведь у меня не было даже возможности вытащить из кармана пистолет, так как этот человек ни на мгновение не упускал меня из виду — одно неосторожное движение, и он выстрелит первым; мне при-

[1] Позвольте мне спросить о... *(нем.)*.

ходилось быть все время начеку, не то он непременно продырявил бы меня на какую-то долю секунды раньше, чем я успел бы выстрелить в него, его позиция была намного лучше моей, к тому же затевать здесь стрельбу было полной нелепостью, тем более что в других купе, вероятно, тоже сидели военные и выстрел сразу поднял бы их на ноги.

— Сядьте, наконец. И выньте руки из карманов.

Я промолчал, потом, после недолгого раздумья, не спеша сказал:

— Да. Оставим эту комедию. Вы правы, хотя во всем этом деле есть одно «но». Мы оба положим руки на стол или эта встреча в самом деле плохо кончится, но для нас обоих...

Офицер хрипло рассмеялся и после недолгого колебания вытащил из карманов обе руки.

— Послушайте! То, что вы делаете, не имеет никакого смысла. Так или иначе — в конце концов вы все равно попадетесь.

— Все может быть. Я вовсе не исключаю такой возможности.

Я вытащил из кармана пистолет и закрыл дверь купе на защелку.

— Не будете же вы стрелять в меня? Слишком много шума. А самое позднее через пятнадцать минут поезд прибудет на станцию и здесь наверняка появятся люди, дальнейшее путешествие с которыми для вас будет невозможным,— сказал майор.

— В это купе уже никто больше не войдет.

— Признаться, я не очень хорошо вас понимаю.

— Но это же так просто.

— Что?

— Вы позаботитесь о том, чтобы сюда никто не вошел.

— Послушайте, не слишком ли многого вы от меня хотите?

— Не думаю. В моем положении, пожалуй, любое требование достаточно обосновано. Верно?

— Но я ведь никому не могу силой помешать войти сюда!

— Конечно. Вы должны для этого что-нибудь придумать.

— Зачем?

— Не стройте из себя идиота. Вы хорошо знаете, о чем идет речь. Уже сейчас это купе тесно для двоих.

Майор задумчиво кивнул головой и сказал:

— Согласен. Один пассажир в этом купе лишний.

— Я должен доехать до места назначения.

— Сомневаюсь, удастся ли вам это.

— Надеюсь, что вы мне в этом поможете.

Майор высоко поднял брови с выражением искреннего удивления и внимательно посмотрел на меня, словно бы хотел проверить, не шучу ли я; через мгновение он расхохотался с удивительной в подобной ситуации непринужденностью — вся эта история явно начинала его забавлять — и как бы с оттенком дружелюбной иронии заявил:

— Это действительно начинает быть интересным. Но, ради бога, молодой человек, не пугайте меня по крайней мере револьвером! Мы же еще в начале нашей необыкновенной встречи договорились, что оба положим руки на стол. Однако вы не держите слова.

— Мое положение хуже вашего. Пистолет в моих руках, пожалуй, единственный аргумент, который может убедить вас в необходимости создать мне приемлемые для дальнейшего путешествия условия.

— А если я скажу «нет»?

— Вам надоела жизнь?

— Не хотите же вы сказать, что будете в меня стрелять?

— А почему бы нет? В моем положении терять нечего.

— А я не верю, что вы это сделаете. Думаю, что не так легко убить человека, не имея для этого основания. До сих пор я ни в чем перед вами не провинился и к тому же сейчас совершенно беззащитен.

— Ох, уверяю вас, у меня найдутся достаточно веские основания, чтобы убить вас, зато вам намного труднее будет доказать, что вы должны жить, что ваше существование в этой стране обязательно и необходимо.

— То, что вы говорите, жестоко.

— Быть может. Однако виноват в этом не я, а время, в которое мы живем.

— Понимаю. В вашем представлении я человек, заранее обреченный на смерть.

— Так же, как и я. Мы в одинаковом положении.

— Однако вы намереваетесь меня убить.

— Если вы не проявите благоразумия, ни я, ни вы не доберемся живыми к месту назначения.

— Мы начинаем угрожать?

— Нет. Это не в моих правилах. Я только предупреждаю. Если я окажусь в безвыходном положении, я никого не пощажу, а вас тем более...

Он не ответил. Я внимательно смотрел ему в лицо: майор сидел все так же спокойно и с той же иронической улыбкой. Я ждал его ответа, хотя вовсе не рассчитывал на силу того крайнего аргумента, каким могло оказаться в моих руках оружие, скорее был убежден, что через мгновение он рассмеется мне прямо в лицо, чтобы потом сказать «нет» все с той же сдержанной и вместе с тем вежливой непринужденностью, столь характерной для всего его поведения, и умышленно затягивал эту игру, чтобы иметь в резерве хоть немного времени. Я бросил быстрый взгляд на часы: минут через десять должна быть первая остановка, и я решил, как только поезд начнет притормаживать, выпрыгнуть с чемоданом из вагона, другого выхода у меня не было, не мог же я идти на дальнейший риск и продолжать путешествие, которое и так осложнилось до крайности. Решив это, я сразу почувствовал себя уверенно и спокойно, однако по-прежнему ждал ответа майора, мне было интересно, к каким аргументам он прибегнет, мотивируя свой отказ. Вдруг в коридоре послышался стук подкованных сапог, какой-то мужчина приближался к нашему купе, майор поднял голову, он смотрел на меня серьезно и уже без улыбки, мы оба внимательно прислушивались к доносившимся шагам, а когда они удалились, оба вздохнули с видимым облегчением. Окно купе, выходящее в коридор, было плотно задернуто занавеской, поэтому из коридора никто не мог бы увидеть, что делается внутри.

— Итак?

Майор развел руками, улыбнулся и, подумав, сказал:

— Я вам помогу. Разумеется, в пределах своих возможностей.

— Большего я и не требую.

— Вы намерены все время стоять у двери?

— Нет. У нас впереди еще два часа езды. И две остановки. К счастью, мы едем экспрессом.

Майор тихо рассмеялся, взял со столика пачку сигарет и спросил:

— Вы разрешите мне закурить?

— Пожалуйста.

— Благодарю вас.

— Это вас очень смешит?

— О, вы даже не можете себе представить, до какой степени,— признался он с оживлением и протянул мне сигареты.— Должен сказать, что из-за вас мне пришлось пережить сегодня несколько ужасных минут. Я сначала подумал, что в чемодане спрятана бомба с часовым механизмом.

Я взял у него сигарету, но когда он протянул мне зажигалку, у

меня мелькнула мысль, что и в этом движении, исполненном непринужденной вежливости, может таиться подвох, поэтому я взял ее у него из рук и прикурил, ни на мгновение не спуская глаз с его лица.

— Теперь вы, конечно, знаете, что находится в чемодане?

— Да. Но сначала я думал, что в нем скрыта бомба с часовым механизмом.

— Вы заглянули в чемодан?

— К сожалению,— кротко признался он.— Но вам должно быть понятно мое любопытство и беспокойство? Я опасался, что этот чемодан взорвется у меня над головой.

Он закрыл глаза и молча курил, его красивое лицо дышало спокойствием, он походил на человека, который замечтался. Спустя минуту, не открывая глаз, он задумчиво произнес:

— Нет, вы, поляки, в самом деле неисправимы. Иногда у меня складывается впечатление, что все вы страдаете каким-то коллективным комплексом борьбы и смерти. Для вас на свете нет ничего, что было бы соизмеримо со смертью. Вы ничто так не цените, как смерть. Повсюду ищете ее и в конце концов находите. И если что-то и любите по-настоящему, так это опасность, а умение умирать вы первыми в мире возвели в ранг высокого искусства...

Он открыл глаза и посмотрел на меня выжидающе, будто надеясь, что я подхвачу предложенную тему, однако я молчал и, словно зверь, загнанный в западню и ищущий из нее выхода, внимательно и настороженно следил за каждым его движением.

Меня взволновало неожиданное решение майора, его согласие помочь захватило меня врасплох, впрочем, я сразу же догадался, что не страх смерти руководил им, когда он давал свое согласие. В ходе короткого обмена суждениями я составил вполне определенное мнение о том, что передо мною игрок высокого класса, игрок, который поражал своим ничем не нарушаемым спокойствием, исключительным самообладанием и вместе с тем полной непринужденностью. Тут меня вдруг осенило: настоящая игра только начинается, ибо ни он, ни я не могли удовлетвориться тем двусмысленным положением, в котором мы все еще находились; по крайней мере я вовсе не собирался позволить ему лишить меня всего того, чего мне удалось добиться с таким риском, при столь запутанном стечении обстоятельств, отнюдь не благоприятных для меня с самого начала пути.

Я понимал всю трудность своего положения и полностью сознавал, какие последствия могла повлечь за собою эта игра, инициатором которой был я сам, хоть и не собирался, разумеется, доводить ее до конца, но вот возникли новые осложнения, не дающие мне возможности выключиться из нее даже при помощи крайних средств: я оказался разоблаченным, моя профессия была раскрыта, и это меня унижало, хотя вместе с тем я отлично понимал, что другого выхода у меня не было и что, если бы я не сел в это купе, ни мне, ни Монтеру и его парням не удалось бы уклониться от столкновения с жандармами, результаты которого могли оказаться для нас роковыми. И, подумав обо всем этом всерьез, я почувствовал своего рода облегчение — хорошо еще, что все сложилось именно так, а не иначе. Я еще раз мог проверить себя перед лицом событий, развития которых не мог предвидеть, я опасался попасть в ловушку, но в данном положении мне не оставалось ничего другого, как согласиться на эту странную игру, полушутливый, полуиронический характер которой меня все больше заинтриговывал, и я решил отказаться от первоначального намерения покинуть купе, справедливо рассудив, что лучше держать противника под непрерывным контролем и хотя бы на некоторое время лишить его возможности предпринять против меня какие-нибудь враждебные действия.

— Кроме вас кто-нибудь знает о существовании этого груза?

Офицер поднял веки, посмотрел на меня серьезно и спокойно ответил:

— Нет. Я никому ничего не говорил.

— Почему?

— Вас это удивляет, верно? — спросил он с усмешкой.— Так вот, я не сделал этого, потому что мне было интересно проверить, как долго можно играть с огнем. Однако вы вернулись, и даже раньше, чем я предполагал. Независимо от того, как бы я себя ни вел в данном случае, так или иначе, вы все равно в конце концов попадетесь. Поэтому я решил сделать вид, что ни о чем не знаю, и ждать, что будет дальше. Согласитесь, что все это может оказаться весьма забавным.

— Да. Можно и так, хотя вы выбрали довольно опасный вид развлечения...

— Конечно. Я люблю такого рода развлечения...

— Понимаю. Но все равно вы поступили очень рискованно.

— Время покажет, кто из нас в большей опасности.

— Да.

— Не теряю надежды, что это приключение принесет мне известное удовлетворение.

— Это зависит от того, на что вы надеетесь и чего ждете от меня. Могу, однако, уже сейчас вас заверить, что даже если вы не будете достаточно разумны, я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы за время путешествия успели полностью насладиться моим обществом, хотя у вас, наверно, нет такого желания.

— Я сказал, что помогу вам.

— На это я и рассчитываю.

— Не исключено, однако, что возникнут обстоятельства, при которых даже моя помощь не окажется действенной.

— Я не стану требовать от вас ничего невозможного.

— Отлично.

Поезд замедлил бег, мы оба знали, что приближаемся к станции, я отошел от двери и стал у окна, прикрытого темной занавеской, потом чуть-чуть приоткрыл ее и, не выпуская из рук пистолета, выглянул.

Мы приближались к Енджееву; сперва я увидел костел и старый монастырь на окраине городка, а потом первые дома, казавшиеся угрюмыми и темными в снежной дымке. Поезд резко затормозил, и наш вагон остановился возле здания вокзала; пассажиров было немного, на открытой платформе я заметил нескольких полицейских, но они не двигались, и совсем непохоже было, чтобы поезд задержался здесь дольше обычного. К нашему вагону никто не подходил, на перроне маячили уже только одни полицейские, слышались голоса пассажиров и призывы железнодорожников, потом раздался треск захлопнувшихся дверей и гудок паровоза. Я с облегчением вздохнул и посмотрел на майора.

— Едем! Если так пойдет и дальше, боюсь, что у вас будет не слишком много оказий позабавиться на мой счет.

— Мы всего лишь на половине пути.

— Да, это верно.

— Так что может случиться еще много интересного.

— Не знаю, чего вы ждете от этого путешествия. Но думаю, что минувшие годы, война, которую вы сами развязали, уже доставила вам немало сильных впечатлений...

Майор пожал плечами и внимательно посмотрел на меня.

— Дело не в сильных впечатлениях. Вы, видно, все еще причисляете меня к той категории глупцов, которые забавляются тем, что могут убивать, бросать гранаты и целыми неделями торчать в окопах. Но это

не так. А если я испытывал за эти годы некоторое удовлетворение, то оно обусловлено чисто личными переживаниями и наблюдениями, которыми я не мог поделиться даже со своими земляками.

— Понимаю...

Я все смотрел в окно, мы снова мчались через белую пустыню, но пейзаж изменился, не было ни гор, ни лесов, лишь огромное пространство плоской, засыпанной снегом земли. Вдруг я почувствовал острую боль в предплечье, но, подумав, сообразил, что это реакция мускулов на те неимоверные усилия, которые я затратил, карабкаясь по ступенькам вагонов; если бы я был послабее и менее предусмотрительным, сейчас на мое тело падал бы уже снег, а спустя какое-то время путейцы нашли бы его окоченевшим, застывшим и никто никогда и не узнал бы правды ни обо мне, ни о том, как я погиб. Я думал об этом без всякого волнения, будто это вовсе и не касалось меня, и продолжал наблюдать за майором, который, удобно расположившись на обитом кожей диване, не двигался с места; я смотрел на него и вдруг с удивлением заметил, что первоначальная атмосфера враждебности куда-то исчезла, меня это, разумеется, весьма огорчило, я любил в такого рода обстоятельствах чувствовать глубокую ненависть противника, это облегчало мне борьбу, придавало уверенность действиям, наконец, способствовало тому, что я не испытывал угрызений совести, когда вынужден был убивать. Однако на сей раз произошло нечто такое, отчего я вдруг почувствовал себя внутренне разоруженным, и это не могло меня не беспокоить; к тому же я еще мучился мыслью, что мой противник с самого начала задал игре тот тон, который его устраивал, что было опасно, я должен был защищаться, и мне нельзя было обнаружить своих истинных чувств, я не смел показать, что согласен признать его временный перевес, и по-прежнему должен был держаться как хозяин положения, хотя с каждой минутой это становилось все труднее. Я отошел от окна и, вытянув перед собою ноги, уселся на мягком и удобном диване. Майор приглядывался ко мне с возрастающим интересом.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Сорок.

— Вы выглядите значительно моложе. Я дал бы вам года двадцать три, не больше.

— Я солгал. Мне двадцать четыре.

— Значит, я ошибся только на год.

— Это не имеет никакого значения.

— Вы полагаете, что годом больше или меньше в жизни человека ничего не значит?

— Этого я не говорил.

Майор рассмеялся.

— Все это очень смешно.

— Что именно?

— Вся ситуация в целом, наша необыкновенная встреча, наконец, путешествие в этом купе. Ведь, правда, смешно?

— Как кому.

— Мы скоро расстанемся.

— Наверно.

— Вы выходите в Кракове?

— Не знаю.

— Как, вы не знаете, куда едете?

— Знаю только, куда хотел бы приехать. А это не одно и то же.

Майор молча кивнул, потом как-то неопределенно махнул рукой — смысл этого жеста я так и не успел уловить,— снова закурил и, секунду подумав, спросил:

— Зачем вы все это делаете? Пожалуйста, ответьте мне...

Движением головы он указал на чемодан, лежавший на полке, и мне почудилось, что на лице его появилось выражение мучительного раздумья; он слегка наклонился в мою сторону, и на его гладком неподвижном лбу собрались поперечные морщины, однако в тот момент меня интересовали только его руки, белые, холеные руки, в которых чувствовалась скрытая сила. Глядя на них, я потянулся к шарфу, снял его с шеи и расстегнул пальто, мне неожиданно стало очень жарко.

— Итак?

— А зачем вы носите этот мундир, майор? — спросил я его со злостью.— И что вы ищете в этой стране?

— Идет война. Это, вероятно, все объясняет?

— Да. Идет война. Существует фронт. А мы — враги!

Лицо его сделалось серьезным, он непроизвольно откинулся назад и, опершись спиною о мягкую подушку сиденья, задумчиво взглянул на огонек горящей сигареты; потом произнес со смирением, тоном, в котором чувствовалась тоска:

— И все равно это не имеет никакого смысла. То, что вы делаете, не имеет смысла. Вы должны в конце концов понять, что в открытой борьбе с нами у вас нет никаких шансов. Вам нужно ждать. И только ждать. Самым большим вашим союзником является время. Вы так же, как и я, наверно, прекрасно понимаете, что теперь уже ждать осталось недолго. А подвергать себя опасности в канун освобождения просто нелепо.

— Мы оба в одинаковом положении. Смерть в равной мере угрожает как мне, так и вам, майор.

— Между нами все же есть некоторое различие.

— Можете об этом не напоминать. Мне это хорошо известно. Различие, о котором вы говорите, я не раз испытывал на себе, и к тому же весьма ощутимо. Уже самый факт, что я вынужден ехать в вагоне, снабженном надписью «*Nur für Deutsche*», достаточно унизителен, и если б не особое стечение обстоятельств, которые привели меня в это купе, я бы, вероятнее всего, отказался от сомнительного удовольствия ехать в вашем обществе.

Он медленно покачал головой и еще раз окинул меня внимательным взглядом, остановившимся в конце концов на дуле пистолета, который я по-прежнему не выпускал из рук.

— Вы меня не поняли,— спокойно произнес он монотонным голосом.— Говоря о существующих между нами различиях, я имел в виду совершенно другое. Я не шовинист и признаю право на независимость любого, даже самого маленького государства. Каждого народа. Войну я рассматриваю как страшный катаклизм, по отношению к которому чувствую себя совершенно беззащитным. Я ни в чем не могу ему противодействовать. Меня заставили надеть этот мундир и сунули в руки оружие, а потом отправили сюда. Моего мнения никто никогда не спрашивал. Никто не считался с моими взглядами, и я даже не пытался притворяться, что меня хоть в какой-то мере волнуют проблемы войны, чуждые моим глубочайшим убеждениям. И вот я живу, наблюдаю и со дня на день жду конца войны, которая мне всегда была настолько чужда, что я даже как бы вовсе не принимал в ней участия, за исключением, разумеется, тех случаев, когда речь шла о моей жизни и мне приходилось стрелять в защиту собственного, находящегося под угрозой существования.

— Зачем вы мне об этом говорите?

— О, не пугайтесь. У меня вовсе нет намерения исповедоваться перед вами.

— Догадываюсь.

— Так вот, короче говоря, я хотел лишь сказать вам, что всегда был против войны, но это не значит, что мне удалось полностью выключиться из орбиты ее жестоких и абсурдных проблем.

— Это досадно.

Он поднял голову, рассмеялся и с горечью, тихо сказал:

— Вы насмехаетесь надо мной. Мне кажется, вы ничего не понимаете.

— Может быть!

— Почему вы избегаете разговора со мной? — спросил он серьезно.— Вы не думаете, что это может быть любопытно? В нашем положении мы можем позволить себе быть искренними. Что касается меня, то я по крайней мере не собираюсь скрывать свои взгляды.

Я не знал, что ответить, и предпочитал не признаваться в том, что этот разговор чрезвычайно раздражает меня, рассеивает внимание, мешает думать, а в тот момент я больше всего нуждался в тишине и покое, чтобы сконцентрировать все силы, необходимые мне для преодоления этого пути, на котором ждали нас еще две остановки, не считая конечной станции. Давала о себе знать и огромная усталость после недавних испытаний, в тепле хорошо обогреваемого купе меня стала одолевать вялость и огромное желание уснуть, а время от времени охватывало также чувство отрешенности и неотвратимости всего происходящего — ведь я был совсем один, и никто не мог мне помочь; это чувство полного одиночества так меня угнетало, что я с трудом мог скрыть то, что со мной на самом деле творится, меня удерживал лишь стыд и опасения выглядеть слабее противника, который, казалось, только и ждал, когда я каким-нибудь неосмотрительным жестом выдам истинное состояние своих нервов, любая неосторожность могла меня погубить, и мне ничего не оставалось, как по-прежнему создавать видимость, что я хозяин положения и только сознание собственного превосходства позволяет мне идти на небольшие уступки.

— Вас очень интересуют мои взгляды? — спросил я.

— А вас это удивляет?

— Правду говоря, не очень, меньше, чем на первый взгляд может казаться. Признаюсь, этот случай совершенно особого рода, я бы сказал — даже исключительный. Поэтому я отлично понимаю ваше беспокойство и любопытство. Должен, однако, вас порадовать — я так же, как и вы, непрерывно думаю о том, как для нас обоих закончится вся эта история.

— Я не собираюсь вас провоцировать.

— Очень разумное решение,— сказал я с иронией.— Меня очень радует, что вы наконец пришли к такому выводу.

Майор снова легко и непринужденно рассмеялся, улыбка постепенно озарила все его лицо. Он заметил с выражением мягкой задумчивости:

— Все это не имеет смысла. Мир неизбежно идет к своей гибели. Если человечество не освободится из-под власти безумцев и не противопоставит себя их сумасшедшим намерениям, весь шар земной в ближайшее же время превратится в одно огромное кладбище.

— Это было бы еще не самое худшее. Если бы ваши прогнозы оправдались, не было бы по крайней мере ни победителей, ни побежденных. Кладбищу не присущи также классовые предрассудки. Согласитесь, было бы весьма забавно: вдруг огромные гробницы с надписью «*Nur für Deutsche*» или могильщики, которым нужно предъявить свидетельство об арийском происхождении предков покойника.

— У вас особое чувство юмора.

— Вы находите?

— На мой вкус, пожалуй, несколько страшноватое.

— Время, в которое мы живем, отнюдь не способствует безмятежным ассоциациям.

— Человек, однако, должен с этим бороться.

— Вы думаете, майор, что это возможно — заставить себя видеть проблемы мира в масштабах старых представлений? Сейчас, когда один человек нередко представляет для другого человека смертельную опасность?! Когда жизнь утратила всякую ценность! Когда смерть стала уделом всех людей! Нет ни часа, ни дня, чтобы мы не чувствовали угрозы собственному существованию. Во что превратили нас, людей, за эти несколько лет войны? В диких, затравленных животных, старающихся незаметно выскользнуть из расставленных на них силков. Мы живем в мире палачей и их жертв — тех, кто обречен на смерть и ждет исполнения приговора. Доказательств того, что это действительно так, не надо далеко искать. Достаточно взглянуть на нас обоих. Мы сидим в одном купе, разговариваем, делаем какие-то обезьяньи жесты, но ведь все это ужасно нелепо, когда знаешь, что в любую минуту я могу стать вашим палачом, а вы — моей жертвой, и наоборот, ибо мы оба обречены, хотя каждый из нас предпочел бы роль не жертвы, а палача.

Майор сидел, низко опустив голову.

Казалось, в полной сосредоточенности он размышляет о каких-то своих личных делах, но потом он выпрямился, поднял голову и посмотрел на меня.

— Теперь я знаю, почему вы это делаете! — сказал он тихо.

— Я не хочу терпеть унижений.

— Ага, значит, только это?

— Вы удивлены?

— Я думал, что ваша деятельность продиктована прежде всего патриотическими побуждениями.

— Извините, но это звучит слишком наивно. Сейчас уже всем известно, что патриотизм — понятие весьма относительное. Уверяю вас, что у нас в стране по меньшей мере процентов девяносто населения считают себя патриотами, но, раскрой я перед ними свои убеждения, половина из них была бы против меня.

— Следовательно, свобода на свой страх и риск?

— Я не могу жить с клеймом раба.

— Вы анархист?

— Нет.

— Это странно.

— Почему?

— Сначала вы говорите, что не являетесь патриотом, во всяком случае в общепринятом смысле этого слова, следовательно, свобода народа не основной мотив в той деятельности, которой вы заняты с риском для жизни, а потом заявляете, что вы не анархист; значит, не факт непризнания вами существующего в мире порядка стал основной причиной действий, которые в любой момент могут вас погубить. Таким образом, следует предположить, что существуют еще какие-то мотивы, которые заставили вас выбрать столь опасный и рискованный для вас вид бытия.

— Если выбирать из двух зол, то я предпочитаю быть палачом, а не жертвой, терпеливо ожидающей исполнения смертного приговора.

— Палачи тоже обречены на гибель.

— Парадоксально, не правда ли?

Майор кивнул головой, его голос, когда он снова заговорил, стал еще глуше и беззвучнее.

— Не знаю, чем вы занимались прежде и кто вы на самом деле.

Но если бы я был на вашем месте, если бы обстоятельства так сложились, что я не должен был бы носить этот мундир, один вид которого приводит в бешенство население всей Европы, я бы, вероятно, согласился на любую работу, даже работу каменотеса, лишь бы дожить до того дня, когда наконец кончится этот ад, это сверх всяких сил бесчеловечное время...

— Каменотесы тоже обречены на смерть.

— Ох, не надо преувеличивать. Есть же в конце концов какая-то группа людей, которые вне всяких подозрений у властей?

— Увы. Я знал двух каменотесов, которые были повешены только за то, что из склада каменоломни, где они работали, исчезло несколько килограммов динамита.

— Выходит, все под угрозой?

— Да.

— Действительно временами не хочется верить, что все это происходит на самом деле.

— Мир, в котором мы живем,— дом умалишенных.

— И несмотря на это, все идет своим чередом, словно в действительности ничего страшного не происходит.

— Конечно. История повторяется. Земля вращается вокруг Солнца. По-прежнему существует четыре времени года. В сутках насчитывается двадцать четыре часа, день сменяет ночь. Этого никто и ничто не в состоянии изменить. Земля кружилась вокруг Солнца даже тогда, когда инквизиция заставила Галилея отречься от своих утверждений о круговращении небесных тел.

Майор рассмеялся.

— Это очень смешное сопоставление.

— Вот именно! Оказывается, мы даже не разучились смеяться, хотя сейчас самый неподходящий для этого момент.

— Вы полагаете, что сейчас было бы более уместно читать молитвы и предаваться скорби по поводу своих прегрешений?

— Вы католик?

— Да.

— Тогда ваши сомнения мне не понятны. Вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы спасти хотя бы душу от вечных мук, раз уж тело обречено...

— Все в божьей власти. Миром управляет время. Каждому микробу и каждому человеку оно говорит: уйди, уйди навсегда. Что вы об этом думаете?

— Мы умираем каждый день.

— Это печально, не правда ли?

— Да, особенно, когда думаешь, что по улицам ходит так много красивых и дешевых женщин.

Майор достал сигареты.

— Закурите?

— Охотно.

— Трудно установить с вами контакт,— сказал он, протягивая руку, в которой держал пачку французских сигарет.— Вы искусно уклоняетесь от любой темы, которая мне кажется интересной, и обращаете все в шутку.

Я взял сигарету, мы закурили.

— Не могу я серьезно относиться к такой беседе,— сказал я.

— Почему?

— По многим вполне очевидным причинам.

— И потому также, что мы враги?

— Это тоже имеет значение.

— Вы уверены, что взаимопонимание между нами невозможно?

— Отчего же, но только в одном случае.

— Я уже сказал, что помогу вам.

— О, да. Я помню. Но я не это имел в виду.

— Что же в таком случае мешает нам свободно говорить друг с другом?

— Обстоятельства, в которых мы оба оказались.

— Представим себе, что мы оба палачи по профессии и совершенно случайно оказались в одном и том же купе,— начал майор с шутливыми искорками в глазах.— Мы уже довольно долго едем вместе, у нас было достаточно времени, чтобы придать своим лицам нужное выражение, словом, мало-помалу наладился разговор; сначала мы касаемся самых пустячных и ничего не значащих тем, обмениваемся наблюдениями о погоде, говорим о неудобствах, связанных с путешествием, наконец, кто-то из нас считает уместным представиться, мы представляемся друг другу, беседа становится более оживленной, и оказывается, что мы отлично понимаем друг друга; это для обоих несколько неожиданно, но в конце концов выясняется, что тут нет ничего особенного, ибо мы — представители одной и той же профессии и каждый по долгу службы каждодневно имеет дело со смертью. Нас безумно забавляет, что мы встретились в столь необычной обстановке, ведь не часто случается, чтобы два палача ехали в одном купе, и мы затеваем интересующую нас обоих дискуссию на профессиональные темы, а основной нитью наших размышлений являются проблемы, испокон веков волнующие человеческий разум: проблема смерти, которая восхищает нас всякий раз, когда мы выполняем свою работу, проблема времени, жестокий механизм которого столь хорошо нам известен, ибо по-настоящему только мы являемся свидетелями того особого мгновения, когда в человеке полностью стирается граница между сознанием существования и темным течением все уничтожающей смерти, необыкновенно интересная проблема человеческого достоинства, ибо мы знаем, как по-разному ведут себя наши жертвы перед лицом неотвратимой и неизбежной для них смерти — иногда они даже унижают нас своими жалкими попытками продлить хотя бы на минуту ту жизнь, которой так неумело, так расточительно и легкомысленно пользовались, что в конце концов оказались в наших цепких и твердых руках; но бывает также, что мы испытываем нечто вроде гордости, если нашей жертвой оказывается сильный человек, с иронической усмешкой наблюдающий за последними нашими приготовлениями, хотя смысл их для него совершенно очевиден, и случается, что нам даже порою жаль этого, обреченного на уничтожение человека, а иной раз нас мучают угрызения совести, словно мы убили брата. Но это, конечно, еще не все, наша профессия ставит перед нами и другие вопросы, существует целый ряд иных, столь же волнующих проблем,— например, выбор места и средств умерщвления, орудия, которыми мы охотнее всего пользуемся, методы, которые чаще всего применяем...

Он умолк, а я, ни на секунду не выпуская револьвера из рук, сидел напротив и испытующе смотрел в его лицо, находившееся как раз на уровне моего, глядел на его еле заметно шевелившиеся губы, когда он говорил своим безразличным и бесконечно усталым голосом; все мое внимание было сосредоточено на его губах, я внимательно следил за каждым, даже самым незначительным их движением на этом мертвенно-бледном лице, неподвижном, как все его тело, безвольно покоившееся на кожаном диване купе первого класса, искал хотя бы малейший след волнения в его глазах, следил за блеском зрачков, оживлявшим плавное течение этого монолога, плывущего словно ласковая и убаюкивающая волна; на мгновение я перенес взгляд на его руки, лелея слабую надежду, что, может быть, они выдадут его и что-нибудь про-

яснят — иногда руки бывают более выразительными, чем глаза, и легче ускользают из-под контроля их хозяина,— но и руки недвижимо покоились на его бедрах, как будто вовсе и не принадлежали этому телу, а когда я снова уставился в его лицо, офицер заговорил медленно и раздумчиво:

— Вы молчите? Почему? Может быть, полагаете, что не следует касаться вопросов, затрагивающих роль палача, роль жестокую и античеловечную, но ведь мы сами заговорили о ней, правда, отчасти принужденные к тому жестокостями войны. Согласен. Можем не говорить об этом. Хотя мужчины вообще-то охотнее всего рассуждают как раз о своих профессиональных делах. Однако мы можем принять и другой, не менее волнующий вариант дискуссии. Представим, например, что мы оба — неустанно преследуемые и обреченные на смерть люди, которым лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств удалось дожить до этой минуты. Что за великолепная тема, не правда ли? Мы— жертвы тупого тоталитаризма, для общества уже почти не существуем, но несмотря на это, а быть может именно поэтому, защищаемся изо всех сил, хотя уже совершенно изнурены такой борьбой. Все чаще нас охватывает разочарование и бессилие, вытекающее из чувства собственного одиночества в этом враждебном и отталкивающем мире, но несмотря ни на что, именно сейчас жизнь как бы приобретает для нас новые краски, время — новый ритм, каждое мгновение становится драгоценным, любая пора дня или ночи — бесконечно прекрасной, наши переживания делаются более острыми; мы похожи на смертельно больных людей, ожидающих дня, когда наконец прервется цепь их страданий; но мы не допускаем, чтобы хоть какая-то мелочь ускользнула из-под нашего контроля, мы ревниво относимся к каждому часу и даже в пустяках действуем с достойным удивления усердием, ибо непрестанно растет наше убеждение в том, что все, что мы делаем, может оказаться последним делом нашей жизни; мы ревнуем к каждой минуте, наши чувства обострены, мы замечаем вещи в их действительном измерении и форме, незаметной для других людей, которые в слепой заносчивости похотливых и здоровых животных совершенно не считаются с таинственной сущностью смерти, хотя она и дремлет в нас уже с момента нашего зачатия, когда мы находимся еще в лоне матери...

— Каждый верит в то, что он не умрет.

— Вот именно, но разве можно представить себе нечто более абсурдное? Нам ведь лучше известно, как все обстоит на самом деле, мы сталкиваемся со смертью каждый день, не говоря уже о том, что с самого рождения носим ее в себе и каждое мгновение приближает нас к окончательной развязке, наша судьба заранее предопределена, так или иначе мы должны в конце концов умереть; однако всякий раз, когда мы отдаем себе в этом отчет, нас охватывает тревога, что, быть может, та единственная жизнь, которая нам дана, будет попусту растрачена, лишена всякого очарования и смысла,— и мы начинаем лихорадочно искать для себя места на этой земле, какую-то цель, которая оправдала бы наше существование. И при этом, конечно, совершаем великое множество ошибок, на каждом шагу спотыкаемся о собственное несовершенство, попадаем в тупики, из которых, казалось бы, нет выхода, но в конце концов оказывается, что все это было необходимо, наш личный опыт суммируется и растет, и только тогда мы начинаем постепенно открывать истинный механизм мира, значительно более простой, чем это могло бы казаться на первый взгляд. Сначала нас это немножко пугает, но мы и с этим осваиваемся, а когда находим, наконец, отвечающий нашей жизни ритм, когда определяются наши убеждения и взгляды, в один прекрасный день нас вдруг ждет жестокое потрясение, ставящее перед лицом совершенно новых фактов и проблем, наши воззрения ока-

зываются под угрозой, мы начинаем их защищать, чтобы не очутиться в конфликте с собственной совестью, с собственным пониманием проблем мира, и попадаем в положение преследуемого зверя — обреченные на смерть, беспомощные и одинокие. Сколько же в связи со всем этим рождается проблем, как часто только тогда, перед лицом различных, неожиданных и трудных испытаний, с которыми нам приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно, мы получаем возможность по-настоящему убедиться, на что мы способны. Вы, конечно, по-прежнему молчите. А жаль. Тем самым вы налагаете на меня обязанность говорить за нас обоих, и это бесспорно значительно обедняет предложенную мною тему, ибо мои наблюдения и ваш нелегкий, но несомненно интересный опыт должны резко отличаться друг от друга. Что же мне остается делать? Придется вести начатый разговор, дорога впереди длинная, а вы все еще — совершенно непонятно зачем — продолжаете пугать меня своим револьвером, хотя я вовсе не намерен давать вам повод проявить свои способности стрелка, я верю на слово, верю, что вы относитесь к тому разряду стрелков, которые так же, как и я, никогда не промахнутся. Но мы отвлеклись от темы. Теперь вы сами видите, как много забот мне доставляет ваше упорное молчание, мне трудно не потерять ход мысли, а вы не хотите помочь. Но не будем отвлекаться, я ведь собирался говорить о нас, о людях обреченных, о людях-жертвах, которых случайное стечение обстоятельств столкнуло в одном купе скорого поезда, я собирался говорить о своих наблюдениях, они, быть может, хоть в какой-то мере совпадут с вашими наблюдениями, но в самом деле не знаю, с чего начать. Мне в эту минуту приходит в голову великое множество проблем, суть которых заключена в таких односложных определениях, как: страх, борьба, полиция, оружие, пытка, тюрьма, западня, измена — и, наконец, смерть. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что некоторые слова приобрели для нас особое значение, впрочем, я назвал только часть, все их даже перечислить невозможно, это заняло бы слишком много времени, но любое из них назойливо ассоциируется с какими-то ситуациями, в которых мы уже некогда оказывались или, что хуже, которые нам еще предстоят; это опасные слова, враждебные слова, мы их не любим и охотнее всего, если б только это было возможно, вычеркнули вообще из словаря. А есть еще слова-фетиши, мы произносим их неохотно, внутренне противясь, уже само их звучание вызывает в нас дрожь страха, не правда ли, чувство страха — одно из тех, с которым мы сталкиваемся повседневно, оно не покидает нас даже ночью, даже во сне, мы не в состоянии защититься от него, однако же и не позволяем ему овладеть нами до такой степени, чтобы чувствовать себя униженными. В последнее время все чаще приходится слышать разговоры о том, что жизнь не имеет смысла — и вы, наверно, сталкивались с этим,— но обратили ли вы внимание, кто высказывает подобные суждения? Чаще всего люди, которые никогда даже не пытались задуматься над сущностью жизни и не умели придать ей смысл. Именно среди них оказываются потенциальные самоубийцы, готовые при мало-мальски подходящих обстоятельствах проститься с миром, их особое усердие в принятии крайних решений должно вызывать сомнения, ибо что может быть легче, чем уклониться вовремя от всякой ответственности за собственные ошибки, укрыться от конфликтов окружающего нас мира и страха перед дальнейшим опытом, которого мы не в состоянии даже предвидеть? Но разве именно не в том все очарование нашего существования, что каждый следующий день является для нас тайной, что он несет с собой новые события, перед лицом которых только мы и можем по-настоящему узнать себя? Умереть мы всегда успеем, это всего лишь вопрос времени. Намного труднее жить, стойко держаться в этом полном ловушек и опасностей мире, бороться за то, чтобы

удержать собственные позиции и не дать сломить себя превратностям судьбы. Все мы окружены врагами, обречены на смерть, одиноки — это верно, но пока мы защищаемся, боремся за сохранение своего человеческого достоинства, жизнь имеет смысл. Разве я не прав?

— Да,— признал я с нетерпением.— Только я не понимаю, зачем вы со мной об этом говорите.

Офицер улыбнулся.

— Нам всем так редко удается искренне поговорить о некоторых проблемах.

— Только поэтому?

— Нет. Мне интересно было также познакомиться с вашими взглядами.

— Это все?

— Нет, я говорил еще, чтоб убить время.

— Увы. Время убивает нас.

— Я употребил риторический оборот. Но вы ведь поняли, о чем шла речь...

— Вы прекрасно говорите по-польски...

Майор кивнул и снова улыбнулся.

— Люблю эту страну,— признался он.— Я родом из Вены, но до войны долго жил в Польше. Почти шесть лет. В Кракове я изучал славистику. Так же хорошо я говорю и по-русски.

— Понимаю.

— В Польше у меня много друзей.

— Даже сейчас?

Он поколебался.

— Да,— ответил он, на мгновение задумавшись,— даже сейчас. Несмотря на все. Многих, правда, я потерял, но есть и такие, которые понимают создавшуюся ситуацию и по-прежнему поддерживают со мной дружеские отношения. Меня это радует. Я люблю вашу страну и полон уважения к ее народу, несломленному и гордому.

Я взглянул на офицера с интересом, подозревая, что под этой изысканной и галантной маской вежливости кроется хищный игрок, лишь ожидающий удобного момента, чтобы бросить на стол все козыри; так я думал, но не придавал этому особого значения, ибо все еще имел над ним перевес, а его монолог вызвал во мне только больше подозрений и недоверия.

— Это вам не удастся, майор,— тихо произнес я.

— Что?

— Усыпить мою бдительность.

Офицер скривился.

— Ничего вы не понимаете, молодой человек,— сказал он с горькой иронией.— Я мог вас уничтожить. Я все видел. Когда вы садились в вагон и я помогал вам поставить на полку чемодан, я знал, что вы поляк. И сразу догадался, что вы любой ценой стремитесь избежать встречи с полицией. Я вам помог. Потом вы перешли в другой вагон. Должен сказать, что это меня очень обеспокоило. У меня не было уверенности, что вы не выскочили из поезда, а также, что в этом чемодане нет бомбы, которая могла взорваться в вагоне. Я заглянул в чемодан, его содержимое не было для меня неожиданностью. Я только ошибся относительно назначения этого груза. Но зато я уже знал, что вы сюда вернетесь. Достаточно было уведомить обо всем остальных пассажиров, моих земляков, и вагон этот стал бы для вас ловушкой. Однако я этого не сделал...

— Почему?! — воскликнул я в бешенстве.— Почему вы этого не сделали?!

— Вы спрашиваете об этом уже второй раз.

— Да.

Офицер пожал плечами.

— Наверно, у меня есть на то свои причины,— ответил он мягко.

— Может, вы не сделали этого из-за своих польских друзей?

Он улыбнулся.

— Конечно, это также имеет значение,— тихо произнес он.— Я как раз еду к ним. Они пригласили меня на праздник. Вы понимаете, что это значит? Я проведу с ними сочельник.

— Боже мой, как трогательно! — сказал я с нескрываемой ненавистью.— Проклятые польские патриоты и слащавый сентиментальный немец за общим праздничным столом...

Офицер побледнел, строго взглянул на меня, на мгновение мне показалось, что он пришел в ярость, но, видно, сдержался; он сидел с низко опущенной головой, а когда вынимал сигарету и закуривал, было заметно, как дрожат у него руки.

«Проклятие,— думал я с удивлением.— Что за странный человек! А может, он действительно говорит правду? Но если так, его нельзя больше дразнить. Никогда не известно, какой у человека запас доброй воли. Если я буду продолжать провоцировать его, в конце концов в нем проснется зверь и тогда все станет намного опаснее. Добрый немец, черт побери! — мысленно выругался я.— Добрые польские патриоты! Проклятые, облеванные патриоты! Сидят дома и ждут немецкого майора, чтобы сесть с ним за рождественский стол, а тысячи порядочных ребят слоняются по свету в эту проклятую зимнюю стужу. Меня тоже ждут,— подумал я вдруг с волнением.— Но совсем по-другому. Они полны тревоги, и у них нет никакой уверенности, что я вообще вернусь. Ни я, ни они — мы никогда не знали, встретимся ли еще раз. Милые, дорогие люди! Как я хотел бы сегодня быть с ними или хотя бы еще раз в жизни с ними увидеться. Девочки, наверно, наряжают елку. Мать их стоит на кухне и с тревогой думает обо мне. Ждет. Если вернусь — заплачет. Весь ее страх и волненье выльются в слезах. Патриоты,— подумал я с ненавистью,— проклятые польские патриоты! И еще этот сентиментальный, изолгавшийся немец, который, видите ли, не желает меня прикончить только потому, что хочет со спокойной совестью сесть за рождественский ужин».

— Прошу извинения, майор,— неожиданно сказал я.— Я не должен был так говорить.

Офицер молчал. Он посмотрел на меня потухшим взором.

— Мне понятна эта ненависть,— тихо произнес он.— И я вовсе ей не удивляюсь.

— Я выйду на ближайшей остановке.

Он кивнул, а потом сказал:

— А я думал, вы едете в Краков.

— Нет,— соврал я.— Не в этот раз.

— Сейчас будет Тунель?

Я взглянул на часы.

— Да. Через несколько минут мы должны быть на месте.

— Что вы будете делать, если на вокзале облава?

— Не знаю,— ответил я раздраженно.— Я никогда не задумывался над тем, что может случиться. В конце концов как-нибудь выйду из положения.

— Понимаю.

— В каком кармане пальто вы спрятали пистолет?

Офицер кивком головы указал наверх, туда, где на полке лежали два кожаных чемодана.

— Пистолет вместе с поясом лежит между чемоданами.

— Не в кармане? — удивился я.

— Я же вам сказал,— неохотно ответил майор.— Впрочем, можете проверить.

Лениво встав с места, я бросил взгляд на полку, где в глубине заметил пояс, кобуру и торчавшую из нее рукоятку парабеллума.

— Порядок,— бросил я, слегка смущенный.— Надо было сказать об этом с самого начала. Я думал, что пистолет у вас в кармане.

— Нет.

— Ну вот и хорошо.

Поставив пистолет на предохранитель, я сунул его во внутренний карман пальто, потом снова сел на место и поудобнее откинул голову на мягкую спинку кресла. Я чувствовал себя бесконечно усталым, какая-то сонливая леность охватила меня, и я с большой неохотой думал о том, что через минуту придется уйти из этого купе, но считал это необходимым, создавшееся положение никак нельзя было затягивать дольше.

«Все с самого начала шло кувырком,— думал я.— Монтер уже выдохся, из-за него мы все чуть не влипли сегодня. Еще месяц-другой такой работы — и парень непременно попадется. Все это слишком затянулось. Ни у кого уже нервы не выдерживают. Если этот проклятый немец меня обманул, я прикончу его. Если он задумал отдать меня в руки полиции, то выйдет вслед за мной на перрон, тут я его и прикончу».

Я смотрел на майора, который по-прежнему неподвижно сидел напротив меня и, приоткрыв заслонявшую окно темную занавеску, бесстрастно взирал на белизну проносившихся за окном сугробов, нанесенных непрекращавшейся метелью. Потом за окнами исчезла эта яркая белизна, поезд мчался во мраке, а стук его колес вдруг ослабел и стал глуше.

— Въезжаем в туннель,— сказал майор.— Через несколько минут будет станция.

Встав со своего места, я снял с полки тяжелый чемодан, поставил его около двери, но из купе в коридор не выходил, ждал, пока поезд не остановится. Колеса стремительно застучали на стрелках, донесся пронзительный гудок паровоза — мы подъезжали к станции.

Я повернулся к майору:

— Я выхожу. Если вы выйдете за мной, я сразу пойму, что это значит. Предупреждаю вас, чтобы не было недоразумений.

Офицер кивнул.

— Прощайте,— холодно ответил он.— Я солдат. И так же, как и вы, не выношу полиции. Может, хоть это убедит вас в том, что у меня нет никакой охоты заниматься всем этим делом?

— Нет,— засмеялся я,— нет, майор. Мне никому нельзя верить. Вы меня понимаете?

— Да.

— Поэтому и прошу не выходить из вагона. Я могу это неправильно понять.

— Да. Я буду помнить об этом.

— Можете рассказать о нашей встрече своим польским друзьям,— сказал я не без язвительности.— Наверно, это их страшно рассмешит.

— Вы лучше подумайте о себе,— глухо ответил майор.— Перед вами дорога. И никогда не знаешь, что может случиться.

— Да,— согласился я.— Прощайте. Буду помнить о предостережении.

Майор не отозвался, он смотрел на меня, насупив брови, но на лице его я не заметил злобы, оно выражало лишь усталость и горечь.

V

Сочельник: смерть брата

Без особых осложнений я вернулся на свое старое место, в купе польского вагона, и снова очутился в невероятной толчее, среди деревянных скамеек, чемоданов и напирающих со всех сторон пассажиров; духота в купе была страшная, а нетерпеливые и раздражительные от усталости люди немилосердно толкали друг друга, и все время вспыхивали ссоры. Я стоял между двумя рядами сидений, недалеко от входа, а на моем чемодане сидела девушка, которую мне с трудом удалось втащить в переполненный вагон, за окном виднелись темные силуэты мужчин, ехавших на подножках и державшихся за поручни, снег уже перестал падать, но ветер не стих, я знал, как они должны были себя чувствовать, и то и дело с тревогой поглядывал в окно, пересчитывая темные силуэты согнувшихся и неподвижных людей, как бы проверяя, все ли уцелели под напором ледяного порывистого ветра. В какой-то момент пассажиры принялись напирать в сторону двери с такой силой, что столкнули девушку с чемодана, и она, теряя равновесие, всей своей тяжестью навалилась на меня, потом с трудом встала на ноги, и я почувствовал ее быстрое, прерывистое дыхание.

— Боже мой! — закричала она в ужасе.— Отодвиньтесь от двери, а то вас вытолкнут из вагона!

Ухватившись рукой за железную скобу, поддерживающую полку, я ласково ей сказал:

— Не бойтесь. Мы не выпадем.

Возня и шумиха в купе не прекращались, девушку толкнули в спину так сильно, что наши лица на мгновение сблизились.

— Извините,— шепнул я ей и крикнул во мрак неосвещенного купе:— Что у вас там творится, черт побери?!

— Бабе приспичило! — откликнулся тотчас из толпы чей-то голос.— В такой давке!

— Дайте ей горшочек! Люди, у кого есть какой-нибудь горшочек?!

В купе раздался взрыв смеха.

— Чтоб тебе сдохнуть, прохвост этакий! Решил надо мной посмеяться?

— А вы не можете потерпеть до станции?

— Я уже два часа терплю. Больше не могу.

— Люди! Побойтесь бога! Дайте женщине какой-нибудь горшочек!

— Бутылка устроит?

— Бабе бутылка не годится. Лучше бы ей дать горшок.

В купе снова раздался громкий смех, а потом в темноте послышался звук пощечины.

— Как вы смеете? Рукам воли не давать!

— Молчи, ублюдок паршивый! Я тебе покажу, как над женщиной измываться!

— Я тебе не «ублюдок»!

— А то кто же?

— Эй, баба, заткнись!

— Я тебе покажу «бабу»! Вот вернусь — узнаешь. Чтоб тебе до места не доехать, хулиган проклятый!

Некоторое время еще продолжалась глухая возня, но в конце концов крикуны угомонились, пассажиры вернулись к прерванным беседам и вагон наполнился монотонным говором.

— Боже! — вздохнула девушка.— Какими недобрыми стали люди.

Я молча взглянул на девушку, ее измученное и бледное лицо было

похоже на сонное и грустное личико усталого ребенка. Из-под меховой шапочки выбивались непослушные локоны золотистых и мягких волос, на какую-то секунду, когда она повернула голову, они коснулись моих губ.

— Далеко едете? — спросил я шепотом.

— В Краков.

— Я тоже,— сообщил я.— А вы постоянно живете в Кракове?

— Да. С начала войны.

— А до войны?

— Что до войны?

— Где вы постоянно жили?

— В Варшаве.

— Я люблю этот город.

— А я нет.

— Почему?

— Я потеряла там отца и двух братьев.

— В Кракове вы живете с матерью?

— Нет. Мать я потеряла еще в тридцать девятом. Во время бегства,— объяснила она с удивившим меня спокойствием.

Послышался гудок паровоза, я выглянул в окно и посмотрел на темные, уцепившиеся за поручни дверей фигуры, на белое бесконечное поле, на снег, бешено клубившийся у самых колес мчавшегося поезда.

— У меня тоже нет семьи,— сказал я.— Так же, как у вас.

Вдруг я почувствовал, как девушка доверчиво и мягко прижалась ко мне всем телом, голова ее покоилась на моем плече. В первое мгновение мне показалось, что в этой духоте и давке ей стало плохо, но когда она подняла свое спокойное и чистое лицо, меня неожиданно захлестнул прилив огромной нежности, захотелось коснуться ее щек, провести рукою по волосам, но я не сделал этого, ведь она могла неправильно истолковать этот мой порыв и заподозрить меня в чем-нибудь.

«Во всем виновата война,— подумал я.— И усталость, и отчаяние, и страдания, и страх, постоянная неуверенность в завтрашнем дне. Люди стали плохо относиться друг к другу, но ведь не все. Скоро война кончится. Ждать осталось недолго. Вслед за зимой приходит весна, а с нею возвращается надежда. Эта девушка молода. Забудет. Так же, как и я стал забывать».

Подумав об этом, я неожиданно понял, что не смогу в эту минуту представить себе лица умершей матери, и мне стало не по себе.

«До сих пор это мне всегда удавалось,— признался я себе с горечью.— Всегда. Стоило лишь захотеть — и я отчетливо видел ее лицо. Стоило только закрыть глаза и подумать о ней. А теперь этого мало. Время делает свое дело, оно стирает даже то, что мы хотели бы помнить всю жизнь».

— Далеко еще до Кракова? — тихо спросила девушка.

Я взглянул на часы.

— Через полчаса мы должны быть на месте.

— Вы едете к родным?

— Нет. Я же вам говорил, что у меня нет семьи.

— Я думала о дальних родственниках. Всегда есть какие-нибудь дяди или тети, к которым можно приехать...

— Нет. В Кракове у меня нет никаких родственников.

Она беспомощно покачала головой; через мое плечо она смотрела на исчезавшую за окном поезда серебристую и расплывчатую полоску земли.

— Это, может, даже лучше,— сказала она задумчиво.— Иногда лучше, что никого нет.

— Почему вы так думаете? — удивился я.

— Тогда ничто не напоминает о прошлом,— ответила она с грустью.— Особенно в такой вечер, как сегодня. Сочельник... Это слово вызывает столько воспоминаний. И когда находишься в таком положении, как я, временами в душе происходит нечто, чему даже трудно найти название. Только среди людей мы по-настоящему отдаем себе отчет в том, что потеряли. Боже мой! Боюсь, что я уже никогда в жизни не буду радоваться праздникам. В эту минуту я думаю о сочельнике с ненавистью....

— Вы все это забудете,— отозвался я ласково.— Наверняка забудете.

— Что?

— Все,— пояснил я.— Со временем в человеке умирает все — и дурное и доброе. И это хорошо. Иначе люди просто сошли бы с ума...

— Да,— шепнула она.— Возможно, вы правы.

Я улыбнулся. «Ты слишком мало живешь на свете, девочка, чтобы рассуждать об этом,— подумал я.— Когда-то я думал точно так же, а ведь забыл. И так же, как ты, в эту минуту, был преисполнен ненависти к миру и людям. Я чувствовал себя обворованным. Словно богач, у которого в один прекрасный день украли все состояние. И мне казалось, что для меня уже ничто не имеет смысла в этом мире, вдруг опустевшем и враждебном. Я ненавидел и убивал. На первых порах меня это устраивало. Я думал даже, что нашел в этом себя, беру реванш за все причиненное мне и моим близким зло, но вскоре обнаружилось, что я заблуждался. Убийство никогда не очищает человека. Оно еще сильнее обостряет чувство опустошенности, и мы приходим к убеждению, что вокруг нет ничего постоянного. Мы все умрем. Мы умираем ежедневно. Если бы ты, девчонка, знала, каким будет твое лицо через два десятка лет, ты бы сейчас чувствовала себя еще хуже. Зачем обманываться? Мы неизбежно движемся к предназначенному, даже не замечая пути, по которому бредем, словно слепцы. Сегодня мне дважды угрожала опасность, а ведь все, что я пережил, было лишь прихотью судьбы, она всегда насмехается над нами, когда мы совсем этого не ждем. Но беспомощнее всего мы оказываемся перед лицом времени. Нам никогда не известно, что принесет ближайший час. Несмотря на это, мы все же продолжаем свой путь, по-прежнему надеясь, что осуществим наши намерения. Это придает нам силы, а они нам так нужны, чтобы справиться с жизнью. Надежда! Надежда... Самое худшее, что было сегодня, уже позади. Я все-таки доберусь со своим грузом до места».

— Как вас зовут?

Она внезапно отодвинулась и недоверчиво посмотрела мне в лицо.

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Не знаю,— признался я искренне.— Сам не знаю почему.

Первый раз за все время девушка рассмеялась.

— Какой вы смешной,— сказала она с нежностью.— Меня зовут Эва.

— Красивое имя.

— А вас?

— Что?

— Как вас зовут?

— Алик,— быстро ответил я.— Просто Алик...

— Это сокращенно. А полностью?..

Я молчал, думая, что же ей ответить, мне всегда становилось неловко, когда речь шла о моем имени. Оно и в самом деле было ужасным. Единственное, за что я упрекал в душе свою мать — это за то, что она дала мне при крещении такое имя. Его, наверно, носил самый большой озорник среди всех святых. *Альфонс* — это имя неизменно ассоциировалось с самым позорным для мужчины занятием, я стыдился своего име-

ни и не любил, когда меня спрашивали о нем, ибо всякий раз, когда мне приходилось называть его, чувствовал себя так, словно признавался в своей принадлежности к тому клану людей, к которым испытывал отвращение, больше того, меня не покидало ощущение, что и ко мне прилипла частица той грязи, которая связывается со словом сутенер, поэтому и сейчас я не в силах был произнести свое имя и молчал в наивной надежде, что девушка не будет настаивать на ответе.

— Знаю,— заявила она обрадованно.— Вас, наверное, зовут Александр, правда?

— Возможно,— засмеялся я с облегчением.— Пусть будет по-вашему.

— Да. Александр — красивое имя.

— Я очень рад.

— Алик,— повторила она в раздумье.— Алик. Это звучит еще лучше.

— Что вы делаете в праздники? — спросил я быстро, чтобы переменить тему разговора.

— Ничего. Сижу дома.

— И никуда не ходите?

— Нет.

— В Кракове у вас нет ни друзей, ни знакомых?

— Нет.

Я отодвинулся от окна и посмотрел на Эву. Она красива, это я заметил еще тогда, когда помогал ей забраться в вагон, но не это было главное — больше всего меня привлекало в ней какое-то особое выражение задумчивости и грусти, делавшее ее небольшое овальное личико по-детски беспомощным и печальным. Я все больше ценил в женщинах доброту и нежность — этих качеств мне самому постоянно не хватало, а потребность в них росла тем сильнее, чем чаще я сталкивался с жестокостью окружающей действительности, порождавшей во мне ненависть, беспощадность и какое-то бесконечное чувство внутренней опустошенности. Я как бы инстинктивно искал в людях доброту, во мне самом ее осталось очень немного, наверное, именно поэтому я так ценил это качество в других и, сталкиваясь с ним, становился совершенно безоружным.

— Мне хотелось бы еще когда-нибудь с вами встретиться,— сказал я тихо.

— В самом деле?

— Я говорю совершенно серьезно.

Она улыбнулась.

— Если вам этого хочется, мы можем сговориться.

— Да,— поспешно произнес я.— Да.

— Ну так когда же?

Я сделал рукой неопределенный жест:

— Завтра, послезавтра...

— Завтра во второй половине дня.

— Хорошо.

— А где мы встретимся?

— В Сукенницах[1] или у почты, а может, на Рынке под елкой?..

— У главного почтамта,— сказала она шепотом.— В четыре часа дня...

— Хорошо. Я буду ждать вас.

Мы улыбнулись друг другу. Я был доволен, девушка оказалась очень милой и не строила из себя идиотки, мне не пришлось ее долго уламывать, не нужно было объяснять, почему я хочу с нею встретиться, к моему предложению она отнеслась просто и естественно, и мне это

[1] Сукенницы — старинные торговые ряды в центре Кракова.

было приятно. Я посмотрел на часы и, удивляясь тому, как быстро прошло время, выглянул в окно, перед глазами мелькнули темные глыбы строений, а через минуту и трубы фабрики — мы были уже в предместье Кракова. Пассажиры, видно, тоже поняли, что до вокзала недалеко, и вся масса людей сразу пришла в движение, каждый хватал свои чемоданы и узлы, пытаясь пробиться поближе к двери, кто-то зажег свечу, и из мрака вынырнули измученные и разгоряченные лица, неожиданно возникший в вагоне галдеж еще более усилился — в самом углу купе, возле огромной груды чемоданов двое мужчин с остервенением тузили друг друга, они делали это неуклюже и молча, столкнули во время потасовки свечу, и в купе снова воцарился мрак.

— Люди,— закричала какая-то женщина.— Люди! Побойтесь бога! Мало того, что вас немцы бьют, так вы еще сами убиваете друг друга! Разве так можно?!.

Эва стояла, прижавшись ко мне, а я заслонял ее, стараясь оградить от едва державшихся на ногах мужчин, это продолжалось довольно долго, пока наконец, не выдержав, я не закричал со злостью:

— Прекратите же, наконец, дьявол вас побери! Подождите, пока поезд не остановится!

Мой вопль подействовал, в тесном купе драться было бессмысленно.

— Это уже Краков? — удивилась Эва.

— Да.

— Боже мой, как быстро летит время...

— Мы подъезжаем к вокзалу.

Поезд остановился у четвертого перрона, я вышел из вагона первым — и тут же наскочил на расставленных вдоль всего поезда полицейских. У входа в туннель я заметил еще патрули СД, жандармерии и агентов гестапо в штатском, хотел было вернуться в вагон, но не смог — ринувшиеся к выходу пассажиры уже забили весь проход, я невольно попятился и поймал удивленный взгляд Эвы, которая стояла и ждала меня. Я направился в ее сторону и на ходу бросил:

— Не подходите ко мне!

Она покорно кивнула, в ее глазах мелькнул страх, поспешно миновав ее, я смешался с медленно двинувшейся в сторону туннеля толпой. У лестницы образовался затор, немцы задерживали всех мужчин с большим багажом и под вооруженным эскортом отсылали на другую сторону перрона. Было ясно, что идет тщательная проверка, я нерешительно потоптался на месте, а потом быстро повернул назад и, пробиваясь сквозь парализованную от страха толпу, ринулся в обратную сторону, но не пройдя и нескольких метров, вынужден был снова остановиться — полицейские патрули то и дело врывались в толпу и выхватывали из нее мужчин, казавшихся им подозрительными.

Я отдавал себе отчет в том, что в этой ситуации мне будет нелегко выбраться со станции; можно было, конечно, бросить чемодан и удрать, не оглядываясь на груз, бумаги у меня были в порядке, во всяком случае достаточно надежные, чтобы пройти контроль, однако я медлил, надеясь, что, может, удастся пробраться на соседний перрон, и, медленно двинувшись с места, глянул на соседний путь, но и там было полно вооруженных полицейских, тогда я снова повернул в сторону туннеля и уже было кинулся вперед, как вдруг передо мной вырос здоровенный детина в кожаном плаще и взял меня за плечо.

— *Halt*![1] — крикнул он.— *Halt*!..

Я чувствовал, что бледнею, я знал, что на этот раз попался и терять мне уже нечего.

---

[1] Стой! *(Нем.)*.

— *Ausweis wollen Sie?*[1] — спросил я с притворной рассеянностью, лихорадочно думая о спрятанном на груди пистолете.

Я решил выстрелить ему прямо в физиономию, сунул руку во внутренний карман пальто, пальцы уже коснулись рукоятки пистолета, как вдруг страшный удар в лицо отбросил меня в сторону, прямо на стенку вагона; я прислонился к ней, но тут последовал еще удар и еще, у меня потемнело в глазах, я осел на землю и, лежа с закрытыми глазами, чувствовал во рту соленый вкус крови. Я был так ошеломлен, что ничего не мог понять из того, о чем вокруг меня говорили, а когда, наконец, открыл глаза, с удивлением увидел наклонившееся надо мной побагровевшее от злобы лицо майора и только тогда понял, что это он так орал на меня и в тот момент, когда гестаповец неожиданно преградил мне дорогу, вдруг что было силы хватил меня кулаком, а теперь стоял, направив на меня пистолет.

— *Du schweine Pole!*— рявкнул он с яростью и пнул меня ногой в зад.— *Aufstehen! Aber schnell!*[2]

Я с трудом поднялся, из разбитого носа текла кровь и капала на полы пальто, тут же застывая черными сгустками; с удивлением я взглянул на свои измазанные кровью руки и лишь потом перевел взгляд на немцев, ведущих весьма оживленную беседу.

— Может, вам чем-нибудь помочь? — спросил гестаповец у майора.

— Спасибо, я справлюсь сам.

— Этого человека мы задержим.

— Нет,— решительно заявил майор.— Сначала он отнесет мои вещи в гостиницу. А потом я позвоню в полицию...

— Гостиница здесь недалеко.

— Да,— ответил майор.— Знаю. Я уже в ней останавливался.

— Надеюсь, вы справитесь с этой скотиной...

— Можете быть уверены!

Гестаповец почтительно поклонился майору.

— Бери чемоданы! — крикнул тот.— Пошли.

Беспрепятственно пройдя все кордоны, мы наконец оказались в туннеле. Я шел впереди, шатаясь словно пьяный под тяжестью двух битком набитых чемоданов, а майор следовал за мной чуть справа, ни на секунду не выпуская из рук револьвера; мы миновали по пути несколько жандармских патрулей, я видел их удивленные взгляды и иронические улыбки, должно быть, я был хорош с окровавленной физиономией, офицер приветствовал патрулей коротким, гортанным «*heil*», а жандармы вытягивались перед ним в струнку, от усердия громко стуча окованными каблуками сапог.

«Если он выведет меня с вокзала, я прикончу его,— думал я, постепенно приходя в себя.— Даже если это мне будет стоить жизни».

Я уже успел опомниться от полученных ударов и снова мог спокойно размышлять, кое-какое время в запасе у меня еще было; скорее всего, полагал я, майор имеет в виду расположенную неподалеку от вокзала гостиницу на Пиярской улице.

«Прежде чем мы доберемся до места, я найду какой-нибудь способ выпутаться».

Мы добрались до конца туннеля, теперь нужно было подняться по ступенькам, а у входа с одной и другой стороны я снова увидел полицейские патрули.

«Они окружили весь район вокзала».

На середине лестницы, где-то на высоте первого этажа, я остановился, поставил на ступеньку чемоданы и с облегчением распрямил наболевшую спину, я дышал тяжело, широко раскрытым ртом, так как в

[1] Показать вам удостоверение? *(Нем.)*

[2] Польская свинья! Вставай! Да побыстрее! *(Нем.)*

носу запеклась кровь. Сверху на меня подозрительно поглядывали жандармы, я чувствовал на себе их пытливые и недоверчивые взгляды.

«Не сейчас. Сначала надо выйти отсюда».

— Скорей! — крикнул майор со злостью.— Скорее, говорят тебе, если не хочешь, чтобы я еще раз пересчитал тебе ребра...

«Не успеешь. Я прикончу тебя раньше, как только мы выйдем отсюда. Твоя самоуверенность тебя погубит».

Я поднял чемоданы и двинулся по лестнице, майор по пятам за мной; когда мы миновали последних часовых и вышли на привокзальную площадь, я сразу заметил множество крытых грузовиков и еще один полицейский кордон, а тут же за ним безмолвную и неподвижную толпу людей, напряженно ожидавших своих близких, оставшихся на перроне, услышал гул возбужденных голосов, а какая-то женщина при виде моего окровавленного лица заохала:

— Ах, боже мой, боже! Ах, боже, боже! Ах, боже мой милостивый!..

— О, господи! Ну и разукрасили его!..

— Заткнись, дурак! Лучше бы помолчал...

— Проклятые негодяи! Нет на них управы!

Люди расступались перед нами, я видел вокруг испуганные лица, выражавшие ненависть и сочувствие.

«Ужасно глупо я, наверно, выгляжу. Вся физиономия и пальто в крови».

Мы поднялись на тротуар и шли по самому его краю, вдоль стены деревянного барака.

«Он так уверен в себе, что не отобрал у меня даже оружия. Это его и погубит. Обе руки у меня заняты, но я все равно его прикончу».

Я оглянулся на майора, он по-прежнему шел за мной с правой стороны.

«Брошу ему под ноги чемодан. Он споткнется, и тут я его убью».

Мы повернули за угол барака и, обойдя стоявший у обочины грузовик с потушенными фарами, свернули на улицу, ведущую на Пиярскую, но чем больше отдалялись от вокзала, тем сильнее меня охватывало возбуждение и нетерпение, желание скорее покончить со всем этим, однако я не хотел, чтобы он заранее догадался о моих намерениях, и чуть ускорил шаг, понимая, что мне легче будет привести в исполнение свой замысел, если майор на быстром ходу со всей стремительностью споткнется о чемодан.

«Еще не сейчас. Еще несколько метров».

Я услышал за собою смех и с удивлением оглянулся.

— Не повезло тебе, а? — спросил майор с искорками иронии в глазах.— Вот и конец приключения. Говорил я, что это может плохо кончиться.

— Что делать? Попался. Придет время, и ты получишь свое, каналья...

— О, не так скоро!

— Все равно сдохнешь...

— Ты раньше.

— Это мы еще увидим.

— Не доживешь и до утра.

— Дерьмо!

— Тебя прикончат.

— Но не в эту ночь.

— Прикончат тебя,— засмеялся офицер.— Я знаю, как это делается в гестапо.

— Плевать мне на них. Можешь им это сказать.

— Сам это им скажешь!

— Я им еще не то скажу, скотина!

— Ты твердый орешек, да? Но хватит ли сил выдержать все до конца? Они найдут способ превратить в тряпку и такого пижона, как ты.

— Обо мне не заботься. У меня хорошая школа.

— Не вздумай бежать,— предостерег майор и снова засмеялся.— За каждым углом тебя ждет смерть.

— Мы стоим в общей очереди. Только неизвестно, чья подойдет скорее.

— А неприятно умереть в такую ночь?

— Я был к этому готов. Умереть можно и в канун рождества. Но и ты, подлец, тоже в конце концов сдохнешь!

Мы приближались к углу Пиярской.

«Сейчас. Сейчас я брошу ему под ноги чемодан».

— Стой! — крикнул майор.

Я тихо выругался, однако, чтобы не вызвать у него подозрений, послушно остановился, обернулся, поглядел на пустую, засыпанную снегом улицу и заметил грузовик — тот самый, мимо которого мы прошли на углу Вокзальной площади, он медленно и тихо, с потушенными фарами, полз вслед за нами; я глянул на огромные и мрачные с затемненными окнами дома на противоположной стороне улицы, в квартирах этих домов, наверно, как раз сейчас люди садились за праздничные столы.

«Черт бы их всех побрал!».

Я повернулся к майору и спросил с нетерпением:

— Чего мы ждем?

— А куда ты спешишь, приятель?

— Давайте кончать эту игру,— сказал я.— До гостиницы уже недалеко...

А грузовая машина все приближалась и приближалась, я заметил двух парней, которые стояли на подножках по разные стороны кабины, держась за дверцы, и ждал, когда они проедут, их присутствие расстраивало мои планы.

«Они едут так, будто в кабине не нашлось места».

— Да,— согласился рассеянно майор.— Кончим эту игру. Вы свободны. Можете идти домой.

Я отвел взгляд от грузовика и, пораженный, уставился на офицера.

— Я вынужден был вас ударить,— спокойно объяснил майор.— К сожалению, не было другого выхода. Надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Впрочем, я действовал только в ваших интересах. Согласитесь, что ситуация была довольно сложная. Мне удалось, однако, убедить сотрудника гестапо, что вы — вор, а чемодан, с которым у вас было столько хлопот, принадлежит мне. Конечно, он мне сразу же поверил. Тем более, что я не жалел оплеух...

Я только молча кивнул головой, ибо еще не совсем доверял ему.

— Проклятие! — выругался я.— И долго вы будете таким образом забавляться?

— Можете идти домой,— тихо произнес майор.— Я же сказал, что помогу вам.

— Да, но это было в поезде.

— Вы свободны.

Я наклонился и поднял свой чемодан.

— Вы спасли мне жизнь.

Майор молчал.

— И все же вам не следовало так говорить со мной, когда мы вышли из вокзала.

— Я говорил это не всерьез.

— Вы играли с огнем.

— У меня вовсе не было намерения затягивать эту ситуацию.

— К счастью...

Грузовик неожиданно затормозил, не далее чем в метрах десяти от нас, я оглянулся и заметил бегущих в нашу сторону людей — я сразу узнал их, это были Рысь и Серый.

— Ребята, не стреляйте! — закричал я сдавленным голосом.— Не стреляйте, ради бога!..

Но было уже поздно, раздались два коротких, сухих, как удары бича, выстрела, и офицер бесшумно осел на тротуар. Его пистолет глухо стукнул о мостовую, а слетевшая с головы фуражка покатилась по обледеневшему тротуару и застряла в сугробе.

— Скорее, Хмурый! — обратился ко мне Серый.— Давай чемодан!

Я стоял неподвижно и, тупо уставившись в землю, искал на лице майора хоть какие-нибудь признаки жизни.

— Хмурый! — заорал Рысь.— Поторопись!

Я поднял револьвер майора и только потом взял чемодан; с помощью Серого мы втащили его в машину, забрались сами под брезентовую покрышку, и грузовик резко рванул с места.

— Чисто сработано, а? — заговорил дрожащим от волнения голосом Рысь.

— Да.

— Не надеялся, небось, что мы тебя встретим.

— Нет,— ответил я.— Нет.

— Что с тобой происходит, дружище? — спросил Серый.— Ты все еще переживаешь?

— О, да. Я все время думаю об этом.

— Мы прибыли в самый раз, верно?

— Да.

— Ты, наверно, думал, что окончательно влип?

— Ты угадал, друг.

— На этот раз действительно дело выглядело скверно.

— Скажи, Хмурый, как это ты выбрался с перрона?

— Оставь меня в покое, Рысь.

— Что с тобой, приятель? — спросил Серый.— Ты выглядишь так, будто только что похоронил брата.

— Я думал, что на этот раз уже не выкарабкаюсь.

— Но мы здорово разделали этого фрица.

— Да.

— Куда он тебя вел?

— В гостиницу.

— Зачем?

— Я должен был отнести его чемодан.

— Это он так разрисовал тебе физию? Ты весь в крови.

— Да.

— На перроне была заварушка?

— Мне немного от него влетело. У офицера был тяжелый чемодан, а я не хотел нести его в гостиницу.

— Смешная история, ей-богу. Молодчик сам попал в наши руки.

— Это меня спасло. Иначе бы не выбрался с перрона. Вы же видели, что там творилось.

— Повезло тебе, брат.

Рысь прыснул со смеху.

— Хорошо, что мы тебя поджидали.

— Конечно.

— У меня чертовский нюх,— буркнул Серый.— Я как чуял, что сегодня может что-то произойти. Весь день был сам не свой. Места себе не находил...

— В конце концов я как-нибудь и сам выбрался бы.

— Сейчас ты в полной безопасности.
— Да.
— Но ты как будто и не рад. Что случилось?
— Ах, ничего,— медленно и рассеянно ответил я,— я все еще думаю об этой истории. Это действительно была чертовски трудная работа...

VI

Сочельник: сочельник

Меня ждали к ужину. Обычно я проводил сочельник в доме пани Марты, но уже второй раз за последние годы мы садились в этот вечер за стол с большим опозданием. Когда я добрался до места, было около двадцати двух часов, приближался полицейский час, а этажом выше, над квартирой пани Марты, где жила семья фольксдейча, уже несколько часов шла дикая попойка, и от грохота сапог разгулявшихся солдафонов сыпалась штукатурка. Вот уже четвертый сочельник за минувшие годы всю ночь буйствовали напивавшиеся до бесчувствия эсэсовцы, но на нас это не производило никакого впечатления, их соседство перестало нас беспокоить, мы привыкли к нему так же, как к присутствию крыс, которые в летнюю пору выбирались из подвалов и свалок во двор старого дома, заполняя все вокруг пронзительным писком и отвратительным шорохом своих тел. Сейчас была зима, нашествие крыс было приостановлено, но в квартире фольксдейча по-прежнему продолжались попойки, на которые мы уже перестали обращать внимание.

Когда я вошел в столовую, посредине накрытого белой скатертью стола, между тарелками и столовыми приборами, дымилась открытая миска грибной лапши, девочки молча встали со своих мест и ждали, пока мать не подойдет к ним с просфорой, чтобы принять от них поздравления и передать им свои, а я стоял у ведущей на кухню двери и смотрел на высокую, до потолка ель, украшенную разноцветными ярмарочными блестками. Пани Марта делилась просфорой со старшей дочерью Люцией, я слышал их взволнованные голоса, и волнение это постепенно передавалось и мне, хотя я даже не смотрел в их сторону; в эту минуту мне хотелось только, чтобы все как можно скорее кончилось, я всегда больше всего опасался именно этой, столь тягостной для меня минуты, поднимавшей в моей душе пласты воспоминаний о счастливых и беззаботных детских годах, о семье, которой у меня уже не было, о доме, который я утратил, ибо моя комнатка на мансарде, расположенная на другом конце города, была всего лишь тесной мастерской, едва вмещавшей мои мольберты, полотна и книги; но хотя она была также и моим убежищем, где хранилось оружие и боеприпасы, в этот вечер я думал о ней с неприязнью и был рад, что сегодня уже не нужно туда возвращаться. Пани Марта делилась просфорой со средней дочерью Франциškой, я слышал их голоса, в которых чувствовались нотки еле сдерживаемого плача, но не смотрел на них, мой взгляд блуждал по тяжелой, уцелевшей еще со времен первой мировой войны дубовой мебели, по увешанным узорчатыми коврами стенам; прямо, напротив двери, возле которой я стоял, рядом с длинным буфетом висели на стене две картины Яксы — выдержанный в розовых тонах морской пейзаж и портрет цыганки, два претенциозных, написанных без малейшего чувства цвета полотна, вызывавшие раздражение, если на них смотреть долго; я перевел взгляд на заставленный стол и только тогда заметил на нем лишний прибор. Пани Марта поздравляла младшую дочь Юлию, через минуту была моя очередь; уже при одной этой мысли мне сделалось нехорошо, меня охва-

тила какая-то неловкость, я чувствовал себя так, словно публично должен был исповедоваться; я не был уверен, что в последний момент не поддамся тому волнению, с которым так упорно боролся, чувствовал себя ужасно неловко и боялся, что не сумею сдержать себя. Но когда эта минута наступила и пани Марта подошла ко мне с просфорой, я низко наклонил голову и, не глядя ей в лицо, быстро пробормотал несколько слов, вполне сознавая, что звучат они сухо и неискренне, хотя я и был полон самых лучших чувств к этой женщине, по доброте своей пытавшейся заменить мне мать, дом которой, где я проводил большую часть своего свободного времени, был открыт для меня в любое время дня и ночи. Пани Марта, однако, отнеслась к этому как должно, свои пожелания ограничила несколькими словами, не касаясь того, что могло причинить мне боль, за что я был безмерно ей благодарен, и только когда я поцеловал ее натруженные руки, она сказала очень сердечно:

— Очень рада, Алик, что ты сегодня с нами.

— Я тоже этому рад.

— Думала, что ты уже не придешь.

— Да. Я делал, что мог, чтобы успеть до полицейского часа.

Подойдя к девочкам, я молча поочередно поцеловал их, уклонившись тем самым от обязанности высказать свои пожелания, и мы сели за стол.

— Вы еще кого-нибудь ждете? — спросил я, глядя на дополнительный прибор и пустой стул.

— Нет.

Но тут пани Марта уловила мой взгляд, направленный на остававшееся за столом свободное место, и добавила:

— Ах, вот почему ты спросил! Это место для всех тех, кто одинок и кто в этот вечер уже не может быть с нами.

— Понимаю.

— Это место для тех, кто умер,— сказала Юлия.— Ты не знал об этом, Алик?

Я взглянул на сидящую напротив девочку и отрицательно покачал головой, меня снова охватила щемящая тоска, промелькнула мысль о майоре, я вспомнил его лицо, наш странный разговор и это путешествие в купе скорого поезда, а потом его неожиданную смерть, тяжесть которой по-настоящему стал ощущать только теперь. Поначалу я был так оглушен молниеносным развитием событий, что у меня не было времени спокойно поразмыслить обо всем том, что случилось в этот день, в этот необыкновенный вечер; я счастливо избежал смерти, а быть может, даже чего-то еще более худшего, чем смерть,— если бы попал в руки гестапо, там наверняка попытались бы вырвать у меня тайну груза, который я перевозил,— я был свободен, но не испытывал радости. В том, что мне еще раз удалось выскользнуть из расставленных на меня силков, была не только моя заслуга; я глядел на пустое место за столом и мысленно ругался самыми похабными словами, только бы не поддаться волнению, только бы не думать о минувших событиях, только бы отогнать, наконец, воспоминание об этом лице, о словах этого человека, его грустной улыбке... Передо мною стояла тарелка с праздничным супом, грибной лапшой, попробовать которую у меня недоставало смелости, ибо казалось, что я тут же расплачусь.

— Почему ты не ешь, Алик? — спросила с беспокойством пани Марта.— Отличный суп. Ешь, пока он теплый.

— Алик, наверно, думал, что будет свекольник с ушками,— обиженно отозвалась Юлия.— Я тебе говорила, мама, чтобы ты приготовила борщ...

Я поднял над тарелкой голову, посмотрел на сидевшую напротив девочку и подмигнул ей. Юлия кокетливо улыбнулась мне.

— Ну, ешь, Алик. На размышления времени хватит и потом...

— Ладно, мышонок,— ответил я.— Ты права...

— Мы так беспокоились о тебе,— сказала пани Марта.— Боялись, что не успеешь прийти до полицейского часа...

— Поезд опоздал.

— Я подумала, что на вокзале облава.

— И это было.

— Боже мой! — вздохнула она.— Даже в сочельник не дадут людям покоя. У них, должно быть, совсем нет сердца. И зачем только мучают людей? Ведь это так жестоко и глупо.

— Да.

— И много народу задержали?

— Почти всех, у кого был багаж. Проверяли очень тщательно...

— Но тебе удалось уйти?

— Помог случай.

— Боже мой! — вздохнула пани Марта.— Боже мой...

— Они окружили весь вокзал. Все перроны...

— Как же ты сумел пройти? — спросила Юлия.

— Нормально, как обычно, через главный выход...

— И никто тебя не задерживал?

— Нет. Никто меня не задерживал. Я шел в обществе немецкого майора, которому нес чемодан. Жандармы, видя нас вместе, считали, что он нанял меня вместо носильщика. Таким образом мне и удалось выйти с вокзала...

За столом все повеселели, девочки смеялись, смеялась их мать, только я был по-прежнему серьезен.

— Тебе повезло, Алик.

— Да. Мне удивительно повезло.

— Расскажи подробнее, как это все было,— попросила Юлия.

— Обязательно?

— Расскажи, Алик. Это ужасно смешная история.

— Оставьте его в покое, дети,— вмешалась пани Марта.— Пусть хоть поужинает спокойно...

— Я расскажу вам,— промолвил я неторопливо.— Я расскажу вам все подробно, но только после ужина. Согласны?

— Хорошо, Алик.

Во время этого разговора я не переставая думал о майоре, о том необыкновенном стечении обстоятельств и событий, которые позволили мне выпутаться из, казалось бы, безвыходного положения. Я думал также о его монологе, о том, что он говорил о палаче и жертве, но все еще никак не мог понять, что было нужно этому человеку, по-прежнему не понимал мотивов его действий, которые привели в конце концов к тому, что, спасая мою жизнь, он добровольно обрек себя на смерть, ибо уже с той минуты, как он подошел ко мне на перроне, с той самой минуты, как заявил гестаповцу, что багаж — его собственность, ему грозила смертельная опасность, ведь если бы обнаружилось, что́ спрятано в чемодане, ему пришлось бы наравне со мной испытать последствия своего безрассудного и рискованного решения. Содержимое чемодана предопределяло как мою, так и его судьбу. Я думал обо всем этом, склонившись над тарелкой грибной лапши, а когда припоминал некоторые моменты минувшего дня, меня охватывала досада. До чего же нелепо я вел себя тогда, в купе поезда: зажав пистолет в руке, я сидел напротив майора, убежденный в неизбежности собственной гибели, и был глух к аргументам этого человека, безрезультатно пытавшегося убедить меня в том, что он мне не враг. Я отбрасывал все аргументы и не доверял ему; может, это было и правильно, но несмотря на весь мой страх и тревогу, не следовало его оскорблять. Мне нужно было откликнуться на тот

дружеский тон, который он стремился придать нашей беседе, быть может, тогда я больше узнал бы о нем и о тех причинах, которые побудили его решиться на столь рискованный шаг, а главное, мое путешествие не привело бы к столь неожиданному и печальному финалу. Я был в значительной мере повинен в его смерти, весь смысл его поведения я осознал, лишь когда мы благополучно покинули район железнодорожного вокзала, только тут вдруг — к сожалению, слишком поздно — я понял, почему до последнего момента он не обнаруживал своего истинного намерения и сохранял всю видимость человека, которого забавляет самый факт превосходства над противником, а также уверенность, что в любой момент он может решить его судьбу. Теперь я, конечно, знаю, что не это было единственной и самой важной причиной именно такого странного поведения этого человека. Это был своеобразный урок для меня, предостережение на будущее, а быть может, также попытка показать мне, на каких шатких основах покоится наше существование, своего рода иллюстрация к его тезису о палаче и жертве. Я постепенно восстанавливал в памяти все сказанное им в поезде; в сущности в его словах не было никаких откровений, но если бы я не слышал столь смелых высказываний, я, наверно, никогда не сумел бы понять причин, которыми этот человек руководствовался в тот момент, когда обратился к крайнему аргументу в игре, которую мы начали с первой минуты нашей встречи и в которой, как мне казалось, последнее слово будет за ним. Впрочем, несмотря на столь трагичный для него финал, оно за ним и осталось; но об этом знал только я, и никто кроме меня никогда не узнает правды об этом событии, несущем в себе самые заурядные приметы времени—того времени, когда смерть появлялась неожиданно, а убийство из-за угла было будничным явлением. Я чувствовал себя, однако, в чем-то обманутым, даже одураченным — ведь я не хотел его смерти, хотя считал этого человека своим врагом, не хотел, чтобы он умирал; неожиданно меня осенило — мне стало ясно, что в этот вечер от наших рук погиб кто-то близкий, и в первый раз за последние годы я понял, что и о н и тоже теряют людей, которые должны жить ради того дня, что когда-то все же наступит.

— Налить тебе еще супа? — спросила пани Марта.

— Нет. Спасибо.

— Нравится тебе наша елка?

— Очень. Кто ее украшал?

— Юлия.

— Как красиво она ее нарядила. Это действительно прекрасная елка.

Комнату наполнял запах ели, острый и дурманящий запах смолы, вызывавший в памяти лес, заснеженные горы и молодые перелески, поросшие кустарником склоны холмов, но этот запах неотъемлемо ассоциировался также с кладбищем, смертью, свежевыкопанными могилами и венками из сосновых и еловых веток с вплетенными в их зелень искусственными цветами. Я смотрел на деревце, а пани Марта с девочками убирала со стола суповые тарелки. Передо мной словно по волшебству появился графинчик с водкой, я улыбнулся, девчонки прыснули, а пани Марта весело заметила:

— Ну, вот наконец я вижу на твоем лице улыбку, Алик...

— Я знаю, что вы приготовили водку для меня,— сказал я.— Это лишнее. Я и так доставил вам немало хлопот.

— Водку я получила в подарок от своего брата Михала, ты же знаешь, он работает управляющим в имении барона Гётца. Он был у нас вчера и привез немного продуктов. Если бы не он, не знаю даже, как бы я устроила сегодняшний ужин...

На столе появилось большое блюдо — пирожки с капустой, жареная

рыба и заливное, я выпил сразу несколько рюмок водки, и настроение мое заметно улучшилось. Пани Марта тоже выпила две рюмки и, расчувствовавшись, принялась вспоминать старые времена, юные годы, сочельники прошлых лет, на ее счету их было по крайней мере вдвое больше, чем на моем, рассказывала всякие забавные случаи из своей жизни, а потом стала вспоминать детские шалости своих дочерей — Люции, Франциш ки и Юлии; слушая ее, мы хохотали до упаду, и хотя эти истории не были для нас новинкой, но сколько бы раз пани Марта к ним ни возвращалась, она всегда находила какую-то новую забавную деталь. Чаще всего героиней рассказов была младшая дочка Юлия, четырнадцатилетняя девочка, развитая не по годам, с живым воображением, впечатлительная и добрая, и притом большой сорванец: Юлию я любил больше всех дочерей пани Марты. Я смотрел на худое овальное личико Юлии, на ее светлые, как лен, заплетенные в две толстые косы волосы, и когда наши взгляды встретились, в ее глазах я увидел выражение такой преданности и преклонения, какое бывает только у влюбленной девушки. На меня вдруг нахлынула волна нежности к этой маленькой худенькой девочке, внимательно следящей за каждым моим жестом, отгадывающей самые сокровенные мои мысли, прислушивающейся к каждому моему слову, словно она собиралась открыть в нем будущий смысл собственного существования. Я рассмеялся, мне показалось смешным, что именно я стал объектом ее первой любви. Неожиданное открытие застало меня врасплох; я вдруг понял истинный смысл ее неустанных усилий обратить на себя мое внимание, усилий по-детски наивных, но уже полных неосознанной тоски по любви — так вот в чем скрытый смысл ее необычного ко мне отношения, робких поцелуев и нетерпеливых вопросов, за которыми скрывалась тревога за свою любовь; когда я все это понял, меня охватило смешанное чувство волнения и беспокойства, ибо я подумал, что эта девочка, почти ребенок, уже сейчас отмечена печатью страдания, она не отдает себе отчета в том, что меня нельзя любить, нельзя любить человека, судьба которого столь опасна и ненадежна, который в любую минуту может погибнуть, но все это, однако, не мешало мне самому неустанно искать ее любви, думать о ней, стараться вызвать ее, хотя я отлично знал, как безрассудны и тщетны все мои усилия. Инстинктивно защищаясь от власти над собой ненависти и зла, в поисках равновесия и опоры, я стремился к любви, потому что только любовь давала мне возможность почувствовать себя хоть на время в стороне от недобрых страстей войны, истребляющих в нас все, что еще можно было бы спасти. В своих непрестанных поисках истинного чувства я чаще всего наталкивался на плоские интрижки, которые давали мне так мало, разве что на какое-то время помогали отвлечься от жестокости военных будней; я никогда не хотел мириться с тем суррогатом любви, который не раз поспешно предлагали мне то под влиянием неожиданных импульсов, то в порыве жалости,— все это было совершенно недостойно и тех женщин, с которыми я встречался, и меня, но в условиях тех лет мы часто довольствовались малым, хватали без разбора, что придется, все равно как и где, напоминая своим поведением тех жалких старцев, у которых перед смертью осталось лишь одно желание — наесться досыта.

И вот опять я готов был начать все заново. В канун праздника рождества Христова в поезде я познакомился с Эвой и, снова надеясь на что-то, условился с ней о встрече, а в этот же вечер открыл, что стал предметом первой любви четырнадцатилетней Юлии.

Я взглянул на часы — было уже около одиннадцати,— съел последний кусок рыбы, пани Марта налила мне еще одну рюмку удивительно терпкой водки, пахнущей можжевельником и какими-то неведомыми травами. Я взял рюмку, большую рюмку для вина, похожую на удлиненный цветок белой лилии, и долго вдыхал удивительный аромат напитка,

потом осторожно отпил глоток, водка прекрасно согревала, и мысли становились прозрачными и удивительно ясными.

— Мы ужасно рады, что ты с нами, Алик,— сказала пани Марта.— Ты даже не догадываешься, как мы беспокоились о тебе...

— Знаю. Я тоже очень рад, что мы вместе.

— Съешь еще рыбы?

— Нет, спасибо.

— Я оставлю ее тебе на завтрак.

— Рыба отменная, особенно заливной карп.

— Я знала, что тебе понравится. Поэтому почти всю рыбу пустила на заливное, а кусочек поджарила...

— Боже мой,— пробормотал я в смущении.— Не знаю, чем я заслужил такую доброту. Вы заботитесь обо мне, как о родном сыне...

— Я рада, что тебе хорошо. Мне всегда хотелось, Алик, чтобы ты чувствовал себя у нас, как в своем доме...

— Спасибо...

Со стола быстро убрали блюда, тарелки, ножи и вилки. Пани Марта принесла большую вазу с компотом из чернослива, а Юлия поставила передо мною салатницу с кутьей — любимое мое рождественское блюдо, которое на этот раз, как я догадывался, было приготовлено ради меня. Растроганный и смущенный всеми этими знаками внимания, я еще раз сердечно поблагодарил пани Марту за такую приятную неожиданность, но она, многозначительно подмигнув мне, сказала:

— А кутью, Алик, готовила не я, а Юлия...

— В самом деле?

— Нет,— быстро произнесла Юлия.— Вовсе нет...

Я взглянул на нее — взволнованная и зардевшаяся от смущения, девочка сидела, низко опустив голову и крепко стиснув судорожно сплетенные пальцы, а когда я встал, чтобы подойти к ней, стремительно вскочила и убежала в кухню. Я хотел было пойти за ней, но пани Марта остановила меня.

— Она сейчас вернется,— сказала пани Марта, и в глазах ее мелькнули веселые искорки.— Лучше оставить ее в покое...

Нехотя вернулся я на свое место, положил на тарелку солидную порцию обильно политой медом пшеничной каши с маком, и за едой то и дело поглядывал на дверь, ведущую в кухню, но Юлия не появлялась. В конце концов пани Марта, видно, сочла, что ее отсутствие слишком затянулось, встала из-за стола и вышла на кухню; из-за полуоткрытой двери доносился мягкий и нежный голос пани Марты и едва слышный голосок Юлии. Через минуту обе вернулись в комнату.

— Знаете, дети, чем мы теперь займемся? — спросила весело пани Марта.— Зажжем на елке свечи, потушим свет и будем петь коляды...

Девочки с радостью приняли это предложение, Юлия молча подала мне коробку спичек, а я, воспользовавшись этим, схватил ее за руку и поцеловал в щеку; при виде такого моего коварства мать и сестры Юлии весело расхохотались, но сама она ничуть не смутилась. Мой поцелуй она приняла совершенно спокойно, как нечто совершенно естественное, и только ласково взглянула на меня; да и что тут удивительного, ведь наша дружба началась еще в те времена, когда Юлии было три года, а мне неполных двенадцать. Тогда я не раз целовал ее так же, как сейчас, а во время долгих прогулок, когда девочка уставала, брал ее на руки и она нередко засыпала у меня на руках. К этому времени относится комический эпизод, из-за которого к Юлии навсегда пристало забавное прозвище; отлично помню тот осенний день: я чинил шнур от настольной лампы, пани Марта гладила белье, а Люция и Франциška готовили уроки; в квартире царила тишина, только из кухни время от времени доносился звон кухонной посуды, которую нечаянно задевала игравшая там

девочка. Вдруг дверь распахнулась, на пороге появилась Юлия и в страшном волнении крикнула: «Мама, мама, иди посмотри, к нам в квартиру забралась огромная крыса!» Мы побежали на кухню, уверенные, что со двора в квартиру и в самом деле пробралась крыса, их там на помойке было великое множество, но вместо крысы увидели маленькую полевую мышку, которая при виде нас тут же удрала. Переглянувшись, мы все весело рассмеялись, и только маленькая Юлия, казалось, не понимала причины нашего веселья, зато кличка «мышонок» пристала к ней навсегда.

Я зажег на елке свечи, Юлия выключила электрический свет, комнату охватил полумрак, только веселые огоньки свечек переливались желтым блеском среди пестрых шариков и ленточек серпантина. Я расположился в кресле рядом с пианино, на другое кресло села пани Марта, девочки примостились на кушетке; все мы сидели в полной тишине и, отяжелев после обильного ужина, сонно вглядывались в сияющую огнями елку, в серебристый наряд украшенного безделушками деревца, а мною все сильнее и сильнее овладевало сладостное чувство лености, тишины и покоя, всем своим существом я наслаждался этой чудесной минутой полного отдохновения. Я достал сигарету, закурил и посмотрел на Юлию — она сидела на кушетке, глядела на меня и улыбалась.

— Алик, сыграй нам на гармонике,— попросила она.

— Что сыграть?

— Ну, какую-нибудь песню.

— Не знаю, сумею ли. Я так давно не играл...

— А ты попробуй. Прошу тебя...

Отказать было трудно, тем более что Юлию поддержали обе сестры и пани Марта, хотя я отлично сознавал, чем эта игра может кончиться. Пани Марта уже разыскала гармонику, тщательно стерев с нее пыль, вручила мне, а сама снова села в кресло. И снова в комнате воцарилась такая тишина, что слышно было только легкое потрескивание свечей да шум метели за окнами. Мне было не по себе, я никак не мог решиться и начать играть, какая-то тяжесть давила меня, а горло сводила судорога; я все медлил, меня мучило чувство раздвоенности и беспокойство, которые, наверно, испытывал бы каждый человек, причастный к смерти другого. Не так-то легко было превозмочь себя, но не могли же они ждать до бесконечности,— и я робко начал мелодию хорошо известной песни «В ночной тиши». Никто не пел, в комнате по-прежнему царила тишина, я взглянул на пани Марту — она тихо плакала; я знал, что так оно и будет, но все же не предполагал, что эти тихие слезы, это молчание и сама мелодия этой песни так легко выведут меня из равновесия. Я вдруг почувствовал нестерпимо острую боль, сдавившую горло с такой силой, что я с трудом переводил дыхание, попытался было избавиться от этого ощущения, но оно было сильнее меня, и, оборвав мелодию на половине такта, я встал с кресла и прерывающимся голосом сказал:

— Нет! Не могу. В самом деле не могу. Я не могу сегодня играть...

Пани Марта кивнула и, задумавшись, некоторое время еще сидела молча, потом встала и ушла на кухню, вслед за ней ушли и девочки. Оставшись один, я снова сел в кресло, откинув голову на его мягкую спинку, вытянул ноги, закрыл глаза и с облегчением подумал о том, что час отдыха недалек. Я смертельно устал и ждал сна, как спасения; отяжелевший и неподвижный, глядел я из-под прищуренных ресниц на елку, прислушивался к долетавшим из кухни шорохам, ловил шум приглушенного разговора, плеск воды, стук посуды, звон перекладываемых с места на место приборов, тихие шаги девочек и неожиданно, несмотря на охватившее меня оцепенение, почувствовал вдруг прилив радости и блаженного покоя — я был дома, в безопасности, среди близких людей, окруживших меня нежностью и заботой, которая чувствовалась на каждом

шагу, в каждом даже самом незначительном жесте; погруженный в теплый полумрак, с его тихими шорохами, я все больше поддавался очарованию этого вечера, с каждой минутой отделявшего меня от событий минувшего дня. В какой-то момент мне вспомнилась Эва, девушка, с которой мы познакомились в поезде и условились о встрече, но я подумал, что, наверно, не пойду к ней, ибо у меня не было ни малейшего желания начинать все сначала, и еще я подумал, что если, несмотря на все колебания, все же решусь продолжить это знакомство, то не позволю втянуть себя в игру, которую женщины так любили, но правила которой слишком хорошо были мне уже известны,— бесплодную игру, заполнявшую пустоту их собственного, лишенного цели существования. Игра эта только опустошала мою душу, а мне необходимо было беречь силы для будущего, призвание мое все настойчивее напоминало о себе, я с нетерпением ожидал минуты, когда снова окажусь в своей мастерской, тосковал по старым книгам, литографиям и гравюрам с их терпким запахом скипидара и масляных красок, но знал, что пройдет еще немало времени, прежде чем я смогу оставить профессию коммивояжера смерти,— я человек, заранее обреченный на смерть, разыскиваемый всеми полицейскими службами страны, неустанно преследуемый, человек, которого, кажется, вот-вот загонят в ловушку, но который все еще яростно отбивается от своих преследователей, как бешеный и одинокий зверь. Я думал о многом, но мысли мои с каждым мгновением становились все более расплывчатыми, картины пережитых в этот день событий, словно морские волны, то отдалялись, то снова набегали, в голове слегка шумело, я слышал тихое потрескивание свечей на елке и открыл глаза, чтобы проверить, не догорели ли они — нет, им еще долго гореть,— успокоившись, с облегчением опустил веки и вдруг погрузился в сон.

VII

Сочельник: начало пути

Меня разбудил осторожный стук в дверь; приоткрыв глаза, я в недоумении огляделся по сторонам и в первую минуту никак не мог понять, где я и что со мной, но когда постучали снова, заметил серую полоску света, протянувшуюся через всю комнату, тускло освещенную мерцающим блеском качающегося на ветру уличного фонаря, толстую решетку на узком высоком окне и заставленные мебелью мрачные, таящие немую угрозу углы. Из висевшего на стене огромного зеркала с позолоченной рамой в стиле барокко на меня глядело продолговатое лицо с резкими чертами — неподвижная маска, на которой живыми были лишь холодно поблескивающие глаза. Я сморщил брови, лицо в зеркале дрогнуло, какое-то мгновение я смотрел на него с таким интересом, словно и вправду видел его впервые, и, как ни странно, в этот момент почувствовал даже какую-то неприязнь к своему двойнику — лицо, отразившееся в зеркале, казалось мне чужим, и я жадно вглядывался в него, пытаясь увидеть хотя бы следы пережитых за эти годы тревог, волнений и страданий, которые неизбежно должны были как-то на нем запечатлеться, но в полумраке комнаты различал лишь тусклый его овал и неподвижный блеск глаз, явственно выражавших вновь пробудившуюся настороженность. Через минуту снова послышался легкий стук в дверь, я сосчитал удары, их было семь, медленно встал, отодвинул стул, осторожно приблизился к двери, вытащил из кармана пистолет, тихо повернул ключ в замке, толкнул коленом дверь и тотчас отпрянул назад.

В коридоре, под ярким светом электрических лампочек, стоял Грегори и дружески улыбался.

— Что случилось? — спросил я.— Где Монтер?
— Я как раз только что говорил с ним.
— Он был здесь?
— Нет. Он мне звонил.
— Что он сказал?
— Велел передать, что скоро будет здесь.

Я взглянул на часы — семнадцать пятьдесят, Монтер должен был быть в «Какаду» в семнадцать часов, видно, появились какие-то непредвиденные обстоятельства, а до отхода поезда оставалось всего каких-нибудь три четверти часа; но хотя времени было совсем немного, я ничего не мог предпринять, оставалось только терпеливо ждать Монтера и его парней, под опекой которых находился мой груз и которые должны были сопровождать меня до дверей купе скорого поезда.

— Разрешите, я занавешу окно,— сказал Грегори с извиняющейся улыбкой.— Монтер с ребятами будут здесь с минуты на минуту. Он заказал ужин на шесть персон.

— Через три четверти часа отходит поезд.

— Да, знаю. Монтер говорил об этом. Вот я и хочу все приготовить заранее, чтобы вы могли спокойно поужинать...

— Мне не надо никакой еды.

— Монтер заказал ужин на шесть персон.

— Я ничего не буду есть.

— Но, может, чаю выпьете?

— Да. Чаю выпью с удовольствием.

Грегори опустил на окно штору из плотной бумаги, служившей для затемнения во время воздушной тревоги, тщательно проверил, хорошо ли оно закрыто, и зажег свет.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо.

— Температура спала?

— Кажется, да. В общем, чувствую себя отлично.

Грегори испытующе посмотрел на меня.

— Это сразу видно,— произнес он довольным тоном.— Аспирин помог. Незаменимое средство при температуре...

— Безусловно.

— Может, принести еще две таблетки?

— А зачем?

Грегори заколебался.

— С температурой нужно быть поосторожнее,— сказал он.— Вы, наверно, сильно простудились, вид у вас сегодня был совсем неважный. Временами мне даже казалось, что вы бредите. И глаза были совсем больные...

— Сейчас я чувствую себя хорошо.

— Я советовал бы принять еще две таблетки. Температура может опять подскочить, а у вас впереди дорога...

— Верно. Принесите аспирину...

— У меня есть еще несколько таблеток, могу вам дать.

— Двух хватит. Спасибо.

— Как хотите,— сказал Грегори с улыбкой.— Сейчас принесу чаю...

Я проводил его до самой двери и выглянул в коридор. В узком, длинном, ярко освещенном коридоре толклись официанты, ожидая у кухонного окна выдачи заказанных блюд, коридор вел к главному входу в большой зал «Какаду», откуда доносился глухой гул голосов, чье-то нескладное пение, невнятное бормотание пьяных и хохот подвыпивших проституток. Я вернулся в комнату, прикрыв дверь, подсел к столику напротив входа и еще раз огляделся, как бы желая проверить, что не сплю и мое присутствие в «Какаду» и в этой комнате, где мне уже дважды

приходилось ждать Монтера,— не иллюзия, не мираж и не горячечный бред. Глядя на это заставленное столиками помещение, на выкрашенные грязно-розовой масляной краской стены, на зеркала в претенциозных позолоченных рамах, я как будто снова погружался в знакомую мне атмосферу нетерпеливого ожидания, беспокойства за судьбу груза, который должен был доставить, тревоги за жизнь Монтера, да и за свою собственную, в атмосферу мучительной борьбы с самим собой, с тягостными мыслями, от которых никак не мог освободиться, с этим странным подсчетом собственных успехов и поражений, с тоской о неосуществленных замыслах, об утраченной любви, возврата которой не желал, невзирая на горечь разлуки и все нарастающее чувство полного одиночества. Так было всякий раз, когда я появлялся в «Какаду», чтобы в темноте этой комнаты ждать Монтера, и как-то само собой получалось, что именно в эти часы я вершил над собою строгий суд, на котором был одновременно и обвиняемым, и судьей, и прокурором, и защитником. Это был давний судебный процесс, с резкими спорами и столкновениями, с длинными монологами и прениями сторон — процесс, с одинаковым накалом длившийся уже много лет, на котором не был вынесен окончательный приговор, но который несомненно многое изменил в моем сознании.

Снова появился Грегори, он принес обещанный чай и две таблетки аспирина, лекарство я тут же проглотил, а Грегори, готовясь к приему Монтера и его ребят, тем временем приводил в порядок стол. Я молча наблюдал, как он сновал по комнате, расставлял стулья, сдвигал столы и накрывал их белой скатертью, на принесенном им в комнату подносе я заметил хлеб в плетеной корзинке, соленые огурцы, маринованные грибы и даже масло, которое в этом заведении, видимо, держали исключительно для королей черного рынка, ибо прочим смертным цена его была недоступна. Насколько я помню, в «Какаду» обычно так не угощали, вероятно, только Грегори понимал, что мы относимся к тем смертным, которым не следует отказывать ни в каких удовольствиях. Эта мысль так развеселила меня, что я громко рассмеялся.

Грегори удивленно посмотрел на меня.

— А вы настроены сегодня весело,— заметил он.

— Даже слишком.

— Хорошее настроение, видно, вас никогда не покидает.

— Это точно.

— Что же вас так рассмешило?

— Пустяки. Я подумал, что этот ужин будет дорого стоить.

— Монтер не заплатит ни копейки.

— Значит, за ваш счет?

— Ну, что вы.

— Но кто-то же должен будет за все это платить?

— Заплатят фрицы...

— Браво! Вы, однако, не лишены юмора. Хотел бы я только знать, как вы это сделаете...

Грегори улыбнулся.

— Очень просто,— сказал он.— Каждый раз я сообщаю шефу, что ужинали люди из гестапо. Этого достаточно. С них он никогда не требует денег...

— Шеф — немец?

— Да, приблудный,— произнес он с презрением.— *Reichsdeutsch* [1].

— А я все время думал, что это заведение принадлежит вам.

— Что вы! Я только управляющий.

— А что случилось с прежним владельцем?

— Вы его знали?

---

[1] Имперский немец *(нем.)*.

— Да.
— Он давно вышел из игры.
— Прикончили его?
— Нет, умер...

Грегори расставил тарелки, еще раз окинул все критическим взглядом и удовлетворенно кивнул головой.

— Порядок,— буркнул он.— Можно садиться за стол.

Я взглянул на часы: было пять минут седьмого. Грегори забрал поднос и отправился на кухню, оставив дверь полуоткрытой; я достал из кармана сигарету и закурил, а когда поднял голову, горящая спичка осветила мое лицо, отразившееся в зеркале. Только сейчас, на свету, было заметно, как скверно я выгляжу: бледный, под глазами темные круги, веки опухли, как после тяжелого, нездорового сна, но я уже не чувствовал ни температуры, ни усталости, ни даже волнения, одно лишь нетерпеливое ожидание той минуты, когда смогу отправиться в обратный путь.

За стеной после долгого перерыва снова заиграл оркестр, совершенно отчетливо была слышна мелодия, которую играли уже третий раз за этот вечер, то была «*La Cumparsita*» — танец, который так любила Эва, эта мелодия, наверно, всегда будет напоминать мне о ней. Я подумал об Эве, девушке, которую встретил год тому назад в поезде; с тех пор как судьба столкнула нас в первый раз, прошел всего год, и вот мы снова чужие, сейчас я думал о ней совершенно спокойно, даже холодно, пожалуй, только с некоторой горечью, как о человеке, от которого ждали слишком многого. Но я нисколько не страдал, всего несколько часов назад со мной что-то произошло, а что, я и сам не сумел бы определить; измученный температурой, преследуемый кошмарами, я вдруг как-то очень легко оттолкнулся от всего того, что еще недавно терзало меня и казалось неразрешимым, почувствовал себя таким свободным, таким счастливым, что готов был ликовать.

Черт возьми, от любви не умирают, разве что у человека нет сил дождаться ее конца; не умирают также от сознания собственного одиночества, которое сопутствует нам везде и во всем, напоминая о себе всякий раз, когда мы не можем найти общего языка с другим человеком, когда видим, что все наши лучшие стремления поняты и истолкованы превратно и что никто не может нам помочь выбраться из лабиринта мучающих нас сомнений.

С тех пор как помню себя, я всегда был одинок, меня никто никогда не понимал по-настоящему, все усилия, которые я, одолеваемый всякими сомнениями, вложил в поиски истинного смысла своего существования, вызывали у окружающих лишь удивление и недоверие, искренность, с которой я высказывал свои убеждения,— улыбку жалости, доброта, потребность в которой я всегда ощущал, почиталась за признак слабости; и в конце концов я с изумлением убедился в том, что меня принимают всерьез только тогда, когда я становлюсь жестоким и беспощадным. Все это привело к тому, что я перестал говорить о том, что меня волновало, начал избегать людей, не высказывал своих убеждений и старался в любых обстоятельствах сохранять бесстрастность. Не умея найти общий язык с людьми, чувствуя себя все более и более скованным, я терпел поражение за поражением и в конце концов признал себя побежденным, перестал метаться, но не давал себя уничтожить; постоянно настороженный, понемногу я все больше начинал понимать этот мир, мир существ, мучимых тоской, безмерно терзаемых и преследуемых всевозможными несчастьями, мир, покоящийся на насилии и обмане, орудием которого были преступление и война, а движущей силой — безмерный эгоизм. Я все больше погружался в него, вполне сознавая и его разрушительную силу, и его очарование, но старался не покориться той всепоглощающей стихии, какой была жизнь; однако, чтобы устоять, я должен был поста-

вить перед собой какую-то определенную цель, понимая, что из множества дорог могу выбрать только одну, что спастись—означает сберечь все лучшее, что во мне еще оставалось; но чем больше я стремился к этому, тем сильнее преследовало меня одиночество — вот тогда и родилась во мне потребность любви. Ни минуты не колеблясь, я связал себя с Эвой, но совершил при этом несколько серьезных ошибок, что и погубило меня: я сразу выложил на стол все свои козыри, открыл карты, игра перестала быть интересной, а время довершило остальное — исчезло ощущение новизны, один из самых сильных импульсов в чувствах женщин. При первых же попытках обмана с ее стороны я ушел, чтобы не стать по крайней мере смешным, признал свое поражение, и мы расстались, хотя мне все еще казалось, что я не смогу жить без любви. Я был похож на наркомана, который после первой дозы наркотика уже не в состоянии освободиться от пагубной страсти; разочарованный, ошеломленный горечью пережитого, я лихорадочно искал новый объект для своих нетерпеливых чувств. И до встречи с Эвой я в сущности знал, что любая попавшаяся на моем пути красивая девушка с равным успехом могла бы стать предметом моей неудовлетворенной тоски, но сейчас полностью осознал, что по-настоящему не любил ни Барбару, ни Кристину, ни Эву, а все страдания, которые испытывал, расставаясь с ними, были продиктованы безысходным ужасом перед надвигающимся одиночеством...

Из глубокой задумчивости меня вывел шум мужских голосов и стук подбитых гвоздями ботинок, приближались чьи-то шаги, и я, глядя на дверь, сунул руку во внутренний карман пиджака, где лежал пистолет. Шаги затихли, люди остановились у самой двери, явно пораженные тем, что она не только не заперта, но даже приоткрыта, как бы приглашает войти,— дверь должна была открыться лишь после условного сигнала, а тут вдруг видна широкая, величиной с ладонь, щель, через которую можно разглядеть часть заставленного столиками помещения, кусок размалеванной стены и поблескивавшее зеркало в позолоченной раме, но меня видно не было — я сидел левее и не попадал в их поле зрения. Меня так и подмывало расхохотаться, когда я представил себе, как они беспокойно переглядываются, ища в глазах друг друга молчаливое подтверждение своим неожиданно проснувшимся сомнениям и тревоге за судьбу этой встречи, я смотрел на дверь и ждал, когда наконец кто-нибудь из них решится ее толкнуть, и это, наверно, продолжалось бы еще долго, если бы из кухни не пришел Грегори. Послышался его зычный голос, смех Монтера, дверь распахнулась, и я увидел толпящихся в коридоре людей. Первым вошел Грегори с огромным подносом, уставленным тарелками, а следом за ним Монтер и его ребята.

Я встал им навстречу.

— Как дела, Хмурый? — весело воскликнул Монтер.— Сидел и думал, что сегодня нас не дождешься?

— Ты угадал.

— Мы попали в дьявольскую переделку, с таким трудом выпутались...

— Думаешь, еще успеем на поезд?

— Успеем.

— С грузом все в порядке?

— Да.

— Времени осталось немного.

— Успеем,— сказал Монтер.— Поезд, на котором ты поедешь, опаздывает самое малое на полчаса.

— Откуда ты знаешь?

— Только что справлялся у дежурного...

— Полицейских много?

— Где?

— На вокзале.

— Ни одного не видел.

Я молча кивнул. Глядя на Монтера, на его смуглое лицо и темные веселые глаза, в которых теплились дружелюбные искорки, я подумал, что, несмотря на кажущуюся сухость и неприветливость, Монтер на самом деле очень добрый и сердечный человек, к тому же еще мудрый и терпеливый, как отец; я улыбнулся ему, он обнял меня за плечи и промолвил:

— Дай-ка, наконец, я поцелую твою запретную физиономию...

— Целуй, старина! Если это доставит тебе удовольствие.

Все рассмеялись. Монтер расцеловал меня в обе щеки, я ответил ему тем же, а потом, выпустив меня из объятий, он тихо сказал:

— Познакомься с ребятами, дружище...

Они стояли возле нас полукругом, их было четверо, я поздоровался с каждым за руку, но никто из нас не произнес вслух ни своего имени, ни прозвища — познакомиться в нашем понимании означало лишь внимательно посмотреть друг другу в лицо и крепко пожать руку, а после завершения операции мы снова становились совершенно чужими и при любой случайной встрече обходили друг друга стороной, ничем, даже жестом, не выдавая своего знакомства.

— Ну что ж! — произнес Грегори.— Можно садиться за стол...

Монтер бросил взгляд на покрытый чистой скатертью стол, уставленный тарелками с огромными дымящимися порциями колбасы с капустой, и удовлетворенно кивнул.

— Ты портишь мне людей, Грегори,— заметил он с улыбкой.— После такого угощения их не заставишь есть картофельный суп, верно?

Грегори кивнул головой.

— Еще немного,— сказал он.— Скоро все это кончится.

— Я тоже так думаю,— подтвердил Монтер.

Он снял шляпу, скинул пальто, бросил все это на ближайший стул и принялся разливать в рюмки водку из графина.

— Я не пью,— напомнил я.— Мне не наливай.

— Ох, *pardon*. Совсем забыл.

— Ничего страшного.

— А что? Может, выпьешь?

— Нет,— ответил я.— И на сей раз еще нет.

— Ладно. Не буду тебя уговаривать...

— Правильно. Ты делаешь успехи, Монтер.

— Рад, что ты это заметил.

Он отодвинул графин, улыбнулся мне и взял свою рюмку. Глядя на Монтера, я вновь испытывал какое-то странное чувство, будто все это когда-то со мной уже было, будто когда-то, в очень далекие времена, я видел те же жесты, слышал те же слова от людей, чьи лица давно стерлись в моей памяти. Но вот я перевел взгляд с Монтера на сидевших за столом парней, встретился с их усталыми лицами, которые видел первый раз в жизни, и все вдруг прошло, снова я оказался в маленьком зале «Какаду», сидел на стуле лицом к двери, глядел на Монтера, его товарищей и просто ждал, пока они перекусят перед дорогой.

— *Salud*, ребята!

— Твое здоровье, комендант!

Они выпили по рюмке и принялись за еду. Я вытащил из кармана сигареты и закурил, оркестр за стеной играл «Гранаду» Хуана Ласоса, эта мелодия напоминала мне о чем-то очень дорогом и близком. Я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, и вдруг вспомнил — ведь это любимое танго Юлии. Мне оно тоже нравилось, Юлия это хорошо знала, и нередко случалось, что именно его она играла на пианино, когда я вхо-

дил в дом пани Марты. Но только для нас двоих — для Юлии и для меня — «Гранада» служила сигналом приветствия и таинственным шифром, только нам двоим был понятен его смысл.

— Хмурый!

Я открыл глаза и посмотрел на Монтера.

— Слушаю.

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Что-то скверно ты выглядишь.

— Я немного простужен. Но это пустяки.

— А как температура?

— Уже спала. Я принял аспирин.

Монтер кивнул.

— Ты знал Ворона? — спросил он.

— Кажется.

— Так вот, брат, его уже больше не увидишь...

— Что случилось?

— Отправили к праотцам...

— Полицаи?

Монтер отрицательно покачал головой.

— Нет,— буркнул он.— Рыцари Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Дорогие друзья из НСЗ.

— Когда же они его убили?

— Позавчера.

— Известно, по крайней мере, кто это сделал?

— Уже известно.

— Волк?

— Нет. Он этого не мог сделать, даже если бы очень хотел.

— Откуда у тебя такая уверенность?

— Он тоже перестал хорохориться, только намного раньше, чем Ворон,— не спеша ответил Монтер.— Честно заработал себе ящик из четырех досок и двухметровую яму, да еще лопатой по заднице от могильщика...

— Проклятие, когда же все это кончится?

Монтер нетерпеливым жестом отодвинул тарелку с едва начатой колбасой и достал сигарету.

— Не знаю, что ты имеешь в виду,— сказал он уже серьезнее.— Но если речь идет о войне, то для нас она кончится в течение ближайших недель. В скором времени мы сможем сказать, что живем в свободной стране. Только боюсь, что тогда-то и начнется настоящий балаган. У нас слишком много деятелей, которые захотят наводить порядок в отечестве. Соображаешь? Каждый на свой страх и риск и во имя своих личных интересов...

— Люди измучены войной.

— Да. Но это им вовсе не помешает снова начать драку, как только речь зайдет о власти в стране...

— Но они же должны понять, что у них нет никаких шансов...

— Правильно. На сей раз шансы только у нас. Но не забывай, что и ставка очень велика и найдется немало таких голубчиков, которые не захотят согласиться с новым положением вещей. Они сделают все, чтобы воцарилась полная анархия...

— Это глупо.

— Что?

— Глупо погибнуть после того, как сумел уцелеть в этом аду и дождался свободы...

— Для многих людей слово «свобода» имеет совсем другое значение...

— Ты прав,— сказал я.— Это верно. Как видно, еще немало воды утечет, прежде чем я снова смогу взять в руки кисть, краски и вернуться к своим полотнам...

Монтер положил мне руку на плечо.

— Нет, Хмурый,— произнес он сердечно.— Теперь ты будешь только рисовать. В штабе принято решение, что это последняя операция с твоим участием...

— Ты что, с ума сошел?! — рванулся я.— Что ты мелешь, приятель? Неужели ты действительно думаешь, что я буду спокойно сидеть на заднице и смотреть, как вас всех перебьют?

— И тем не менее, Хмурый. Ты будешь теперь только рисовать...

— Черта с два!

— Пока плакаты,— сказал, улыбаясь, Монтер.— Смекаешь? Нам нужны будут хорошие плакаты и рисунки для газет, а потом, когда в стране наконец наступит спокойствие и порядок, ты сможешь спокойно рисовать пейзажи, натюрморты, портреты друзей...

— Ладно, Монтер. Но ведь эту работенку с успехом могут отмахать и те, кто никогда не держал в руках оружия и не умеет им пользоваться, верно?

Монтер покачал головой.

— Нет дружище. Ты не прав. Не прав по двум причинам. Во-первых, работу, которую мы тебе вскоре поручим, нельзя просто отмахать, уж слишком большое она будет иметь для нас значение, а, во-вторых, хорошо делать ее могут только люди, которые сами активно участвуют в нашем движении.

— К черту плакаты!

— Ну вот, наконец-то, дружище, мы нашли общий язык,—засмеялся Монтер.— Впрочем, я никогда не сомневался, что с тобой можно договориться...

— Отвяжись от меня, старина!

Монтер рассмеялся, его ребята, молча прислушивавшиеся к нашему разговору, тоже заулыбались. В комнату вошел Грегори, неся шесть стаканов чаю и сахарницу, наполненную до краев самым настоящим сахаром. Я взглянул на часы: было уже двадцать пять минут седьмого, время летело неимоверно быстро, с каждой минутой приближая нас к важнейшему моменту этого дня; и я подумал о том, что круг дел постепенно замыкается, а на мою долю осталось только четыре часа. Если мне не удастся преодолеть этот хилый барьер времени — значит всему конец. Сегодня в последний раз мне поручали опасный груз, и я обязан был сделать все, чтобы в назначенное время он был доставлен на место. Я твердо знал, что его ждут, но ничего не знал о том, как могут развернуться дальнейшие события. Всего четыре часа, но за это время могло произойти многое. Я хорошо помнил сочельник прошлого года, когда пережил самое удивительное приключение в моей жизни, но такое может случиться только раз в жизни, а сейчас я готов был к самому худшему.

Я был совершенно хладнокровен и уверен в себе, в душе не оставалось и тени сомнений. Должно быть, в этот вечер со мной и в самом деле что-то произошло — нечто такое, чего я и сам не сумел бы определить. Мною овладело какое-то особое спокойствие, и я почувствовал себя необыкновенно счастливым: до сих пор я слишком часто давал волю воображению, тем смутным и едва осознанным мечтам, которые отнимали у меня почти все силы. Не раз я пытался положить этому конец, но мне почти никогда не удавалось достичь такого душевного равновесия, как сейчас. Все это, впрочем, произошло как бы само собой, помимо моей воли. Впервые за много лет я действительно был доволен собою.

У меня появилось ощущение свободы, радостного возбуждения и внутренней дерзости. Я любил рискованную игру, но с самого ее начала

бывал страшно возбужден, и меня трясло как в лихорадке; наверно, поэтому игра никогда не приносила мне истинного удовлетворения, даже выигрывая, я не испытывал истинной радости, но на этот раз все было по-другому, наконец все было так, как должно быть. Впервые за много лет я отправлялся в путь готовый не только к любым, самым неожиданным событиям, но и к любым, самым тяжелым испытаниям, которые помогли бы мне полностью освободиться от неверия в себя, и я подумал, что на этот раз мой самый верный и надежный друг — друг, на которого я обычно рассчитывал больше всего, сейчас, пожалуй, мне уже не нужен. Если хочешь проверить все до конца, убедиться, на что ты способен в действительности, если стремишься доказать самому себе, что ты свободен — полностью свободен, эта маленькая, величиной с горошину ампула с цианистым калием становится балластом, от которого нужно как можно скорее избавиться. Теперь уже мою судьбу не будет решать маленькая стеклянная ампула. Я пришел к выводу, что если мне придется умереть под пытками, я погибну либо с ясным сознанием собственного краха — если они сломают меня и уничтожат мое человеческое достоинство,— либо с сознанием полной независимости человека, над которым никто не властен.

Но я не хотел умирать — я страстно стремился жить! Передо мною всего лишь четыре часа отчаянного риска, а когда все это кончится, когда минует всякая опасность и груз будет передан по назначению, я снова, как всегда, окажусь в сочельник в доме пани Марты и проведу его при свете елочных свечей, за накрытым белой скатертью столом. А по другую сторону стола я увижу худенькое личико Юлии, ее большие зеленые глаза будут внимательно следить за каждым движением моих рук, искать на моем лице следы только что пережитых волнений — зоркие глаза любящей девушки, чувство которой росло с каждым годом. Я снова думал о Юлии, я все чаще и чаще думал о ней. Через три года Юлия будет взрослой и вступит в жизнь, а я ничего так страстно не желал, как уберечь ее от суровых жизненных испытаний, через которые прошел сам. Я хотел уберечь ее от первых разочарований, от лжи и подлости, с которыми так часто сталкивался, уберечь все то чистое, доброе и благородное, что было свойственно ей, помочь сохранить ту мягкость, сердечность и впечатлительность, от которых мне пришлось отречься, чтобы убивать.

Я взглянул на сидевших вокруг стола товарищей, и меня поразила их сдержанность, они сидели молча и неподвижно и ничего не замечали, впрочем, я легко мог догадаться, что́ сейчас чувствовали эти молодые парни, которых так же, как и меня, с тревогой ждали где-то в этот рождественский вечер незнакомые мне женщины. Потом я перевел взгляд на Монтера, вполголоса разговаривавшего о чем-то с Грегори. Оркестр играл за стеной попурри из венских вальсов Иоганна Штрауса. Засунув руку в верхний карман пиджака, я нащупал маленькую стеклянную ампулу, вытащил ее и, положив на ладонь, стал с интересом рассматривать. Небольшая, пузатая, с тщательно заделанными с обеих сторон отверстиями, она была наполнена белым, похожим на сахарную пудру порошком. На моей ладони она выглядела совсем безобидно, но стоило положить ее в рот и раздавить зубами, чтобы мгновенно свершилось то, к чему постоянно и неотвратимо приближал нас бег времени.

— Что это у тебя?

Я поднял голову и взглянул на стоявшего передо мной Монтера.

— Цианистый калий...

— Где ты его раздобыл, приятель?

— Купил.

— Где?

— Не спрашивай, старина. Все равно не достанешь.

Монтер взял у меня из рук ампулу и стал внимательно ее рассматривать.

— Это верно, что цианистый калий пахнет горьким миндалем?

— Не знаю. Не имею об этом ни малейшего понятия. Никогда не нюхал. Но если это тебя так интересует, можно сейчас разбить ампулу и проверить...

— Жалко. На какое-то время надо ее еще приберечь. Может еще пригодиться.

— Теперь уже нет.

— Ты так уверен?

— Мне, во всяком случае, она уже не понадобится.

— В самом деле?

— Да. Если хочешь, могу тебе *ее* подарить.

— Ты это серьезно?

— Вполне.

— Не хочешь же ты сказать, что намерен избавиться от *нее* уже сейчас?

— Ты угадал. Именно это я и намерен сделать.

— Не понимаю,— произнес Монтер неуверенно.— Ведь такая ампула чертовски помогает в работе.

— Я тоже так думал. Еще несколько часов тому назад я рассуждал точно так же. Но сейчас уже нет. Сейчас я так не думаю. Эта ампула только мешала бы мне...

— Что случилось, Хмурый?

— Ничего. Я хочу только знать.

— Что знать?

— Все. Хочу знать все и до конца...

Монтер посмотрел на меня испытующе и недоверчиво, словно раздумывал, можно ли принимать мои слова всерьез, потом пожал плечами и, не говоря ни слова, спрятал ампулу в карман, такой же, в каком я ее так долго носил — в верхний наружный карман пиджака. Повернувшись к своим товарищам, он решительно заявил:

— Ну, ребята, нам пора...

Я встал, надел пальто, тщательно обмотал шею шарфом и переложил пистолет в правый карман пальто. У меня мелькнула мысль, что все эти годы я неизменно повторяю одно и то же движение, но ведь в подобных ситуациях оружие всегда должно быть под рукой, чтобы в любой момент его можно было с толком использовать. Я был готов к путешествию, а ребята еще раз проверяли обоймы, поставили на боевой взвод пистолеты — они проделывали все с такой проникновенностью и серьезностью, что нетрудно было определить: это новички.

— Рысь! — позвал Монтер.

Один из парней обернулся, и я увидел его побледневшее лицо, стиснутые губы и потемневшие от скрытого волнения глаза.

— Проверь, свободен ли путь.

— Есть проверить.

Он вышел в коридор, оставив за собой неприкрытую дверь. Я взглянул на часы: стрелки показывали восемнадцать часов пятьдесят минут. Вскоре все должно было начаться заново, я снова находился в начале пути, который проделывал уже столько раз, снова направлялся навстречу событиям, которых в эту минуту никто из нас не мог предвидеть. Стоя напротив двери в ожидании сигнала к выступлению, я опять подумал, что все это когда-то со мной уже было, все в жизни повторяется, хотя всякий раз по-новому, а то, что уже однажды случилось, могло случиться всюду и случится еще не раз, когда от меня не останется даже следа.

Я подумал также, что, видно, так и должно быть и ничто не в состоянии изменить порядка, установленного временем, но мысли эти не

принесли мне ни разочарования, ни горечи, я был спокоен и полон надежд — теперь я твердо знал, что, хотя я все еще одинок, окружен врагами и, быть может, обречен на смерть, но пока я буду защищаться и не поддамся превратностям судьбы, пока я буду бороться за сохранение своего человеческого достоинства,— жизнь моя будет иметь смысл.

Путь к зрелости

Рышард Клысь дебютировал в литературе романом «Дорога в рай» в 1960 году. Его книга выгодно отличалась от многих других дебютов той поры и как бы противостояла литературной моде. В прозе молодых возобладал тогда (к счастью, ненадолго) так называемый «малый реализм»: инфантильные, подчеркнуто приземленные персонажи, не очень понимающие, чего они хотят, чего добиваются в жизни, безвольно подчиняющиеся всякого рода жизненным неурядицам и неувязкам.

А Клысь повествовал совсем о другом. И герои его действовали и размышляли иначе. Он воспроизвел один из последних моментов минувшей войны. В Бещадских горах горстка героев из Армии Людовой своим огневым заслоном прикрывает отход большой группы еврейских женщин и детей, которую им удалось вывести из зоны фашистского оцепления и, по договоренности с советским командованием, переправить в расположение наших частей, наступающих с востока.

В неравной схватке с эсэсовцами погибают все главные герои книги. Погибают, сознательно идя на эту жертву, чтобы спасти сотни человеческих жизней...

И написана книга была крепкой, уверенной — для дебютанта — рукой. Слишком профессиональным казался авторский почерк. Это обстоятельство и заставило некоторых критиков заговорить о несамостоятельности и подражательности писателя. Трагическая страница военных лет, смертельная схватка на несколько экзотичном фоне диких Бещад показалась им всего-навсего ученическим копированием испанского романа Хемингуэя.

Конечно, не обошлось без определенных творческих влияний и подражания автора некоторым литературным образцам, в частности и Хемингуэю. Даже сама история любви сумрачно-романтического Морро, командира отряда бойцов Армии Людовой, к девушке из гетто перекликалась с некоторыми страницами романа «По ком звонит колокол».

Но незаемными были драматический накал событий, поступки и рассуждения людей, накануне своей гибели думающих о будущем, о необходимости сражаться с врагом ради завоевания свободы. Именно царство свободы, куда герои Клыся «грудью пролагают дорогу себе», и является тем раем, без которого они не мыслят и самой жизни...

«Выламывание» Клыся из общей волны тогдашних дебютов было не случайным. Он оказался старше многих дебютантов: ему в то время исполнилось 32 года. За спиной у писателя было нелегкое — в оккупации — детство и юность. Война коснулась и его своим краем: в начале 1944 года Клысь примкнул к Сопротивлению, вступил в ряды Армии Крайовой, успел побывать в застенках гестапо, откуда ему чудом удалось бежать. Конец войны застал его в Бещадах — там, где и развертывается действие его первого романа. Романа, который, несмотря на некоторую несамостоятельность отдельных «партий», явился итогом какого-то (и немалого!) жизненного опыта автора. Ведь и в послевоенные годы далеко не сразу удачно сложилась писательская судьба: были и срывы, и блуждания, и мучительные поиски себя, своего места в жизни...

Подобным же итогом авторских раздумий о времени, о предназначении человека был и следующий роман Клыся — «Какаду», снова написанный им на материале военных лет. Роман, который некоторые польские критики не без оснований считают лучшей книгой Клыся, хотя он после этого опубликовал еще несколько произведений.

В этой книге Клысь намеренно убирает всю «экзотику», которая была в первом его романе, все, что может отвлечь внимание читателя от главных событий. Здесь нет ни стрельбы, ни погони. Перед нами будничный день оккупации и «будничная» же поездка одного из бойцов Сопротивления по железной дороге. Он везет чемодан с оружием, чтобы передать его дальше, по цепочке. Это его работа, которую он выполняет уже три года подряд. Обычная поездка, какие были не раз и еще будут. И «обычность» ее подчеркнута всем ходом повествования, нарочитой замедленностью рассказа, повторяемостью отдельных моментов, которые уже памятны герою по прошлым поездкам. За все время путешествия ему так и не придется ни разу пустить в ход оружие, ибо до этого дело не дойдет. Но от главы к главе внутреннее напряжение в романе нарастает. И автор проявляет незаурядное мастерство, добиваясь этого скупыми, сдержанными средствами. Своеобразной кульминацией путешествия оказывается почти фантастическая в условиях оккупации продолжительная беседа героя с майором вермахта, с которым случай сводит его в одном купе.

Чем же примечательна эта встреча? Почему она оставляет настолько глубокий след в сознании героя, что он вспоминает о ней через год, вспоминает с тягостным, грустным чувством? Необычность ее в том, что она выходит за рамки представлений молодого подпольщика. Ему кажется, что этот враг просто умнее, а значит, и коварнее, вероломнее многих других, встреченных им раньше. Опыт подпольной борьбы приучил его в каждом немце, одетом в военный мундир, видеть врага, не доверять ему. Не верит он и случайному своему попутчику, который обещает ему помощь в случае, если нагрянет полицейский патруль. С еще большим недоверием воспринимает он все попытки майора вызвать его на откровенный разговор. Впрочем, он и мало подготовлен к такому разговору. Тем более, что немец многоопытен и мудр, а он молод, порывист и горяч, и нервы его напряжены до предела в этой необычной ситуации. Он не очень задумывается поэтому над каждой сказанной фразой. Например, над тем, что оба они, как заявляет он, выступают по отношению друг к другу то в роли палача, то в роли жертвы, в зависимости от игры случая.

В этих словах героя звучит скорее напускная бравада. Ведь ему важно показать немцу, что он чувствует себя хозяином положения. Однако тот с искусством Ивана Карамазова подхватывает эту мысль и развивает ее дальше, предлагая считать, что оба они — два палача, мирно путешествующие в одном купе и обсуждающие тяготы своей нелегкой профессии. Естественно, что этот ответный монолог немецкого майора, монолог как бы с двойным дном отнюдь не настраивает героя на большую откровенность, не усыпляет его бдительности, не умаляет настороженности и недоверия...

Тем большее потрясение переживает он, когда немецкий офицер, с риском для самого себя спасший его от рук гестапо, в результате фатального стечения обстоятельств гибнет от руки подпольщиков прямо на глазах героя. Может быть, именно поэтому герою долгое время не дает покоя мысль, что он «в немалой степени был виновником» нелепой гибели немца, о котором он размышляет впоследствии как о «погибшем брате». И сама эта встреча в поезде оказывается поворотным пунктом в дальнейшей биографии героя. На исходе войны жизнь поставила перед ним новые проблемы.

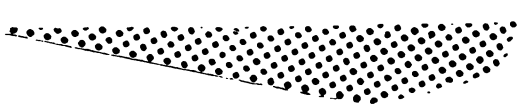
Разумеется, все пережитое отнюдь не побудило молодого подпольщика отказаться от дальнейшей борьбы с фашизмом, перейти на пацифистские позиции, когда его родина все еще оставалась под пятой оккупантов. Как и персонажи романа «Дорога в рай», он понимает, что свободу не ждут, ее завоевывают. И он продолжает эту борьбу. Но он многое пересматривает в своей системе взглядов. Постепенно он становится убежденным, сознательным бойцом Сопротивления, хотя, по собственному его признанию, он только по чистой случайности оказался на стороне левых. И осознать все это герою помогает опять-таки эта встреча с майором вермахта, закончившаяся для последнего столь трагически. Ведь герой понимает, что как раз недостаточная его идейная зрелость, неопытность помешали ему увидеть, кто перед ним: враг или друг?.. Именно эта встреча и позволила ему по-новому ощутить весь бесчеловечный смысл войны: «... я понял, что в этот вечер от наших рук погиб кто-то близкий, и в первый раз за все последние годы осознал, что и о н и тоже теряют людей, которые должны жить ради того дня, что когда-то все же наступит»...

Недавно польский еженедельник «Культура» ознакомил своих читателей с дискуссией, которая завязалась у писателя Романа Братного с западногерманским историком Петером Аурихом. Аурих обвинил современную польскую литературу в том, что она напрасно растравляет раны, полученные во время войны и оккупации Польши. Он пишет: «Показ того, что, несмотря на все это, у нас существуют предпосылки для налаживания новых, добрососедских отношений, представляется мне более перспективным, нежели неустанное изображение картин преступления и насилия, тем более что шаблонные приемы не способствуют убедительности этих образов».

Налаживание добрососедских отношений — дело действительно хорошее и перспективное. Однако нельзя не признать убедительными возражения Р. Братного. «Ваше сожаление по поводу того, что польская литература почти маниакальным образом раздирает раны, не обосновано,— подчеркивает он.— Наша литература только напоминает о прошлом. Это неверно, будто она несправедлива по отношению к тем справедливым, которых только превратности военной стихии заставили натянуть на себя мундир вермахта...»

Роман Р. Клыся «Какаду», со всей его проблематикой, оказывается в русле завязавшегося спора. Тут звучит голос писателя-гуманиста. Важно, чтобы появилось желание услышать его слова!..

С. ЛАРИН



ЖОРЖ БРАССЕНС

■

Вступление и перевод НАТАЛЬИ КОНЧАЛОВСКОЙ

Несколько слов о творчестве Брассенса и о своеобразии его стихов, с которым мне пришлось столкнуться, переводя его книгу.

Брассенс не читает своих стихов на публике, он поет их. Кто же он? Поэт или певец? Из разговора с ним я поняла, что он пишет стихи только на музыку, она для него неотделима от строки, иначе он писать не умеет. Они рождаются вместе. Но это, видимо, чисто индивидуальный творческий процесс. Стихи его, напечатанные без музыкальной строки, существуют как подлинные, полные самостоятельного значения, почти всегда гневные, обличающие законы ненавистного ему буржуазного общества, раскрывающие красоту мятежа против установленного вековым мещанством порядка.

Сарказм и ирония, присущие творчеству этого удивительно кроткого и сдержанного в жизни человека, дают ему возможность воевать за гуманность, за человеческие права, за человеческое достоинство.

Грубоватый словарь Брассенса, фривольная лексика народного острословия принимаются и понимаются именно той частью его аудитории, которая противостоит буржуазной морали.

Брассенс искренен в своем отказе от светского общества, всегда следующего моде. Но на фоне доходящей до абсурда обнаженности интереса к сексуальному в буржуазном искусстве, будь то кино, балет, драма или изобразительное искусство, на фоне этой вакханалии порока Брассенс целомудрен, как сама земля, сама природа.

Интересно, что в стихах-песнях Брассенса постоянно встречаются мотивы смерти. Поэт чрезвычайно легко воспринимает этот переход из бытия в небытие. Я бы сказала, что Брассенс «на короткой ноге со смертягой». Он не боится ее, он больше боится недостойной жизни, хотя зубоскалит над ней, резвится, как бы заглушая внутреннюю смятенность и тоску смехом. Даже в стихах о смерти есть у Брассенса ощущение жизни, чувство спокойное, густое, неопровержимое, как силы природы, и никакой налет времени не разъедает этого чувства.

Этот живой источник дает поэту силы стоять выше горячечной блажи публики, потому что и у него, как у всякого артиста-любимца, есть свои болельщики, на которых, однако, не следует слишком полагаться. К счастью, его настоящий поклонник — это народ, который прощает ему его громогласную руготню, зная, что за ней стоит честность, искренность и подлинная любовь к родине и своему народу, щедрому, влюбленному в жизнь, чудесному французскому народу.

Четыре бакалавра

Жили четверо юнцов —
Без стесненья, без стесненья —
Бакалавров-молодцов,
Молодцов.

Красть для девочек цветы —
Без стесненья, без стесненья —
Научились я и ты.
Я и ты.

Но однажды был приказ —
Без стесненья, без стесненья —
Полицейским выдать нас,
Выдать нас.

Разыскали по домам —
Без стесненья, без стесненья —
И связали руки нам,
Руки нам.

После вызвали отцов —
Без стесненья, без стесненья,—
Чтоб судить нас, подлецов,
Подлецов.

Три папаши школяров —
Без стесненья, без стесненья —
Отказались от воров,
От воров.

Заявили как один —
Без стесненья, без стесненья,—
Что такой бандит — не сын,
Нет, не сын!

А четвертый из отцов —
Без стесненья, без стесненья —
Был пузат, могуч, здоров,
Ох, здоров!

Изобьет юнца отец —
Без стесненья, без стесненья,—
И придет юнцу конец,
Да, конец!

Но браниться он не стал —
Без стесненья, без стесненья
«Здравствуй, малый!» — он сказал,
Он сказал.

Он не тронул сына, нет —
Без стесненья, без стесненья,—
Протянул ему кисет,
Свой кисет.

Прав ли был отец-толстяк —
Без стесненья, без стесненья,—
Поступая смело так,
Смело так?

Если блудные сыны —
Без стесненья, без стесненья —
Быть наказаны должны,
Да, должны.

То везет вам, молодцы,—
Без стесненья, без стесненья,—
Что такие есть отцы,
Есть отцы.

А для верующих всех —
Без стесненья, без стесненья —
Совершил папаша грех,
Просто грех!

Впрочем, прав тот, кто сильней —
Без стесненья, без стесненья,—
А в Евангелии все —
Посложней.

Гроза

Не говорите мне о днях сухих,
До скрежета зубов я ненавижу их,
Со всею их небесной бирюзою.
Не в ясный день любовь пришла ко мне,
А с бурей, с ливнем, с молнией в окне,—
Любовь пришла ко мне с грозою.

В глухую ночь конем по крыше застучал
Могучий гром. Хорек в саду кричал,
И небо яростно взрывалось.
С постели соскочив, в белье ночном
Ко мне соседка, свой покинув дом,
Как сумасшедшая стучалась.

«Я так боюсь, откройте поскорей,
Супруг мой, по профессии своей,
Меня бросает в непогоду.
Бедняжка, где-то мокнет он сейчас,
По найму фирмы должен всякий раз
Он проверять громоотводы!»

И тут же, Франклина благодаря,
Ее рукой лукавой обнял я,
Пришла любовь, наш зов услыша...
Какое упущение, что тот,
Чье ремесло — чинить громоотвод,
Своей не обеспечил крыши.

Гроза прошла, убрался гром, сердясь.
Красавица, испуга устыдясь,
Домой поспешно убежала,
Чтоб мужа обогреть у очага,
Но все же мне, хоть и была строга,
В грозу свиданье обещала.

И с той поры я глаз не опускал,
Я в синеве небес грозу подстерегал,
Но небо безмятежно было.
Я тщетно тучек ждал, я был готов
Всю жизнь следить за ходом облаков.
Она ко мне не приходила.

Ее супруг дельцов опередил,
Шестов железных столько водрузил,
Что мигом в богатеи вышел,
Увез жену туда, где нет дождей,
В дурацкий край — никто там из людей
Про грозы ничего не слышал.

Пусть скорбь моя грохочет, словно гром,—
Ведь гром тогда мы слушали вдвоем,
Обнявшись, ночью непогожей,—
Тот славный гром, что мне взрастить помог
На дне души таинственный цветок,
Лишь на нее одну похожий.

Дядя Арчибальд

О, вырыватели зубов,
Ханжи, пророки лживых снов
И шарлатаны.
Не будет Арчибальд платить.
Когда вы ходите кутить
В кафешантаны.

Однажды вора он догнал,
Что у него часы украл,
Бродяга.
И тут столкнулся дядя мой
С ее величеством — самой
Смертягой.

Походкой шлюхи площадной
За прикладбищенской стеной
Она шагала,
Перед мужчинами она
Свой саван выше, чем должна,
Приподнимала.

Тут Арчибальд сказал ей: «Нет!
Тащи подальше свой скелет
Костяшек,
Тьфу на худые телеса,
И да прославится краса
Пухляшек!»

Смерть нос курносый подняла,
Под покрывалами нашла
Свою косягу.
И ею звякнула слегка,
И подкосила простака,
Беднягу.

Заметив недовольный вид,
Смерть Арчибальду говорит:
«Любимый,
С крестин предрешено судьбой,
Что в браке состоять с тобой
Должны мы!

Когда мне в руки попадешь,
То все, что прожил ты, найдешь
Обманом.
Недосягаем будешь ты
Волкам, собакам, людям и
Болванам.

Ты не лишишься прав, изволь,
Кричи: «Да здравствует король!
Прочь Лига!»
Но если дух в тебе иной,
То крикни: «Короля долой!
Прочь иго!»

И одураченным теперь
Ты больше выходить за дверь
Не будешь.
— Пожалте, сударь! — повторять.
И шею гнуть, хвостом вилять
Забудешь».

И дядя по ее следам
Пошел, пошел покорно сам,
Хромая.
И взявшись за руки тогда,
Они пошли к венцу. Куда?
Не знаю.

О, вырыватели зубов.
Ханжи, пророки лживых снов
И шарлатаны,
Не будет Арчибальд платить,
Когда вы ходите кутить
В кафешантаны!

Вино

Прежде, чем начать
Всех вас поучать
Жить осторожно,
Ах, мои друзья,
Как хотел бы я
Выпить, если можно.
К счастью для меня,
Вся моя родня —
Не в строгом стиле.
Говорят, не зря
Соком октября
Меня поили.

Мать с отцом пошли
И меня нашли
На пне, в лесочке.
А не как иных
Олухов дурных
В капустной кочке.
Чистотой кровей
Всей родни моей
Горжусь я изрядно.
И течет, пьяня,
В жилах у меня
Сок виноградный.

Что же, спору нет,
Мудрецов совет
Нужно слушать,
Чтоб здоровым быть,
Если хочешь пить,
Груши кушать.

Иногда, к тому ж
Скушать пару груш
Так отрадно,
Коль живот притом
Полон молоком
Виноградным.

Некогда Тантал
Муки испытал
В недрах ада,
Был бы для него
Лишь глоток всего,
Как награда.
Без воды — беда!
Если есть нужда,
Пьют из лужи.
Но считаю я,
Без вина, друзья,
Много хуже.

От погожих дней
Ты не жди дождей —
Небо ярко.
Телкам бы — вино,
Я бы уж давно
Стал дояркой.
Если б из долин
В Сену вина шли,
А не во́ды,
Тысячи людей
Утопили б в ней
Все невзгоды.

Плохая репутация

В селе, чего греха таить,
С такою славою — не жить.
Что шумишь, что глух и нем —
Все слывешь черт знает кем!
Хоть бреду своей дорогою,
Никого вокруг не трогая,
Но добрый люд не признает
Тех, кто своим путем идет.
Всяк злословит в адрес мой,
Разве только он — немой.

Когда воришку, на беду,
Фермер застукает в саду,
Не скрою: чешется рука
Хозяину дать тумака.
Мальчишка яблоком прельстился,
Ну, что с того, что я вступился?
Но добрый люд не признает
Тех, кто своим путем идет.
Любой меня лягнуть бы мог,
Уж разве только — сам без ног!

В праздник, в наш июльский день,
Мне вставать с постели лень,
На оркестр мне наплевать,
Не пойду маршировать.
Это вовсе не позорно,
Что не люблю я слушать горна.
Но добрый люд не признает
Тех, кто своим путем идет.
Пальцем тычут все вокруг,
Кто, понятно, не без рук.

И нет нужды пророком стать,
Чтоб горький путь мой предсказать:
По вкусу петлю подберут,
На шее стянут и — капут!
И никому я не мешаю,
Что в Рим со всеми не шагаю.
Но добрый люд не признает
Тех, кто своим путем идет.
Висеть я буду над толпой,
И не увидит лишь слепой!

Старичок

Сквозь ветер, меж стволов
Бредет она с трудом,
Чтоб насбирать сучков
И обогреть свой дом.
А дома старичок,
Доживший до предела.

Бредет тропой лесной,
Во мглу и пустоту,
Когда-то здесь весной
Лелеяла мечту
Своей любви к тому,
Кто дожил до предела.

Ничто, никто вокруг
Не остановит их
Дрожащих старых рук
Среди коряг сухих.
А дома старичок,
Доживший до предела.

Не сможет их сдержать
И голос роковой:
«Бросай работу, мать.
Старик твой неживой.
Он умер, твой старик,
Он дожил до предела».

И даже голосок
Глубинных темных сил,
Что добрый старичок
Жене не верен был,—
Он дома, старичок,
Который ждет предела.

Маринетта

Когда я песенку решил пропеть для Маринетты,
Моя неверная красотка в оперу пошла.
И вот я с песенкой своей был идиот, мамаша.
И вот я с песенкой своей стоял, как идиот.

Когда в горшочке я принес горчицу Маринетте,
Моя неверная красотка кончила обед.
И я с горчицею своей был идиот, мамаша,
И я с горчицею своей стоял, как идиот.

Когда решил я обновить велосипед мой с Маринеттой.
Моя неверная красотка приобрела автомобиль.
С велосипедом я своим был идиот, мамаша,
С велосипедом я своим стоял, как идиот.

Когда решил назначить я свиданье Маринетте,
Моя красотка целовалась с каким-то подлецом.
И я с букетиком своим был идиот, мамаша,
И я с букетиком стоял, как идиот.

Когда, ревнуя, пристрелить решил я Маринетту,
Моя красотка от простуды внезапно умерла.
И с пистолетом я своим был идиот, мамаша.
И с пистолетом я своим стоял, как идиот.

Когда на похороны я помчался к Маринетте,
Мою неверную красотку успели воскресить,
И я стоял с венком своим, как идиот, мамаша,
И я стоял с венком своим, как полный идиот.

Стоит лишь мостик перебежать

Стоит лишь мостик перебежать,
И начинается приключенье —
Буду тебя я за юбку держать,
С тобою природы начну изученье.
Луг приоделся в пасхальный наряд,
Сбросим сабо и, свободой довольны,
Будем мы прыгать, как пара козлят,
Под перезвон колокольный.
Динь, динь, динь, дон! Каждый завидуй.
Празднуем счастье не зря.
Динь, динь, динь, дон! Только не выдай:
Я подкупил звонаря.

Буду тебя я за юбку держать.
И полетим мы в легком движенье,
Стоит лишь мостик перебежать —
И попадаешь в царство цветенья.
Ты угадать цветок попроси
Самый любимый — и я угадаю,
Это не мак, бог упаси!
И не барвинок, порода другая.
Примула это. Он скромен и мил,
Этот цветок, как щека, бархатистый.
Я их в пучок собираю душистый.
«Я, кроме вас, никого не любил...»

Стоит всего три шажка пробежать,
И тарантелла звенит между нами.
Буду тебя я за юбку держать —
Я обращаться могу с кружевами.
Я уж вчера подкупил пастуха,
Чтобы сыграл он для нас серенаду.
Ты, моя крошка, не бойся греха,
Ты уж попрыгай на воле, как надо.
В мох погружается резвая ножка.
Если занозу вонзишь на ходу,
Ты не заплачешь, потерпишь немножко,
Я ее тут же зубами найду.

Прятаться нечего нам, все равно,
Можно любить и не думать о чести,
И хорошо, если будет грешно,
В ад попадем мы с тобой ведь вместе.
Стоит лишь мостик перебежать —
Буду тебя я за юбку держать!

Средневековье

Сейчас бы кто-то бросить мог
Моим родителям упрек,
Что раньше надо было им
Играть в зверька с хребтом двойным.
Не из внебрачных я сынков,
Но запоздал на пять веков.
«Прости, дружок! Характер мой
До черта средневековой!»

Ах, как бы жить я был бы рад
Четыре сотни лет назад.
Тогда имел бы я дружков
Из низкопробных кабаков.
Блатных, которых любим мы
Брать на поруки из тюрьмы.
Тех, на которых виден знак
Державы нищих и бродяг.

На дармовщинку что-то съев,
Любил бы я, чуть захмелев,
Побегать, юбками пленен,
Как некогда поэт Вийон.
И за бабенкой, как босяк,
Гонять по Кладбищу бродяг.
Любовь резвилась в те века.
Ей ревность не была близка.

Монашкам мало четырех
Евангелий — свидетель бог.
Еще Евангелье одно
У тех монашек быть должно.
Пример: аббеса де Мурра [1].

[1] Аббатиса, известная своей порочностью в Париже в средние века.

И завтра будет, как вчера,
Подобной шлюхи не знавал
Латинский набожный квартал.

А впрочем, эти песни — зря.
Теперь, по правде говоря,
Исчезли Кладбища следы,
Цветной капусты там ряды.
И не в кабак идут теперь,
А в бар ночной открыта дверь.
И тянет гнилью как-никак
От царства нищих и бродяг.

Влюбленный в прелесть женских тел,
Я на монашек бы глядел.
В те времена они в ответ
Почти не говорили «нет».
Прости им бог! Они не зря,
Удрав из стен монастыря,
Вели, подальше от ворот,
На четках поцелуям счет.
И ангелы, что нас хранят,
К петле меня приговорят.
Я сдох бы, дрыгая ногой
Под всех повешенных вдовой,
Цвет мандрагоры омочив,
Чтоб висельник остался жив,
Благословляя парой ног
Всех жалостливых недотрог.

Не в Монфоконе[1] и не так —
Умру в постели, как дурак.
И не в петле, и без оков,
Но запоздав на пять веков,
Сказав последние слова
Из строчек мэтра Франсуа[2].
Я их сжимаю меж зубов,
Как хлопья древности снегов.
Вот те последние слова
Из строчек мэтра Франсуа:
«Прости, дружок! Характер мой
До черта средневековой!»

Маленький флейтист

Флейтист благодаря игре
Капеллой ведал при дворе.
Король им так доволен был,
Что герб дворянский подарил.
«Но мне дворянство ни к чему! —
Ответил музыкант ему.—
С таким подарком короля
Мое сфальшивить может «ля».

[1] Монфокон — квартал черни в средневековом Париже.
[2] Франсуа Вийон.

И скажут в нашей стороне
«Флейтист-предатель» обо мне.

Мне колоколенка у нас
Бедней покажется тотчас.
Скромнее бог над алтарем,
Где на колени мы встаем.
И тут уж подавайте нам
Святых отцов из Нотр-Дам.
А там, епископа хваля,
Мое сфальшивить может «ля».
И скажут в нашей стороне
«Флейтист-предатель» обо мне.

Покажется, что хуже нет
Тех стен, где я увидел свет.
И вместо койки без перин
Подать кровать и балдахин.
Я захочу сменить свой дом
На замок с парком и прудом.
Но, веселясь, шутя, шаля,
Мое сфальшивить может «ля».
И скажут в нашей стороне
«Флейтист-предатель» обо мне.

И я стыдился бы кровей
И предков матери моей.
И, презирая род отца,
Я все бы думал без конца,
Как ветвь найти семьи родной
С генеалогией иной.
И, кровь прапрадедов хуля,
Мое сфальшивить может «ля».
И скажут в нашей стороне
«Флейтист-предатель» обо мне.

На нареченной от стыда
Я б не женился никогда.
Нинетта — не судьба моя.
Другой судьбы хотел бы я.
Чтоб замуж за меня не прочь
Был гранд испанский выдать дочь.
Но, о любви ее моля,
Мое сфальшивить может «ля».
И скажут в нашей стороне
«Флейтист-предатель» обо мне».

И этот маленький флейтист,
Что был душой и телом чист,
Отвесил королю поклон,
Без герба, славы и знамен
Ушел к невесте и к родным
И колоколенкам своим,
Чтоб никогда ни стар, ни мал
Его предателем не звал.
И скромный бог признал его
За музыканта своего.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Острова в океане

РОМАН

Перевод с английского Н. ВОЛЖИНОЙ и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

IX

Утреннее солнце разбудило Томаса Хадсона, он спустился на берег, поплавал немного и успел позавтракать раньше, чем встали остальные. Эдди сказал, что сильного ветра ждать не приходится, может быть, даже будет полный штиль. Вся снасть на катере уже подготовлена, сказал он, и посланный мальчишка должен принести наживку.

Томас Хадсон спросил, проверил ли он удочки — ведь катер давно уже не выходил на лов крупной рыбы, и Эдди сказал, что проверил и выбросил ту леску, которая пришла в негодность. Он сказал, что хорошо бы еще запасти побольше лески в двадцать четыре нити и немного — в тридцать шесть нитей, и Томас Хадсон обещал позаботиться об этом. А пока что Эдди заменил всю негодную леску, так что на обеих больших катушках намотано сколько нужно. Он также почистил и наточил все большие крючки и проверил все поводки и шарниры.

— Когда же ты это все успел?

— А я всю прошлую ночь возился со снастью,— сказал Эдди.— И новую сеть тоже привел в порядок. Все равно чертова луна спать не давала.

— Тебе тоже не спится в полнолуние?

— Прямо хоть не ложись, черт бы ее побрал.

— Эдди, ты думаешь, правда нехорошо спать, когда луна светит в лицо?

— Так старики говорят. Я не знаю. Но мне всегда скверно в такие ночи.

— Как по-твоему, поймаем что-нибудь сегодня?

— Кто его знает. В это время года здесь попадается здоровенная рыба. Вы что, хотите идти к Айзексову маяку?

— Мальчики просятся туда.

— Тогда надо выходить сразу же после завтрака. Для ленча я ничего стряпать не буду. Есть у меня картофельный салат, салат из крабов и пиво, еще приготовлю сандвичи. Для сандвичей есть ветчина из последней доставки и латук, а приправить можно горчицей и чатни[1]. Ребятам горчица не вредна?

Продолжение. Начало в № 11.

[1] Острая приправа.

— По-моему, нет.

— Когда я был мальчишкой, мы горчицу не ели. А хорошая штука этот самый чатни. Не пробовали сандвичи с ним?

— Нет.

— Его когда первый раз прислали, я не знал, что это такое, и намазал на хлеб вместо джема. Здорово получилось. А теперь я им сдабриваю овсянку.

— У нас давно кэрри [1] не было.

— Мне на будущей неделе должны доставить баранью ногу. Раза на два нам хватит на жаркое, а может, и на один, при таких едоках, как Том-младший и Эндрю,— а потом сделаем кэрри.

— Отлично. Что-нибудь от меня нужно до выхода в море?

— Ничего не нужно, Том. Поднимайте ребят и Роджера. Выпить хотите? Сегодня у вас нерабочий день. Можно и с утра пропустить стаканчик.

— Я выпью за завтраком холодного пива.

— Правильно. Ничто так не прочищает глотку.

— Джо здесь?

— Нет. Пошел искать мальчишку, которого я послал за наживкой. Сейчас дам вам позавтракать.

— Я пойду на катер.

— Нет, выпейте пива, прочитайте газету. На катере все в порядке, можете не беспокоиться. Уже несу завтрак.

На завтрак была скоблянка из солонины, залитая яйцами, кофе с молоком и большой стакан охлажденного сока грейпфрута. Томас Хадсон ни кофе, ни сока пить не стал, а съел скоблянку, запивая ее очень холодным гейнекенским пивом.

— Поставлю пока на холод сок для ребят,— сказал Эдди.— А, верно, хорошо начать день с бутылки такого пива?

— Так и спиться недолго, а, Эдди?

— Вы никогда не сопьетесь. Вы слишком любите работу.

— Но все-таки славно, когда с утра выпьешь немного.

— Еще бы не славно, черт побери. Да еще такое пиво.

— Но работать я бы после него не мог.

— А у вас сегодня день нерабочий, так какого черта? Допивайте бутылку, я вам другую принесу.

— Нет. Одной мне довольно.

Они отчалили в девять часов, когда уже начался отлив. Томас Хадсон стоял на мостике у штурвала и, пройдя через банку, покрытую водой, взял курс прямо туда, где темнел Гольфстрим. Вода была так спокойна и так прозрачна, что при глубине в тридцать морских саженей ясно видно было морское дно, и при сорока оно еще было видно, но уже словно в тумане, а потом вода потемнела, и дно исчезло, и вокруг была лишь темная синь Гольфстрима.

— День, наверно, будет чудесный, папа,— сказал Том-младший.— И море тихое.

— Да, совсем тихое. Вон только вдоль кромки Гольфстрима вода закручивается воронками.

— Разве вода не та же самая, что у нашего берега?

— Не всегда, Томми. Сейчас отлив, и Гольфстрим отогнало от входа в гавань. А там, где береговая линия непрерывна, он уже опять подходит ближе.

— Отсюда кажется, что вода там такая же синяя, как здесь. Папа, а почему Гольфстрим такой синий?

— Плотность воды другая. Да и по составу она отличается.

---

[1] Мясное блюдо с острыми пряностями и чесноком.

— Чем глубже, тем вода вообще темнее.

— Только если смотришь сверху. А бывает, она почти лиловая от планктона.

— Почему?

— Вероятно, потому, что к синему примешивается красное. А вот, Красное море оттого так и называется, что от планктона вода там совсем красная. Его там несметное количество.

— Тебе понравилось Красное море, папа?

— Очень. Жара была несусветная, но таких красивых рифов нигде больше не увидишь, и рыбы там много — и в период зимних муссонов и летних. Тебе бы понравилось.

— Я читал две книги о Красном море мистера де Монтфрида. Очень хорошие книги. Он был работорговцем. Не в том смысле, как теперь говорят, если кто поставляет *белых рабынь*, а настоящий работорговец старых времен. Он приятель мистера Дэвиса.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.— Я с ним тоже знаком.

— Мистер Дэвис рассказывал мне, что однажды мистер де Монтфрид приехал в Париж отдохнуть от своей работорговли, так если он вечером ехал куда-нибудь с дамой в такси, он требовал, чтобы шофер откинул у машины верх, и по звездам указывал путь. Ну, например, ему нужно было проехать от моста Согласия к Мадлен. Так он не говорил шоферу просто, как сказал бы ты или я: везите меня к Мадлен или пересеките площадь Согласия, а потом поезжайте по Королевской улице. Нет, он определял путь к Мадлен по Северной звезде.

— Этого анекдота я не слыхал,— сказал Томас Хадсон.— Но я слышал про мистера Монтфрида много других анекдотов.

— Таким способом довольно трудно ездить по Парижу, верно, папа? Мистер Дэвис тоже одно время хотел заняться работорговлей вместе с мистером де Монтфридом, но что-то помешало, не помню что. Ах да, вспомнил. Мистер де Монтфрид бросил работорговлю и перешел на торговлю опиумом. Точно, точно.

— А торговлей опиумом мистер Дэвис не хотел заниматься?

— Нет. Он тогда говорил, что пусть уж опиумом занимаются мистер Де Куинси и мистер Кокто. Они это делают так хорошо, сказал он, что несправедливо было бы мешать им. Я не совсем понял, что означали эти его слова. Папа, ты всегда объясняешь мне, что я ни спрошу, но если все время задавать вопросы, это очень затрудняет разговор, так я решил лучше запоминать все, что мне непонятно, и как-нибудь обо всем сразу спрошу. Вот и это будет один из вопросов.

— У тебя их, наверно, накопились целые залежи.

— Да, порядочно. Сто, а может, и тысяча. Но до многого я с годами дохожу сам. Хотя кое о чем все равно придется спрашивать. Я, пожалуй, составлю список самого нужного и зимой использую для школьного сочинения. Есть много такого, что очень хорошо подойдет для сочинения.

— Ты любишь школу, Том?

— По-моему, школа просто необходимость, с которой приходится мириться. А любить ее едва ли кто любит, особенно если человек попробовал в жизни что-то другое.

— Не знаю. Я, например, терпеть не мог школу.

— И художественную школу тоже?

— Да. Я любил рисовать, но не любил уроки рисования.

— Я, в общем, ничего дурного про школу не скажу. Но когда привыкнешь жить среди таких людей, как мистер Джойс, и мистер Паскин, и ты, и мистер Дэвис, так общество мальчиков уже как-то не удовлетворяет.

— Разве тебе скучно в школе?

— Нет, почему? У меня много товарищей, и я люблю спорт — кроме тех игр, где все сводится к тому, чтобы перекидываться мячом,— и я очень серьезно занимаюсь по всем предметам. Но понимаешь, папа, это все-таки очень ограниченная жизнь.

— Мне и самому всегда так казалось,— сказал Томас Хадсон.— Но ведь ты ее разнообразишь, как можешь.

— Да, конечно. Я стараюсь ее разнообразить. Но не так уж много тут можно сделать.

Томас Хадсон оглянулся туда, где за кормой бежала пенистая дорожка и две наживки волочились по ней, то прячась, то подпрыгивая на крутых завитках вспоротой катером воды. Дэвид и Эндрю сидели в рыболовных креслах с удилищами в руках. Томас Хадсон видел только их спины. Не поворачивая головы, они следили за наживкой. Он перевел взгляд и увидел резвившуюся в стороне макрель: то одна, то две рыбки выскакивали и снова ныряли головой вниз, без шума и плеска — только сверкнут на солнце и сразу же скроются, почти не возмутив поверхность воды.

— Клюет! — услышал вдруг Томас Хадсон крик Тома-младшего.— Клюет! Вон она, рыба! Смотри, смотри, Дэв, прямо за кормой!

Томас Хадсон увидел, как яростно забурлила в одном месте вода, но рыбы не было видно. Дэвид вставил комель удилища в гнездо и следил за леской, перекинутой через правый аутриггер. На глазах у Томаса Хадсона леска, до того лежавшая на поверхности воды длинной свободной петлей, натянулась и теперь под острым углом резала на ходу воду.

— Подсекай, Дэв. Подсекай сильней,— крикнул появившийся на трапе Эдди.

— Подсекай, Дэв. Да подсекай же, ради бога,— взмолился Эндрю.

— Заткнись,— сказал ему Дэвид.— Я знаю, что делаю.

Он медлил подсекать, и леска быстро разматывалась, уходя в воду под тем же углом. Удилище выгнулось, и мальчик налегал на него, следя за разматывающейся леской. Томас Хадсон застопорил моторы, так что катер теперь только медленно поворачивался на месте.

— Ну что же ты, подсекай,— умолял Эндрю.— Или дай я подсеку.

Но Дэвид только налегал на удилище, а леска все разматывалась, и угол, под которым она уходила в воду, не менялся. Тормоз он освободил совсем.

— Это меч-рыба, папа,— сказал он, не оглядываясь.— Я видел меч, когда она высунулась из воды.

— Нет, честное слово? — воскликнул Эндрю.— Ух ты!

— Пожалуй, в самом деле пора подсекать.— Роджер теперь стоял рядом с Дэвидом. Он откинул напрочь спинку его кресла и застегивал пряжки на ремнях.— Подсекай, Дэв, и посильнее.

— А она успела заглотать крючок? — спросил Дэвид.— Не может быть, что она просто плывет, держа его во рту?

— Тем более нужно подсекать, а то она его выплюнет.

Дэвид уперся ногами, правой рукой подвинтил тормоз на катушке и с силой дернул, чувствуя тяжесть на другом конце лески. Потом дернул еще раз и еще, так что удилище выгнулось, точно лук. Но леска продолжала разматываться. На рыбу его усилия никакого впечатления не произвели.

— Еще подсекай, Дэв,— сказал Роджер.— Вгони крючок поглубже.

Дэвид снова дернул изо всех сил. Катушка завертелась, жужжа, удилище согнулось так, что он едва удержал его.

— Слава тебе, господи,— сказал он набожно.— Кажется, вошел как следует.

— Отпусти немного тормоз,— сказал Роджер.— Том, а ты теперь разворачивайся потихоньку, только следи за леской.

— Есть разворачиваться потихоньку, следить за леской,— отозвался Томас Хадсон.— Не тяжело тебе, Дэв?

— Что ты, папа, мне чудесно,— сказал Дэв.— Господи, только бы выловить эту рыбу!

Томас Хадсон медленно разворачивал катер вокруг его собственной кормы. Леска на катушке у Дэва была уже почти вся смотана. Томас Хадсон двинулся потихоньку рыбе навстречу.

— Ну, теперь подвинти тормоз и начинай выбирать понемногу,— сказал Роджер.— Действуй с расчетом, пусть рыба чувствует.

Дэвид подавался вперед, выбирал и наматывал, подавался вперед, выбирал и наматывал с ритмичностью автомата, и катушка постепенно разбухала от наматывавшейся на нее лески.

— В нашей семье еще никому не удавалось поймать меч-рыбу,— сказал Эндрю.

— А ты не говори, пожалуйста, под руку,— сказал Дэвид.— Не говори под руку, понял?

— Не буду,— сказал Эндрю.— Я с тех пор, как она только клюнула, все время молюсь за тебя.

— Не разорвал бы ей крючок пасть,— шепнул Том-младший отцу. Тот, не выпуская штурвала из рук, все время оглядывался на корму и следил за наклоном лески, белевшей в синей воде.

— Будем надеяться. У Дэва для такой рыбы сил маловато.

— Только бы удалось ее вытащить,— сказал Том-младший.— Я бы все отдал за это. Все бы сделал. На все бы пошел. Энди, принеси Дэву напиться.

— Я принесу,— сказал Эдди.— Не спускай с нее глаз, Дэв, мой мальчик.

— Стоп, ближе не надо,— крикнул Роджер. Он был великий рыболов, и в море они с Томасом Хадсоном понимали друг друга с полуслова.

— Сейчас я ее заведу за корму,— откликнулся Томас Хадсон и опять очень мягко и медленно развернул катер, почти не взволновав поверхности моря.

Рыба теперь норовила уйти в глубину, и Томас Хадсон дал задний ход, чтобы хоть немного ослабить ее напор. Но даже это едва заметное приближение к рыбе сразу изменило картину: вершинка удилища почти отвесно склонилась над водой, и леска теперь разматывалась рывками, так что удилище дергалось у Дэва в руках. Томас Хадсон дал малый вперед, чтобы леска не так круто уходила под воду. Он знал, как трудно сейчас приходится Дэвиду, но нельзя было допускать, чтобы леска разматывалась чересчур быстро.

— Если еще больше завинтить тормоз, боюсь, не лопнула бы леска,— сказал Дэвид.— Что теперь будет делать рыба, мистер Дэвис?

— Будет рваться ко дну, пока ты не остановишь ее,— сказал Роджер.— Или пока сама не остановится. Тогда можно будет начать подтягивать.

Леска все разматывалась и уходила под воду, разматывалась и уходила под воду. Удилище изогнулось так, что казалось, вот-вот переломится пополам, а леска была натянута, как виолончельная струна, и на катушке ее оставалось совсем мало.

— Папа, что мне теперь делать?

— Больше ничего. Ты делаешь все, что нужно.

— А она не зацепится за дно? — спросил Эндрю.

— Здесь дна нет,— сказал ему Роджер.

— Ты знай держи ее, Дэви,— сказал Эдди.— Ей в конце концов надоест, она и всплывет.

— Эти проклятые лямки замучили меня,— сказал Дэвид.— Они мне режут плечи.

— Хочешь, передай удилище мне,— предложил Эндрю.

— Еще чего,— сказал Дэвид.— Я просто сказал то, что есть, а ты, дурак, и обрадовался. Пусть режут, мне наплевать.

— Попробуй приладить ему большой пояс, Эдди,— крикнул с мостика Томас Хадсон.— Если ремни окажутся слишком длинными, можно леской прикрутить.

Эдди обвернул Дэвида вокруг поясницы стеганой мягкой прокладкой, затянул проходившие по ней ремешки и леской привязал кольца к катушке.

— Так гораздо легче,— сказал Дэвид.— Большое спасибо, Эдди.

— Теперь нагрузка у тебя будет не только на плечи, но и на спину,— сказал ему Эдди.

— Она уже почти всю леску смотала,— сказал Дэвид.— Вот проклятущая, тянет и тянет вниз.

— Том,— крикнул Эдди.— Возьмите-ка немного к норд-весту. Кажется, она пошла вперед.

Томас Хадсон слегка повернул штурвал и мягко направил катер в открытое море. Впереди большим желтым пятном колыхалось скопление водорослей, и на нем сидела какая-то птица, а вода кругом была спокойная, синяя и такая прозрачная, что видно было, как в глубине ее разноцветными бликами играет преломленный свет.

— Вот видишь,— сказал Эдди Дэвиду.— Леска больше не разматывается.

Мальчик попробовал приподнять удилище и не смог, но леска действительно перестала рывками уходить под воду. Как и прежде, она была натянута, будто струна, и на катушке оставалось всего с полсотни ярдов. Но она не разматывалась больше. Дэвид прочно удерживал рыбу на крючке, а катер медленно-медленно продвигался по взятому курсу. Томас Хадсон смотрел, как белеет в синей воде леска, уходящая вглубь, лишь чуть-чуть отклоняясь от перпендикуляра, и вел катер так тихо, что почти не заметно было движения и совсем не слышно работы моторов.

— Видишь, Дэви, она ушла на нужную ей глубину и теперь плывет в нужном ей направлении. Скоро можно будет понемножку выбирать леску.

Загорелая спина мальчика горбилась от натуги, удилище сгибалось над водой, леска медленно скользила вперед, прорезая водную гладь, а где-то на глубине в четверть мили плыла большая рыба. Сидевшая на водорослях чайка снялась и полетела к катеру. Она покружила у Томаса Хадсона над головой и улетела к другому скоплению водорослей, желтевшему поодаль.

— Ну-ка, попробуй немного выбрать,— сказал Роджер Дэвиду.— Раз ты удерживаешь рыбу, значит, можешь и подтянуть ее.

— Дайте-ка чуток вперед, Том,— крикнул, повернувшись к мостику, Эдди, и Томас Хадсон едва заметно прибавил ход.

Дэвид стал тянуть, напрягая все силы, но от этого только больше гнулось удилище и больше натягивалась леска. Казалось, мальчик прикован намертво к движущемуся под водой якорю.

— Ничего, не смущайся,— сказал ему Роджер.— Еще немного, и дело пойдет. Как чувствуешь себя, Дэви?

— Отлично,— сказал Дэвид.— С этой штукой на пояснице я себя чувствую отлично.

— А ты сможешь выдержать до конца? — спросил Эндрю.

— Да ну тебя,— сказал Дэвид.— Эдди, дайте мне, пожалуйста, глоток воды.

— Куда это я поставил воду? — сказал Эдди.— Неужели вылил?

— Я сейчас принесу! — Эндрю быстро побежал вниз.

— Тебе ничего не нужно, Дэв? — спросил Том-младший.— Я тогда пойду на мостик, а то нас тут слишком много.

— Нет, Том, спасибо. Господи, ну почему она не поддается, эта проклятая рыба.

— Она очень большая, Дэв,— сказал ему Роджер.— С ней так просто не справишься. Надо потихоньку вести ее на крючке и стараться внушить ей, чтобы она всплыла, где тебе нужно.

— Говорите мне, что надо делать, и я буду стараться, пока не умру,— сказал Дэвид.— Я полагаюсь на вас.

— Это еще что за разговоры — «пока не умру»,— сказал Роджер.— Такими вещами не шутят.

— А я и не шучу,— сказал Дэвид.— Я серьезно.

Том-младший вернулся к отцу на мостик. Оттуда им виден был Дэв, весь напрягшийся и прикованный к своей рыбе, и Роджер, стоявший рядом с ним, и Эдди, придерживавший кресло. Эндрю поднес стакан с водой к губам Дэвида. Тот пополоскал рот и сплюнул.

— Полей мне на руки, пожалуйста,— сказал он.

— Как ты думаешь, папа, он выдержит? — шепотом спросил Том отца.

— Рыба очень большая, очень тяжелая для него.

— Мне страшно,— сказал Том.— Я люблю Дэвида и не хочу, чтобы какая-то поганая рыба его доконала.

— Никто этого не хочет — ни я, ни Роджер, ни Эдди.

— Надо нам быть начеку. Если мы увидим, что ему невмоготу, кто-нибудь должен перенять у него рыбу — ты или мистер Дэвис.

— До этого еще далеко.

— Папа, ты не знаешь его, как мы знаем. Он будет напрягать силы, пока не надорвется.

— Ничего, Том, не тревожься.

— Не могу я не тревожиться,— сказал Том.— Я один такой в нашей семье, что всегда тревожусь за всех. Может, это пройдет с годами.

— Пока что тревожиться не из-за чего,— сказал Томас Хадсон.

— Но, папа, как такому мальчишке, как наш Дэвид, одолеть такую рыбу? Он в жизни не ловил ничего крупнее, чем парусник или сельдь.

— Рыба вымотается в конце концов. На крючке-то все-таки она.

— Это чудище, а не рыба,— сказал Том.— И Дэвид так же не может освободиться от нее, как она от Дэвида. Просто не верится, что Дэв выловит такую рыбу. Все-таки лучше бы она попалась тебе или мистеру Дэвису.

— Пока что Дэв держится молодцом.

Они мало-помалу продвигались все дальше в открытое море, где по-прежнему господствовал мертвый штиль. Все чаще попадались скопления водорослей, совсем желтых от солнца на полиловевшей воде; порой белая, почти отвесно натянутая леска зацепляла за них в своем движении, и тогда Эдди протягивал руку и высвобождал ее. Когда он, перегнувшись через борт, отрывал напутавшиеся на леску водоросли и откидывал их в сторону, Томас Хадсон видел изрезанную морщинами кирпичную шею под полями старой фетровой шляпы и слышал, как он говорил Дэвиду:

— Она нас сейчас вроде как на буксире ведет, Дэви. Но чем дальше, тем больше она изматывается, плывя там, в глубине.

— Она и меня изматывает,— сказал Дэвид.

— У тебя голова не болит? — спросил Эдди.

— А ты ему надень что-нибудь на голову,— сказал Роджер.

— Не надо, я не хочу, мистер Дэвис. Лучше просто смочите мне волосы.

Эдди зачерпнул в ведерко морской воды и, сложив горстью ладонь, намочил мальчику голову и заботливо отвел волосы со лба.

— Смотри, если заболит голова, сразу же скажи.

— Я себя отлично чувствую,— сказал Дэвид.— Говорите мне, что делать, мистер Дэвис.

— Попробуй опять выбрать леску немного,— сказал Роджер.

Дэвид снова дернул леску — раз, другой, третий, но ему так и не удалось подтянуть рыбу хоть на дюйм выше.

— Ладно. Не трать попусту силы,— сказал ему Роджер и добавил, обращаясь к Эдди: — Намочи кепи и надень ему на голову. Ветра ни малейшего, вот и печет, как в преисподней.

Эдди окунул в ведерко полотняную кепочку с длинным козырьком и натянул ее Дэвиду на голову.

— Так мне соленая вода стекает в глаза, мистер Дэвис. Извините, но, честное слово, так хуже.

— Глаза я тебе сейчас промою,— сказал Эдди.— Роджер, дайте мне ваш платок. А ты, Энди, ступай принеси стакан чистой ледяной воды.

Согнув спину, упираясь ногами в перекладину, мальчик напрягал все свои силы, а катер все так же медленно скользил вперед. Справа по борту плескалась почти у самой поверхности стайка некрупной рыбы — макрели или тунца, и к этому месту уже слетались чайки, перекрикиваясь на лету. Но вся стайка скоро ушла в глубину, и птицы опустились на воду, ожидая, не появится ли она снова. Эдди обтер Дэви лицо, потом, снова окунув платок в стакан с водой, смочил ему шею и руки, а под конец намочил платок еще раз, слегка выжал его и положил мальчику на затылок.

— Ты скажи, если голова заболит,— повторил он опять.— Это никакое не малодушие. Это просто разумно будет. Штиль мертвый, и солнце печет так, что чертям тошно.

— Да я, правда, хорошо себя чувствую,— ответил Дэвид.— Вот только плечи болят и руки, а так все ничего.

— Это пускай болят,— сказал Эдди.— Это ты привыкай, скорее мужчиной станешь. Мы только не хотим, чтобы тебя хватил солнечный удар или чтоб у тебя от натуги жила лопнула.

— Что рыба дальше будет делать, мистер Дэвис? — спросил Дэвид. Голос у него был какой-то пересохший.

— Вероятно, то же, что и сейчас. А может, начнет кружить под водой. А может, всплывет.

— Надо же ей было уйти на такую чертову глубину, теперь у нас слишком мало лески, чтоб свободно маневрировать,— сказал Томас Хадсон Роджеру.

— Главное, что Дэви удалось задержать ее на этой глубине,— сказал Роджер.— Теперь она скоро изменит тактику. И вот тут-то мы ее возьмем в оборот. Ну-ка, Дэв, попытайся еще раз приподнять ее.

Дэв попытался, но и эта попытка ни к чему не привела.

— Ничего, сама всплывет,— сказал Эдди.— Вот увидишь. Еще немного, и тебе уже не придется тащить ее силой. Хочешь еще пополоскать рот?

Дэвид молча кивнул. Ему уже приходилось экономить дыхание.

— Можешь сделать глоток-другой,— сказал Эдди.— Остальное выплюнь.— Он повернулся к Роджеру.— Ровно час,— сказал он.— Голова ничего, Дэв?

Мальчик кивнул.

— Как он, по-твоему, папа? — спросил отца Том-младший.— Правда, как?

— По-моему, он молодцом,— сказал отец.— И раз Эдди рядом, с ним ничего не случится.

— Да, это верно,— согласился Том.— Но мне бы тоже хотелось как-то помочь. Пойду принесу Эдди чего-нибудь выпить.

— Принеси, пожалуйста, и мне тоже.

— Ой, с удовольствием. И мистеру Дэвису, да?

— Он сейчас едва ли захочет.

— А я спрошу.

— Потяни еще разок, Дэв,— почти шепотом сказал Роджер, и мальчик потянул изо всех сил, обеими руками сжимая катушку спиннинга.

— Ага, дюйм заработали,— сказал Роджер.— Выбери этот дюйм и попробуй опять, может, удастся подтащить ее повыше.

Вот когда началась настоящая схватка. До сих пор Дэвид только удерживал рыбу на крючке, а она плыла дальше в открытое море, и катер плыл, следуя ее движению. Но теперь уже нужно было постепенно поднимать рыбу кверху, следить за удилищем, распрямлявшимся по мере того, как леска выходила из воды, выбирать образующийся излишек лески, вновь наматывать ее на катушку и понемногу опускать удилище ниже.

— Спокойней, спокойней,— говорил ему Роджер.— Не спеши. Выбирай потихоньку.

Весь подавшись вперед, Дэв тянул и тянул, стараясь соразмерять свои силы с тяжестью на конце лески, скрытом еще глубоко под водой.

— Дэвид у нас классный рыболов,— сказал Том-младший.— Он ловил рыбу, когда был еще совсем малышом, но я и не знал, как здорово он управляется с этим делом. Он всегда сам подтрунивает над собой, говорит, что не приспособлен к спорту. А посмотреть на него сейчас!

— Черт с ним, со спортом,— сказал Томас Хадсон.— Ты что говоришь, Роджер?

— Дай вперед самую малость,— крикнул Роджер.

— Есть вперед самую малость,— повторил Томас Хадсон, и на этот раз, пользуясь тем, что расстояние между рыбой и катером сократилось, Дэвид успел выбрать побольше лески.

— Ты тоже не любишь спорт, папа? — спросил Том.

— Любил когда-то. Даже очень любил. А теперь нет.

— Я люблю теннис и фехтование,— сказал Том.— А все эти игры с мячом меня не увлекают. Потому, верно, что я вырос в Европе. Из Дэвида, при его уме, мог бы выйти отличный фехтовальщик, если бы он захотел этим заняться. Но он не хочет. Он любит только читать, ловить рыбу и стрелять и еще мастерить искусственных мух для наживки. Стреляет он лучше Эдди, особенно в поле. А мухи у него получаются просто чудо. Папа, я тебе не мешаю своими разговорами?

— Конечно нет, Том.

Ухватившись за поручень, он смотрел назад, на корму, и туда же смотрел отец, положив руку ему на плечо. Плечо было соленое от морской воды, которой мальчики обливали друг друга из ведра до того, как клюнула рыба. От мельчайших крупинок соли, осевших на коже, оно чуть шершавилось под отцовской ладонью.

— Понимаешь, я очень волнуюсь за Дэвида, и мне просто нужно с чем-то говорить, чтоб отвлечься. Я сейчас ничего на свете так не хочу — только бы Дэвид выловил эту рыбу.

— Это рыбища, а не рыба. Вот увидишь, когда она покажется над водой.

— Я раз видел такую, уже очень давно, когда мы с тобой выходили на ловлю вдвоем. Она проткнула мечом большую макрель, которая у нас служила наживкой, выпрыгнула и выбросила крючок. Она мне долго снилась потом — такая громадина. Ну, пойду приготовлю вам выпить.

— Можешь не торопиться,— сказал ему отец.

Сидя в своем рыболовном кресле с откинутой напрочь спинкой, упираясь ногами в перекладину, Дэвид тянул леску из воды. Он тянул ее руками, плечами, спиной и затылком, поясницей и бедрами; отпускал, торопливо наматывал на катушку и снова тянул. Очень медленно — по дюйму, по два, по три за раз — лески на катушке прибавлялось.

— Как голова, ничего? — спросил Эдди Дэвида. Он стоял рядом и для большей устойчивости придерживал кресло за подлокотники.

Дэвид кивнул. Эдди пощупал его кепочку на макушке.

— Еще мокрая,— сказал он.— Ну, ты даешь этой рыбе жизни, Дэв. Молодец, работаешь, как машина.

— Теперь легче, чем когда надо было просто удерживать ее,— все тем же пересохшим голосом сказал Дэвид.

— Еще бы,— сказал Эдди.— Теперь все-таки дело хоть понемногу, но идет на лад. А тогда она просто выворачивала тебя наизнанку.

— Ты только не торопись сверх сил,— сказал Роджер.— Все у тебя получается великолепно.

— А как только она всплывет, мы ее багром, да? — спросил Эндрю.

— Перестанешь ты говорить мне под руку или нет? — сказал Дэвид.

— Я вовсе не говорю тебе под руку.

— Ну замолчи, Энди, я тебя прошу. Не обижайся, но замолчи.

Эндрю полез на мостик. На нем тоже была кепочка с длинным козырьком, но отец сразу заметил, что глаза у него мокрые, а губы дрожат, хоть он и отворачивался, чтобы скрыть это.

— Ты ничего плохого не говорил,— сказал ему Томас Хадсон.

Эндрю по-прежнему смотрел в сторону.

— Теперь, если рыба сорвется, он скажет, что это из-за меня,— горько пожаловался он.— А я только хотел, чтобы ничего не забыли.

— Вполне естественно, что Дэв нервничает,— сказал отец.— Но он все-таки старается быть сдержанным.

— Понимаю,— сказал Эндрю.— Он борется с этой рыбой не хуже, чем боролся бы мистер Дэвис. Только мне неприятно, что он обо мне так подумал.

— Многие легко раздражаются, когда на крючке большая рыба, тем более у Дэва это в первый раз.

— Но ты всегда сдержан, и мистер Дэвис всегда сдержан.

— Это теперь так. А когда мы с ним только учились ловить большую рыбу, всякое бывало — и злость, и грубость, и взаимные попреки. Мы просто черт знает до чего доходили.

— Правда?

— Самая настоящая правда. Нам казалось, что все нам желают зла, и мы вели себя соответственно. Обычное дело. Дисциплина, благоразумие — все это приходит потом. Мы научились быть сдержанными, убедились, что, если раздражаться и злиться, с большой рыбой не сладишь. И уж во всяком случае не получишь удовольствия от ловли. А были мы оба просто нестерпимы: злились, и бесновались, и ссорились — и удовольствия никакого не получали. Зато теперь мы всегда сдержанны, когда боремся с большой рыбой. Мы много говорили об этом и решили, что будем сохранять сдержанность при любых обстоятельствах.

— И я тоже буду,— сказал Эндрю.— Хотя с Дэвом это иногда трудно. Папа, как ты думаешь, он в самом деле выловит эту рыбу? Или это как сон, который проснешься — и нет его?

— Не будем говорить об этом.

— Опять я что-то не так сказал?

— Не в том дело. Просто считается, что разговоры приносят неудачу. Такая у старых рыбаков примета. Не знаю, откуда она взялась.

— Ладно, теперь буду молчать.

— Папа, возьми, пожалуйста.— Том снизу протягивал стакан, в три слоя обернутый бумажным полотенцем, чтобы лед не так быстро таял. Резинка плотно прижимала бумагу к стеклу.— Я добавил лимонного соку и немного настойки, а сахару не клал. Так будет хорошо? Или ты еще чего-нибудь хочешь?

— Очень хорошо. А кокосового молока ты не подливал?

— Подлил. А Эдди я отнес чистого виски. Мистер Дэвис ничего не захотел. Энди, ты теперь будешь там, с папой?

— Нет, я уже иду вниз.

Том поднялся на мостик, а Эндрю спустился на корму.

Оглянувшись назад, Томас Хадсон заметил, что леска в воде словно бы начала отклоняться в сторону.

— Внимание, Роджер! — крикнул он.— Кажется, всплывает.

— Всплывает! — завопил Эдди. Он тоже заметил, как отклонилась леска.— Следи за катушкой, Дэви.

Томас Хадсон посмотрел, много ли на катушке лесы, чтобы рассчитать маневр судна. Еще и четверти всей длины не было выбрано, но не успел Томас Хадсон выпрямиться, как катушка, жужжа, завертелась у Дэва в руках, и Томас Хадсон поспешно дал задний ход, в то же время разворачивая катер носом к леске, которая отклонялась все больше и больше, а Эдди вопил:

— Назад, Том, прямо назад. Она сейчас всплывет, сволочь. Для разворота уже не хватит лески.

— Выше удилище, Дэв,— сказал Роджер.— Не давай ей сгибать его.— И Томасу Хадсону: — Еще назад, Том. Так, хорошо. Идешь прямо на нее.

И тут гладь океана вдруг раздалась за кормой, и огромная рыбина взмыла вверх бесконечным движением неправдоподобно могучего и длинного тела, на миг словно повисла в воздухе, серебрясь и синея на солнце, и снова бухнула в воду — только фонтан пены взметнулся ей вслед.

— Ух ты! — сказал Дэвид.— Видели, какая?

— Один ее меч и то больше меня,— сказал Эндрю.

— Какая красивая,— сказал Том.— Она куда лучше той, что мне снилась.

— На нее держи, задним ходом,— крикнул Роджер Томасу Хадсону. А Дэвиду сказал: — Постарайся сейчас выбрать побольше лески. Видишь, целый клубок плавает в воде. Рыба поднялась с большой глубины, и свободной лески сейчас столько, что можно намотать целых полкатушки.

Томас Хадсон сумел задним ходом подойти так близко к рыбе, что леска почти перестала сматываться, и теперь Дэвид только поспевал выбирать и наматывать ее, торопливо вращая рукоятку.

— Убавь ходу,— крикнул Роджер.— А то мы пройдем над нею.

— Ну и громадина, не меньше тысячи фунтов,— сказал Эдди.— Выбирай леску, Дэв, голубчик, сейчас она пойдет легче легкого.

Поверхность океана была опять спокойной и пустынной, только там, где ее потревожила рыба, еще расходились по воде круги.

— Ты видел, сколько воды она выбросила, папа? — сказал Том-младший.— Прямо как будто море взорвалось изнутри.

— А ты видел, как высоко она взлетела, Том? Видел, какая она синяя-синяя и отливает серебром?

— И меч у нее тоже синий,— сказал Том-младший.— Весь синий, до самого кончика, Эдди,— крикнул он,— неужели в ней правда тысяча фунтов?

— Уж, наверно, не меньше. На глаз точно не скажешь. Но у такой громадины и вес должен быть подходящий.

— Нужно выбрать как можно больше лески, Дэви, пока она не натянута,— сказал Роджер.— Вот так, молодец.

Мальчик работал, как автомат, перематывая на катушку огромный клубок лески, плававший в воде, а катер меж тем выравнивал курс, разворачиваясь так медленно, что казалось, он стоит на одном месте.

— А теперь что она будет делать, папа? — спросил Том отца.

Томас Хадсон следил за уклоном лески в воде и думал, что сейчас не мешало бы пройти немного вперед, но он знал, как трудно Роджеру рассчитать маневр, когда на катушке так мало лески. Один сильный бросок рыбы в сторону, и она может сорвать ее всю и уйти; оттого-то Роджер и хочет теперь выбрать побольше, пока можно. Томас Хадсон перевел взгляд на Дэвида и увидел, что он уже намотал с полкатушки и все еще продолжает наматывать.

— Ты что-то спросил? — оглянулся Томас Хадсон на Тома.

— Что, по-твоему, теперь будет делать рыба?

— Погоди минутку,— сказал он и, повернувшись назад, крикнул Роджеру: — Эй, Родж, как бы нам не пройти над нею.

— Дай тогда самый малый вперед,— сказал Роджер.

— Есть самый малый вперед,— повторил Томас Хадсон. Теперь выбирать леску стало труднее, зато можно было не бояться, что рыба уйдет.

Вдруг леска снова стала разматываться, и Роджер закричал:

— Выключай!

Томас Хадсон выключил зажигание, и моторы заглохли.

— Выключено,— сказал он.

Роджер нагнулся к Дэвиду; тот по-прежнему, напрягаясь, налегал на удилище, а леска все скользила и скользила с катушки.

— Подвинти малость, Дэви,— сказал Роджер.— Пусть потрудится, если желает плыть побыстрей.

— Я боюсь, не сорвалась бы она,— сказал Дэвид. Но тормоз он подвинтил.

— Не сорвется,— сказал Роджер.— Ты ведь не завинтил до отказа.

Леска продолжала разматываться, но удилище снова согнулось, и мальчик, сопротивляясь напору, сильней уперся босыми ногами в деревянную перекладину. Вдруг леска перестала разматываться.

— Можешь выбрать немного,— сказал Роджер мальчику.— Она теперь начала кружить и сейчас идет к нам. Постарайся выбрать побольше.

Снова мальчик выбирал и наматывал, ждал, пока удилище выпрямится, выбирал и наматывал. Леска шла на удивление легко.

— Я все правильно делаю? — спросил он.

— Ты все делаешь замечательно,— сказал ему Эдди.— Крючок вошел крепко, не сомневайся. Я видел, когда она выпрыгнула из воды.

И тут, когда Дэвид хотел выбрать еще, леска вдруг опять стала разматываться.

— А, черт! — сказал Дэвид.

— Ничего, ничего,— сказал ему Роджер.— Так и должно быть. Она ведь описывает круг. Сначала шла к нам и отпускала леску, Теперь идет от нас и отнимает ее.

Медленно, упорно рыба сматывала туго натянувшуюся леску — смотала все, что мальчику только что удалось выбрать, и прихватила еще немного. Но тут мальчик удержал ее.

— Так, хорошо. Теперь опять выбирай,— спокойно сказал Роджер.— Она чуть расширила круг, но сейчас идет на тебя.

Томас Хадсон время от времени включал моторы, чтобы держать рыбу за кормой. Маневрируя катером, он старался помочь мальчику, чем мог, а его самого и борьбу с рыбой препоручил Роджеру. Насколько он понимал, ничего другого ему не оставалось.

Рыба опять отняла немного лески. На следующем круге прихватила еще. Но почти половина всей лески была на катушке. Мальчик водил рыбу так, как и следовало, и послушно выполнял советы Роджера. Но он уже явно уставал, на его загорелых плечах и на спине от соленой воды образовались соленые разводы.

— Ровно два часа,— сказал Эдди Роджеру.— Как голова, Дэви?

— Ничего.

— Не болит?

Мальчик мотнул головой.

— Можешь выпить немного воды,— сказал Эдди.

Дэвид кивнул и сделал несколько глотков из стакана, который Эндрю поднес ему к губам.

— Нет, правда, Дэви, как ты себя чувствуешь? — спросил его Роджер, низко наклонившись над ним.

— Отлично. Только вот спину, ноги и руки ломит.— Он закрыл на секунду глаза и вцепился пальцами в скобу спиннинга, а леска все разматывалась с катушки, несмотря на почти завинченный тормоз.

— Мне не хочется разговаривать,— сказал он.

— Теперь подтягивай,— сказал ему Роджер, и мальчик опять взялся за дело.

— Дэвид — подвижник и мученик,— сказал Том отцу.— Таких братьев, как Дэвид, больше ни у кого нет. Папа, ничего, что я разговариваю? Я очень волнуюсь.

— Говори, говори, Томми. Мы с тобой оба волнуемся.

— Знаешь, он всегда был молодцом. И ведь не какой-нибудь там гений или спортсмен, как Энди. Молодец, и все тут,— сказал Том.— Я знаю, ты его больше всех любишь, и так и надо, потому что он из всех нас самый хороший, и то, что сейчас происходит, ему на пользу, иначе ты бы не разрешил этого. Но я ужасно волнуюсь.

Томас Хадсон обнял его одной рукой за плечи и продолжал править другой, все время оглядываясь назад.

— А ты подумай, Том, как это на нем отразится, если мы велим ему прекратить. Роджер и Эдди знают, что делают, а я знаю, что они любят его и не допустят, чтобы он делал то, что ему не под силу.

— Но, папа, ведь Дэви если уж за что взялся, так удержу не знает. Правда. И он всегда будет делать то, что ему не под силу.

— Ты положись на меня, а я положусь на Роджера и Эдди.

— Хорошо. Но сейчас я буду молиться за него.

— Молись,— сказал Томас Хадсон.— А почему ты говоришь, что я люблю его больше всех?

— Так должно быть.

— Тебя я любил дольше всех.

— Не будем говорить о нас с тобой. Давай лучше оба помолимся за Дэви.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Слушай. Мы подцепили эту рыбу в самый полдень. Теперь скоро должна появиться тень. Кажется, она уже есть. Сейчас я осторожно поверну катер так, чтобы тень падала на Дэви.

Томас Хадсон крикнул вниз Роджеру:

— Родж, как ты считаешь, можно мне тихонько повернуть катер, чтобы Дэви был в тени? На рыбе это нисколько не отразится. Она как ходила кругами, так и будет ходить.

— Прекрасно,— сказал Роджер.— Как это я сам до этого не додумался.

— До сих пор тени еще не было,— сказал Томас Хадсон.

Он так медленно развернул катер вокруг кормы, что лишней лески почти не ушло. Голова и плечи Дэвида были теперь в тени, падавшей от

кормовой стороны рубки. Эдди обтирал шею и плечи мальчика полотенцем и смачивал ему спиртом затылок и спину.

— Ну, как ты там, Дэви? — крикнул сверху Том-младший.

— Чудесно,— сказал Дэвид.

— Теперь я спокойнее за него,— сказал Том-младший.— Знаешь, в школе кто-то брякнул, что Дэвид мне сводный брат, а не родной, а я заявил, что у нас в семье сводных братьев нет. Папа, ну чего я так волнуюсь?

— Это пройдет.

— В такой семье, как наша, кому-то всегда приходится волноваться,— сказал Том-младший.— Но за тебя я больше не волнуюсь. Теперь только за Дэвида. Пойду, пожалуй, приготовлю вам еще по коктейлю. Пока смешиваешь напитки, можно молиться. Выпьешь еще, папа?

— Выпью, и с превеликим удовольствием.

— Эдди, наверно, это просто необходимо,— сказал мальчик.— Прошло почти три часа. За три часа Эдди пил только один раз. Это я оказался таким нерадивым. Папа, а откуда ты знал, что мистер Дэвис не станет пить?

— Мне казалось, он не захочет, пока Дэвиду так трудно приходится.

— Может, теперь выпьет, ведь Дэви сидит в тени. Все равно я ему предложу.

Он спустился на палубу.

— Нет, Томми, пожалуй, не стоит,— услышал Томас Хадсон ответ Роджера.

— Мистер Дэвис, вы за весь день ничего не выпили,— настаивал Том.

— Спасибо, Томми,— сказал Роджер.— Выпей за меня бутылку пива.— Потом он крикнул Томасу Хадсону: — Двинь чуть вперед, Том. А то она пойдет на нас.

— Есть двинуть чуть вперед,— повторил Томас Хадсон.

Рыба все еще кружила на большой глубине, но сокращала круги, поскольку катер шел туда, куда ей нужно. За наклоном лески теперь легче было следить. Она стала виднее в темной глубине воды, потому что солнце было за кормой, и Томасу Хадсону стало удобнее приноравливаться к движеньям рыбы. Как им повезло, думал он, что день тихий; Дэвид просто не выдержал бы, если б ему пришлось вываживать эту рыбу даже в небольшую волну. Но волны не было никакой, и теперь, когда Дэвид сидел в тени, у Томаса Хадсона отлегло от сердца.

— Спасибо, Томми,— услышал он голос Эдди, а потом мальчик поднялся наверх со стаканом, обернутым в бумагу, и Томас Хадсон сначала глотнул немного, потом побольше и ощутил на языке холод, в котором была острота лимонного сока, душистая глянцевитость ангостуры и терпкость джина, подкрепляющего ледяную стынь кокосового молока.

— Ну, как, папа, ничего? — спросил мальчик. В руках у него была бутылка пива прямо со льда, покрывшаяся на солнце холодными капельками пота.

— Великолепно,— ответил ему отец.— Джина ты влил порядочно.

— Пришлось,— сказал Том-младший,— потому что лед тает очень быстро. Надо бы нам завести какие-нибудь подстаканники-термосы, чтобы лед не таял. Я займусь этим в школе. Попробую смастерить что-нибудь из пробковых пластинок. И может, преподнесу тебе в подарок к рождеству.

— Взгляни на Дэви,— сказал ему отец.

Дэвид так вываживал рыбу, точно его схватка с ней только что началась.

— Посмотри, какой он плоский,— сказал Том-младший.— Что грудь, что спина — одинаковые. И они будто склеены у него. Зато таких длинных мускулов на руках больше ни у кого не увидишь — и бицепсы и трицепсы одинаковой длины. Странное у Дэви сложение, папа. И сам он странный, и вообще лучшего брата и быть не может.

Между тем Эдди опорожнил свой стакан и снова принялся обтирать Дэвиду спину полотенцем. Потом обтер ему грудь и длинные руки.

— Ну как ты, Дэви, ничего?

Дэвид кивнул.

— Слушай,— сказал ему Эдди.— У меня на глазах один человек — взрослый, сильный, плечи что у быка — струсил, отступился от рыбы, а ведь и половины не сделал того, чего ты уже добился.

Дэвид молча делал свое дело.

— Здоровенный дядя. Твой папа и Роджер тоже его знают. Он на рыбной ловле собаку съел. Все время рыбачит. Так вот, подцепил он как-то огромную рыбину и сдрейфил, отступился от нее, потому что она его измотала. Измотала его эта рыба, и он ее бросил. Держись, Дэви, держись.

Дэвид молчал. Он сберегал дыхание, продолжая поднимать и опускать удилище и наматывать леску на катушку.

— Эта треклятая рыба — самец, потому она такая сильная,— сказал ему Эдди.— Будь это самка, ей давно бы капут, кишки бы лопнули, сердце бы разорвалось или икра бы из нее выперла. У этих рыб самцы сильнее. У других сильнее самки. А у меч-рыбы наоборот. У этой силищи много. Но ты ее доконаешь, Дэви.

Леска снова стала разматываться, и Дэвид закрыл глаза, уперся ногами в деревянную перекладину, откинулся назад и минуту отдыхал.

— Правильно, Дэви,— сказал Эдди.— Пока не работаешь, отдыхай. Рыба просто кружит, но тормоз и ее заставляет работать, так что она устает тоже.

Эдди повернул голову и заглянул вниз, и по его прищуру Томас Хадсон понял, что он смотрит на большие медные часы, укрепленные на стене каюты.

— Пять минут четвертого, Роджер,— сказал он.— Дэви, друг, уже три часа пять минут, как ты с ней возишься.

Теперь Дэвиду пора было бы выбирать леску, но она ровно разматывалась с катушки.

— Опять уходит в глубину,— сказал Роджер.— Держи крепче, Дэви... Том, тебе леску видно?

— Видно, хорошо видно,— ответил ему Томас Хадсон. Леска пока уходила вниз не очень круто, и он просматривал ее на большой глубине.

— Рыба, верно, пошла на дно, чтобы там подохнуть,— вполголоса сказал Томас Хадсон старшему сыну.— Тогда все пропало.

Том-младший покачал головой и закусил губу.

— Держи ее, держи изо всех сил, Дэви,— услышал Томас Хадсон голос Роджера.— Подвинти тормоз, но леска пусть разматывается.

Мальчик так крепко завинтил тормоз, что удилище и леска чуть не лопнули, и собрал все силы, готовясь к предстоящему испытанию, а леска разматывалась с катушки и уходила все ниже и ниже.

— Только задержи ее, и тогда она наша,— сказал Дэвиду Роджер.— Выключи моторы, Том.

— Уже выключил,— сказал Томас Хадсон.— Но, пожалуй, можно немного подать назад, пользуясь течением.

— Ладно. Давай.

— Есть,— сказал Томас Хадсон.

Чуть отойдя назад, они отняли у рыбы леску, но так, самую малость, и теперь вся она, сверху донизу, натянулась почти в отвес. На ка-

тушке оставалось совсем мало — меньше, чем было в самые критические минуты.

— Придется тебе выйти на край кормы, Дэви,— сказал Роджер.— И ослабь немного тормоз, тогда высвободишь комель.

Дэвид ослабил тормоз.

— Теперь укрепи комель в гнезде. Эдди, обхвати его сзади поперек туловища.

— О, господи! — сказал Том-младший.— Она пошла ко дну, папа!

Дэвид стоял на коленях у края кормы, держа удилище, которое так согнулось, что даже вершинка его была под водой, а торцом оно сидело в кожаном гнезде у мальчика на поясе. Эндрю схватил Дэвида сзади за ноги, а Роджер опустился рядом с ним на колени и следил, сколько лески уходило под воду и сколько ее оставалось на катушке. Он оглянулся на Томаса Хадсона и покачал головой.

На катушке не оставалось и двадцати ярдов, а удилище до половины ушло под воду и тянуло Дэвида вниз. Потом на катушке осталось каких-нибудь пятнадцать ярдов. Потом уже и десяти не было. И тут леска перестала разматываться. Мальчик висел над бортом, удилище почти целиком было под водой, но леска больше не сматывалась с катушки.

— Посади его обратно в кресло, Эдди. Только осторожнее,— сказал Роджер.— Не торопись. Он остановил рыбу.

Эдди подвел Дэвида к креслу, крепко обхватив его поперек туловища, чтобы неожиданный рывок рыбы не сдернул его за борт. Он посадил его, и Дэвид вставил комель удилища в гнездо, уперся ногами в перекладину и откинулся назад, взяв спиннинг на себя. Рыба немного поднялась.

— Подтягивай ее, только когда будешь выбирать леску,— сказал Дэвиду Роджер.— А остальное время пусть сама тянет. И делай передышку, отдыхай.

— Ну, доконал ты ее, Дэвид,— сказал Эдди.— Теперь все на твоей стороне. Только не торопись, не волнуйся, и тогда ей конец.

Томас Хадсон дал чуть-чуть вперед, чтобы рыба не ушла в сторону. Теперь вся корма была в тени. Катер медленно шел в открытое море, не встречая ни волны, ни ветра.

— Папа,— сказал Том-младший.— Я видел его ноги, когда смешивал вам коктейли внизу. Они все в крови.

— Он ободрал их о перекладину.

— Может, подложить подушку, чтобы он упирался в мягкое?

— Пойди спроси Эдди,— сказал Томас Хадсон.— Только Дэви не мешай.

Схватка с рыбой продолжалась уже четвертый час. Катер по-прежнему шел в открытое море, и, сидя в кресле, спинку которого теперь поддерживал Роджер, Дэвид медленно поднимал рыбу вверх. Он выглядел бодрее, чем час назад, но Томас Хадсон видел, что пятки у него в крови, стекавшей с подошв. На солнце она глянцевито поблескивала.

— Как ноги, Дэви? — спросил Эдди.

— Ноги не больно,— сказал Дэвид.— Болят руки, плечи и спина.

— Не подложить тебе подушку под ноги?

Дэвид мотнул головой.

— Нет, еще прилипнут,— сказал он.— Они липкие от крови. Мне не больно. Правда, не больно.

Том-младший поднялся наверх и сказал:

— Изуродует он себе ноги. И руки изуродует. Ладони были в волдырях, а теперь волдыри полопались. Ох, папа! Ну что делать?

— А если бы ему пришлось выгребать против сильного течения, Томми? Или подниматься на высокую гору, или держаться в седле, когда уже все силы вышли?

— Да, знаю. Но если такое творится у тебя на глазах, и с кем — с твоим братом, а ты стоишь в стороне, это ужасно, папа.

— Знаю, Томми, знаю. Но для мальчиков наступает время, когда им надо пройти через такое, если они хотят стать мужчинами. Наступило оно и для Дэви.

— Да, понимаю. Но стоит мне посмотреть на его руки и ноги, и я уже ничего не понимаю.

— Представь себе, что ты сам боролся бы с этой рыбой, хотелось бы тебе, чтобы я или Роджер отняли ее у тебя?

— Нет. Я бы умер, а не расстался с ней. Но смотреть на Дэви, это совсем другое дело.

— Надо о нем думать,— сказал отец.— О том, что для него важно.

— Да, конечно,— уныло проговорил Том-младший.— Но для меня ведь он просто Дэви. И как это нехорошо устроено в мире, что такое случается с твоим братом.

— Я тоже так считаю,— сказал Томас Хадсон.— Ты очень добрый мальчик, Томми. Только, пожалуйста, пойми: эту схватку можно было бы давным-давно прекратить, но если Дэвид победит в ней, эта победа останется с ним на всю жизнь, и она же поможет ему справиться с тем, что его еще ждет впереди.

Тут заговорил Эдди. Он опять заглядывал в каюту.

— Ровно четыре часа, Роджер,— сказал Эдди.— Дэви, ты бы выпил воды. Ну, как ты сейчас?

— Отлично,— сказал Дэвид.

— Займусь и я делом,— сказал Том-младший.— Пойду приготовлю Эдди выпить. А ты не хочешь, папа?

— Нет. Пока не надо,— сказал Томас Хадсон.

Том-младший спустился вниз, а Томас Хадсон стал смотреть на Дэвида, на его медленные, усталые, но размеренные движения; на Роджера, который нагнулся над ним и говорил ему что-то вполголоса; на Эдди, который стоял на корме и следил за леской, под уклоном уходившей в воду. Томас Хадсон представил себе, каково там внизу, где сейчас плавает меч-рыба. Темно, конечно, но рыба, наверно, видит в темноте — как лошади. Темно и очень холодно.

Одна она там плавает, думал он, или около нее есть еще какая-нибудь рыба? Других рыб они тут не видели, но это еще не значит, что рыба плавает одна. В темноте, в холоде, рядом с ней, может быть, плавает и другая.

Почему же рыба остановилась, уйдя под воду так глубоко? — думал Томас Хадсон. Может быть, она достигла доступного ей предела глубины, как самолет, у которого есть потолок подъема? Или же согнувшееся удилище, круто завинченный тормоз и сила трения лески в воде наконец сломили ее сопротивление и теперь она тихо плывет вперед и поднимается, поднимается чуть выше, когда Дэвид подтягивает ее кверху, просто для того, чтобы ослабить напряжение? Так оно, вероятно, и есть, думал Томас Хадсон, и если рыба еще не обессилела, Дэвиду предстоит нелегкая задача.

Том-младший принес Эдди его бутылку, и Эдди надолго приложился к ней, а потом попросил Тома поставить ее в ящик с наживкой.

— Там попрохладней, и под рукой у меня будет,— добавил он.— Если Дэви еще долго провозится с этой рыбой, я, чего доброго, алкоголиком стану.

— Я вам буду приносить вашу бутылку, когда только пожелаете,— сказал Эндрю.

— Когда я пожелаю, не приноси,— сказал ему Эдди.— Приноси, когда я тебя попрошу об этом.

Старший мальчик поднялся к Томасу Хадсону, и они увидели, что

Эдди нагнулся над Дэвидом и пристально смотрит ему в глаза. Роджер обеими руками держал спинку кресла и следил за леской.

— Слушай, Дэви,— сказал мальчику Эдди, внимательно глядя ему в лицо.— Руки и ноги — это пустяки. Ну больно, ну на вид они прямо никуда, но это ничего. У рыболова и должны быть такие руки-ноги. Они раз от разу у тебя будут грубеть. А вот голова-то как?

— Отлично,— сказал Дэвид.

— Тогда храни тебя бог, и вываживай эту сволочь, вываживай. Скоро она здесь у нас будет.

— Дэви,— обратился к мальчику Роджер.— Может, мне за нее взяться?

Дэвид замотал головой.

— Это не значит, что ты сдаешься,— сказал Роджер.— Здравый смысл того требует. Или я, или твой отец — мы за нее возьмемся.

— Я что-нибудь не так делаю? — с обидой спросил Дэвид.

— Нет. Ты все делаешь замечательно.

— Тогда зачем мне сдаваться?

— Она тебя измотала, Дэви,— сказал Роджер.— Не могу я допустить, чтобы она тебя замучила.

— Крючок-то у кого в пасти сидит? У нее,— прерывающимся голосом проговорил Дэвид.— Не она меня мучает. Я ее мучаю. Суку паршивую.

— Говори, Дэви. Все что хочешь говори,— сказал Роджер.

— Сука поганая. Сучья сука.

— У него слезы на глазах,— сказал Эндрю. Он поднялся наверх и стоял рядом с отцом и Томом-младшим.— Он ругается, чтобы не заплакать.

— Молчи, наездник,— сказал Том-младший.

— Уморит она меня, сука, ну и пусть,— сказал Дэвид.— Ой, нет! Зачем я ее ругаю! Я ее люблю.

— Ну, а теперь помолчи,— сказал Дэвиду Эдди.— Побереги дыхание.

Эдди взглянул на Роджера, и Роджер пожал плечами, давая понять, что он не знает, как быть дальше.

— Если ты будешь так волноваться, я сам возьмусь за эту рыбу,— сказал Эдди.

— Я всегда волнуюсь,— сказал Дэвид.— Только не признаюсь в этом, вот никто и не знает, как я волнуюсь. А сейчас ничего особенного нет. Говорю много, вот и все.

— А теперь помолчи, не надо говорить,— сказал Эдди.— Успокойся, возьми себя в руки, и мы от нее не отстанем.

— Я ее не брошу,— сказал Дэвид.— Зачем я ее ругал? Не надо ее ругать. Лучше этой рыбы нет ничего на свете.

— Энди, дай мне бутылку спирта,— сказал Эдди.— Я разотру ему руки, ноги и плечи,— сказал он Роджеру.— От ледяной воды как бы судорогой не свело.— Он заглянул в каюту и сказал: — Ровно пять с половиной часов, Роджер.— Потом повернулся к Дэвиду: — Тебе не жарко, Дэви?

Мальчик покачал головой.

— В середине дня солнце шпарит прямо в темечко. Вот чего я боялся,— сказал Эдди.— Теперь с тобой ничего не случится, Дэви. Держись, друг, добивай эту паршивую рыбу. Хорошо бы ее доконать еще засветло.

Дэвид кивнул.

— Папа, ты видел когда-нибудь, чтобы рыба так боролась? — спросил Том-младший.

— Видел,— ответил ему Томас Хадсон.

— И часто?

— Не помню, Томми. В Гольфстриме попадаются страшные рыбы. Но некоторые громадины ловятся легко.

— А почему так?

— Может быть, состарились, разжирели. Есть такие, которым давно пора бы подохнуть. Но самые крупные обычно так бьются на леске, что сами себя приканчивают.

День близился к вечеру, встречные суда уже не попадались им, заплыли они далеко и были где-то между островом и большим маяком Айзекса.

— Ну-ка, Дэви, еще попробуй поднять,— сказал Роджер.

Мальчик ссутулился, откинулся назад, сделав упор на ноги, и на этот раз вершинка удилища медленно поднялась вверх.

— Идет, идет,— сказал Роджер.— Забирай у нее леску, подтягивай ее, подтягивай.

Мальчик приподнял удилище, и леска снова пошла на катушку.

— Она идет вверх,— сказал Дэвиду Роджер.— Правильно, так и действуй.

Дэвид работал, как машина или же как очень усталый мальчик, работающий за машину.

— Вот теперь в самый раз тащить,— сказал Роджер.— Она идет вверх. Дай немного вперед, Том. Будем брать ее с левого борта.

— Есть дать немного вперед,— сказал Томас Хадсон.

— Действуй по своему усмотрению,— сказал Роджер.— Надо так подвести эту рыбу, чтобы Эдди удобно было ее забагрить, а нам — набросить петлю. Поводком займусь я. Томми, ты иди вниз, будешь держать кресло и следи, чтобы леска не захлестнула за удилище, когда я возьму поводок. Леска все время должна быть свободной, на случай если мне придется отпустить рыбу. Энди, ты будь при Эдди. Подавай ему все, что он потребует. Петлю подашь и дубинку.

Теперь рыба безостановочно шла вверх, и Дэвид ритмично поднимал и опускал удилище.

— Том, иди вниз, будешь править оттуда,— крикнул Роджер.

— А я уже и так иду,— ответил ему Томас Хадсон.

— Извини,— сказал Роджер,— Дэви, запомни: если мне придется отпустить ее, держи удилище повыше и чтобы леска за него не захлестнула. Как только я ухвачу поводок, ослабь тормоз.

— Леску наматывай ровно,— сказал Эдди.— Нельзя, чтобы ее заедало.

Томас Хадсон спрыгнул с мостика в кокпит и взялся за штурвал снизу. Глубина просматривалась отсюда хуже, чем сверху, но если случится что-нибудь непредвиденное, здесь сподручнее, да и держать связь с остальными легче. Странно находиться на том же уровне, где идет действо, после того как ты провел несколько часов, глядя на все это сверху, подумал он. Точно спустился из ложи на сцену или на ринг или стоишь вплотную к загородке вдоль трека. Люди кажутся больше и ближе, и все они выше ростом, и фигуры у них не укороченные в ракурсе.

Он видел окровавленные руки Дэвида, глянцевито поблескивавшие струйки на ногах и следы от лямок на спине и встретил его почти отчаянный взгляд, когда он повернул голову, доведя удилище вверх до предела. Томас Хадсон заглянул в каюту — часы на стене показывали без десяти минут шесть. Теперь, когда он был так близко от воды, море казалось ему совсем другим, и, глядя из тени на согнутое удилище Дэвида, он видел белую леску, уходившую косо в толщу темной воды, и само удилище, равномерно двигавшееся вверх и вниз. Эдди стоял на коленях у борта с багром в обожженных солнцем веснушчатых руках и всматривался в полиловевшую воду, стараясь разглядеть там рыбу. Томас Хадсон заметил веревочные узлы на древке багра и веревку, привязанную к

пиллерсу на корме, потом снова перевел взгляд на спину Дэвида, на его вытянутые ноги и длинные руки, державшие удилище.

— Тебе не видно, Эдди? — спросил Роджер, не отпуская спинки кресла.

— Нет еще. Води ее, Дэви, води.

Дэвид продолжал поднимать и опускать удилище; леска виток за витком продолжала наматываться на разбухшую катушку.

Вдруг рыба остановилась, удилище перегнулось вершинкой к воде, и леска опять стала разматываться.

— Нет! Не может быть! — сказал Дэвид.

— Может,— сказал Эдди.— От нее всего жди.

Дэвид медленно приподнял удилище, преодолевая его тяжесть, и вслед за этим медленным подъемом леска снова стала легко и равномерно наматываться на катушку.

— Она только на минутку задержалась,— сказал Эдди. Сдвинув на затылок свою старую фетровую шляпу, он всматривался в чистую, темно-лиловую воду.— Вот она,— сказал он.

Томас Хадсон отскочил от штурвала и глянул за борт. Рыба показалась в глубине за кормой, маленькая, укороченная в ракурсе, и тут же на глазах у Томаса Хадсона стала расти — не с такой стремительностью, как вырастает летящий на тебя самолет, но так же неуклонно и грозно.

Томас Хадсон тронул Дэвида за плечо и вернулся к штурвалу. И тут он услышал голос Эндрю: — Ой! Смотрите! — И увидел ее, не отходя от штурвала. Она плыла под водой прямо за катером — бурая, раздавшаяся в ширину и в длину.

— Так держать,— сказал Роджер, не оглядываясь.

И Томас Хадсон ответил:

— Есть так держать.

— О господи! Смотрите! — сказал Том-младший.

Теперь она выросла до огромных размеров — Томас Хадсон впервые видел такую меч-рыбу. Уже не бурая, а иссиня-лиловая по всей своей длине, рыба медленно, плавно двигалась в том же направлении, куда шел катер. Она двигалась за самой кормой и справа от Дэвида.

— Пусть так и идет, Дэви,— сказал Роджер.— Она хорошо идет, хорошо.

— Дай чуть вперед,— сказал Роджер, не сводя глаз с рыбы.

— Есть чуть вперед,— ответил Томас Хадсон.

— Мотай леску,— сказал Дэвиду Эдди.

Томас Хадсон увидел вертлюжок поводка, показавшийся над водой.

— Еще немного вперед,— сказал Роджер.

— Есть еще немного вперед,— повторил Томас Хадсон.

Он следил за рыбой и поворачивал катер в том направлении, куда она плыла. Теперь рыба была видна ему вся — лиловая длина ее тела, широкий, торчащий вперед меч, вспарывающий воду плавник на широкой спине и огромный хвост, который, почти не двигаясь, посылал ее вперед.

— Дай еще немного,— сказал Роджер.

— Есть дать еще немного.

Дэвид вывел поводок лески наружу.

— Ты готов, Эдди? — спросил Роджер.

— Готов,— сказал Эдди.

— Следи за ней, Том,— сказал Роджер и, наклонившись над кормой, ухватил поводок.— Ослабь тормоз,— сказал он Дэвиду и, поднимая, придерживая тяжелый поводок, стал медленно выводить рыбу ближе к багру.

Рыба шла наверх — широкая, длинная, как затонувшее бревно. Дэвид следил за ней, в то же время поглядывая на вершинку удилища и

старяясь, чтобы его не захлестнуло леской. Впервые за шесть часов спина, руки и ноги у него не чувствовали напряжения, и Томас Хадсон видел, как подрагивают, дергаются у мальчика мускулы на ногах. Эдди с багром нагнулся над кормой, а Роджер медленно, равномерно вел поводок кверху.

— Больше тысячи фунтов потянет,— сказал Эдди. Потом очень тихо: — Роджер, крючок держится на ниточке.

— Сможешь дотянуться до нее? — спросил Роджер.

— Пока нет,— сказал Эдди.— Легче, легче, не спешите.

Роджер продолжал подтягивать поводок, и огромная рыба постепенно приближалась к катеру.

— Сейчас оборвется,— сказал Эдди.— На честном слове держится.

— А теперь достанешь? — спросил Роджер. Голос у него не изменился.

— Нет еще,— так же тихо сказал Эдди.

Роджер поднимал рыбу мягко, со всей осторожностью, на какую только был способен. И вдруг напряжение исчезло из его тела, и он выпрямился, держа в обеих руках провисший поводок.

— Нет. Нет. Нет. Боже мой, нет! — сказал Том-младший.

И в ту же минуту Эдди с багром кинулся в воду, пытаясь дотянуться до рыбы и забагрить ее.

Но все было напрасно. Огромная рыбина, похожая на большую темно-лиловую птицу, постояла в глубине, потом медленно пошла вниз. Они смотрели, как она опускалась, становясь все меньше и меньше, и наконец исчезла из виду.

Шляпа Эдди плавала по спокойной воде, а сам он держался за багор. Веревка от багра тянулась к пиллерсу на корме. Роджер обнял Дэвида, и Томас Хадсон увидел, что плечи у мальчика трясутся. Но он предоставил его Роджеру.

— Спусти трап, помоги Эдди влезть,— сказал он Тому-младшему.— Энди, возьми удилище. Вынь его из гнезда.

Роджер поднял мальчика, донес его до койки у правого борта и положил там. Роджер продолжал обнимать Дэвида, а тот лежал на койке ничком.

Эдди, весь мокрый, влез на катер и стал переодеваться. Эндрю выловил багром его шляпу, а Томас Хадсон успел сходить в каюту за рубашкой и брюками для Эдди и за рубашкой и шортами для Дэвида. Он с удивлением отметил, что ничего не чувствует, кроме жалости и любви к Дэвиду. Эта схватка с рыбой иссушила в нем все другие чувства.

Когда он вернулся, Дэвид, голый, по-прежнему лежал на койке лицом вниз, а Роджер растирал его спиртом.

— Плечи больно и копчик,— сказал Дэвид.— Там, пожалуйста, потише, мистер Дэвис.

— Это где натерло,— сказал ему Эдди.— Сейчас отец смажет тебе руки и ноги меркурохромом. Это не больно.

— Надень рубашку, Дэви,— сказал Томас Хадсон.— А то простудишься. Том, принеси ему одеяло, какое полегче.

Томас Хадсон смазал меркурохромом те места, где лямки натерли мальчику спину, и помог ему надеть рубашку.

— Я уже ничего,— тусклым голосом проговорил Дэвид.— Я хочу кока-колы. Можно, папа?

— Пожалуйста,— сказал Томас Хадсон.— А потом Эдди разогреет тебе суп.

— Я не голоден,— сказал Дэвид.— Я сейчас не смогу есть.

— Ну, подождем немного,— сказал Томас Хадсон.

— Я понимаю, каково тебе, Дэви,— сказал Эндрю, подавая ему бутылку кока-колы.

— Никому этого не понять,— сказал Дэвид.

Томас Хадсон объяснил старшему сыну, каким курсом идти к острову.

— Смотри, чтобы моторы работали синхронно, на триста оборотов, Томми,— сказал он.— Когда стемнеет, будет виден маяк, а потом я произведу корректировку.

— Ты меня почаще проверяй, папа. Скажи, тебе так же тошно, как мне?

— Тут ничего не поделаешь.

— А Эдди попытался что-то сделать,— сказал Том-младший.— Не каждый прыгнул бы в океан за какой-то рыбой.

— Эдди был на волоске,— сказал ему отец.— Ты представляешь себе, что могло бы случиться, если бы он забагрил ее не с катера, а в воде?

— Эдди бы справился,— сказал Том-младший.— Ну как, синхронно они работают?

— К моторам надо прислушиваться,— сказал ему отец,— а не только на тахометры поглядывать.

Томас Хадсон подошел к койке и сел рядом с Дэвидом. Мальчик был закутан в легкое одеяло, и Эдди возился с его руками, а Роджер смазывал ему меркурохромом ноги.

— А-а, папа,— сказал он и посмотрел на Томаса Хадсона, а потом отвел глаза в сторону.

— Жаль, Дэви, очень жаль,— сказал ему отец.— Ты так с ней сражался. Лучше Роджера, лучше всех, кого я знаю.

— Большое спасибо, папа. Только не надо об этом говорить.

— Дать тебе чего-нибудь, Дэви?

— Если можно, еще кока-колы,— сказал Дэвид.

Томас Хадсон вынул из ящика для наживки бутылку охлажденной на льду кока-колы и откупорил ее. Он сел рядом с Дэвидом, и мальчик выпил всю бутылку, держа ее в руке, которую Эдди уже успел обработать.

— Суп скоро будет готов. Он уже закипает,— сказал Эдди.— Том, а соус не подогреть? К салату из крабов?

— Подогрей,— сказал Томас Хадсон.— Мы с утра ничего не ели. А Роджер так за весь день не выпил ни глотка.

— Только что — бутылку пива,— сказал Роджер.

— Эдди,— сказал Дэвид.— А сколько она весила, по правде?

— Больше тысячи фунтов,— сказал ему Эдди.

— Спасибо вам, что вы прыгнули за борт,— сказал Дэвид.— Большое спасибо, Эдди.

— Да ну, чего там! — сказал Эдди.— А что еще было делать?

— Папа, как по-твоему, в ней правда было тысяча фунтов? — спросил Дэвид.

— Безусловно,— сказал Томас Хадсон.— Мне такие громадины ни разу не попадались, ни марлины, ни меч-рыбы.

Солнце спряталось, и катер шел по спокойному морю, шел, урча моторами, быстро бороздя ту самую воду, по которой они так медленно продвигались все эти часы.

Эндрю тоже примостился на краю широкой койки.

— Ну, что, наездник? — сказал ему Дэвид.

— Если бы ты выловил эту рыбу,— сказал Эндрю,— ты стал бы самым знаменитым мальчиком на свете.

— А я не хочу быть знаменитым,— сказал Дэвид.— Предоставляю это тебе.

— А мы бы прославились как твои братья,— сказал Эндрю.— Серьезно.

— А я бы прославился как твой друг,— сказал Роджер.

— А я бы прославился как рулевой,— сказал Томас Хадсон.— А Эдди — как гарпунщик.

— Уж Эдди-то непременно прославился бы,— сказал Эндрю.— А Томми прославился бы тем, что он столько коктейлей приготовил. Идет страшная битва, а Томми знай носит стаканы.

— А рыба? Она бы не прославилась? — спросил Дэвид. Он уже был таким, как всегда. Во всяком случае, голос у него звучал, как всегда.

— Она бы прославилась больше всех,— сказал Эндрю.— Она бы себя обессмертила.

— Надеюсь, ей ничего не сделалось,— сказал Дэвид.— Надеюсь, она цела и невредима.

— Конечно,— сказал Роджер.— По тому, как в ней сидел крючок и как она сопротивлялась, я знаю, что ей ничего не сделалось.

— Когда-нибудь я вам расскажу, как все было,— сказал Дэвид.

— Расскажи сейчас,— потребовал Энди.

— Сейчас я устал, и вообще вы подумаете, я сумасшедший.

— Расскажи. Ну хоть немножко,— пристал к нему Эндрю.

— Не знаю, стоит или нет. Папа, как по-твоему?

— Давай, давай,— сказал Томас Хадсон.

— Ну...— сказал Дэвид, зажмурившись.— В самые тяжелые минуты, когда мне было труднее всего, я не различал, где она и где я.

— Понимаю,— сказал Роджер.

— И тогда я полюбил ее больше всего на свете.

— Прямо-таки полюбил? — спросил Эндрю.

— Да. Полюбил.

— Фью! Вот уж чего не понимаю,— сказал Эндрю.

— Когда она стала подниматься, я так ее любил, что сил моих не было,— сказал Дэвид, все еще зажмурившись.— Мне хотелось только одного: увидеть ее как можно ближе.

— Понимаю,— сказал Роджер.

— Теперь мне плевать, что я ее упустил,— сказал Дэвид.— И плевать мне, что я не поставил рекорда. А ведь думал, что мне хочется его поставить. Очень хорошо, что она цела и я цел. Мы с ней не враги.

— И хорошо, что ты поделился с нами,— сказал Томас Хадсон.

— Большое вам спасибо, мистер Дэвис, за то, что вы сказали мне, когда она в первый раз ушла вглубь.— Дэвид говорил, не открывая глаз.

Томас Хадсон так и не узнал, что сказал ему Роджер.

X

Вечером, в последние часы штиля, перед тем как поднялся ветер, Томас Хадсон сидел в своем кресле с книгой в руках. Остальные уже легли, а он знал, что заснуть не сможет, и решил читать до тех пор, пока не начнут слипаться глаза. Но из чтения тоже ничего не получалось, и тогда он стал думать о прошедшем дне. Он перебирал его в памяти весь с начала и до конца и думал о том, как далеко отошли от него сыновья, кроме разве Тома, или как далеко отошел он от них.

Дэвид отошел к Роджеру. Томас Хадсон всегда хотел, чтобы Дэвид взял от Роджера все, что возможно, потому что в действии Роджер был настолько же хорош и разумен, насколько нехорош и неразумен он был в своей жизни и своей работе. Для Томаса Хадсона Дэвид всегда оставался загадкой. Горячо любимой, но все же загадкой. Роджер понимал его лучше, чем родной отец. Томас Хадсон обычно радовался, что они так хорошо понимают друг друга, но сегодня ему от этого было как-то не по себе.

А еще его огорчил своим поведением Эндрю, хоть он и знал, что Эндрю есть Эндрю и что он еще ребенок и его нельзя судить слишком строго. Ничего плохого он, в сущности, не сделал, даже напротив. Но что-то в нем было такое, что не внушало доверия.

Ну, можно ли так эгоистично и мелочно рассуждать о тех, кого любишь, подумал он. Не лучше ли было просто вспомнить события дня без того, чтобы копаться в них, выискивая дурное? Ложись-ка в постель, сказал он себе, и постарайся уснуть. А все прочее к черту. И утром сразу включись в обычный жизненный ритм. Мальчикам не так уж много времени осталось пробыть здесь. Вот и позаботься о том, чтобы они получше провели это оставшееся время. Я старался, возразил он себе. Я старался, чтобы им было хорошо и Роджеру тоже. Тебе и самому было очень хорошо, подумал он. Да, конечно. Но вот сегодня мне от чего-то сделалось страшно. Ладно, сказал он себе; собственно говоря, в каждом дне легко что-то найти, от чего может сделаться страшно. Ложись в постель, авось повезет и ты успеешь выспаться до утра. И помни: главное, это чтобы завтра всем было хорошо и приятно.

Ночью поднялся юго-западный ветер, и к рассвету он дул с почти ураганной силой. Пальмы гнулись под ним, хлопали ставни, разлетались бумаги, и на песке оседала пена прибоя.

Когда Томас Хадсон встал, Роджера уже не было. Мальчики еще спали, и он позавтракал один, просматривая почту, пришедшую с рейсовым судном, которое раз в неделю доставляло с материка мясо, лед, свежие овощи, бензин и другие товары. Ветер дул так сильно, что Томасу Хадсону пришлось придавить чашкой лежавшие на столе письма, чтоб их не унесло.

— Может, дверь закрыть? — спросил Джозеф.

— Нет. Пока ничего не разбилось, не нужно.

— Мистер Роджер пошел прогуляться по берегу,— сказал Джозеф.— Он направился в тот конец острова.

Томас Хадсон продолжал читать письма.

— Вот газета, мистер Том,— сказал Джозеф.— Я ее утюгом разгладил.

— Спасибо, Джозеф.

— Мистер Том, это правда, про вчерашнюю рыбу? То, что рассказывал Эдди?

— А что он тебе рассказывал?

— Какая она была огромная и как он ее уже почти забагрил.

— Все правда.

— Ах ты господи. Надо же было, чтоб как раз в это время мне пришлось переносить с рейсового судна лед и продукты. Будь я с вами, я нырнул бы и забагрил ее в воде.

— Эдди нырял за ней,— сказал Томас Хадсон.

— Он мне этого не говорил,— сказал Джозеф, сбавив тон.

— Еще чашку кофе, пожалуйста, Джозеф, и я съел бы еще кусок папайи,— сказал Томас Хадсон. Он проснулся голодный, а от ветра голод у него разыгрался пуще.— А бекону не привезли на этот раз?

— Найдется, пожалуй, из прежних запасов,— сказал Джозеф.— У вас сегодня хороший аппетит.

— Пожалуйста, позови сюда Эдди.

— Эдди пошел домой полечить свой глаз.

— А что с ним случилось?

— Кто-то вчера заехал ему в глаз кулаком.

Томасу Хадсону нетрудно было догадаться о причине.

— А кроме глаза, все у него цело?

— Его вообще крепко избили,— сказал Джозеф.— Он ходил по всем барам и рассказывал такое, чему никто не хотел верить. Люди никогда не поверят тому, что он рассказывает. А жаль.

— Где же он дрался?

— Везде. Везде, где ему не верили. И все равно никто не хотел верить. Там, куда он попал уже поздно ночью, люди даже не знали толком, о чем речь, но говорили, что не верят, просто чтоб его подстрекнуть к драке. Наверно, на всем острове не осталось ни одного любителя драк, с которым бы он вчера не подрался. А сегодня вечером, попомните мое слово, кое-кто еще приедет с Мидлл-Ки — нарочно, чтобы сцепиться с ним. На Мидлл-Ки теперь завелось несколько отчаянных голов, с тех пор как там идет стройка.

— Надо будет мистеру Роджеру пойти с ним вместе,— сказал Томас Хадсон.

— Ух ты! — Джозеф весь просиял.— Будет, значит, потеха вечером.

Томас Хадсон выпил еще чашку кофе, съел кусок холодной папайи, политой лимонным соком, и четыре ломтика бекона, которые ему подал Джозеф.

— Я сразу заметил, что у вас сегодня хороший аппетит,— сказал Джозеф.— А когда я это замечаю, мне уж хочется не пропустить такой случай.

— Я ем очень много.

— Иногда,— сказал Джозеф.

Он налил ему чашку кофе, и Томас Хадсон забрал ее с собой, чтобы допить между делом — среди полученных писем было два, на которые нужно было ответить с обратной почтой.

— Сходи к Эдди домой, пусть он составит список того, что надо заказать на следующий рейс,— сказал он Джозефу.— И принесешь мне посмотреть. Для мистера Роджера остался кофе?

— Он уже пил,— сказал Джозеф.

Томас Хадсон дописывал наверху свои письма, когда явился Эдди со списком необходимых припасов. Выглядел Эдди неважно. Примочки глазу не помогли, губы и щеки сильно распухли. Одно ухо распухло тоже. Разбитые губы он намазал меркурохромом, и яркий их цвет придавал ему вид отнюдь не трагический.

— Я вчера свалял дурака,— сказал он.— Проверьте, Том, здесь, кажется, все, что нужно.

— А зачем было приходить? Взял бы себе сегодня выходной и посидел бы спокойно дома.

— Дома мне хуже,— сказал Эдди.— Ничего, я вечером рано лягу спать.

— И больше не ввязывайся в драки из-за этого дела,— сказал Томас Хадсон.— Все равно не поможет.

— Нашли кого уговаривать,— сказал Эдди, шевеля пурпуром своих рассеченных и вспухших губ.— Я ведь думал, что правда в конце концов себя окажет, а тут всякий раз подвертывался еще кто-то, и я вместе с моей правдой летел задницей кверху.

— Джозеф говорит, ты дрался не один раз.

— Я бы и еще дрался, да кто-то увел меня домой,— сказал Эдди.— Бенни Добрая Душа, что ли. Только благодаря ему да констеблю я и уцелел.

— Ты считаешь, что уцелел?

— Пусть не весь, но уцелел. Эх, черт, жаль, вас не было, Том.

— Мне совсем не жаль. А кому-нибудь там хотелось, чтобы ты и в самом деле не уцелел?

— Да нет, едва ли. Просто они думали доказать мне, что я вру. А вот констебль мне поверил.

— Неужели?

— Факт, поверил. Он да еще Бобби. Только они двое, а больше никто. Констебль сказал, ему бы дознаться, кто меня первый стукнул, он бы его засадил. Все утро меня сегодня допрашивал: ведь был же кто-то

первый; а я ему говорю: был, только самый-то первый был я. Неудачный выдался вечер для правды, Том. Такой вечер, что хуже некуда.

— Так ты все-таки хочешь браться за стряпню?

— А что? — сказал Эдди.— Мы как раз получили мясо для бифштексов. Мясо что надо, настоящая вырезка. Посмотреть — залюбуешься. На гарнир думаю сделать картофельное пюре с подливкой и бобы лима. Еще можно приготовить салат из латука со свежими грейпфрутами. Потом ребята любят пироги, а у нас как раз есть консервированная малина с ежевикой — мировая начинка для пирога. И мороженое мы тоже получили, можно положить сверху. Ну, как по-вашему? Очень уж мне хочется подкормить этого пащенка Дэвида.

— Ты что собирался делать, когда прыгал в воду с багром?

— Я думал, всажу ей багор под самый плавник — она бы дернула, натянула веревку, и сразу бы ей конец. А я бы тем временем во всю мочь от нее и обратно на катер.

— Как она выглядела под водой?

— Она была широкая, как гребная лодка, Том. И вся лиловая, а глаз черный и величиной с вашу ладонь. Брюхо у нее отливало серебром, а меч был такой, что даже смотреть страшно. Она шла вглубь даже не очень быстро, но я бы не мог ее догнать, потому что древко у багра слишком легкое и все время всплывало на поверхность. Оно не давало мне нырнуть глубоко. Ничего бы не вышло.

— А она тебя видела?

— Черт ее знает. Вид у нее был такой, будто ей все ни к чему.

— По-твоему, она уже вымоталась?

— По-моему, она дошла. По-моему, она бы уже не стала бороться.

— Больше нам такой не видать.

— Да уж. Такая раз в жизни попадается. Я теперь и рассказывать про нее никому не стану, все равно не верят.

— Я хочу написать картину об этой рыбе, Дэвиду на память.

— Только напишите, чтоб было похоже. Не пишите по-чудному, как вы иногда любите.

— Я все напишу точней, чем на фотографии.

— Вот и хорошо. Такие ваши картины мне нравятся.

— Очень трудно будет писать то, что под водой.

— Картина выйдет вроде той, которая у Бобби, со смерчами?

— Нет. Совсем другая, и, я надеюсь, лучше. Я сегодня же сделаю несколько этюдов к ней.

— А мне нравится та, что со смерчами,— сказал Эдди.— Бобби просто помешался на ней, и вот ему почему-то верят, когда он рассказывает, будто сам видел столько смерчей сразу, сколько там нарисовано. Но эту, с рыбой в воде, пожалуй, потрудней будет написать.

— Думаю, что как-нибудь справлюсь,— сказал Томас Хадсон.

— А не могли бы вы написать, как она выпрыгнула из воды?

— Думаю, что мог бы.

— Так напишите для мальчика две картины, Том. Одну, как рыба выпрыгивает из воды, а другую, как Роджер выводит ее на поводке, а Дэв сидит в кресле с удилищем, и я тоже тут, стою рядом. Потом можно будет сфотографировать их.

— Сегодня же начну работать над этюдами.

— Если захотите что-нибудь у меня спросить, я буду на кухне. Ребята не просыпались еще?

— Нет, спят все трое.

— А, черт,— сказал Эдди.— Мне что-то на все стало наплевать после этой рыбы. Но надо же им приготовить еду повкуснее.

— Жаль, нет пиявок — приставить бы тебе к глазу.

— А, черт, плевать мне на этот глаз. Видеть я им вижу, чего еще надо?

— Я не стану будить ребят, пусть спят, сколько хочется.

— Ладно. Джо мне скажет, когда они проснутся, и я покормлю их завтраком. Только если они очень поздно встанут, дам им что-нибудь легкое, чтобы не перебить аппетит перед ленчем. Видали вы то мясо, что вчера доставили?

— Нет.

— Черт, цена, конечно, немалая, Том, но мясо роскошное. Тут на острове этакого мяса никто за всю жизнь и не пробовал. Хотел бы я знать, как выглядит та скотинка, что дает такое мясо.

— Коротконогая, так что брюхо чуть не по земле тащится,— сказал Томас Хадсон.— И притом поперек себя шире.

— Вот это да,— сказал Эдди.— Хоть бы раз увидать такую живьем. Здесь у нас если прирежут корову, так только когда она все равно вот-вот околеет с голоду. И мясо горькое-прегорькое. Наши местные обалдели бы, если б им показать такой кусок говядины, как у меня лежит на кухне. Они бы даже не поняли, что это такое. Заболели бы от одного вида.

— Мне бы надо успеть дописать письма,— сказал Томас Хадсон.

— Виноват, Том, ухожу.

Покончив со своей корреспонденцией, ответив даже на два деловых письма, отложенных было до следующей почты, проверив список, составленный Эдди, и выписав чек на всю стоимость заказа плюс те десять процентов, которыми английское правительство облагало всякий импорт с материка, Томас Хадсон пошел на пристань, где рейсовое судно уже готовилось в обратный путь. Капитан принимал от жителей заказы на продукты, лекарства, мануфактуру и галантерею, запасные части, металлические изделия и разные другие товары, которые доставлялись на остров с материка. В трюм судна загружали живых лангустов и другую морскую живность, палуба уже была уставлена корзинами ракушек и порожними баками из-под бензина и смазочного масла, а к капитанской каюте тянулась длинная очередь, терпеливо дожидавшаяся на ветру.

— Как там, все в порядке, Том? — крикнул из окна каюты капитан Ральф Томасу Хадсону.— А ты куда лезешь без очереди? — одернул он высокого негра в соломенной шляпе, сунувшегося было в каюту.— Кое-что, к сожалению, пришлось заменить. Мясо хорошее?

— Эдди говорит, великолепное.

— Очень рад. Ну, давайте сюда письма и заказ. Ветер все крепчает. Хочу пройти над большой банкой до того, как начнется отлив. Вот и приходится спешить, вы уж извините.

— Увидимся на той неделе, Ральф. Не теряйте из-за меня времени. Большое вам спасибо, дружище.

— Постараюсь на той неделе привезти все точно по списку. Том, вам, может быть, деньги нужны?

— Нет, у меня еще есть с прошлого раза.

— А то, если нужно, у меня наличности много. Ну, ладно. Чья теперь очередь. Твоя, Люшиэс? Говори, на что желаешь потратиться в этот раз.

Томас Хадсон прошел через всю пристань, где негры веселились, глядя, что вытворяет ветер с легкими ситцевыми платьями женщин и девушек, и зашагал по коралловой дороге к «Понсе-де-Леон».

— А, Том,— встретил его мистер Бобби.— Входите, присаживайтесь. Где это вы пропадали? Мы только что кончили уборку, и заведение уже открыто. Давайте, давайте — когда еще так пьется, как с утра.

— Не рано ли?

— Вздор. Есть хорошее импортное пиво. И эль «Песья голова» тоже есть.— Он сунул руку в ящик со льдом, достал бутылку пльзенского, откупорил и подал Томасу Хадсону.— Стакан вам, надеюсь, не требует-

ся? Заправьтесь этим для начала, а потом уж решайте, будете пить что-нибудь настоящее или нет.

— У меня рабочий день пропадет.

— Ну и черт с ним. Вы и так слишком много работаете. Надо подумать о себе, Том. Жизнь вам отпущена одна-единственная. Нельзя же только и делать, что рисовать.

— Вчера мы выходили в море, и я совем не работал.

Томас Хадсон смотрел на большой холст с тремя смерчами, висевший на стене в глубине бара. Хорошо написано, подумал Томас Хадсон. В меру всей его сегодняшней силы написано, подумал он.

— Мне ее пришлось перевесить повыше,— сказал Бобби.— Вчера тут один клиент до того разошелся, что попробовал влезть в лодку. Я ему сказал, что если он прорвет ногой полотно, это ему обойдется в десять тысяч долларов. И констебль меня поддержал. Констебль хочет вас просить, чтобы вы и ему написали картину, он ее повесит у себя дома. У него есть одна идея.

— Что же это за идея?

— Констебль не хотел говорить. Сказал только, что есть очень любопытная идея, и он хочет обсудить ее с вами.

Томас Хадсон подошел ближе и всмотрелся в картину. Кое-где поверхность была чем-то повреждена.

— Добротная вещь, прах ее возьми,— с гордостью сказал Бобби.— На днях тут один клиент вздумал запустить кружкой пива в крайний смерч — сбить его захотел. Так даже вмятинки не осталось. И места этого не найдешь. Пиво стекло себе, как водичка, и все. Да, Том, сработали вы ее на совесть, эту картину.

— Но все же так ее ненадолго хватит.

— Пока что ей, прах ее возьми, все нипочем,— сказал Бобби.— Но я и сам думаю перевесить ее еще повыше. Этот вчерашний меня немного напугал.

Он протянул Томасу Хадсону еще бутылку пльзенского со льда.

— Том, я вам хочу сказать, до чего я огорчен, что так получилось с рыбой. Я ведь Эдди с мальчишеских лет знаю и знаю, что он никогда не врет. Ну, по крайней мере, в серьезных делах не врет. По крайней мере, если попросишь его говорить правду.

— Да, скверно получилось. Мне даже не хочется никому рассказывать об этом.

— И не надо,— сказал Бобби.— Я просто хотел, чтобы вы знали, до чего я огорчен. Ну, допивайте пиво, и я вам приготовлю чего-нибудь посущественней. Это не дело — начинать день в унынии. Что вы предпочитаете, чтобы взбодриться?

— Я и так бодр,— сказал Томас Хадсон.— Я сегодня собираюсь работать, а выпивка всегда отнимает у меня нужную легкость.

— Ладно, раз уж мне вас не уговорить, подожду, может, набежит кто-нибудь посговорчивей. Гляньте-ка на эту яхту, Том. Ох, и потрепало ее, наверно, в проливе: очень уж осадка мелкая.

Томас Хадсон глянул в распахнутую дверь и увидел входившее в гавань красивое белое судно типа плавучего дома. Эти суда обычно фрахтуют в Майами или другом ближнем порту для поездок вдоль флоридских островов, а в такой день, как вчера, безветренный и тихий, оно благополучно могло пересечь и Гольфстрим. Но сегодня ему, с его мелкой осадкой и громоздкими палубными надстройками, должно быть, пришлось нелегко. Удивительно было, как оно вообще сумело пройти над большой банкой в такую волну.

Яхта дошла до середины гавани и стала на якорь. Томас Хадсон и Бобби смотрели на нее с порога. Она была вся белая и блестящая, и на палубе толпились люди, тоже все в белом.

— Клиенты,— сказал Бобби.— Надеюсь, приличная публика. К нам

ни одна такая большая яхта не заходила с тех пор, как окончился лов тунца.

— Откуда она?

— Я ее первый раз вижу. Хороша, ничего не скажешь. Но только не для пролива строена.

— Вероятно, она вышла около полуночи, еще в штиль, а ветер застиг ее где-нибудь на полдороге.

— Скорей всего так,— сказал Бобби.— Досталось ей, верно,— и покачало и побросало. Ветер прямо-таки шквальный. Ну, скоро мы узнаем, кого она нам привезла. Том, голубчик, дайте я вам приготовлю чего-нибудь. Просто не могу видеть, как вы сидите и не пьете.

— Ладно. Стакан джину с тоником,— сказал Томас Хадсон.

— Тоника не осталось. Джо вчера последний ящик забрал к вам домой.

— Ну, тогда виски с лимоном.

— Ирландского виски с лимоном и без сахара,— сказал Бобби.— Готовлю три. Вон Роджер идет.

Томас Хадсон оглянулся и увидел его.

Роджер вошел в бар. Он был босиком, в линялых бумажных штанах и полосатой тельняшке, севшей от частой стирки. Когда он облокотился о стойку, мышцы на спине выпукло обозначились под натянувшейся тканью. В темноватом помещении бара кожа его казалась совсем коричневой, а волосы были пегие от солнца и морской соли.

— Ребята все еще спят,— сказал он Томасу Хадсону.— Кто-то избил Эдди. Ты видел?

— Он вчера до поздней ночи дрался то с одним, то с другим, то с третьим,— сказал ему Бобби.— Но в общем, так, ничего серьезного.

— Не люблю, когда с Эдди что-нибудь случается,— сказал Роджер.

— Да ничего страшного не случилось, Роджер,— заверил его Бобби.— Ну, пил, ну, лез в драку, если кто не верил его рассказам. Повредить ему ничего не повредили.

— Я все никак не могу успокоиться из-за Дэвида,— сказал Роджер Томасу Хадсону.— Не должны мы были до этого допускать.

— По-моему, он уже оправился,— сказал Томас Хадсон.— Во всяком случае, спит с вечера крепким сном. А если кто и виноват, так не ты, а я. Мое дело было вовремя прекратить это.

— Нет. Ты положился на меня.

— Я отец, я и виноват,— сказал Томас Хадсон.— Я не имел права перекладывать на тебя свою ответственность. Есть вещи, которые передоверять нельзя.

— Но я эту ответственность принял,— сказал Роджер.— Я не думал, что он пострадает. И Эдди так не думал.

— Знаю,— сказал Томас Хадсон.— Я и сам не думал. Мне казалось, что тут важно другое.

— И мне так казалось,— сказал Роджер.— А теперь я себя чувствую эгоистом и скотиной.

— Я отец,— сказал Томас Хадсон.— Вся вина на мне.

— Свинство, конечно, получилось с этой рыбой,— сказал Бобби, подвинув к ним два стакана, а третий оставив себе.— Ну, давайте выпьем за то, чтобы в следующий раз попалась еще побольше.

— Нет,— сказал Роджер.— Еще побольше я даже видеть не хочу.

— Что с вами такое, Роджер? — спросил Бобби.

— Ничего.

— А я решил написать эту рыбу, Дэвиду на память,— сказал Томас Хадсон.

— Вот это здорово. Думаете, выйдет?

— Постараюсь, чтобы вышло. Она у меня перед глазами, и мне кажется, я сумею с ней справиться.

— Конечно, сумеете. Вы все сумеете. А любопытно, что за публика там на яхте.

— Слушай, Роджер, это ты, значит, прогуливал свою совесть по всему острову?

— И босиком,— сказал Роджер.

— А я вот свою принес сюда, с заходом на пристань к капитану Ральфу.

— Мне свою не удалось разгулять, а размачивать я и пытаться не буду,— сказал Роджер.— Хотя эта штука очень вкусная, Бобби.

— То-то,— сказал Бобби.— Сейчас приготовлю вам еще порцию. Лучшее средство против угрызений совести.

— Я не смел рисковать, когда это касалось ребенка,— сказал Роджер.— Да еще чужого ребенка.

— Вопрос в том, ради чего ты рисковал.

— Это не меняет дела. С детьми рисковать нельзя.

— Верно. Я, однако, знаю, ради чего я рисковал. Не ради рыбы, как ты понимаешь.

— Понимаю,— сказал Роджер.— Но именно с ним не нужно было этого делать. С ним даже допускать ничего подобного нельзя было.

— Проспится, и все будет в порядке. Увидишь. Он очень душевно стойкий мальчик.

— Он мой герой,— сказал Роджер.

— Это, во всяком случае, лучше, чем когда ты сам был своим героем.

— Еще бы не лучше,— сказал Роджер.— Он ведь и твой герой тоже.

— Не спорю,— сказал Томас Хадсон.— Его на нас обоих хватит.

— Роджер,— сказал мистер Бобби.— Вы с Томом ни в каком не в родстве?

— А что?

— Да так, мне подумалось. Очень у вас много общего.

— Благодарю,— сказал Томас Хадсон.— А ты за себя сам поблагодаришь, Роджер?

— Благодарю от всей души, Бобби,— сказал Роджер.— Неужели, по-вашему, я похож на эту помесь художника с человеком?

— Вы похожи, как четвероюродные братья, а ребята похожи на вас обоих.

— Нет, мы не родня,— сказал Томас Хадсон.— Просто мы жили в одном и том же городе и часто делали одни и те же ошибки.

— Ну и пес с ним,— сказал мистер Бобби.— Пейте и оставьте свою совесть в покое. Нашли о чем говорить в баре ранним утром. Кто только мне не жалуется на угрызения совести — и негры, и матросы с грузовых барж, и яхтенные коки, и миллионеры, и жены миллионеров, и контрабандисты, и бакалейщики, и одноглазые ловцы черепах, и просто всякая сволочь. Не будем хоть начинать с этого день. В такую погодку пить надо, а не о совести разговаривать. Да и вообще эти разговоры устарели. С тех пор как появилось радио, все только и делают, что слушают Би-би-си. А для совести уже нет ни времени, ни места.

— И вы тоже слушаете, Бобби?

— Только Большого Бена. От остального меня тоска берет.

— Бобби,— сказал Роджер.— У вас хорошая голова и доброе сердце.

— Ошибаетесь насчет и того и другого. Но я рад, что вы хоть немножко повеселели.

— Это точно,— сказал Роджер.— Как вы думаете, кого нам привезла эта яхта?

— Клиентов,— сказал Бобби.— Выпьем-ка еще по стаканчику, чтобы я был готов обслужить их как следует, кто бы они ни были.

Пока Бобби выжимал из лимонов сок и готовил коктейли, Роджер сказал Томасу Хадсону:

— Я не хотел пороть чушь насчет Дэви.

— Ты этого и не делал.

— Я хотел сказать вот что. А, черт, как бы это выразить попроще! Ты не зря съязвил насчет того, что я сам был своим героем.

— Я никакого права не имею язвить.

— Со мной имеешь. Вся беда в том, что в этой проклятой жизни так давно уже ничего не получается просто, а ведь я все время стараюсь, чтобы получалось.

— Ты будешь писать правдиво, просто и хорошо. Пусть это будет началом.

— А если я сам неправдив, непрост и нехорош? Смогу я так писать?

— Пиши так, как сможешь, только чтоб было правдиво.

— Я многое должен научиться лучше понимать, Том.

— Ты и учишься. Вспомни: наша последняя встреча до нынешнего твоего приезда произошла в Нью-Йорке, и ты тогда был с этой стервой— гасительницей окурков.

— Она покончила с собой.

— Когда?

— Когда я был в горах. Еще до того, как я переехал на побережье и стал писать ту картину.

— Прости, я не знал,— сказал Томас Хадсон.

— Рано или поздно это должно было случиться,—сказал Роджер.— Счастье мое, что я вовремя с нею расстался.

— Ты бы этого никогда не сделал.

— Не уверен,— сказал Роджер.— Мне такой выход представлялся довольно логичным.

— Ты бы этого не сделал хотя бы потому, что это был бы страшный пример для мальчиков. Что почувствовал бы Дэви?

— Дэви бы понял, мне кажется. И потом, знаешь, тут уж когда доходит до дела, не думаешь о том, как бы ни послужить для кого-то дурным примером.

— Вот теперь ты действительно порешь чушь.

Бобби подвинул им наполненные стаканы.

— Роджер, такими разговорами вы даже меня вгоните в тоску. Я всякое привык слушать, мне за это деньги платят. Но от своих друзей я такого слушать не желаю. Так что перестаньте, Роджер.

— Уже перестал.

— Вот и хорошо,— сказал Бобби.— Пейте. Был тут как-то один приезжий из Нью-Йорка, он жил в гостинице, но почти весь день околачивался здесь, у меня. Так он только про то и говорил, как он собирается покончить с собой. Ползимы всем тут настроение портил. Констебль предупреждал его, что самоубийство противозаконно. Я просил констебля, пусть скажет ему, что разговоры о самоубийстве тоже противозаконны. Но констебль сказал, что для этого он должен раньше съездить в Нассау и получить инструкции. Ну, мало-помалу люди попривыкли к этому типу, а потом у него даже нашлись единомышленники. Однажды он тут завел разговор с Дылдой Гарри: так и так, мол, думаю кончать жизнь самоубийством и хорошо бы найти кого-нибудь для компании.

«Считайте, что уже нашли,— говорит ему Гарри.— Я — тот, кто вам нужен». И вот Дылда Гарри начинает его подговаривать, чтобы им вместе поехать в Нью-Йорк и там нахлестаться до полного ко всему омерзения, а потом влезть на самую высокую городскую крышу и с нее сигануть прямо в небытие. Должно быть, Дылда Гарри считал, что небытие— это что-то вроде пригорода. По преимуществу населенного ирландцами.

Приезжему этот план очень понравился, и они его обсуждали изо дня в день. Кое-кто еще пытался примазаться, было даже предложение организовать общество самоубийц и для упрощения дела ограничиться экскурсией в Нассау. Но Дылда Гарри твердо стоял на Нью-Йорке, и в один прекрасный вечер он, наконец, объявил приезжему, что жизнь ему окончательно опостылела и можно ехать.

Тут как раз Дылда Гарри получил от капитана Ральфа заказ на партию лангустов, и несколько дней он сюда не приходил, а приезжий эти дни пил уже вовсе без просыпу. У него было с собой какое-то снадобье вроде нашатыря, вот он его хлебнет, протрезвится немного — и опять сначала. Но несмотря на снадобье, алкоголь в нем все накапливался и накапливался.

Его к тому времени все привыкли запросто звать Самоубийцей, и вот я ему как-то говорю: «Послушайте, Самоубийца, вы бы хоть сделали передышку, а то ведь и до небытия не дотянете».

«А я уже — все,— говорит.— Я уже en route[1]. Я уже отправляюсь в дорогу. Получите с меня за выпитое. Роковой выбор сделан».

Я ему даю сдачу, а он отмахивается. «Сдачи,— говорит,— не надо. Оставьте эти деньги для Гарри, пусть выпьет на них перед тем, как последовать за мной».

А сам выскочил из бара, да прямиком на причал Джонни Блейка, да бултых в воду, а ночь была темная, безлунная, и так его больше никто и не видал, пока через два дня труп не прибило к берегу на самой оконечности мыса. А ведь тогда всю ночь никто не ложился, искали, где только могли. Я так думаю, он расшиб себе голову о какую-нибудь бетонную штуковину под водой, и течение унесло его в море. Дылда Гарри вернулся на следующий день и оплакивал его, пока не пропил всю сдачу. Сдача-то была с двадцатидолларовой бумажки. А потом говорит мне: «Знаешь, Бобби, он, наверно, был псих, Самоубийца-то». И угадал — родственники потом прислали человека за телом, так этот человек говорил комиссару, что Самоубийца страдал какой-то механикально-депульсивной болезнью. У вас такой болезни не было никогда, Роджер?

— Нет,— сказал Роджер.— И теперь уже, надеюсь, не будет.

— Вот и хорошо,— сказал Бобби.— С небытием шутить шутки не надо.

— К матери небытие,— сказал Роджер.

XI

Ленч удался на славу. Бифштексы были подрумяненные, в полосках от рашпера, на котором они жарились. Нож легко входил сквозь корочку, а внутри мясо было нежное и сочное. Они подбирали подливку ложками, сливали ее на картофельное пюре, и на желтоватой белизне картофеля образовывались темные озерки. Бобы лима в масле были целенькие, листья латука — упругие, прохладные, а грейпфрут — холодный.

От ветра у всех разыгрался аппетит, и Эдди поднялся к ним наверх и стал смотреть, как они едят. Лицо у него было страшное. Он сказал:

— Ну как вам мясо-то, ничего?

— Мясо замечательное,— сказал Том-младший.

— Жуйте как следует,— сказал Эдди.— Глотать наспех — только добро переводить.

— Его и жевать не надо, просто во рту тает,— сказал Том-младший.

— А на сладкое будет что-нибудь? — спросил Дэвид.

— А как же? Пирог и мороженое.

---

[1] В пути *(франц.)*.

— Ух ты! — сказал Эндрю.— А две порции можно?

— Смотри, с таким грузом, пожалуй, на дно пойдешь. Мороженое твердое, как камень.

— А с чем пирог?

— Ягодный.

— А мороженое какое?

— Кокосовое.

— Откуда оно у нас?

— Привезли на рейсовом судне.

Они запивали еду холодным чаем, а Роджер и Томас Хадсон после сладкого попросили себе кофе.

— Эдди замечательный повар,— сказал Роджер.

— Это у нас аппетит разыгрался.

— Такой бифштекс? Такой салат? Такой пирог? Нет, тут дело не только в аппетите.

— Повар он превосходный,— согласился с ним Томас Хадсон.— А как тебе кофе?

— Кофе отличный.

— Папа,— сказал Том-младший.— Если приезжие с яхты будут вечером у мистера Бобби, можно мы пойдем туда и разыграем, будто Энди пьяница?

— Мистеру Бобби это, пожалуй, не понравится. У него могут быть неприятности с констеблем.

— А я схожу туда заранее и все ему объясню и поговорю с констеблем. Он с нами дружит.

— Что ж, ладно. Объясни все мистеру Бобби и смотри не прозевай ту публику. А как же быть с Дэви?

— Может, на руках его донесем? Это будет даже очень кстати.

— Я надену туфли Тома и сам дойду,— сказал Дэвид.— Томми, а ты уже придумал, что делать?

— По дороге решим,— сказал Том-младший.— Веки выворачивать ты еще не разучился?

— Нет, что ты! — сказал Дэвид.

— Только сейчас, пожалуйста, не выворачивай,— сказал Энди.— А то меня стошнит, весь ленч сразу отдам.

— Вот захочу, наездник, и тебя вырвет.

— Нет, только не сейчас. Попозже, пожалуйста.

— Может, мне с тобой пойти? — спросил Роджер Тома-младшего.

— Чудесно, мистер Девис,— сказал Том-младший.— Мы вместе что-нибудь придумаем.

— Тогда пошли,— сказал Роджер.— Дэви, ты бы соснул немножко.

— Можно,— сказал Дэвид.— Я почитаю-почитаю и засну. А ты, папа, что будешь делать?

— Я буду работать на верхней веранде.

— Тогда я лягу там на диване и буду смотреть, как ты работаешь. Тебе это не помешает?

— Нет. Наоборот.

— Мы скоро вернемся,— сказал Роджер.— А ты, Энди, пойдешь с нами?

— Мне не мешало бы поупражняться. Но, пожалуй, не стоит: а вдруг эти приезжие уже там.

— Сообразил, наездник,— сказал Том-младший.— Ты малый сообразительный.

Они ушли, а Томас Хадсон сел за мольберт. Некоторое время Энди смотрел, как он работает, но потом убежал куда-то, а Дэвид то смотрел, то принимался читать и не заговаривал с ним.

Томасу Хадсону хотелось начать с прыжка рыбы, потому что писать

ее в воде будет гораздо труднее, и он сделал два этюда и обоими остался недоволен, а потом написал третий, который ему понравился.

— Посмотри, Дэви, похоже?

— Ой, папа, замечательно! Но когда рыба выпрыгивает из воды, ведь она поднимает целый фонтан, правда? А не только, когда она падает обратно в море.

— Да, пожалуй,— согласился с ним отец.— Ей приходится пробивать поверхность.

— Помнишь, как она взметнулась — такая длинная-длинная. С ней должно подняться много воды. Если уловишь это взглядом, вода с нее, наверно, так и струится, так и хлещет. А у тебя она идет вверх или вниз?

— Это ведь только этюды. Я хотел изобразить ее на самом взлете.

— Я знаю, что это только этюды. Ты уж меня извини, папа, что я вмешиваюсь. Я не хочу строить из себя знатока.

— Нет, мне интересно тебя послушать.

— А вот кто, наверно, все знает, так это Эдди. Он каждую мелочь схватывает быстрее, чем фотоаппарат, и все запоминает. Правда, Эдди замечательный человек?

— Да, конечно.

— О нем ведь никто ничего не знает. Кроме Томми, пожалуй. Эдди мне больше всех нравится — после тебя и мистера Дэвиса. Стряпает он и то с душой, и столько всего знает, и все умеет. Помнишь, как он подстрелил акулу и как бросился в море за той рыбой?

— А вчера вечером Эдди избили, потому что не поверили ему.

— Но, папа, с него как с гуся вода.

— Да. Он веселый, всем довольный.

— Даже сегодня веселый после того, как ему так досталось. И по-моему, он рад, что ему пришлось прыгнуть в море за той рыбой.

— Конечно.

— Хорошо бы мистер Дэвис тоже был такой веселый, как Эдди.

— Мистер Дэвис человек более сложный.

— Да, но я помню, когда он был веселый и беспечный. Я очень хорошо знаю мистера Дэвиса, папа.

— Сейчас он ничего, веселый. Хотя от его беспечности уже и следа не осталось.

— Про беспечность — про хорошую беспечность, я не в укор ему.

— Я тоже. Но он потерял уверенность в себе.

— Да,— сказал Дэвид.

— Хорошо бы он опять ее обрел. Может, еще и обретет, когда снова начнет писать. Знаешь, почему Эдди веселый? Потому что он делает свое дело хорошо и делает его изо дня в день.

— А мистер Дэвис, наверно, не может заниматься своим делом изо дня в день, как ты и Эдди.

— Да. И многое другое ему мешает.

— Знаю, знаю. Для мальчишки я слишком много всего знаю, папа. Томми знает в двадцать раз больше, он всякие ужасные вещи знает, и его это не ранит. А меня все ранит. Почему, сам не понимаю.

— Потому, что ты все это глубоко чувствуешь?

— Да, чувствую, и со мной что-то делается. Я будто отвечаю за чужие грехи. Если так может быть.

— Да, понимаю.

— Папа, ты извини меня за такие серьезные разговоры. Я знаю, это невежливо с моей стороны. Но мне иногда хочется поговорить, потому что мы много чего не знаем, а когда вдруг узнаем что-нибудь, это так на нас накатывает, ну будто волной обдает. Вот такой волной, какие сегодня ходят на море.

— Дэви, ты всегда можешь меня спрашивать о чем угодно.

— Да, знаю. Большое тебе спасибо за это. О некоторых вещах я спрашивать, пожалуй, подожду. Кое-что, наверно, надо самому, на собственной шкуре испытать.

— А может, в этом розыгрыше у мистера Бобби тебе лучше не участвовать? Пусть только Том и Энди? Помнишь, какие у меня были неприятности с человеком, который говорил, что ты всегда пьяный?

— Помню. За три года он видел меня пьяным целых два раза. Но что о нем говорить! Если я когда-нибудь действительно напьюсь, тогда это представление у мистера Бобби будет мне оправданием. Что два раза пьяный, что три — это ведь все равно. Нет, папа, мне обязательно надо участвовать.

— А последнее время вы разыгрывали эти сценки?

— Да. И у нас с Томом здорово получалось. Но с Энди еще лучше. Энди у нас просто талант. Он такие штуки откалывает. А у меня свой номер.

— Что же вы такое делали? — Томас Хадсон продолжал работать.

— Ты не видел, как я изображаю братца-идиотика? Монголоида?

— Нет, не видел. Ну, а посмотри теперь, Дэви.— Томас Хадсон отодвинулся в сторону.

— Чудесно,— сказал Дэвид.— Теперь я вижу, чего ты добивался. Когда рыба повисает в воздухе, прежде чем упасть обратно в море. Папа, а картину ты, правда, мне подаришь?

— Да.

— Я буду ее беречь.

— Их будет две.

— Тогда одну я возьму в школу, а вторая пусть висит дома у мамы. Или ты хочешь оставить ее у себя?

— Нет. Может, маме она понравится. Расскажи, что вы там еще проделывали,— попросил Томас Хадсон.

— В поездах мы вытворяли бог знает что. Вот уж где лучше всего выходит, так это в поездах. Там самая подходящая публика. Такой, пожалуй, больше нигде не встретишь. Сидят, глазеют и деваться им некуда.

Томас Хадсон услышал голос Роджера в соседней комнате и стал мыть кисти и прибирать свое хозяйство.

Вошел Том-младший и сказал:

— Ну, папа, как дела? Хорошо поработалось? Можно я посмотрю?

Томас Хадсон показал ему и первый и второй этюды, он сказал:

— Мне оба нравятся.

— А какой больше? — спросил его Дэвид.

— Оба хороши,— ответил он. Томас Хадсон почувствовал, что Том-младший торопится и что голова у него занята чем-то другим.

— Ну, как там у вас, получилось? — спросил его Дэвид.

— Колоссально,— сказал Том-младший.— Если мы не подведем, то получится замечательно. Там вся компания с яхты, и мы их здорово разыграли. С мистером Бобби и с констеблем все обговорили до того, как те пришли. Спектакль был такой: мистер Дэвис пьян в стельку, а я его урезониваю.

— Ты не переигрывал?

— Да что ты! — сказал Том-младший.— Ты бы видел мистера Дэвиса. Он пьянел с каждым стаканом, но постепенно, едва заметно.

— А что он пил?

— Чай. Бобби влил чай в бутылку из-под рома. А для Энди заготовлена бутылка из-под джина, и в ней вода.

— Как же ты урезонивал мистера Дэвиса?

— Я будто умолял его не пить. Но так, чтобы меня не слышали. Мистер Бобби с нами заодно, только он пьет настоящее виски.

— Тогда надо поторопиться,— сказал Дэвид.— Пока мистер Бобби совсем не окосел. А как мистер Дэвис?

— Замечательно. Он артист, большой артист, Дэви.

— Где Энди?

— Внизу, репетирует перед зеркалом.

— А Эдди тоже будет в этом участвовать?

— И Эдди и Джозеф.

— Они не запомнят, что им надо говорить.

— У них всего одна реплика.

— Одну реплику Эдди еще, пожалуй, запомнит, а насчет Джозефа я сомневаюсь.

— Ему только повторить ее следом за Эдди.

— А констебль посвящен в дело?

— Конечно.

— А сколько там человек в этой компании?

— Семеро, из них две девушки. Одна миленькая, а другая просто прелесть. Она уже начала жалеть мистера Дэвиса.

— Ух ты! — сказал Дэвид.— Пошли скорее.

— Как же ты туда дойдешь? — спросил Дэвида Том-младший.

— Я его донесу,— сказал Томас Хадсон.

— Папа, позволь мне в тапочках,— сказал Дэвид.— Я надену тапочки Тома. Буду шагать на наружной стороне ступни. Это совсем не больно, и произведет впечатление.

— Ну, ладно. Тогда пойдемте. Где Роджер?

— Они с Эдди перехватили на скорую руку. Пьют за его сценические таланты,— сказал Том-младший.— Уж очень долго он на одном чае сидел, папа.

Ветер по-прежнему дул свирепо, когда они вошли в «Понсе-де-Леон». Люди с яхты сидели у стойки и пили ром. Вид у них был симпатичный — загорелые, все в белом. Держались они вежливо, сразу подвинулись, освобождая место у стойки. Двое мужчин и девушка сидели с одного ее конца, там, где был автомат, а трое и вторая девушка — с другого, ближе к двери. У автомата сидела та, про которую Том сказал «просто прелесть». Но другая была тоже очень недурна. Роджер, Томас Хадсон и мальчики подошли прямо к стойке. Дэвид даже старался не прихрамывать.

Мистер Бобби взглянул на Роджера и сказал:

— Опять вы тут?

Роджер кивнул с безнадежным видом, и Бобби поставил перед ним бутылку с «ромом» и стакан.

Роджер молча протянул за бутылкой руку.

— Опять пьете, Хадсон? — сказал Бобби Томасу Хадсону. Выражение лица у него было строгое, нравоучительное. Томас Хадсон кивнул.— Пора бы прекратить,— сказал Бобби.— Всему есть границы, прах вас побери.

— Мне только немножко рому, Бобби.

— Того, что он пьет?

— Нет. «Бакарди».

Мистер Бобби налил рому в стакан и подал его Томасу Хадсону.

— Вот, пейте,— сказал он.— Хотя отпускать вам не следовало бы.

Томас Хадсон выпил стакан залпом, и ром согрел, вдохновил его.

— Еще налейте,— сказал он.

— Через двадцать минут, Хадсон,— сказал Бобби. Он бросил взгляд на часы за стойкой.

Люди с яхты уже начали посматривать на них, но сдержанно, не нарушая приличий.

— А ты, малый, что будешь? — спросил Бобби Дэвида.

— Вы что, забыли, что я бросил пить? — грубо ответил ему Дэвид.

— С каких же это пор?

— Со вчерашнего вечера. Память, что ли, у вас отшибло?

— Ах, извините,— сказал мистер Бобби. И сам выпил.— Еще запоминай тут за каждым подонком. Я только об одном прошу: уведите этого Хадсона из моего заведения, у меня тут приличные клиенты сидят.

— Я пью тихо, не буяню,— сказал Томас Хадсон.

— Да уж, будьте любезны.— Мистер Бобби закупорил бутылку, стоявшую перед Роджером, и поставил ее обратно на полку.

Том-младший одобрительно кивнул ему и стал что-то шептать Роджеру. Роджер уронил голову на руки. Потом поднял ее и показал пальцем на бутылку. Том-младший замотал головой. Бобби взял бутылку, откупорил ее и поставил перед Роджером.

— Допивайтесь до чертиков,— сказал он.— Мне-то что, в конце концов.

Теперь те, что сидели по краям стойки, стали следить за ними повнимательнее, но по-прежнему сдержанно. Посещение злачных мест было у них в программе, но вели они себя сдержанно и вообще казались людьми симпатичными.

Тут впервые заговорил Роджер.

— Этому крысенку налейте,— сказал он Бобби.

— Что будешь пить, сынок? — спросил мистер Бобби у Эндрю.

— Джин,— сказал Энди.

Томас Хадсон старался не смотреть на соседей, но он чувствовал их реакцию.

Бобби поставил перед Энди бутылку и стакан. Энди налил стакан до краев и поднял его, глядя на Бобби.

— За ваше здоровье, мистер Бобби,— сказал он.— Первый раз за весь день пью.

— Пей, пей,— сказал Бобби.— Ты что-то поздно пришел сегодня.

— У него папа деньги отобрал,— сказал Дэвид.— Те, что мама подарила ему на день рождения.

Том-младший уставился в лицо Томасу Хадсону и заплакал. Он не пересаливал, не всхлипывал, но смотреть на него было тяжело. Все замолчали, а потом Энди сказал:

— Мистер Бобби, налейте мне еще, пожалуйста.

— Сам наливай,— сказал Бобби.— Горемычное ты дитя.— Потом повернулся к Томасу Хадсону.— Хадсон,— сказал он.— Вот вам еще стакан, и хватит, уходите.

— А я не буяню, зачем мне уходить? — сказал Томас Хадсон.

— Знаю я вас, недолго вы так продержитесь,— грозно сказал Бобби.

Роджер показал на бутылку, и Том-младший вцепился ему в рукав. Он сдерживал слезы, он был мужественный, хороший мальчик.

— Мистер Дэвис,— сказал он.— Не надо.

Роджер не вымолвил ни слова, и мистер Бобби опять поставил перед ним бутылку.

— Мистер Дэвис, вам же надо писать вечером,— сказал Том-младший.— Вы же обещали, что будете писать сегодня вечером.

— А как ты думаешь, почему я пью?— сказал ему Роджер.

— Но, мистер Дэвис, когда вы писали «Бурю», вы же обходились без выпивки.

— Помолчал бы ты лучше,— сказал ему Роджер.

Том-младший был страдалец — мужественный, исполненный терпения.

— Я помолчу, мистер Дэвис. Но вы же сами меня просили останавливать вас. Может, пойдем домой?

— Ты славный мальчик, Том,— сказал Роджер.— Но мы останемся здесь.

— До каких же пор, мистер Дэвис?

— До самого что ни на есть конца.

— Зачем, мистер Дэвис? — сказал Том.— Не надо. Право, не надо. Ведь когда у вас уже глаза не глядят, вы и писать не можете.

— Диктовать буду,— сказал Роджер.— Как Мильтон.

— Диктуете вы прекрасно, это я знаю,— сказал Том-младший.— Но сегодня утром мисс Фелпс стала вынимать страницы из машинки, а там все вперемежку с музыкой.

— Я пишу оперу,— сказал Роджер.

— Опера у вас получится замечательная, мистер Дэвис. Но вам не кажется, что сначала надо дописать роман? Ведь вы же получили под него большой аванс.

— Вот ты его и дописывай,— сказал Роджер.— Сюжет тебе известен.

— Сюжет я знаю, мистер Дэвис, сюжет у вас изумительный, но ведь там опять про ту самую девушку, которая умерла в предыдущей вашей книге, и читателей это может запутать.

— Дюма тоже так писал.

— Что ты к нему пристаешь,— сказал Томас Хадсон Тому-младшему.— Сможет он писать после твоих приставаний?

— Мистер Дэвис, подыщите себе хорошую, опытную секретаршу, пусть она за вас пишет. Я слышал, что многие писатели так делают.

— Нет. Не по карману.

— А меня, Роджер, не хочешь в помощники? — спросил Томас Хадсон.

— Хочу. Нарисуй мой роман.

— Вот здорово!— сказал Том-младший.— Папа, ты правда нарисуешь?

— За один день все сделаю,— сказал Томас Хадсон.

— И рисуй кверху ногами, как Микеланджело,— сказал Роджер.— Покрупнее нарисуй, чтобы король Георг мог без очков прочитать.

— Нарисуешь, папа?— спросил Дэвид.

— Да.

— Прекрасно,— сказал Дэвид.— Наконец-то я слышу толковые слова.

— А это не трудно, папа?

— Кой черт трудно! Может, слишком легко. А какая там девица?

— Та самая, про которую мистер Дэвис всегда пишет.

— За полдня ее нарисую,— сказал Томас Хадсон.

— И кверху ногами,— сказал Роджер.

— Нельзя ли без похабства? — сказал ему Томас Хадсон.

— Мистер Бобби, можно мне еще стопочку? — попросил Энди.

— А ты сколько уже выпил, сынок?

— Всего две.

— Тогда валяй,— сказал Бобби и дал ему бутылку.— Слушайте, Хадсон, когда вы заберете отсюда эту картину?

— Покупателей не нашлось?

— Нет,— сказал Бобби.— Она у меня тут все загромождает. И вообще действует мне на нервы. Забирайте ее отсюда.

— Простите,— обратился к Роджеру один из людей с яхты.— Это полотно продается?

— С вами-то кто разговаривает?— Роджер взглянул на него.

— Никто,— сказал человек с яхты.— Вы Роджер Дэвис?

— Он самый.

— Если эту картину написал ваш друг и она продается, я бы хотел

поговорить с ним о цене,— сказал человек с яхты, поворачиваясь к Томасу Хадсону.— Вы ведь Томас Хадсон?

— Вот именно.

— Ваша картина продается?

— К сожалению, нет,— сказал Томас Хадсон.

— Но бармен говорит...

— Он псих,— сказал Томас Хадсон.— Славный малый, но псих.

— Мистер Бобби, можно мне еще стопочку?— очень вежливо попросил Эндрю.

— Пожалуйста, крошка,— сказал Бобби и налил ему из бутылки.— Знаешь, что надо бы сделать? Надо бы нарисовать на этикетке твою здоровенькую, прелестную рожицу и налепить ее на бутылки с джином вместо этих идиотских пучков ягод. Хадсон, нарисовали бы вы этикетку для джина с прелестной мордочкой Энди.

— И тогда пустим в продажу новую марку,— сказал Роджер.— Есть джин «Старый Том», а у нас будет «Весельчак Энди».

— Финансирую предприятие,— сказал Бобби.— Джин можно гнать прямо здесь, на острове. Негритята будут разливать его по бутылкам и наклеивать этикетки. Продавать можно шепотом и в розницу.

— Возврат к художественным ремеслам,— сказал Роджер.— Как во времена Вильяма Морриса.

— А из чего мы будем его гнать, мистер Бобби?— спросил Эндрю.

— Из рыбы,— сказал Бобби.— А также из креветок.

Люди с яхты уже не смотрели ни на Роджера, ни на Томаса Хадсона, ни на мальчиков. Все их внимание устремилось теперь на Бобби, и вид у них был обеспокоенный.

— Так как же насчет полотна?— сказал все тот же человек.

— Какое полотно вы имеете в виду, уважаемый?— спросил его Бобби, опрокинув наскоро еще стакан виски.

— Вон то, большое, где три смерча и человек в лодке.

— Где?— спросил Бобби.

— Вон там,— сказал человек с яхты.

— Прошу прощения, сэр, но с вас, по-моему, хватит. Вы находитесь в приличном заведении. Здесь у нас не бывает ни смерчей, ни человеков в лодках.

— Я говорю вон о той картине.

— Не раздражайте меня, сэр. Никаких картин там нет. Будь здесь произведение живописи, оно висело бы над стойкой, там, где ему и полагается, и нарисована была бы на нем голая женщина в роскошной позе, вся как есть.

— Я говорю вон о той картине.

— *Какой* картине, *где?*

— Вон там.

— Я с удовольствием угощу вас сельтерской, сэр. Для протрезвления. И кликну вам рикшу,— сказал Бобби.

— Рикшу?

— Да. Если желаете знать правду. Вы сами рикша. Выпили, и хватит с вас.

— Мистер Бобби,— очень вежливо спросил Энди.— А с меня тоже хватит?

— Нет, дружок. Конечно, нет. Наливай себе сам.

— Спасибо, мистер Бобби,— сказал Энди.— Это уже четвертая.

— Да хоть бы и сотая,— сказал Бобби.— Ты же моя гордость.

— Пошли-ка отсюда, Хэл,— сказал тому, кто хотел купить картину, его приятель.

— Да мне хочется купить эту картину,— сказал первый.— Если цена будет подходящая.

— А мне хочется уйти отсюда,— стоял на своем второй.— Потеха потехой, но смотреть, как дети хлещут ром, это, пожалуй, уж слишком.

— Неужели вы даете этому маленькому мальчику джин?— спросила Бобби недурненькая блондинка — та, что сидела в конце стойки ближе к двери. Она была высокого роста, с очень светлыми волосами и симпатичными веснушками. Веснушки у нее были не как у рыжих, а как у блондинок, у которых кожа не обгорает, а покрывается ровным загаром.

— Да, мэм.

— По-моему, это мерзость,— сказала девушка.— Это отвратительно, это мерзко и преступно.

Роджер старался не смотреть на нее, а Томас Хадсон сидел, опустив глаза.

— А что ему, по-вашему, пить, мэм?— спросил Бобби.

— Ничего. Ему вообще пить незачем.

— Это, пожалуй, несправедливо,— сказал Бобби.

— Ах, несправедливо? Значит, отравлять ребенка алкоголем это справедливо?

— Слышишь, папа?— сказал Том-младший.— Я же говорил, что Энди не следует пить.

— Из трех братьев он один пьет, мэм,— поскольку вот этот малый пить бросил,— попытался убедить ее Бобби.— Значит, по-вашему, справедливо лишать единственного из трех столь невинного удовольствия?

— Справедливо?— сказала девушка.— Да вы чудовище. И вы чудовище,— сказала она Роджеру.— И вы тоже,— сказала она Томасу Хадсону.— Все вы мне омерзительны. Видеть вас не могу.

В глазах у нее стояли слезы, она повернулась спиной к мальчикам и к мистеру Бобби и сказала своим спутникам:

— Хоть бы вы вмешались.

— По-моему, это все в шутку,— сказал один из мужчин.— Вроде того грубияна официанта, которого нанимают, чтобы он дерзил гостям. Или как блатной язык.

— Нет, не в шутку. Этот мерзкий тип наливает ему джина. Это же отвратительно, это же трагедия.

— Мистер Бобби,— спросил Томас Хадсон,— а мне больше пяти не положено?

— Сегодня нет,— сказал Бобби.— Я не желаю, чтобы вы расстраивали даму своим поведением.

— Да уведите вы меня отсюда,— сказала девушка.— Не хочу я на это смотреть.— Она заплакала, и двое ее спутников вышли из бара вместе с ней, а Томасу Хадсону, Роджеру и мальчикам стало не по себе.

К ним подошла вторая девушка — та, что была по-настоящему прелестна. Очень красивое загорелое лицо, волосы рыжеватые. Она была в брюках, и Томас Хадсон сразу заметил, что сложение у нее замечательное, а шелковистые волосы колыхались в такт шагам. Ему показалось, что он уже где-то видел эту девушку.

— Ведь это не джин?— спросила она Роджера.

— Нет. Конечно, нет.

— Пойду успокою ее,— сказала девушка.— Она уж очень расстроилась.

И пошла к двери, и, выходя, улыбнулась им. Она была просто прелесть.

— Ну вот и все, папа,— сказал Энди.— Можно нам кока-колы?

— А мне пива. Если это не расстроит ту даму,— сказал Том-младший.

— Из-за пива она вряд ли расстроится,— сказал Томас Хадсон.— Разрешите угостить вас?— спросил он человека, который хотел купить картину.— Мы тут дурачились, вы уж нас простите.

— Что вы, что вы,— сказал тот.— Это было очень интересно. Мне все понравилось. Очень понравилось. Я всегда интересовался писателями и художниками. Ведь вы все это, наверно, на ходу сочиняли?

— Да,— сказал Томас Хадсон.

— Так вот насчет этой картины...

— Она собственность мистера Сондерса,— пояснил ему Томас Хадсон.— Я написал эту картину в подарок ему. Вряд ли он ее продаст. Впрочем, картина его, и он волен делать с ней все, что захочет.

— Хочу, чтобы она висела у меня,— сказал Бобби.— И не предлагайте за нее больших денег, потому что тогда я расстроюсь.

— А мне бы очень хотелось повесить у себя эту картину.

— И мне тоже,— сказал Бобби.— Вот она у меня и висит.

— Но, мистер Сондерс, такой ценной картине в баре не место.

Бобби начинал злиться.

— Отвяжитесь от меня,— сказал он.— Нам было весело. Мы тут так веселились! И вот, на-поди, женщина распустила нюни, и все пошло к черту. Я знаю, она рассуждает правильно. Но какого дьявола! Эти правильные рассуждения хоть кого из себя выведут. Моя старуха тоже рассуждает правильно и поступает правильно, а я из-за нее каждый день на стену лезу. А ну вас с вашими рассуждениями. Заявились сюда и сразу — вынь да положь вам эту картину!

— Но, мистер Сондерс, вы же сами потребовали, чтобы ее убрали отсюда. Значит, она продается?

— Это все чепуха,— сказал Бобби.— Это мы вас разыгрывали.

— Так картина *не* продается?

— Нет. Картина *не* продается, и *не* отдается, и *не* выдается.

— Ну что ж поделаешь. Но если она все-таки будет продаваться — тогда вот моя карточка.

— Прекрасно,— сказал Бобби.— Может, у Тома в мастерской есть что-нибудь на продажу. Есть, Том?

— Нет. Вряд ли,— ответил Томас Хадсон.

— Мне бы хотелось посмотреть ваши работы,— сказал человек с яхты.

— Я сейчас ничего не выставляю,— ответил ему Томас Хадсон.— Если хотите, могу дать вам адрес галереи в Нью-Йорке.

— Благодарю вас. Разрешите, я запишу.

Вечная ручка была при нем, и он записал адрес на обороте своей визитной карточки, а другую дал Томасу Хадсону. Потом поблагодарил Томаса Хадсона еще раз и предложил ему выпить.

— А вы не могли бы назвать мне примерную цену ваших больших полотен?

— Нет,— ответил ему Томас Хадсон.— Это вы справьтесь у моего агента.

— Я сразу же с ним повидаюсь, как только приеду в Нью-Йорк. Вот эта ваша картина чрезвычайно меня заинтересовала.

— Благодарю вас,— сказал Томас Хадсон.

— Значит, она не продается? Окончательно?

— О, господи!— сказал Бобби.— Перестаньте вы в самом деле. Картина моя. Том для меня ее написал, потому что я подал ему идею.

Человек, видно, решил, что «шуточки» опять пошли в ход, и улыбнулся понимающей улыбкой.

— Я не хочу приставать...

— А пристаете прямо с ножом к горлу,— сказал ему Бобби.— Ну, хватит. Пейте, я угощаю, а про картину забудьте.

Мальчики разговаривали с Роджером.

— Пока не прервали, у нас неплохо получалось. Правда, мистер Дэвис?— сказал Том-младший.— Я не слишком переигрывал?

— Все было замечательно,— сказал Роджер.— Вот только Дэви не пришлось выступить.

— А я готовился к роли страшилища,— сказал Дэвид.

— Ты бы ее на месте уложил,— сказал Том-младший.— Она и так расстроилась, а ты собирался еще скорчить страшную рожу.

— Я как раз вывернул веки и хотел вскочить в таком виде,— сказал им Дэвид.— Нагнулся, вывернул, а тут как раз все и кончилось.

— Жаль, что попалась такая добрая дама,— сказал Энди.— Я даже не успел показать, как на меня ром действует. Теперь уже все, больше наш номер здесь не повторить.

— Мистер Бобби-то что выделывал!— сказал Том-младший.— Мистер Бобби, вы были великолепны.

— Жаль, жаль, что пришлось прекратить,— сказал Бобби.— И констебль не успел прийти, и я только-только начал входить в роль. Теперь буду знать, что чувствуют знаменитые актеры на сцене.

Девушка появилась в дверях. На ветру фигуру ее облепило свитером, волосы отнесло назад. Она подошла к Роджеру.

— Ей не хочется сюда возвращаться. Но она ничего, успокоилась.

— Не выпьете ли с нами?— спросил ее Роджер.

— С удовольствием.

Роджер назвал ей всех их по именам, а она сказала, что ее зовут Одри Брюс.

— Можно мне прийти посмотреть ваши работы?

— Пожалуйста,— сказал Томас Хадсон.

— И я бы тоже пришел вместе с мисс Брюс,— сказал тот настырный человек.

— Вы что, ее отец?— спросил Роджер.

— Нет. Я ее старый друг.

— Вам нельзя,— сказал Роджер.— Дождитесь Дня Старых Друзей. Или предъявите приглашение от организационного комитета.

— Прошу вас, не надо грубить,— сказала Роджеру девушка.

— Увы, я, кажется, уже нагрубил.

— И больше не надо.

— Слушаюсь.

— Давайте по-хорошему.

— Ладно.

— Я оценила реплику Тома про ту девушку, которая встречается в каждой вашей книге.

— Правда оценили?— спросил ее Том-младший.— Я ведь просто поддразнивал мистера Дэвиса. На самом деле это неверно.

— А по-моему, верно — отчасти.

— Приходите к нам,— сказал ей Роджер.

— А моих друзей можно привести?

— Нет.

— Никого?

— А вы без них не можете?

— Могу.

— Вот и хорошо.

— В котором часу мне прийти?

— Когда хотите,— сказал Томас Хадсон.

— А к ленчу меня пригласят?

— Безусловно.

— Как здесь славно, на этом острове,— сказала она.— И как приятно, что все мы такие хорошие.

— Дэвид изобразит вам страшилище,— сказал ей Энди.— А то он не успел, потому что пришлось кончать.

— Боже мой!— сказала она.— Сколько нам всего предстоит!

— Вы надолго здесь?— спросил ее Том-младший.
— Не знаю.
— А яхта здесь надолго?— спросил Роджер.
— Не знаю.
— Что же вы знаете?— сказал Роджер.— Это я по-хорошему спрашиваю.
— Не очень много. А вы?
— По-моему, вы прелесть,— сказал Роджер.
— О-о!— сказала она.— Благодарю вас.
— Вы здесь еще побудете?
— Не знаю. Может быть.
— Пойдемте-ка лучше к нам, вместо того чтобы пить здесь,— сказал Роджер.
— Нет, давайте здесь выпьем,— сказала она.— Здесь так хорошо.

XII

Назавтра ветер улегся, и Роджер с мальчиками пошли купаться, а Томас Хадсон сидел на верхней веранде и писал. Эдди сказал, что соленая морская вода не страшна для израненных ног Дэвида, нужно только сразу же после купанья наложить свежие повязки. Работая, Томас Хадсон время от времени поглядывал на море и на пловцов. Он думал о том, выйдет у Роджера что-нибудь со вчерашней девушкой или нет, но эти мысли отвлекали его от работы, и он их отогнал. Трудней было отогнать другую мысль — о том, до чего эта девушка похожа на мать Тома-младшего, какой он ее впервые увидел. Впрочем, мало ли девушек умудрялись каким-то образом казаться ему похожими на нее, думал он, продолжая работать. Он был убежден, что еще встретится с этой девушкой, и даже будет встречаться часто. Это было ясно по всему. Ну что ж, она живописна, и она как будто славная девушка. А если она ему напоминает мать Томми, тем хуже. Но тут ничего не поделаешь. Бывало это с ним, не раз и не два,— бывало и проходило. Он продолжал работать.

Он уже знал, что картина будет удачная. Вот с другой, где рыба должна быть написана в воде, ему придется помучиться. Пожалуй, с нее надо было начать, подумал он. Но теперь же лучше довести эту до конца. А тою можно будет заняться после того, как они уедут.

— Давай я перенесу тебя, Дэви,— услышал он голос Роджера.— А то забьется песок, больно будет.

— Хорошо,— сказал Дэвид.— Только сперва я ополосну ноги в океане.

Роджер донес его до дому и усадил в кресло у самой двери, выходившей на берег. Когда они проходили под верхней верандой, Томас Хадсон услышал, как Дэвид спрашивал:

— Мистер Дэвис, вы думаете, она придет?
— Не знаю,— сказал Роджер.— Надеюсь, что придет.
— Правда, она красивая, мистер Дэвис?
— Очень.
— Мне кажется, мы ей понравились. Мистер Дэвис, а что она вообще делает, как вы думаете?
— Не знаю. Не спрашивал.
— Томми в нее влюблен. И Энди тоже.
— А ты?
— Не знаю. Я так легко не влюбляюсь, как они. Но мне бы хотелось увидеть ее опять. Мистер Дэвис, а она не шлюха, по-вашему?
— Не знаю. Непохоже. С чего это ты?

— Томми говорит, что влюблен в нее, но что она скорей всего просто шлюха. А Энди говорит, пусть, ему это не мешает.

— Непохоже,— еще раз повторил Роджер.

— Мистер Дэвис, а эти ее спутники, правда, они какие-то странные?

— Есть немножко.

— Интересно, что они вообще делают?

— А вот она придет, мы у нее и спросим.

— Вы думаете, она придет?

— Придет,— сказал Роджер.— Можешь не беспокоиться.

— Это Энди и Томми беспокоятся. А я влюблен не в нее. Вы знаете в кого. Я вам рассказывал.

— Помню. Она, между прочим, на нее похожа,— сказал Роджер.

— Может быть, она ее видела в кино и нарочно старается быть на нее похожей,— сказал Дэвид.

Томас Хадсон продолжал работать.

Роджер возился с ногами Дэвида, когда она показалась на пляже. Она была босиком, в купальном костюме и в юбке из той же материи, а в руке она несла пляжную сумку. Томасу Хадсону было приятно увидеть, что ноги у нее так же хороши, как лицо и как грудь, форму которой он вчера угадал под свитером. Плечи и руки были чудесные, и вся она была коричневая от загара. Никакой косметики на ней не было, только губы подкрашены: они были чудесного рисунка, и ему захотелось увидеть их без помады.

— Вот и я,— сказала она.— Не опоздала?

— Нет,— ответил ей Роджер.— Мы уже выкупались, но я пойду еще.

Роджер выдвинул кресло на самый пляж, и когда девушка наклонилась над Дэвидом, ее волосы перевесились вперед, открыв на затылке тугие, короткие завиточки, которые Томасу Хадсону хорошо видны были сверху. Они серебрились от солнца на загорелой коже.

— Что это у него с ногами? — спросила она.— Бедненький.

— Я стер их до крови, когда тащил из воды большую рыбу,— сказал Дэвид.

— Очень большую?

— Мы точно не знаем. Она сорвалась.

— Какая жалость.

— Да ну, что там,— сказал Дэвид.— Мы уже и забыли.

— А купаться с этим ничего, можно?

Роджер мазал стертые места меркурохромом. Они были сухие и чистые, только кожа немного сморщилась от соленой воды.

— Эдди говорит, это даже полезно,— сказал Дэвид.

— Кто такой Эдди?

— Наш повар.

— А повар у вас и за врача?

— Он хорошо разбирается в таких вещах,— объяснил Дэвид.— И мистер Дэвис тоже сказал, что можно.

— А что еще скажет мистер Дэвис? — спросила она Роджера.

— Что он рад вас видеть.

— Очень приятно. Вы, молодежь, вчера бурно провели вечер?

— Не слишком,— сказал Роджер.— Сыграли в покер, потом я почитал немного и лег спать.

— Кто выиграл в покер?

— Энди и Эдди,— сказал Дэвид.— А вы что делали?

— Мы играли в триктрак.

— А как вам спалось? — спросил Роджер.

— Хорошо. А вам?

— Великолепно,— сказал он.

— Из нас один Томми умеет играть в триктрак,— сказал девушке Дэвид.— Его выучил один непутевый человек, который потом оказался феей.

— Неужели? Грустная история.

— Как Томми рассказывает, она не такая уж грустная,— сказал Дэвид.— Плохого ничего не случилось.

— По-моему, про фей всегда грустно слушать,—сказала она.— Бедные феи.

— Да нет, тут даже интересно было,— сказал Дэвид.— Понимаете, этот непутевый человек, который учил Томми играть в триктрак, стал ему объяснять, кого называют феями и почему, и рассказывать ему про греков и про Дамона и Пифия, и про Давида и Ионафана. Вроде того, как в школе рассказывают про икру и молоки у рыб или про пчел, как они оплодотворяют растения пыльцой. А Томми его спросил, читал ли он книгу Андре Жида. Как эта книга называется, мистер Дэвис? Не «Коридон», а другая, где про Оскара Уайльда?

— «Si le grain ne meurt»[1],— сказал Роджер.

— Ужасная книга, а Томми брал ее с собой в школу и читал ребятам. Читал и переводил — ребята ведь не понимали по-французски. В общем, это порядочная скука, но когда мистер Жид попадает в Африку, тут-то и начинается ужасное.

— Я читала,— сказала девушка.

— А, тем лучше,— сказал Дэвид.— Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, этот человек, который учил Томми играть в триктрак, а потом оказался феей, он страшно удивился, когда Томми упомянул эту книгу, но и обрадовался тоже, потому что ему можно было не начинать своих объяснений, так сказать, с пчел и цветочков. «Я,— сказал он,— очень рад, что ты знаешь», или что-то в этом роде. А Томми ему ответил — мне так понравился этот ответ, что я его заучил наизусть: «Мистер Эдвардс, у меня к гомосексуализму интерес чисто академический. Большое спасибо, что вы меня научили играть в триктрак, и всего вам хорошего». У Тома тогда были замечательные манеры,— сказал Дэвид.— Он только что вернулся из Франции, где жил вместе с папой, и у него были замечательные манеры.

— А ты тоже жил во Франции?

— Мы все там жили, только в разное время. Но один Томми хорошо это помнит. У Томми вообще самая лучшая память. И он все запоминает очень верно. А вы когда-нибудь жили во Франции?

— Очень долго жила.

— Вы там учились?

— Да. В одном парижском пригороде.

— Придет Томми, надо будет вам поразговаривать с ним,— сказал Дэвид.— Он так знает Париж и его пригороды, как я — здешние отмели и рифы. Даже, наверно, лучше.

Она теперь сидела в тени, падавшей от веранды, и пропускала между пальцами ног струйки белого песка.

— Расскажи мне про отмели и рифы,— попросила она.

— Я вам лучше их покажу,— сказал Дэвид.— Возьмем гребную лодку и поедем с вами на отмели, а там можно будет поплавать и поохотиться под водой — если вы это любите. А иначе большой риф и не рассмотришь как следует.

— С удовольствием поеду.

— Кто там с вами на яхте? — спросил Роджер.

— Люди. Вам они не понравятся.

— Почему же, они, кажется, симпатичные.

---

[1] Если зерно не погибнет *(франц.)*.

— Мы непременно должны разговаривать в таком стиле?

— Нет,— сказал Роджер.

— Один вам вчера продемонстрировал образец настойчивости. Это самый богатый и самый скучный. Но, может быть, довольно о них? Все они очень хорошие и замечательные, и с ними можно умереть со скуки.

Прибежал Том-младший, а за ним Эндрю. Они купались в другом конце пляжа, а выйдя из воды, увидели девушку около кресла Дэвида и пустились бегом по слежавшемуся песку. Эндрю по дороге отстал и совсем запыхался.

— Не мог меня подождать? — сказал он Тому-младшему.

— Прости, Эндрю,— ответил Том. И потом обратился к девушке: — Доброе утро. Мы вас не дождались и пошли купаться.

— Извините, что опоздала.

— Вы не опоздали. Мы все будем купаться еще раз.

— Я не буду,— сказал Дэвид.— Идите все сейчас. А то я тут уже слишком разговорился.

— Что прибой сильный, пусть вас не смущает,— сказал Том-младший девушке.— Тут дно понижается отлого, не сразу.

— А нет здесь акул или барракуд?

— Акулы приплывают только ночью,— сказал ей Роджер.— А барракуд бояться нечего. Они нападают, только если вода грязная и мутная.

— Они тогда могут напасть по ошибке,— объяснил Дэвид.— Заметят, в воде что-то белеет, а что, не разглядеть. Мы тут постоянно встречаем барракуд во время купанья.

— Плывешь и вдруг видишь такую уродину чуть не рядом, только поглубже,— сказал Том-младший.— Они очень любопытные, эти барракуды. Но чаще всего они сразу же уплывают.

— А вот если у вас рыба в сетке или на гарпуне,— сказал Дэвид,— на рыбу они непременно бросятся, могут тогда и вас задеть ненароком. Они ведь страх какие быстрые.

— Или когда вы плывете среди стаи лобанов или сардин,— сказал Том-младший.— Тут они могут вас зацепить, врезавшись в стаю.

— А вы держитесь между Томми и мной,— сказал ей Энди.— Тогда ничего с вами не случится.

Волны с грохотом обрушивались на берег, и пока разбившаяся волна уползала назад, давая место новой, на полосу твердого сырого песка успевали слететься морские зуйки и ржанки.

— А может, не стоит купаться в такую волну, когда ничего не видно?

— Почему не стоит,— сказал Дэвид.— Нужно только осторожно ступать по дну до того, как бросишься вплавь. А вообще, в такую волну даже меньше шансов наткнуться на морского кота.

— Мы с мистером Дэвисом будем оберегать вас,— сказал Том.

— И я буду вас оберегать,— сказал Энди.

— Вряд ли вам встретится какая-нибудь рыба в полосе прибоя,— сказал Дэвид.— Разве что маленькие помпано. Они приплывают к берегу кормиться песчаными блохами. На них приятно смотреть в воде, они любопытные и доверчивые.

— Вас послушать, так кажется, будто собираешься купаться в аквариуме,— сказала девушка.

— Энди научит вас выпускать воздух из легких так, чтобы дольше держаться под водой,— продолжал Дэвид.— Том вам расскажет, что нужно делать, чтобы спастись от мурены.

— Перестань ее запугивать, Дэв,— сказал Том-младший.— Это ведь он у нас подводный король, а мы нет. Но именно потому, мисс Брюс...

— Одри.
— Одри,— повторил Том и запнулся.
— Так что же ты хотел сказать, Томми?
— Забыл,— сказал Томми.— Ну, пошли в воду.

Томас Хадсон еще некоторое время работал. Потом сошел вниз и, присев около Дэвида, стал смотреть на четверку пловцов, то показывавшихся, то вновь исчезавших среди гребней пены. Девушка купалась без шапочки и в воде была вся гладкая, как тюлень. Плавала она не хуже Роджера, уступая ему только в силе движений. Наконец, они вышли на берег и, ступая по твердому песку, пошли к дому; мокрые волосы девушки, откинутые со лба, облепили голову, ничем не маскируя ее природную форму, и Томас Хадсон подумал, что еще не встречал женщины с таким прелестным лицом и красивым телом. Кроме одной, подумал он. Кроме одной, которая была самой прелестной и самой красивой. Брось думать об этом, сказал он себе. Смотри на девушку и радуйся, что она здесь.

— Ну как купанье? — спросил он ее.
— Замечательно,— улыбнулась она ему.— Но я ни одной рыбы не видела,— сказала она Дэвиду.
— Трудно увидеть, когда так много пены,— сказал Дэвид.— Разве если столкнешься вплотную.

Она села на песок и обхватила руками колени. Ее непросохшие волосы падали до самых плеч, а Том-младший и Энди сидели по обе ее стороны. Роджер растянулся на песке лицом к ней и положил голову на скрещенные руки. Томас Хадсон отворил забранную проволочной сеткой дверь, поднялся наверх и снова сел за работу. Это будет самое лучшее, решил он.

А девушка, теперь скрытая от глаз Томаса Хадсона, сидела на песке и смотрела на Роджера.

— Взгрустнулось? — спросила она.
— Нет.
— Думы одолевают?
— Может быть. Не знаю сам.
— В такой день, как сегодня, приятно совсем ни о чем не думать.
— Ладно. Не думать, так не думать. А на волны смотреть можно?
— Это никому не заказано.
— Хотите, искупаемся еще раз?
— Попозже.
— Кто вас учил плавать? — спросил ее Роджер.
— Вы.

Роджер поднял голову и посмотрел на нее.

— Помните пляж на Антибском мысу? Маленький пляж, не Иден-Рок. Я часто смотрела, как вы прыгали с вышки на Иден-Рок.
— Откуда вы взялись, черт побери, и как ваше настоящее имя?
— Я приехала, чтобы встретиться с вами, а мое имя я вам уже сказала: Одри Брюс.
— Нам уйти, мистер Дэвис? — спросил Том-младший.

Роджер ему даже не ответил.

— Как ваше настоящее имя?
— Когда-то я была Одри Рэйберн.
— А зачем вы приехали со мной встретиться?
— Захотела и приехала. А что, напрасно?
— Нет,— ответил Роджер.— Кто вам сказал, что я здесь?
— Один противный субъект, которого я повстречала в Нью-Йорке у знакомых. У вас с ним была драка. Он сказал, что вы здесь болтаетесь на берегу и пробавляетесь чем придется.
— Не так уж плохо пробавляюсь,— сказал Роджер, глядя на море.

— Он еще много чего про вас говорил. И все не слишком лестное.
— С кем вы были тогда в Антибе?
— С мамой и Диком Рэйберном. Теперь вспоминаете?
Роджер сел и уставился на нее. Потом вскочил, схватил ее в объятия и расцеловал.
— Будь я неладен,— сказал он.
— Так я не напрасно приехала? — спросила она.
— Девчонка,— сказал Роджер.— Неужели это в самом деле вы?
— Требуются доказательства? Не желаете верить на слово?
— Я не запомнил никаких тайных примет.
— А как я вам теперь нравлюсь?
— Безмерно.
— Не воображали же вы, что я на всю жизнь останусь похожей на жеребенка? Помните, вы мне как-то сказали в Отейле, что я похожа на жеребенка, и я плакала.
— Но это ведь был комплимент. Я сказал, что вы похожи на жеребенка с иллюстрации Сеньеля к «Алисе в стране чудес».
— А я плакала.
— Мистер Дэвис и Одри,— сказал Энди.— Мы идем выпить кока-колы. Вам принести?
— Мне не нужно. А вам, девчонка?
— Я бы с удовольствием выпила.
— Пошли, Дэв?
— Нет. Я хочу дослушать.
— Ну знаешь ли — а еще брат называется,— сказал ему Том-младший.
— Принесите и мне кока-колы,— попросил Дэвид.— Продолжайте, мистер Дэвис, я вам не буду мешать.
— Мне ты не мешаешь, Дэви,— сказала девушка.
— Куда же вы девались потом и почему вы теперь Одри Брюс?
— Тут довольно сложная история.
— Могу себе представить.
— Мама в конце концов вышла замуж за некоего Брюса.
— Я его хорошо знал.
— Я его очень любила.
— Я пас,— сказал Роджер.— Ну, а «Одри» откуда?
— Это мое второе имя. Я на него перешла потому, что мне не очень нравилось мамино.
— А мне не очень нравилась сама мама.
— Мне тоже. Я любила Дика Рэйберна, и я любила Билла Брюса, а в вас я была влюблена и в Томаса Хадсона была влюблена. Он меня тоже не узнал, да?
— Не знаю. Он ведь чудак, мог и узнать, да промолчать. Но он говорит, что вы похожи на мать Томми.
— Я бы хотела, чтобы это было так.
— Нечего вам хотеть, потому что это так и есть.
— Вы правда на нее похожи,— сказал Дэвид.— Уж мне можете поверить. Простите, пожалуйста, Одри, что я вмешиваюсь и вообще что я тут торчу.
— Не были вы влюблены ни в меня, ни в Тома,— сказал Роджер.
— А вот и была. Вы этого знать не можете.
— Где теперь ваша мама?
— Она замужем за неким Джеффри Таунсендом и живет в Лондоне.
— И все еще употребляет наркотики?
— Да. И все еще красива.
— В самом деле?

— Вот именно в самом деле. Не думайте, что это дочернее пристрастие.

— Когда-то вы были примерной дочерью.

— И примерной католичкой. Я за всех молилась. За все болела душой. Я соблюдала за маму все посты, чтобы снискать ей благодать легкой смерти. А как горячо я молилась за вас, Роджер.

— Жаль, это не очень мне помогло,— сказал Роджер.

— И мне жаль,— сказала она.

— А еще неизвестно, Одри. Вдруг да поможет когда-нибудь,— сказал Дэвид.— То есть я не хочу сказать, что мистер Дэвис нуждается в этом. Я вообще про молитвы.

— Спасибо, Дэв,— сказал Роджер.— А куда девался Брюс?

— Он умер. Вы разве не помните?

— Нет. Что Дик Рэйберн умер, это я помню.

— Не удивительно.

— Да.

Вернулись Томми и Энди с запотевшими бутылками кока-колы, и Энди подал одну бутылку девушке, а другую Дэвиду.

— Спасибо,— сказала девушка.— Замечательно, что холодная.

— А знаете, Одри, я вас вспомнил,— сказал Том-младший.— Вы приходили в мастерскую с мистером Рэйберном. И всегда молчали. И мы все вместе ходили в цирк — вы, я, папа и мистер Рэйберн, и на скачки мы ездили. Только вы тогда не были такая красивая.

— Неправда, была,— сказал Роджер.— Можешь спросить папу.

— Мне очень жаль мистера Рэйберна,— сказал Том-младший.— Я хорошо помню, как это случилось. Его убило во время соревнований по бобслею — санки сорвались на крутом повороте и врезались в толпу. Он перед тем долго болел, и мы с папой его навещали. А потом стал поправляться, и ему захотелось поехать на эти соревнования. Лучше бы он не ездил. Мы при этом не были. Простите, Одри, может быть, вам тяжело вспоминать об этом.

— Он был хороший человек,— сказала Одри.— Но мне не тяжело, Томми. Прошло уже столько лет.

— А со мной или с Дэвидом вы не были знакомы? — спросил Энди.

— Как же это могло быть, наездник? Нас тогда еще на свете не было,— сказал Дэвид.

— А откуда мне знать,— сказал Энди.— Я про Францию ничего не помню и не думаю, чтобы ты помнил много.

— Я этого и не говорю. Томми помнит Францию за нас всех. А я потом буду помнить этот остров. И еще я помню все папины картины, которые видел.

— А те, где скачки, помнишь? — спросила Одри.

— Те, что видел, помню все.

— Там на некоторых есть я,— сказала Одри.— В Лонгшане, в Отейле, в Сен-Клу. Но всегда только с затылка.

— А, если с затылка, тогда я вас помню,— сказал Том-младший.— У вас были распущенные длинные волосы, а я сидел на два ряда выше вас, чтобы лучше видеть. День был чуть туманный — знаете, бывают такие осенние дни, когда воздух будто полон сизого дыма,— и места у нас были на верхней трибуне, прямо против канавы с водой, а большой барьер и каменная стенка приходились слева от нас. Финиш был ближе к нам, а канава с водой на другой стороне круга. И всегда я был позади вас и чуть повыше, если только мы не стояли внизу, у дорожки.

— Ты мне тогда казался очень смешным мальчуганом.

— Я, наверно, и был смешной. А вы всегда молчали. Может, вам не о чем было говорить с таким малышом. Но правда ипподром в Отейле чудесный?

— Замечательный. Я там в прошлом году была.

— Может, и мы побываем этим летом, Томми,— сказал Энди.— А вы тоже ездили с ней на скачки, мистер Дэвис?

— Нет,— сказал Роджер.— Я был только ее учителем плаванья.

— Вы были моим героем.

— А папа не был вашим героем? — спросил Эндрю.

— Конечно, был. Но я не давала себе мечтать о нем, потому что он был женат. Когда они с матерью Тома разошлись, я написала ему письмо. Там с большой силой говорилось о моих чувствах и о моей готовности занять место матери Тома, если это возможно. Но я так и не отправила это письмо, потому что он женился на матери Дэви и Энди.

— Да, не так все просто в жизни,— сказал Том-младший.

— Расскажите нам еще про Париж,— сказал Дэвид.— Раз мы туда едем, нам нужно узнать о нем побольше.

— Я помню, Одри, как мы, бывало, стояли у самых перил и лошади, после заключительного препятствия, мчались прямо на нас, словно вырастая с каждой секундой, и помню глухой стук копыт по дерну, когда они наконец пролетали мимо.

— А ты помнишь, как в холодные дни мы теснились к большим braziers, чтоб согреться, и ели бутерброды, купленные в баре?

— Лучше всего бывало осенью,— сказал Том-младший.— Домой мы возвращались в открытом экипаже, помните? Через Булонский лес и потом вдоль берега, а кругом уже сумерки, и гарь лиственных костров, и буксиры тянут баржи по Сене.

— Как это ты так хорошо все запомнил? Ведь ты был совсем крошечным мальчуганом.

— Я помню каждый мост от Сюрена до Шарантона,— сказал Том-младший.

— Быть не может.

— Я не взялся бы перечислить их по названиям. Но они у меня все в голове.

— Не поверю я, что ты все это помнишь. И потом, река ведь довольно безобразна кое-где и многие мосты тоже.

— Знаю. Но ведь я еще после вас очень долго жил в Париже, и мы с папой чуть не все берега исходили пешком. И где красиво и где безобразно, и во многих местах я с приятелями ловил рыбу.

— Ты правда ловил рыбу в Сене?

— Правда.

— И твой папа тоже?

— Не так часто, но иногда ловил — в Шарантоне. Но обычно ему после работы хотелось размяться, и мы с ним ходили и ходили, пока я не уставал до того, что уже не мог идти дальше, и тогда мы возвращались домой на автобусе. А когда у нас стало больше денег, то в экипаже или на такси.

— Но были же у вас деньги в тот год, когда мы ездили на скачки.

— Наверно, были,— сказал Том-младший.— Вот этого я точно не помню. Скорей всего — когда были, когда нет.

— А у нас всегда были деньги,— сказала девушка.— Мама выходила замуж только за людей с большими деньгами.

— Значит, вы богатая, Одри? — спросил Том-младший.

— Нет,— сказала девушка.— Мой отец частью истратил, частью потерял свое состояние после того, как женился на маме, а ни один из моих отчимов меня не обеспечил.

— Вам деньги не нужны,— сказал ей Эндрю.

— Знаете что, живите у нас,— сказал ей Томми.— Вам у нас будет очень хорошо.

— Заманчивое предложение. Но не могу же я жить на ваш счет.

— Мы отсюда едем в Париж,— сказал Энди.— Поедемте с нами. Вот будет здорово. Мы с вами вдвоем осмотрим все арондисманы.

— Надо будет подумать,— сказала девушка.

— Хотите, я вам приготовлю коктейль, чтобы легче было принять решение,— сказал Дэвид.— В книгах мистера Дэвиса всегда так поступают.

— Вы меня подпоить хотите.

— Известный прием торговцев живым товаром,— сказал Том-младший.— А когда жертва приходит в себя, оказывается, она уже в Буэнос-Айресе.

— Ну, значит, ей дали чего-нибудь адски крепкого,— сказал Дэвид.— До Буэнос-Айреса неблизкий путь.

— Ничего нет крепче «Мартини», который приготовляет мистер Дэвис,— сказал Эндрю.— Угостите ее своим «Мартини», мистер Дэвис.

— Хотите, Одри? — спросил Роджер.

— Выпью, если не слишком долго ждать ленча.

Роджер пошел приготовлять коктейль, а Том-младший пересел к девушке поближе. Энди теперь сидел у ее ног.

— Смотрите, Одри, лучше не пейте,— сказал Том-младший.— Ведь это первый шаг. Помните, *ce n'est que le premier pas qui compte* [1].

Наверху Томас Хадсон продолжал накладывать мазок за мазком. Он невольно слушал их разговор, но ни разу не глянул вниз после того, как они вернулись с купанья. Ему трудно приходилось в том панцире работы, который он создал себе для защиты от внешнего мира, но он думал: если я брошу работать сейчас, я могу совсем лишиться этой защиты. Ведь будет довольно времени для работы, когда они все уедут, возразил он себе. Но он знал, что бросать сейчас работу нельзя, что тогда рушится вся система безопасности, которую он себе создал работой. Сделаю ровно столько, сколько сделал бы, если б их тут не было, думал он. Потом приберу все и пойду вниз, а Рэйберна и Париж и все прошлое выкину из головы. Но работая, он чувствовал, как внутрь уже закрадывается тоска одиночества. Работай, сказал он себе. Держись и не изменяй своим привычкам, они скоро понадобятся тебе.

Когда Томас Хадсон отработал положенное и спустился вниз, мысли его еще были заняты живописью. Он сказал девушке: «Привет!» — потом отвернулся в сторону. Потом снова посмотрел на нее.

— Я поневоле все слышал,— сказал он.— Или, если хотите, подслушал. Очень рад, что мы, оказывается, старые друзья.

— И я рада. А вы меня в самом деле не узнали?

— Может быть, и узнал,— сказал он.— Ну, пора к столу. Вы уже высохли, Одри?

— Я приму душ и переоденусь,— сказала она.— У меня с собой блузка и юбка.

— Скажи Джозефу и Эдди, что мы готовы,— сказал Томас Хадсон Тому-младшему.— Идемте, Одри, я покажу вам, где душ.

Роджер ушел в дом.

— Мне было бы неприятно думать, что я сюда попала обманом,— сказала девушка.

— Вы этого и не сделали,— сказал Томас Хадсон.

— Я могу ему чем-нибудь помочь, как вам кажется?

— Попробуйте. Для спасения его души нужно, чтобы он стал хорошо работать. Я по душам не специалист. Но я знаю, что свою он продешевил, когда первый раз приехал на побережье.

— Но ведь он теперь пишет новый роман. И роман замечательный.

— Откуда вы это знаете?

---

[1] Стоит только сделать первый шаг *(франц.)*.

— Читала в газете. В статье Чолли Никербокера, кажется.
— А-а,— сказал Томас Хадсон.— Ну, тогда, значит, так и есть.
— Вы правда думаете, что я могу ему помочь?
— Попробуйте.
— Это все не так просто.
— Просто ничего не бывает.
— Рассказать вам почему?
— Нет,— сказал Томас Хадсон.— Лучше вы причешитесь, оденьтесь и приходите наверх. А то пока он ожидает, ему может попасться на глаза другая женщина.
— Вы раньше таким не были. Мне казалось, вы самый добрый человек на свете.
— Очень жаль, что я изменился. Но я искренне рад встрече, Одри.
— Мы ведь старые друзья, правда?
— Еще бы,— сказал он.— Ну, скорей приводите себя в порядок, переодевайтесь и приходите наверх.

Он отвернулся, и она скрылась за дверью душа. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит. Но радость этих летних недель вдруг пошла в нем на убыль, как во время смены течений за отмелью, когда в узком проливе, ведущем в открытое море, начинается отлив. Всматриваясь в море и в береговую линию, он заметил, что течение уже изменилось и на вновь обнажившейся полосе мокрого песка деловито хлопочут береговые птицы. Он еще раз долгим взглядом окинул берег и ушел в дом.

XIII

Последние несколько дней они провели чудесно. Все шло ничуть не хуже, чем в прежние дни, и предотъездной грусти не было. Яхта ушла, и Одри сняла комнату над баром «Понсе-де-Леон», но жила она у них, спала на закрытой веранде в дальнем конце дома и пользовалась гостевой комнатой.

О своей любви к Роджеру она больше не говорила. А единственное, что Роджер сказал о ней Томасу Хадсону, было: «Она замужем за каким-то сукиным сыном».
— Неужели ты рассчитывал, что она всю жизнь будет тебя ждать?
— Как бы там ни было, а он сукин сын.
— Так всегда бывает. Но подожди, ты еще обнаружишь в нем привлекательные черты.
— Он богатый.
— Вот это, наверно, и есть его привлекательная черта,— сказал Томас Хадсон.— Такие девушки всегда выходят замуж за сукиных сынов, а у них всегда оказывается какая-нибудь привлекательная черта.
— Ладно,— сказал Роджер.— Хватит об этом.
— Книгу писать ты будешь?
— Обязательно. Этого она от меня и ждет.
— Вот почему ты решил взяться за дело?
— Отвяжись, Том,— сказал ему Роджер.
— Хочешь пожить на Кубе? Там у меня всего лишь хибарка, но мешать тебе никто не будет.
— Нет. Я думаю поехать на Запад.
— В Калифорнию?
— Нет. Не в Калифорнию. А что, если я поживу у тебя на ранчо?
— На ранчо у меня осталась только хижина на дальнем берегу реки.
— Вот и прекрасно.

Девушка и Роджер совершали длинные прогулки по берегу, купались вдвоем и с мальчиками. Мальчики ездили на рыбную ловлю, брали с собой Одри порыбачить и поплавать в масках около рифа. Томас Хадсон много работал, и пока он сидел за мольбертом, а мальчики проводили время на море, ему было приятно думать, что скоро они вернутся домой и будут обедать или ужинать вместе с ним. Он беспокоился, когда они плавали в масках, но знал, что Роджер и Эдди не позволят им заплывать далеко. Как-то раз все они отправились с утра удить на блесну, добрались до самого дальнего маяка на краю отмели, чудесно провели день и выловили несколько макрелей, белобочек и трех крупных скумбрий. Он написал скумбрию со странной сплющенной головой, с полосками, опоясывающими ее длинное обтекаемое тело, и подарил картину Энди, который поймал из трех самую крупную. На заднем плане картины были летние облака в небе, высокий маяк с паучьими лапами и зеленые берега.

Потом наступил день, когда старенький гидроплан Сикорского описал круг над домом и сел в заливе, и они подвезли к нему на шлюпке своих мальчиков. На другой Джозеф вез их чемоданы. Том-младший сказал:

— До свидания, папа. Лето мы провели у тебя замечательно.

Дэвид сказал:

— До свидания, папа. Нам было очень хорошо. Ты не беспокойся о нас. Ничего с нами не случится.

Эндрю сказал:

— До свидания, папа. Спасибо тебе за чудесное, чудесное лето и за то, что мы едем в Париж.

Они взобрались по трапу на гидроплан и помахали Одри, которая стояла на причале, и крикнули ей:

— До свидания! До свидания, Одри.

Роджер помог им взобраться, и они сказали:

— До свидания, мистер Дэвис. До свидания, папа.— И еще раз, очень громко, так, чтобы слышно было на причале: — До свидания, Одри!

Потом дверь закрыли, задраили, и остались только лица за стеклами небольших окошек, а потом лица, залитые водой, плеснувшей в стекла, когда заработали старые кофейные мельницы гидроплана. Томас Хадсон подался назад от вихря брызг, и допотопный, уродливый гидроплан вырулил на старт и поднялся на легком ветру, а потом сделал круг в воздухе и, уродливый, медлительный, ровно пошел своим курсом через залив.

Томас Хадсон знал, что Роджер и Одри тоже собираются в дорогу, и так как рейсовое судно ожидалось на следующий день, он спросил Роджера, когда они решили уезжать.

— Завтра, старик,— сказал Роджер.

— С Уилсоном?

— Да, я просил его вернуться за нами.

— Я только хотел знать, сколько мне всего заказывать.

И на следующий день они тоже улетели. На прощанье Томас Хадсон поцеловал девушку, а она поцеловала его. Накануне, прощаясь с мальчиками, Одри плакала и, прощаясь с ним, тоже заплакала и обняла его и прижалась к нему.

— Берегите его и себя тоже берегите.

— Постараюсь, Том. Вы были так добры к нам.

— Глупости!

— Я буду писать тебе,— сказал Роджер.— Поручения какие-нибудь есть? Что я там должен делать?

— Живи, радуйся. И напиши, как там у вас все сложится.

— Обязательно. Эта тоже тебе напишет.

И вот они уехали, и по дороге домой Томас Хадсон зашел к Бобби.

— Здорово одиноко вам будет,— сказал Бобби.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Мне будет здорово одиноко.

XIV

Как только мальчики уехали, Томас Хадсон затосковал. Но ему казалось, что это естественная тоска по сыновьям, и он продолжал работать. Конец твоего мира приходит не так, как на великом произведении искусства, описанном мистером Бобби. Его приносит с собой местный паренек — рассыльный из почтового отделения, который вручает тебе радиограмму и говорит:

— Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, на отрывном корешке. Мы очень сожалеем, мистер Том.

Он дал рассыльному шиллинг. Но рассыльный посмотрел на монету и положил ее на стол.

— Мне чаевых не надо, мистер Том,— сказал он и ушел.

Он прочитал телеграмму. Потом положил ее в карман, вышел на веранду и сел в кресло. Он вынул телеграмму и прочитал ее еще раз. *Ваши сыновья Дэвид и Эндрю погибли вместе с матерью в автомобильной катастрофе под Биаррицем До вашего приезда все хлопоты берем на себя Примите наше глубочайшее сочувствие.* Подписано парижским отделением нью-йоркского банка.

Вошел Эдди. Он узнал все от Джозефа, который узнал все от радиста.

Эдди сел рядом с ним и сказал:

— Мать твою. Как такое могло случиться, Том?

— Не знаю,— сказал Томас Хадсон.— Наверно, они на что-нибудь налетели или их кто-нибудь ударил.

— Уж, наверно, не Дэви вел машину.

— Наверно, не Дэви. Но теперь это уже не имеет значения.

Томас Хадсон смотрел на плоскую синеву моря и на густо синеющий Гольфстрим. Солнце стояло низко и скоро должно было зайти за облака.

— Думаете, она правила?

— Вероятно. А может, у них был шофер. Какая разница?

— Думаете, Энди?

— Может быть. Она могла ему позволить.

— Он малый самонадеянный,— сказал Эдди.

— Был самонадеянный,— сказал Томас Хадсон.— Теперь уже вряд ли.

Солнце садилось, а перед ним стлались облака.

— Как только наши выйдут на связь, надо послать телеграмму Уилсону, чтобы он прилетел сюда пораньше и пусть позвонит и закажет мне билет в Нью-Йорк.

— А пока вас не будет, что мне делать здесь?

— Да так, присматривай за всем. Чеки на каждый месяц я оставлю. Если начнутся ураганы, найми людей, сколько потребуется, чтобы помощь у тебя была хорошая и на катере и в доме.

— Будет сделано,— сказал Эдди.— Но теперь мне на все это на...

— Мне тоже,— сказал Томас Хадсон.

— У нас есть Том-младший.

— Да, пока есть,— сказал Томас Хадсон и впервые заглянул в глубокую бесконечную перспективу ожидающей его впереди пустоты.

— Как-нибудь справитесь,— сказал Эдди.

— Конечно. А когда я не справлялся?

— Поживете в Париже, а потом поезжайте к себе на Кубу, и пусть Том-младший там с вами побудет. Писать на Кубе вам хорошо, вот и отвлечетесь.

— Конечно,— сказал Томас Хадсон.

— Путешествовать будете, это тоже хорошо. Будете ездить на огромных пароходах, мне всегда на таких хотелось поплавать. Все их перепробуйте. Пусть везут вас по своим путям-дорогам.

— Конечно.

— Ах, мать твою! — сказал Эдди.— И какого хрена нашего Дэви убило?

— Не надо, Эдди,— сказал Томас Хадсон.— Этого нам не дано знать.

— Да пропади все пропадом! — сказал Эдди и сдвинул шляпу на затылок.

— Как сумеем, так и сыграем,— сказал Томас Хадсон. Но теперь он знал, что для него игра не стоит свеч.

XV

Пересекая океан на «Ilê de France», Томас Хадсон понял, что ад не обязательно такой, каким описывал его Данте или кто-нибудь другой из великих бытописателей ада, а может быть и комфортабельным, приятным, милым твоему сердцу пароходом, увозящим тебя на восток, в страну, к которой ты всегда приближался, заранее предвкушая свой приезд туда. Кругов в этом аду насчитывалось много, и они не имели таких четких границ, как у великого флорентийского эгоцентрика. Он сел на пароход рано, ища в нем (теперь это было уже ясно) спасения от города, где его пугали встречи с людьми, которые будут заговаривать с ним о случившемся. Он думал, что на пароходе сумеет прийти к какому-то соглашению со своим горем, еще не зная, что горю никакие соглашения не помогут. Излечить его сможет только смерть, а все другое лишь притупляет и обезболивает. Говорят, будто излечивает его и время. Но если излечение приносит тебе нечто иное, чем твоя смерть, тогда горе твое скорее всего не настоящее.

Одно из средств, которое притупляет его временно, притупляя в тебе вообще все остальные чувства, это — пьянство. Есть и другое, отвлекающее тебя от мыслей о нем,— и это работа. Оба эти средства были известны Томасу Хадсону. Но он знал также, что пьянство убьет в нем способность хорошо работать, а работа уже столько лет лежала в основе его жизни, что он не мог позволить себе потерять эту способность.

Но поскольку он знал, что несколько дней работать не сможет, то решил пить, читать, заниматься моционом и, замучившись за день, спать мертвым сном. Он спал в самолете. Но в Нью-Йорке спать не мог.

Теперь он сидел в своей двойной каюте «люкс», куда носильщики уже внесли его чемоданы и большую пачку купленных им журналов и газет. Он решил, что с такого чтива начинать будет легче всего. Он отдал стюарду свой билет и попросил его принести бутылку «Перрье» и льду. Когда это было подано, он достал из чемодана бутылку шотландского виски, откупорил ее и приготовил себе питье. Потом перерезал бечевку, которой была связана пачка журналов и газет, и разложил их на столе. Номера были свеженькие, девственные по сравнению с теми, которые приходили на остров. Он взял «Нью-Йоркер». На острове он всегда приберегал этот журнал к вечеру, и ему уже давно не приходилось видеть номер «Нью-Йоркера», вышедший на этой же неделе и не перегнутый

пополам. Он сидел в глубоком, удобном кресле и пил виски и понимал, что невозможно читать «Нью-Йоркер», если те, кого ты любишь, умерли всего несколько дней назад. Он взял «Тайм», и «Тайм» смог читать — все, включая раздел «Некрологи», где были оба его мальчика — мертвые, и был указан их возраст; возраст их матери, не совсем точно, указано ее семейное положение и то, что она развелась с ним в 1933 году.

В журнале «Ньюсуик» сведения были те же самые. Но когда Томас Хадсон прочел эту краткую заметку, у него осталось странное чувство, будто автор ее пожалел погибших мальчиков.

Он смешал себе еще одну порцию и подумал, что лучше всего для смеси с виски годится «Перрье», потом прочел от корки до корки «Тайм» и «Ньюсуик». Какого черта ее понесло в Биарриц? — подумал он. Вполне могла бы поехать в Сен-Жан-де-Люс.

И понял, что виски уже немного помогло ему.

Отрешись от них, сказал он себе. Помни, какие они были, а остальное вычеркни из памяти. Рано или поздно придется это сделать. Так сделай это теперь.

Читай дальше, сказал он. И тут пароход отчалил от пристани. Он шел очень медленно, и Томас Хадсон даже не взглянул в иллюминатор. Он сидел в удобном кресле и просматривал кипу газет и журналов и пил шотландское виски с «Перрье».

Не стоит перед тобой никакой проблемы, сказал он. Ты отрешился от них, и они исчезли. Да и вообще нельзя было так любить этих мальчиков. Нельзя было любить мальчиков, и их мать нельзя было любить. Вот ведь что виски делает! — сказал он себе. Какое блистательное разрешение всех наших проблем. *Мудрец алхимик разрешил труднейшую задачу. Из олова он сотворил дерьма.* Нет, не вышло... *Из олова он сотворил ко злату и дерьма впридачу.* Вот так лучше.

Интересно, где сейчас Роджер со своей девицей, подумал он. Где находится Томми, видимо, известно в банке. А где я — я сам знаю. Я сижу здесь с бутылкой «Старого лосося». Завтра я все это из себя выпарю в гимнастическом зале. Усядусь там на велосипед, который никуда не приезжает, и на механическую лошадку. Вот что мне требуется. Хорошенько протрястись на механической лошадке. Потом основательный массаж. Потом я встречусь с кем-нибудь в баре, и мы поговорим о том о сем. Ведь всего шесть дней. Шесть дней прожить можно.

Ночью он заснул, и, проснувшись, услышал, как пароход одолевает море, и, вдохнув морской запах, подумал было, что он у себя дома, на острове, и что его разбудил дурной сон. Потом он понял, что это не сон, и почувствовал тяжелый запах смазки на раме открытого иллюминатора. Он зажег свет и выпил минеральной воды. Его мучила жажда.

На столике стоял поднос с сандвичами и фруктами, который принес накануне стюард, и в ведерке с бутылкой «Перрье» еще остался лед.

Он знал, что надо что-нибудь съесть, и посмотрел на часы, висевшие на стене. Было двадцать минут четвертого. В морском воздухе веяло прохладой, и он съел сандвич и два яблока, а потом вынул из ведерка несколько кусочков льда и приготовил себе питье. От «Старого лосося» почти ничего не осталось, но у него была еще бутылка, и в прохладе раннего утра он сидел в удобном кресле и читал «Нью-Йоркер». Оказывается, он уже мог его читать, и, кроме того, пить на рассвете было очень приятно.

Годами он придерживался железного правила — не пить по ночам и не пить до конца работы, если день был рабочий. Но теперь, проснувшись ночью, он почувствовал тихую радость, что правилу конец. Это был возврат чисто животной радости или способности ощущать радость, которую он испытал впервые после того, как пришла та телеграмма.

Хороший журнал «Нью-Йоркер», подумал он. Его, видимо, можно читать на четвертый день после того, как что-то случилось. Не на первый, не на второй и не на третий. Но на четвертый можно. Такую вещь полезно знать. Следом за «Нью-Йоркером» он стал читать «Ринг», а потом все, что было читабельно, а также и нечитабельно в «Атлантик монсли». Потом приготовил себе третью порцию и взялся за «Харперс». Вот видишь, сказал он себе, все и обошлось.

Часть вторая

Куба

После того как все ушли, он лежал на полу, устланном циновкой, и прислушивался к ветру. По-прежнему сильно штормило с северо-запада, и он расстелил на полу в большой комнате одеяла и бросил туда же подушки, подперев их мягкой спинкой от кресла, которую прислонил к одной из ножек стола, и, надев кепку с длинным козырьком, чтобы затенить глаза, стал просматривать свою корреспонденцию в ярком свете настольной лампы. Кот лежал у него на груди, и он прикрыл его и себя легким одеялом, и одно за другим вскрывал и прочитывал письма, понемножку прихлебывая виски с водой, а в промежутках отставлял стакан в сторону на пол. Когда понадобится, рука сама его найдет.

Кот мурлыкал, но Томас Хадсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное, и, держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота.

— У тебя микрофон в горле, Бойз,— сказал он.— Скажи, ты меня любишь?

Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера, и Томас Хадсон ощущал ласково разлитую тяжесть его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье.

— Стерва она, Бойз,— сказал он коту и вскрыл другое письмо.

Кот подсунул голову под его подбородок и потерся.

— Они, Бойз, все до дна из тебя выскребут,— сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбородком.— Женщины вас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уже почти все умеешь.

Кота сперва назвали по имени крейсера «Бойз», но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой.

Второе письмо он прочитал до конца без комментариев и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски.

— Так,— сказал он.— Что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой, ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?

Кот поднял голову и потерся о его подбородок, а он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо.

— Ты беспокоился о нас, Бойз, когда там началось? — спросил он.— Видел бы ты, как мы влетели в гавань, когда волны уже перехлестывали через Морро! Ты бы перепугался насмерть. Примчало нас домой на этих чертовых бурунах, словно доску для серфинга.

Кот лежал довольный, дыша в такт с человеком. Большой кот, длинный и ласковый, подумал о нем Томас Хадсон, и худой от слишком усердной ночной охоты.

— Как у тебя шли дела, пока меня не было, а, Бой? — Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом.— Много наловил?

Кот повернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили, как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно.

К тому времени, как он дочитал третье и самое длинное письмо, этот большой, белый с черным кот уже спал. Он спал в позе сфинкса, только голову положил на грудь Томасу Хадсону.

Я очень рад, думал Томас Хадсон. Надо бы раздеться, принять ванну и лечь как следует в постель, но нет горячей воды, да я и не хотел бы спать сегодня на кровати. Слишком много движения вокруг, кровать бы меня сбросила. Но и здесь вряд ли засну, когда эта зверюга на мне лежит.

— Бой,— сказал он,— мне придется тебя снять, чтобы я мог лечь на бок.

Он поднял тяжелое обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой, затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал вдоль его спины. Он был недоволен, пока его перекладывали, но потом опять заснул, свернувшись клубочком возле Томаса Хадсона. Тот снова вынул те три письма и вторично все их перечитал. Газеты он решил не читать и, протянув руку, выключил свет и теперь тихо лежал, чувствуя ягодицами тепло кошачьего тела. Он лежал, обхватив руками одну подушку, а голову положив на другую. Снаружи ветер дул во всю мочь, и пол комнаты все еще словно бы покачивался на манер корабельного мостика. Перед возвращением Томас Хадсон не сходил с мостика девятнадцать часов.

Он лежал и старался заснуть, но не мог. Глаза у него очень устали, и он не хотел ни зажигать свет, ни читать, просто лежал и дожидался утра. Сквозь одеяла он чувствовал циновку, сплетенную по размеру большой комнаты и привезенную с Самоа на крейсере за полгода до Пирл-Харбора. Она покрывала весь плиточный пол комнаты, но там, где стеклянная дверь вела в патио, циновка загнулась и встопорщилась от движений двери, и Томас Хадсон чувствовал, как ветер забирается под нее и ее треплет, когда проникает в просвет под дверной рамой. Он думал о том, что ветер по крайней мере еще один день будет дуть с северо-запада, потом перейдет на север и наконец иссякнет на северо-востоке. Так он всегда передвигался зимой, но может случиться, что он на несколько дней застрянет на северо-востоке и будет еще очень сильно дуть перед тем, как превратится в brisa, что было местным названием северо-восточного пассата. И пока он будет с почти ураганной силой дуть с северо-востока, навстречу Гольфстриму, он разведет очень сильное волнение, и уж в это-то время, конечно, ни одна немецкая подлодка не сможет всплыть. Так что, думал он, мы просидим на берегу не меньше четырех суток. А уж потом они наверняка всплывут.

Он думал и о своем последнем выходе, о том, как шторм настиг их в шестидесяти милях дальше по береговой линии и в тридцати от берега, и о жутком обратном рейсе, когда он решил лучше идти в Гавану, а не в Байя-Онду. Да, он-таки заставил свое суденышко поработать. Заставил-таки. И было еще многое, что надо будет проверить. Пожалуй, было бы лучше пристать в Байя-Онде. Но последнее время они слишком часто там бывали. Да еще он уезжал на целых двенадцать дней, а рассчитывал обойтись десятью. О некоторых вещах он был недостаточно осведомлен и не знал, сколько может продлиться этот шторм, поэтому решил вернуться в Гавану и признать свою неудачу. Утром он выкупается, побреется, почистится и пойдет с докладом к морскому атташе. Может быть, они захотят, чтобы он еще последил за берегом. Но он твердо знал, что в такую погоду никакие вражеские лодки не всплывут, это было для них совершенно невозможно. Вот это, собственно, и было

главное. Если он в этом прав, тогда и остальное будет в порядке. Хотя и не всегда все бывает так просто. Далеко не всегда.

Твердым полом ему сильно намяло правую ногу, правое бедро и правое плечо, и он теперь лежал на спине, опираясь на мышцы плеч, а колени подтянул кверху под одеялом и толкался в него пятками. Это немного сняло с него усталость, и он положил на кота левую руку и погладил его.

— Ты чудно умеешь отдыхать, Бой, и ты так сладко спишь,— сказал он коту.— Значит, тебе не так уж плохо пришлось.

Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании и чтоб было с кем поговорить, пока Бойз спит. Но потом решил, что не надо. Бойз обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали в большой машине, Бойз уже околачивался возле дома и поджидал их. Он страшно волновался и, пока они выгружались, все время путался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только отворяли дверь. Наверно, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Как только Томас Хадсон получал приказ об отъезде, кот это знал. Конечно, о приказе он узнать не мог, зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу, и по мере того как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка — ночевки чужих людей в доме (Томас Хадсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали, если предстояло выезжать до рассвета),— кот становился все более взвинченным и нервным, а когда они начинали грузиться в машину, он уже был в отчаянии, и приходилось его запирать, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе.

Как-то раз, проезжая по Центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота, и этот кот, только что сбитый машиной и уже мертвый, был как две капли воды похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы — белые, и на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в шести милях от фермы, и все же у него похолодело внутри, и он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не Бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий, видно было, что это чей-то кот, и Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе, и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил на ферме.

Когда вечером Томас Хадсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил, и он решил, что, должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер попозже, сидя дома за книгой в большом кресле с Бойзом, примостившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал: что бы он делал, если бы Бойза так же вот убило? Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобные же чувства.

Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. Зачем ты так, Бой? Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу, говорил себе Томас Хадсон. Правда стараюсь. А Бой не может.

Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл со своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен возле Кохимара прямо на утесах, высящихся над гаванью. Они как-то раз заглянули в этот бар солнечным рождественским утром. В баре было еще несколько пьяных, осевших там после вчерашнего пированья, но восточный ветер, продувавший насквозь и

бар и ресторан, был так свеж, а солнечный свет так ярок и воздух так чист и прохладен, что ясно было — это утро не для пьяниц.

— Закрой дверь, а то ветер,— сказал один из них хозяину.

— Нет,— ответил хозяин.— Мне нравится этот ветер. А если для вас он слишком свеж, так пойдите поищите себе где-нибудь затишек.

— Мы платим за то, чтобы нам было удобно,— сказал еще один из этих последышей ночной попойки.

— Нет. Вы платите только за то, что выпили. А для удобства поищите другое место.

Томас Хадсон смотрел через открытую террасу на море, темно-синее в белых барашках, и на рыбачьи лодки, бороздившие его по всем направлениям, волоча наживку для дельфинов. Человек шесть рыбаков сидели в баре да еще сколько-то за двумя столами на террасе. Это были рыбаки, которым вчера сильно подвезло с уловом, или которые считали, что погода и течение еще удержатся, и поэтому решили остаться на рождество дома.

Никто из них не ходил в церковь, даже на рождество, и никто не одевался, как полагалось по рыбацкой моде. Это были самые непохожие на рыбаков рыбаки, хоть они и были из самых лучших. Они ходили в старых соломенных шляпах, а то и вовсе без шляп. Одевались во всякое старье и ходили если не босиком, то в простых башмаках. Рыбака всегда можно было отличить от деревенского — guajiro [1],— потому что деревенские, приезжая в город, надевали особого покроя складчатые рубашки, широкие шляпы, узкие брюки и сапоги для верховой езды и почти все имели при себе мачете, а рыбаки носили любые ошметки и всегда были веселы и уверены в себе. Деревенские, наоборот, были очень сдержанны и застенчивы, пока, конечно, не напивались. Но по чему можно было сразу безошибочно узнать рыбака, это по его рукам. У стариков руки были узловатые и темные, усеянные коричневыми пятнами от солнца, а пальцы и ладони все в глубоких ранах и в шрамах от работы с ручной крючковой снастью. У молодых руки не были узловатые, но коричневые пятна были и у них, и глубокие шрамы тоже; и волосы на руках и предплечьях у всех, кроме самых темных брюнетов, были выбелены соленой водой и солнцем.

Томас Хадсон вспоминал, как в это рождественское утро — утро первого военного рождества — хозяин бара спросил его: «Не хотите ли креветок?» — и принес большое блюдо с горой свежесваренных креветок, и поставил его на стойку, а сам стал резать тонкими ломтиками лимон и раскладывать ломтики на блюдце. Креветки были большие и розовые, и усы у них свисали чуть не на фут со стойки, и хозяин взял одну и расправил усы до полной длины и сказал, что они длиннее, чем даже у японского адмирала.

Томас Хадсон оторвал японскому адмиралу шейку, затем большими пальцами взломал скорлупу у него на животе и высосал всю креветку, и она была такая свежая и шелковистая на зубах и такая ароматная оттого, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и черным перцем-горошком,— Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал, ни в Малаге, ни в Таррагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему — бегом промчался через весь бар — и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку.

— Они слишком большие для тебя, кискин,— сказал Томас Хадсон. Но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухватив его, побежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть быстро и жадно.

Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно-белой расцветкой — белая грудь, и белые передние лапки, и черная полу-

[1] Кубинский крестьянин *(исп.)*.

маска на лбу и вокруг глаз,— наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец, чей это котенок.

— Захотите, ваш будет.

— У меня дома уже есть две. Персидские.

— Подумаешь, важность — две! Возьмите еще и этого. Чтобы в их будущем потомстве было немножко кохимарской крови.

— Папа, можно нам его взять? — спросил один из его сыновей, о которых он больше никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступенькам с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбачьи лодки — как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанные кругами снасти, сваливают рыбу на берег.— Папа, пожалуйста, возьмем его! Он такой красивый.

— Ты думаешь, ему хорошо будет вдали от моря?

— Конечно, будет. А тут ему скоро станет очень плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие, эти бродячие коты? А когда-то, наверно, были такие же, как он.

— Возьмите его,— сказал хозяин.— Ему будет хорошо на ферме.

— Слушай, Томáс,— заговорил один из рыбаков, который, сидя за столом, прислушивался к их разговору.— Если тебе нужны коты, так я могу достать тебе ангорского, настоящего из Гуанабакоа. Настоящего ангорского.

— А он точно мужского пола?

— Не меньше, чем ты,— сказал рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки.

— Только у него там шерсть.— Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось.

— Папа, ну, пожалуйста, возьмем этого кота,— сказал мальчик.— Он мужского пола.

— Ты уверен?

— Я знаю, папа. Знаю.

— Ты и о персидских говорил то же самое.

— Персидские другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа. Знаю точно.

— Слушай, Томáс. Хочешь тигрового ангорского из Гуанабакоа? — спросил рыбак.

— Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли?

— При чем тут колдовство? Этот кот никогда даже не слыхал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты.

— *Es muy posible* [1],— сказал другой рыбак, и они опять засмеялись.

— Сколько же он стоит, этот знаменитый кот? — спросил Томас Хадсон.

— Нисколько. Это подарок. Настоящий ангорский тигр. Это рождественский подарок.

— Иди сюда, в бар, выпьем, и ты мне его опишешь.

Рыбак поднялся по ступенькам. На нем были очки в роговой оправе и линялая чистая голубая рубашка, которая выглядела так, как будто еще одной стирки ей не выдержать. На спине между лопатками она стала тоненькой, как кружево, и ткань уже начинала расползаться. Штаны были тоже линялые, цвета хаки, и даже на рождество он был босиком. Лицо и руки у него загорели до черноты. Он положил свои руки, все в шрамах, на прилавок и сказал хозяину:

— Виски с лимонадом.

— Меня от лимонада тошнит,— сказал Томас Хадсон.— Мне с минеральной.

— А мне полезно с лимонадом,— сказал рыбак.— Я люблю «Кана-

[1] Это очень возможно *(исп.)*.

да Драй». А когда без лимонада, то мне противен вкус виски. Да ты послушай меня, Томáс. Это же серьезный кот.

— Папа,— сказал мальчик,— пока вы с этим господином не начали пить, скажи, мы возьмем этого котенка?

Он привязал пустую скорлупу от креветки к обрывку белой хлопковой веревочки и играл с котенком, а тот, встав на задние лапки, словно вздыбленный геральдический лев, бил передними по этой приманке, которую мальчик раскачивал перед ним.

— Тебе очень хочется его взять?

— Ты же знаешь, что хочется.

— Ну возьми.

— Вот спасибо, папа. Большое тебе спасибо. Я его отнесу в машину и приласкаю, чтобы он скорее привык.

Томас Хадсон видел, как мальчик шел через дорогу, прижимая котенка к груди, и как потом вместе с котенком уселся на переднем сиденье. Верх машины был откинут, и Томас Хадсон из бара хорошо видел мальчика в ярком солнечном свете, с примятыми ветром каштановыми волосами. Но котенка ему не было видно, потому что мальчик посадил его на сиденье, а сам пригнулся, прячась от ветра, и гладил котенка.

Теперь мальчика уже не было в живых, а котенок вырос и стал уже старым котом, и пережил мальчика. А меня с Бойзом, думал Томас Хадсон, связывает теперь такое чувство, что ни один из нас не хотел бы пережить другого. Не знаю, думал он, часто ли случалось, чтобы человек и животное любили друг друга настоящей любовью. Наверно, это очень смешно. Но мне не кажется смешным.

Нет, думал Хадсон, на мой взгляд, это не более смешно, чем то, что кот мальчика пережил его самого. Много, конечно, было нелепого, как например, когда во время игры Бойз сперва рычал, потом испускал вдруг этот трагический крик и весь цепенел, припав к Томасу Хадсону длинным своим телом. Слуги рассказывали, что иногда после отъезда Томаса Хадсона кот по нескольку дней ничего не ел, но голод в конце концов брал свое. Хотя бывали дни, когда он пытался жить охотой и не приходил кормиться вместе с другими котами, но в конце концов все-таки приходил — первый выскакивал из комнаты через спины других, толпящихся у двери котов, как только эту дверь растворял слуга, несший им поднос с мясным фаршем; и тут же вылетал обратно, опять через спины других котов, суетившихся вокруг своего кормильца.

Ел он всегда очень быстро и, кончив, сейчас же стремился уйти из кошачьей комнаты. Ни к кому из этих котов он не питал привязанности.

Томас Хадсон уже давно утвердился в мысли, что Бойз считает себя человеческим существом. Он с ним не выпивал, как мог бы сделать медведь, но ел все то же, что и он, даже такие вещи, до которых другой кот и не дотронулся бы. Томас Хадсон помнил, как однажды за завтраком в прошлом году он предложил Бойзу ломтик свежего охлажденного манго. Бойз съел его с наслаждением, и с тех пор, пока Томас Хадсон оставался на берегу и манго еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот — они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки, и Томас Хадсон придумывал, что надо бы сделать этакую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот мог сам брать ломтики и есть не спеша.

Как-то осенью, когда на аллигаторовых грушах—aguacates по-местному,— на этих больших темно-зеленых деревьях поспели первые плоды, тоже зеленые, только чуть более темные и блестящие, чем окружающая их листва, и Томас Хадсон — он в тот раз весь сентябрь оставался на берегу, занимаясь ремонтом катера перед поездкой на Гаити,— предложил Бойзу ложечку мякоти из середины плода, куда, на место вынутых зернышек, налито было немного уксуса и растительного масла, и кот съел и потом за каждой трапезой съедал половинку aguacate.

— Почему ты не влезешь на дерево и сам себе не достанешь? — спросил кота Томас Хадсон, когда они гуляли вместе по холмам, окружавшим его владения. Бойз, конечно, ничего не ответил.

Но однажды вечером Томас Хадсон все-таки обнаружил Боя на аллигаторовой груше, выйдя в сумерки погулять и посмотреть, как стаи черных дроздов тянутся в небе к Гаване, куда они каждый вечер слетались из всех окрестностей, с юга и востока, чтобы с шумом устраиваться на ночлег в ветвях испанских лавров на Прадо. Томас Хадсон любил смотреть, как дрозды взлетали из-за холмов, и первые летучие мыши появлялись из своих убежищ, и маленькие совки пускались в ночной полет, когда солнце садилось в море за Гаваной и на холмах зажигались огни. В тот вечер Бойз, почти всегда гулявший с ним, куда-то запропастился, и Томас Хадсон взял с собой Большого Козла, одного из сыновей Бойза, широкоплечего и широколицего, с толстой шеей и потрясающими усами, черного драчливого кота. Козел никогда не охотился. Он был боец и производитель, и дел ему хватало. Но он был большой комик, только не в том, что касалось его работы, и любил гулять, особенно если Томас Хадсон время от времени сильно пинал его ногой, так что он сразу валился на бок, после чего Хадсон ногой поглаживал ему живот. Можно было совершенно не бояться, что погладишь слишком сильно или слишком грубо; Козлу даже было безразлично — босой ли ногой его гладят или в башмаке.

Томас Хадсон нагнулся и похлопал его — Козел любил, чтобы его хлопали посильнее, как большого пса; но не успел он выпрямиться, как вдруг заметил Бойза высоко на аллигаторовой груше. Козел посмотрел вверх и тоже его увидел.

— Что ты там делаешь, безобразник? — крикнул ему Томас Хадсон.— Или ты уже приспособился есть их прямо с дерева?

Бойз поглядел вниз и увидел Козла.

— Спускайся скорее и пойдем гулять,— сказал Томас Хадсон.— Я дам тебе aguacate на ужин.

Бойз посмотрел на Козла и ничего не сказал.

— Ты там такой красивый среди этих темных листьев. Что ж, оставайся, если хочешь.

Бойз теперь смотрел куда-то в сторону, и Томас Хадсон вместе с черным котом пошли дальше, пробираясь между деревьями.

— Спятил он, что ли, ты как думаешь, Козел? — спросил Томас Хадсон. И потом, желая сделать приятное коту, добавил: — Помнишь, как мы тогда ночью не могли найти лекарство?

Лекарство было магическим словом для Козла, и едва он услышал его, как повалился на бок, чтобы его погладили.

— Помнишь лекарство? — спросил его Томас Хадсон, и этот большой грубый кот стал извиваться в приступе буйного восторга.

Лекарство стало для него магическим словом после того, как однажды вечером Томас Хадсон напился, но напился по-настоящему, и Бойз не захотел спать у него в постели. Принцесса тоже никогда не спала у него, когда он напивался, и Вилли тоже. Никто не хотел у него спать, когда он напивался, только Одинокий — так раньше называли Большого Козла — и Брат Одинокого, который, собственно, был его сестрой и ужасно незадачливой кошкой с бездной всяких горестей и редкими минутами восторга. А Козел даже больше любил Хадсона пьяным, чем трезвым, или, может быть, ему так казалось, потому что только тогда ему удавалось пробраться в столь желанную для него постель. Но в тот вечер Томас Хадсон был пьян по-настоящему, проведя до того уже четыре дня на берегу. Началось это в полдень во «Флоридите», где он сперва пил с кубинскими политиками, забегавшими перехватить чего-нибудь наскоро, потом с владельцами рисовых и сахарных плантаций, с кубинскими правительственными чиновниками, выпивавшими в свой

обеденный перерыв, со вторым и третьим секретарями посольства, которые эскортировали кого-то во «Флоридиту», с неизбежными агентами ФБР, любезными и так усердно работавшими под обыкновенных, средних, нормальных молодых американцев, что их профессия была всякому ясна не хуже, чем если бы они носили ведомственный значок на своих белых полотняных или из индийской ткани костюмах. Он пил двойные замороженные дайкири, они не отдавали алкоголем, но зато выпивший чувствовал себя так, как будто совершал скоростной спуск на лыжах по глетчеру в облаке снежной пыли, а после шестого или восьмого стакана так, как будто совершал этот спуск без каната. Зашло несколько знакомых Томасу Хадсону флотских, и он пил с ними, а потом несколько из так называемого «хулиганского флота», или береговой охраны, и он пил с ними тоже. Но это было как-то уж чересчур близко к его работе, а он о ней-то и хотел забыть и поэтому пошел в дальний конец бара, где сидели старые почтенные шлюхи, шикарные старые шлюхи, с которыми всякий завсегдатай «Флоридиты» хоть разок да переспал за последние двадцать лет. Там он уселся на стул, съел сандвич и выпил еще несколько двойных замороженных.

Когда он в этот вечер вернулся на ферму, он был очень пьян, и ни один кот не хотел спать с ним, кроме Козла, у которого не было ни повышенной чувствительности к запаху рома, ни предубеждения против пьянства, и ему даже очень нравился роскошный запах шлюх, густой и сдобный, как хороший фруктовый рождественский торт. Оба они крепко заснули,— Козел громко мурлыча, всякий раз как просыпался,— и под конец Томас Хадсон, проснувшись и вспомнив, сколько он выпил, сказал Козлу:

— Надо нам принять лекарство.

Козлу понравился звук этого слова, символизирующего всю роскошную жизнь, коей он сейчас был участником, и он замурлыкал еще громче.

— Где лекарство, Козел? — спросил Томас Хадсон. Он включил прикроватную лампочку для чтения, но она не загорелась. Этим штормом, который держал его на берегу, возможно, сорвало провода, или произошло короткое замыкание, до сих пор не исправленное, и тока не было. Он протянул руку к ночному столику у кровати, чтобы взять большую двойную капсулу секонала, последнюю, какая у него оставалась,— проглотив ее, он мог бы опять заснуть и утром проснуться без похмелья. Шаря в темноте, он нечаянно сбросил ее со стола и теперь не мог найти. Он шарил и шарил по полу, но найти не мог. Спичек возле кровати он не держал, потому что был некурящий, а электрическим фонариком в его отсутствие пользовались слуги, и батареи израсходовались.

— Козел,— сказал он.— Мы должны найти лекарство.

Он встал с постели, и Козел тоже спрыгнул на пол, и они вдвоем стали искать. Козел залез под кровать, не зная, что, собственно, он ищет, но стараясь изо всех сил, и Томас Хадсон сказал ему:

— Лекарство, Козел. Ищи лекарство.

Козел издавал под кроватью хныкающие крики и рыскал по всем направлениям. Наконец, он вышел мурлыча, и Томас Хадсон, ощупывая пол, наткнулся рукой на капсулу. Она была пыльная и вся в паутине. Кот отыскал ее.

— Ты нашел лекарство,— сказал Козлу Томас Хадсон.— Ты же чудо-кот.

Держа капсулу в ладони, он обмыл ее водой из графина, стоявшего у кровати, потом проглотил и запил водой, а после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать, и хвалил Козла, а большой кот мурлыкал в ответ на похвалы, и с тех пор «лекарство» стало для него магическим словом.

В море Томас Хадсон, наряду с Бойзом, думал и о Козле. Но в

Козле не было ничего трагического. Ему случалось попадать в тяжелые передряги, но все у него было цело, и даже избитый в самых страшных боях, он никогда не выглядел жалким. Даже в тот раз, когда он не смог дойти до дома и лежал под манговым деревом возле террасы, задыхаясь и настолько мокрый от пота, что видно было, какие у него широкие плечи и какие узкие и худые бока, лежал, не в силах пошевелиться или поглубже втянуть воздух в легкие,— даже тогда он не был жалким. У него была широкая львиная голова, и, как лев, он никогда не признавал себя побежденным. Он был привязан к Томасу Хадсону, и Томас Хадсон был привязан к нему, уважал его и любил. Но о настоящей любви между ними, как это было у Томаса Хадсона с Бойзом, тут, конечно, не могло быть и речи.

Бойз вел себя все хуже и хуже. В тот день, когда Томас Хадсон и Козел застали его на аллигаторовой груше, он пропадал до ночи, и его еще не было, когда Томас Хадсон лег спать. Томас Хадсон спал тогда на большой кровати в дальней комнате, где во всех трех стенах были большие окна, и по ночам пассатный ветер продувал ее насквозь. Просыпаясь ночью, Томас Хадсон прислушивался к голосам ночных птиц, так и на этот раз он лежал без сна и слушал, когда Бойз вспрыгнул из сада на оконный карниз. Бойз был молчаливый кот, но вспрыгнув на карниз, он сейчас же позвал Томаса Хадсона, и тот подошел к окну и отворил его. Бойз соскочил на пол. Он держал в зубах двух кустарниковых крыс.

В лунном свете, который падал в окно, протянув тень от ствола сейбы и поперек широкой белой постели, Бойз начал играть с кустарниковыми крысами. Он прыгал и вертелся, гонял их лапами, как мяч в крикете, а потом уносил одну в сторону и, припав сперва к полу, стремительно кидался затем на другую — играл так же азартно, как когда был котенком. Наконец он унес обеих крыс в ванную, и Томас Хадсон ощутил, как чуть подался тюфяк под тяжестью, когда кот прыгнул на постель.

— Так, значит, ты вовсе не ел манго с дерева? — спросил он у кота. Бойз потерся головой о его голову.— Ты, значит, охотился и оберегал наши владенья? Мой старый кот и брат Бойз. А с этими что ты теперь сделаешь — съешь их?

Бойз только терся о Томаса Хадсона и мурлыкал своим беззвучным мурлыканьем, а потом, уставший после охоты, он заснул. Но спал беспокойно и утром не выказывал никакого интереса к этим дохлым крысам.

Уже светало, и Томас Хадсон, который так и не смог заснуть, следил, как нарождается свет и серые стволы королевских пальм понемногу выступают из серой предутренней мглы. Сперва он видел только стволы и абрис крон. Потом, когда стало посветлее, можно было разглядеть, что кроны раскачиваются на ветру, а еще позже, когда из-за холмов начало подниматься солнце, стволы пальм уже были беловато-серыми, их мечущиеся ветки ярко-зелеными, трава на холмах бурой после зимней засухи, а дальние холмы с их известняковыми вершинами, казалось, были увенчаны снежными гребешками.

Он встал с пола, надел мокасины и старый макинтош и, не потревожив Бойза, спавшего свернувшись на одеяле, прошел из большой комнаты в столовую и оттуда на кухню. Кухня была в дальнем конце северного крыла дома, а снаружи ветер так и свирепствовал, колотя голыми ветвями деревьев по стенам и окнам. Ледник был пуст, и в стенном кухонном шкафу тоже ничего не было, кроме приправ, банок с американским кофе, с липтоновским чаем и еще арахисового масла для стряпни. Повар-китаец каждое утро покупал на рынке дневной за-

пас продовольствия. Томаса Хадсона не ждали, и китаец, конечно, уже ушел на рынок за провизией для слуг. Придет кто-нибудь из них, подумал Томас Хадсон, пошлю его купить фруктов и яиц.

Он вскипятил воды и заварил чай, налил себе чашку и, поставив на блюдце, унес обратно в большую комнату. Солнце уже стояло высоко, в комнате было светло, и, сидя в большом кресле, он пил горячий чай и при свежем и ярком зимнем солнечном свете разглядывал висевшие по стенам картины. Пожалуй, стоило бы некоторые перевесить, подумал он. Самые лучшие висят в спальне, а я теперь в спальне никогда и не бываю.

Если смотреть из этого кресла, комната кажется прямо огромной после тесноты на катере. Он не знал, какой она длины. То есть знал, когда заказывал циновку, а потом забыл. Но какая бы она ни была длинная, а в это утро она казалась еще в три раза длиннее. Есть такие мелочи, которые всегда замечаешь, когда только что вернулся на берег,— например, вот это и то, что в леднике пусто. А вот чувство, что пол качается, как качался катер на высокой беспорядочной зыби, которую развел норд-вест, дуя почти с ураганной силой наперерез мощному течению, это чувство теперь совсем исчезло. Оно было теперь так же далеко от него, как и само бурное море. Море можно было увидеть и отсюда, если из открытых дверей белой комнаты или из окон смотреть на облепленные деревьями ближние холмы и прорезавшую их шоссейную дорогу, потом на дальние голые холмы, некогда служившие городу укреплением, потом на гавань и на белизну города за ней. Но море, если смотреть на него так, было всего лишь синевой за далекой белой россыпью города. Оно было так же далеко от него сейчас, как все то, что ушло в прошлое, и раз теперь даже ощущение качки не напоминает о нем, то пусть так все и остается, по крайней мере до тех пор, пока не придет время снова отправляться в плавание.

Пусть себе фрицы ближайшие четыре дня владеют морем, думал он. Интересно, подплывают ли к ним рыбы в местах погружения и играют ли кругом в такую погоду, как сейчас? До какой глубины доходит волнение? В этих водах на любой глубине водится рыба. И рыбам, наверно, очень интересно. У некоторых подлодок дно, должно быть, очень грязное, и рыбы непременно вертятся. Впрочем, там, может быть, оно и не очень грязное, не в таких местах они ходят. Но рыбы все равно будут вертеться вокруг них. На мгновение он представил себе, каково сегодня в открытом море — как там ходят горы синей воды, и ветер рвет белую пену с гребешков,— а затем отстранил все это от себя.

Кот, спавший на одеяле, проснулся, когда Томас Хадсон протянул руку и погладил его. Он зевнул, вытянул передние лапы, потом снова свернулся калачиком.

— Никогда не было у меня девушки, которая бы просыпалась тогда же, когда и я,— сказал Томас Хадсон.— А теперь даже и кота такого у меня нет. Ладно уж, спи дальше, Бой. Тем более, что все это вранье. Была у меня такая девушка, которая просыпалась, когда и я, и даже раньше меня. Ты ее не знаешь, ты никогда не знал сколько-нибудь путной женщины. Не везло тебе, Бой. Ну и к черту все это.

Знаешь что? Надо бы нам найти хорошую женщину. Мы могли бы оба в нее влюбиться. Если бы ты мог ее содержать, я б тебе ее уступил. Хотя, правда, я никогда не видал такой женщины, чтобы долго могла питаться кустарниковыми крысами.

Чай на время притупил его голод, но теперь он опять был очень голоден. Будь он сейчас в море, он бы уже час назад плотно позавтракал, а до того, наверно, еще выпил кружку чая. На обратном пути стрянать нельзя было из-за качки, и Томас Хадсон, стоя на мостике, съел парочку сандвичей с солониной и толстыми ломтиками сырого лука. Но сейчас он уже опять был голоден и злился, что в кухне не нашлось

никакой еды. Надо мне купить консервов и держать их здесь на такой случай, подумал он. Но пришлось бы запирать их на ключ, чтобы слуги не извели все раньше времени, а я это ненавижу — держать в доме еду под замком.

В конце концов он налил себе шотландского виски с водой, сел в кресло и принялся читать накопившиеся газеты, чувствуя, как от выпивки затуманивается голод и смягчается нервное беспокойство, всегда терзавшее его в первое время по возвращении домой. Можешь сегодня напиться, если захочешь, сказал он себе. После того как сдашь рапорт. Если будет такой же холодище, народу во «Флоридите» соберется немного. А все-таки приятно будет опять там посидеть. Он колебался, где ему пообедать, там или лучше в «Пасифико»? В «Пасифико» тоже будет холодно, но я надену свитер и пальто, подумал он, и там есть столик под стеной возле стойки, где мы будем защищены от ветра.

— Жаль, ты не любишь ездить,— сказал он коту.— А то мы могли бы прокатиться в город.

Бойз не любил ездить. Он каждый раз думал, что его собираются везти к ветеринару. А ветеринаров он до сих пор боялся. Вот Козел, тот чувствовал бы себя в машине как дома. И на катере он вел бы себя как заправский моряк, если бы только не брызги. Надо бы мне пойти выпустить их всех. Жаль, я не мог привезти им какой-нибудь подарок. Вот съезжу в город, куплю им кошачьей мяты, и пусть Козел, и Вилли, и Бой будут сегодня вечером от нее пьяны. Кажется, еще есть немного кошачьей мяты в буфете у кошек в комнате, если только она совсем не пересохла и не потеряла силу. В тропиках она очень быстро теряет силу, а которая выращена в саду, в той и вовсе никакой силы нет. Жаль, у нас, не-кошек, нет ничего столь же безвредного, как кошачья мята, и столь же сильно действующего. Почему ж не выдумали до сих пор такого снадобья, от которого можно было бы так же хорошо пьянеть?

Кошки очень странно относятся к кошачьей мяте. Бойз, Вилли, Козел, Брат Одинокого, Малыш, Меховик и Особик —все были настоящие наркоманы, Принцесса — так слуги прозвали Бэби, голубую персидскую кошечку,— никогда к ней даже не притрагивалась; то же самое и Дядя Волчик, серый персидский кот. У Дяди Волчика, который был столь же глуп, сколь красив, это могло происходить от тупости или косности — он никогда не решался сразу попробовать что-нибудь непривычное и без конца подозрительно обнюхивал всякую новую еду, пока ее не съедали остальные кошки и ему ничего не оставалось. Но Принцесса, бабушка всех этих котов, интеллигентная, деликатная, очень принципиальная, аристократичная и необыкновенно ласковая, не выносила даже запаха кошачьей мяты и бежала от нее, точно страшась гнусного порока. Принцесса была такая деликатная и аристократичная кошечка, дымчато-серая с золотыми глазами и утонченными манерами, и держалась с таким достоинством, что в свои периоды течки она могла служить иллюстрацией, объяснением и наконец обличением тех скандальных историй, что случаются иной раз в королевских фамилиях. После того как Томас Хадсон повидал Принцессу во время ее течки — не в первый трагический раз, но когда она уже была взрослой и красавицей, и на его глазах вдруг сменила все свое достоинство и уравновешенность на самую безудержную распущенность,— он понял, что должен хоть раз до смерти изведать любовь какой-нибудь настоящей принцессы, столь же прелестной, как эта.

Она должна быть такой же степенной, и деликатной, и прекрасной, как Принцесса, пока они еще только будут влюбляться друг в друга, а потом, в постели, такой же бесстыжей и распущенной. Эта принцесса иногда снилась ему по ночам, и он понимал, что никакая действительность не может быть лучше его снов, но он все-таки жаждал, чтобы

они сбылись и стали правдой, и был совершенно уверен, что так оно и будет, если только есть на свете такая принцесса.

Беда в том, что за исключением итальянских принцесс, которые не шли в счет, единственная принцесса, с которой у него завязалась любовь, была почти что дурнушкой — с толстоватыми щиколотками и не очень стройными ногами. Правда, зато у нее была нежная кожа северянки и блестящие, хорошо ухоженные волосы, и ему нравилось ее лицо, и ее глаза, и она вся, и так приятно было держать ее руку в своей, когда они стояли вдвоем на палубе парохода, идущего по каналу навстречу огням Исмаилии. Они очень нравились друг другу и были уже очень близки к тому, чтобы влюбиться, настолько близки, что ей приходилось следить за интонациями своего и его голоса, когда они бывали на людях; настолько близки, что сейчас, когда они держались за руки в темноте палубы, он ясно и без всяких сомнений чувствовал, что между ними происходит. Чувствуя это и будучи в том уверен, он сказал ей об этом и кое о чем ее спросил, так как оба они стремились к полной откровенности между собой.

— Я бы очень хотела,— ответила она.— Как вы знаете. Но я не могу. Как вы тоже знаете.

— Но можно же что-то устроить,— сказал Томас Хадсон.— Всегда можно что-то устроить.

— Вы думаете — в спасательной шлюпке? — сказала она.— Мне не хотелось бы в спасательной шлюпке.

— Слушайте...— начал он, и положил руку ей на грудь, и почувствовал, как грудь приподнялась, оживая под его пальцами.

— Как хорошо,— сказала она.— Но вы знаете, их две.

— Знаю.

— Ох, как чудно,— сказала она.— Знаете, Хадсон, я люблю вас. Я только сегодня догадалась.

— Как?

— Просто догадалась, и все. Не так уж это было трудно. А вы ни о чем не догадались?

— Мне не надо было догадываться,— солгал он.

— Тем лучше,— сказала она.— Но спасательная шлюпка не годится. Ваша каюта не годится. И моя тоже.

— Может быть, пойти в каюту барона?

— Но у барона всегда кто-нибудь есть в каюте. Барон — развратник. Правда интересно, что у нас тут есть развратник барон, совсем как в старину?

— Да,— сказал он.— Но ведь я могу раньше удостовериться, что там никого нет.

— Нет. Это не годится. Просто люби меня сейчас крепко-крепко. Чувствуй, что любишь меня изо всех сил, и держи меня, как сейчас.

Он послушался и потом прижал ее к себе еще крепче.

— Нет,— сказала она.— Так не надо. Так я не выдержу.

Потом она сама прижалась к нему и спросила:

— А тебе ничего? Ты выдержишь?

— Да.

— Хорошо. Я буду крепко тебя держать. Нет. Не целуй меня. Если ты станешь целовать меня здесь на палубе, так тогда и все остальное можно.

— А почему бы и нельзя?

— Где, Хадсон? Где? Скажи мне на милость, где?

— Я скажу тебе зачем.

— Насчет «зачем» я и сама знаю. Где, вот в чем вопрос.

— Я тебя люблю.

— Да. Я тоже тебя люблю. И ничего хорошего тут не выйдет, кроме того, что мы оба любим друг друга, но и это, конечно, хорошо.

— Давай сядем.

— Нет. Будем стоять здесь, как сейчас.

— Тебе приятно?

— Да. Очень. Ты сердишься?

— Нет. Но нельзя же так до бесконечности.

— Хорошо,— сказала она и, повернув голову, быстро его поцеловала, а потом опять стала глядеть вдаль, в пустыню, мимо которой они скользили в ночи. Была зима, и ночь была прохладная, и они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и смотрели вдаль.— Ну, теперь можно. В конце концов норковая шуба в тропиках тоже на что-нибудь годится.

Огни теперь были уже гораздо ближе, а берег канала и вся земная даль за ним по-прежнему скользили мимо.

— Тебе сейчас стыдно за меня? — спросила она.

— Нет. Я очень тебя люблю.

— Но это плохо для тебя, и я эгоистка.

— Нет. Я не думаю, что это плохо для меня, и ты не эгоистка.

— Ты только не считай, что это все было зря. Это не было зря. Для меня нет.

— Ну тогда, значит, и не зря. Поцелуй меня.

— Нет. Не могу. Ты только обними меня покрепче.

Позже она сказала:

— А тебе не интересно, люблю ли я его?

— Нет. Он очень гордый.

— Я открою тебе один секрет.

Она открыла ему этот секрет, который не оказался для него такой уж неожиданностью.

— Это очень дурно.

— Нет,— сказал он.— Это забавно.

— Ох, Хадсон,— сказала она,— я очень тебя люблю. Ты теперь пойди отдохни, а потом возвращайся сюда. Не распить ли нам бутылку шампанского в «Рице»?

— Это будет чудно. А как насчет твоего супруга?

— Он все еще играет в бридж. Я вижу его в окно. А когда кончит, пойдет нас искать и тоже выпьет с нами.

И они пошли в бар «Рица», который был на корме, и выпили бутылку сухого «Перрье-Жуэ» 1915 года, потом еще одну, а немного погодя к их столику подсел и принц. Принц был очень любезен и нравился Хадсону. Он с женой, как и Хадсон, охотился в Восточной Африке, и они встречались в клубе Мутайга и у Торра в Найроби, и на одном пароходе выехали из Момбасы. Пароход этот совершал кругосветные рейсы и делал остановку в Момбасе, перед тем как следовать дальше по своему маршруту — сперва Суэц, потом Средиземное море и, как конечный пункт, Саутхемптон. Это был пароход суперлюкс, каждая каюта состояла из нескольких комнат. Он весь был запродан под круиз, как это делалось в те годы, но несколько пассажиров сошли на берег в Индии, и один из тех господ, которые все всегда знают, сказал Хадсону в клубе, что на пароходе есть пустые каюты и можно получить их сравнительно недорого. А Хадсон сказал принцу и принцессе, которые сохранили очень неприятные воспоминания о том, как они летели в Кению на одном из «хэндли пэйджей», тогда еще весьма тихоходных, и о том, какой это был долгий и утомительный перелет. Поэтому они пришли в восторг и от самой идеи морского путешествия, и от умеренности платы.

— Это будет чудесная поездка,— сказал принц.— И какой вы молодец, что все это разузнали. Я завтра же утром позвоню в пароходство.

Поездка и в самом деле оказалась чудесной. Индийский океан был синий-пресиний, пароход медленно вышел из нового порта, и Африка осталась позади — старый белый город с большими деревьями и со всем

зеленым пространством за ним — и волны, разбивавшиеся о риф, когда пароход шел мимо, а потом он начал набирать скорость и вышел в открытый океан, и летучие рыбы стали вспарывать воду впереди корабля. Африка превратилась в длинную голубую черту на горизонте, и стюард уже бил в гонг, а Томас Хадсон, принц с принцессой и развратник барон, который был другом их дома и жил где-то в Европе, сидели вчетвером в баре и пили сухое мартини.

— Не обращайте внимания на этот гонг,— сказал барон.— Позавтракаем в «Рице». Согласны?

На пароходе Томас Хадсон не спал с принцессой, хотя ко времени прибытия в Хайфу все то, что они делали, привело их в состояние какого-то экстаза отчаяния, такое острое, что их следовало бы обязать по суду спать друг с другом, пока хватит сил,— просто ради успокоения нервов, если не ради чего другого. Вместо этого они решили из Хайфы съездить автомобилем в Дамаск. На пути туда Томас Хадсон сидел впереди рядом с шофером, а супруги сзади. Томас Хадсон повидал небольшой кусочек Святой земли и небольшой кусочек страны, где подвизался Т. Э. Лоуренс, а на обратном пути Томас Хадсон с принцессой сидели сзади, а принц впереди, рядом с шофером. На обратном пути Томас Хадсон видел перед собой главным образом затылок принца и затылок шофера, и только сейчас он припомнил, что дорога из Дамаска в Хайфу, где стоял их пароход, шла вдоль реки, и в одном месте высокие берега сближались, образуя теснину, узкую, как на мелкомасштабной рельефной карте, и там посредине реки был островок. Почему-то из всего виденного за эту поездку Томас Хадсон лучше всего запомнил этот островок.

Поездка в Дамаск мало чему помогла, и когда они уходили из Хайфы, и пароход взял направление на Средиземное море, и Хадсон с принцессой стояли на палубе, где было холодно от резкого норд-оста, разводившего такую волну, что корабль уже начинало медленно покачивать, она сказала ему:

— Надо что-нибудь сделать.

— А если говорить начистоту?

— Пожалуйста. Я хочу лечь в постель и не вставать неделю.

— Неделя — это не так много.

— Ну месяц. Но нужно, чтобы это было сейчас, а сейчас мы не можем.

— Мы можем пойти в каюту барона.

— Нет. Я хочу, чтобы это было там, где мы сможем ни о чем не тревожиться.

— Как ты теперь себя чувствуешь?

— Как будто я схожу с ума и уже довольно далеко зашла по этой дорожке.

— В Париже мы сможем любить друг друга в постели.

— А как же я уйду из дому? У меня нет опыта, я не знаю, как это сделать.

— Скажешь, что хочешь походить по магазинам.

— Но ходить по магазинам тоже надо с кем-нибудь.

— Ну и пойди с кем-нибудь. Разве нет у тебя никого, кому ты можешь довериться?

— Есть, конечно. Но мне так ужасно-ужасно не хотелось бы этого делать.

— Ну, тогда не делай.

— Нет. Это нужно. Я понимаю, что нужно. Но от этого не легче.

— Ты разве никогда до сих пор ему не изменяла?

— Никогда. И думала, что никогда не изменю. Но теперь я только этого и хочу. Только мне горько от того, что кто-то чужой будет знать.

— Мы что-нибудь придумаем.

— Пожалуйста, обними меня и прижми к себе крепко-крепко.— сказала она.— Не будем ни говорить, ни думать, ни беспокоиться. Только прижми меня крепко и очень меня люби, потому что мне все теперь больно.

Немного погодя он сказал ей:

— Слушай, это всякий раз будет так же плохо для тебя, как сейчас. Ты не хочешь ему изменять и не хочешь, чтобы кто-нибудь знал. Но ведь это же неизбежно.

— Я хочу этого. Но не хочу обижать его. Но я должна. Это уже больше не в моей воле.

— Ну, так пусть это будет. Сейчас.

— Но сейчас это очень опасно.

— Неужели ты думаешь, что хоть кто-нибудь на этом пароходе, кто нас видел и слышал и знает, хоть на секунду поверит, что ты еще не спала со мной? Да и все, что было до сих пор, разве оно уж так отличается от того?

— Конечно отличается. Большая разница. От того, что было, не может быть детей.

— Ты неподражаема,— сказал он.— Честное слово.

— Но если будет ребенок, я буду только рада. Он очень хочет ребенка, да вот не получается. Я пересплю с ним сейчас же после, и он никогда не узнает, что это наш.

— Я бы все-таки не стал спать с ним *сейчас же после.*

— Пожалуй. Ну, на следующую ночь.

— Как давно ты уже не спишь с ним?

— Я сплю с ним каждую ночь. Мне это нужно, Хадсон. Я все время такая возбужденная, что мне это нужно. И по-моему, это одна из причин, почему он теперь так поздно играет в бридж. Ему бы хотелось, чтобы я успела заснуть до его прихода. Он как будто стал немного уставать с тех пор, как мы с тобой влюбились друг в друга.

— А ты в первый раз влюбилась, с тех пор как за него вышла?

— Нет. Мне очень жаль, но нет, не в первый. Я уже несколько раз влюблялась. Но никогда ему не изменяла, даже мысли такой не было. Он такой добрый и мягкий, и такой хороший муж, и я так к нему привыкла, и он меня любит и всегда добр со мной.

— Пойдем лучше в «Рицу» и выпьем шампанского,— сказал Томас Хадсон. Чувства его становились какими-то противоречивыми.

В баре «Рица» было пусто, и официант принес им вино на один из столиков у стены. Теперь там всегда держали сухое «Перрье-Жуэ» 1915 года в баре на льду, и официант просто спросил:

— Вино то же самое, мистер Хадсон?

Они выпили друг за друга, и принцесса сказала:

— Я люблю это вино. А ты?

— Очень.

— О чем ты сейчас думаешь?

— О тебе.

— Понятно. Я тоже только о тебе и думаю. Но что ты думаешь обо мне?

— Я думаю, что нам надо сейчас пойти ко мне в каюту. Мы слишком много болтаем, и все ходим вокруг да около, и ни к чему не приходим. Сколько сейчас по твоим часам?

— Десять минут одиннадцатого.

— Сколько там у вас времени? — спросил он у официанта, который подавал им вино.

— Пятнадцать минут одиннадцатого, сэр.— Официант поглядел на часы в баре.

Когда он отошел и уже не мог их слышать, Томас Хадсон спросил:

— До которого часа он будет играть в бридж?

— Он сказал, что будет играть очень поздно и чтобы я его не ждала и ложилась спать.

— Допьем вино и пойдем ко мне. У меня там тоже есть немного.

— Хадсон, но ведь это же очень опасно.

— Всегда будет опасно,— сказал Томас Хадсон.— Но если топтаться на месте, как сейчас, это становится во много раз опаснее.

В эту ночь, когда потом он провожал ее до супружеской каюты, а она говорила, что не надо, а он ответил, что так будет гораздо естественнее, принц все еще играл в бридж. Потом Томас Хадсон пошел опять в «Рицу», где еще было открыто, и велел подать бутылку того же самого вина, и стал читать газеты, взятые на борт в Хайфе. При этом он вдруг сообразил, что ведь в первый раз за много дней у него нашлось время почитать газеты, и он чувствовал себя отдохнувшим и с большим удовольствием читал газеты. Потом, когда бридж кончился и принц, проходя мимо, заглянул в бар, Томас Хадсон предложил ему выпить стаканчик, перед тем как идти спать; сейчас принц нравился ему еще больше, чем всегда, он даже испытывал к нему какое-то родственное чувство.

Томас Хадсон и барон сошли с корабля в Марселе. Большинство других пассажиров решили ехать дальше, до конечного пункта, которым был Саутхемптон. В Марселе они с бароном обедали в маленьком кафе в Старом Порту, за выставленным на тротуар столиком, ели moules marinées [1] и попивали из графинчика vin rosé [2]. Томас Хадсон был очень голоден и вспомнил, что, в сущности, был почти все время голоден с тех самых пор, как они ушли из Хайфы.

Да я, кстати, и сейчас чертовски голоден, подумал он. Куда, к черту, они подевались, все эти слуги? Хоть бы один показался. А на дворе ветер становился все холоднее. Это напомнило Хадсону о том холодном дне в Марселе на крутой улочке, сбегавшей вниз к порту, когда они с бароном сидели за столиком кафе, подняв воротники своих пальто, и ели moules, разламывая их тонкие черные раковинки, которые надо было вылавливать из горячей наперченной молочной похлебки с плавающим по ней горячим растопленным маслом, пили вино из Тавеля, на вкус такое, каким Прованс был на взгляд, и смотрели, как ветер раздувает юбки рыбачек, и путешественниц, и дурно одетых портовых проституток, когда те взбирались по крутой вымощенной булыжником улочке, подхлестываемые мистралем.

— Вы очень нахальный молодой человек,— сказал барон.

— Хотите еще moules?

— Нет. Я хочу чего-нибудь посолиднее.

— Возьмем еще bouillabaisse[3]?

— Два супа?

— Я голоден. И мы теперь не скоро опять сюда попадем.

— Да, у вас есть-таки основания быть голодным. Ладно. Возьмем bouillabaisse и хороший château briand, это очень тонкое вино. Придется мне вас подкормить, распутник вы этакий.

— Что вы теперь думаете делать?

— Гораздо интереснее, что вы теперь думаете делать. Вы ее любите?

— Нет.

— А, ну слава богу. Для вас сейчас самое лучшее немедля это прикончить. Самое лучшее.

— Я обещал погостить у них на предмет рыбной ловли.

[1] Маринованные съедобные ракушки *(франц.)*.

[2] Розовое *(франц.)*.

[3] Суп с рыбой *(франц.)*.

— Будь это охота, так, может бы, стоило,— сказал барон.— А рыбная ловля, это очень холодно и очень неприятно. И нечего ей делать дурака из своего мужа.

— Он, наверно, все знает.

— Нет, не знает. Знает только, что она влюблена в вас. И ничего больше. Вы джентльмен, так что все, что вы сделаете, будет правильно. Но ей нечего делать из своего мужа дурака. Вы ведь на ней не женитесь?

— Нет.

— Да она все равно не могла бы выйти за вас замуж, и нечего делать его несчастным, разве только если вы ее любите.

— Нет. Не люблю. Теперь я это знаю.

— Ну так я думаю, что вам надо все это прикончить.

— Я тоже так думаю.

— Рад, что вы согласны со мной. А теперь скажите мне по правде, какая она?

— Очень мила.

— Но, но, не острите, пожалуйста. Я знал ее мать. Вот если б вы знали ее мать!..

— Сожалею, что не знал.

— Да уж, действительно стоит пожалеть. Не понимаю, как это вы спутались с такими добропорядочными и скучными людьми. Или, может быть, она вам нужна для вашей живописи или чего-нибудь подобного, а?

— Нет. Это так не делается. Она мне очень нравилась. И сейчас нравится. Но я не люблю ее, и вообще все это стало чересчур сложным.

— Очень рад, что вы со мной согласны. Ну, и куда же вы теперь думаете поехать?

— В Африке мы только что были.

— Совершенно верно. А почему бы вам не пожить немного на Кубе или на Багамских островах? И я бы, пожалуй, к вам присоединился, если бы достал денег дома.

— А вы надеетесь, что достанете?

— Нет.

— Я, пожалуй, поживу малость в Париже. Давно не бывал в большом городе.

— Ну, какой это город — Париж. Лондон — вот город!

— Хочу посмотреть, что делается в Париже.

— Это я вам все могу рассказать — что там делается.

— Да нет, я не о том. Хочу посмотреть картины, и кое с кем повидаться, и побывать на скачках — на Шестидневной и в Отейле, в Энгьене и в Ле Трамблэ. Почему бы и вам там не задержаться?

— Смотреть на скачки я не люблю. А играть — денег нет.

Да и к чему сейчас все это вспоминать, подумал он. Барон умер, фрицы заняли Париж, и у принцессы так и не родился ребенок. Не будет его крови ни в каком королевском доме, разве что когда-нибудь пойдет у него из носу кровь в Букингэмском дворце, что маловероятно. Если через двадцать минут никто из слуг не явится, я сам пойду в деревню и добуду яиц и немного хлеба. Это же черт знает что, быть голодным в собственном доме, думал он. Но уж очень я устал, идти не хочется.

Тут он услышал, что в кухне кто-то шевелится, и нажал кнопку зуммера, вделанную в крышку большого стола снизу, и услышал, как он дважды прожужжал в кухне.

Вошел младший слуга, похожий не то на молодого фавна, не то на святого Себастиана, с обычным своим вкрадчивым, хитрым и долготерпеливым выражением лица, и спросил:

— Вы звонили?

— А ты не слышал, что ли? Где Марио?
— Пошел за почтой.
— Как там кошки?
— Очень хорошо. Ничего нового. Большой Козел подрался с Эль Гордо. Но мы уже полечили ему раны.
— Бойз вроде бы похудел.
— Слишком много бегает по ночам.
— А как Принцесса?
— Немножко было загрустила. Но теперь уже опять хорошо ест.
— Трудно сейчас достать мясо?
— Мы достали в Которро.
— Как собаки?
— Все очень хорошо. У Негриты опять будут щенята.
— Не могли вы подержать ее взаперти?
— Мы пробовали, да она удрала.
— Еще что случилось?
— Ничего. Как вам ездилось?
— Без происшествий.

Пока он говорил — коротко и раздраженно, как всегда с этим мальчишкой, которого он уже дважды увольнял и каждый раз принимал обратно, когда приходил его отец просить за него,— в комнату вошел Марио, старший слуга, неся письма и газеты. Он улыбался, и темное его лицо было веселым, добрым и ласковым.

— Как съездили?
— Под конец потрепало немножко.
— *Figúrate.* Воображаю. Сильный был норд. Вы ели?
— Тут нечего было есть.
— Я принес яиц, молока и хлеба. *Tú*[1],— обратился он ко второму слуге.— Ступай приготовь завтрак для кабальеро. Как вам приготовить яйца?
— Как всегда.
— *Los huevos como siempre*[2],— сказал Марио.— Бойз вас встретил?
— Да.
— Он очень скучал в этот раз. Больше, чем всегда.
— А как остальные?
— Да ничего, только вот у Козла с Толстяком страшная была драка. И Принцесса погрустила немножко. Но потом это прошло.
— *¿Y tu?*[3]
— Я? — Он застенчиво улыбнулся, польщенный.— У меня все хорошо, благодарю вас.
— А как твое семейство?
— Все здоровы, благодарю вас. Папа уже опять работает.
— Очень рад.
— Он и сам рад. Кто-нибудь из ваших друзей ночевал здесь?
— Нет. Все поехали в город.
— Устали, наверно.
— Как не устать.
— Тут звонили разные господа. Я всех записал. Только вот поймете ли вы. Я никогда не знаю, как писать английские имена.
— Пиши как слышишь.
— Но я, пожалуй, и слышу не так, как вы.
— Полковник заходил?
— Нет, сэр.

---

[1] Ты *(исп.)*.
[2] Яйца, как обычно *(исп.)*.
[3] А ты? *(Исп.)*

— Принеси мне виски с минеральной водой,— сказал Томас Хадсон.— И, пожалуйста, молока для кошек.

— В столовую или сюда?

— Виски сюда. Молоко для кошек в столовую.

— Сию минуту,— сказал Марио. Он пошел в кухню и вернулся со стаканом виски.— Кажется, я сделал достаточно крепко,— сказал он.

Сейчас мне побриться или после завтрака, размышлял Томас Хадсон. Надо бы сейчас. Для того я и заказал виски, чтобы перетерпеть, пока буду бриться. Ладно, иди в ванную и побрейся. А, да ну его к черту, подумал он. Нет. Иди и сделай. Это полезно для поднятия морального состояния, и, кроме того, сразу же после завтрака надо будет ехать в город.

Он прихлебывал виски, пока намыливался и после того как намылился, и опять, когда вторично намыливался. Он три раза менял лезвия, с трудом одолевая двухнедельную щетину на щеках, на шее и подбородке. Кот ходил кругом и смотрел, как он бреется, и терся о его ноги. Потом вдруг бросился вон из комнаты, и Томас Хадсон понял, что он услыхал звяканье мисочек для молока о плиточный пол столовой. Томас Хадсон не слышал ни зова, ни этого звяканья, но Бойз услыхал.

Томас Хадсон кончил бриться и, налив себе в правую ладонь превосходного чистого девяностоградусного спирта, который здесь на Кубе стоил не дороже, чем в Штатах жалкий разбавленный спирт для растирания, смочил им лицо и прислушался к тому, как от жалящего холода успокаивается раздражение кожи после бритья.

Сахара я не ем, табака не курю, подумал он, но зато получаю удовольствие от продукции здешних винокуров.

Окна в ванной были до половины закрашены, так как мощенное камнем патио тянулось вокруг всего дома, но в верхней части окон стекло было чистое, и Томас Хадсон видел, как ветви пальм мечутся на ветру. Ого, ветер еще сильнее, чем я думал. А ведь скоро пора будет выходить в новый рейс. Впрочем, кто его знает. Все зависит от того, как поведет себя этот шторм, когда перекочует на северо-восток. До чего ж хорошо было эти последние несколько часов не думать о море. Ну, значит, так и будем продолжать. Не будем вовсе думать ни о море, ни о том, что на нем, или под ним, или как-либо с ним связано. Не стоит даже составлять списка всего того, чего мы о море думать не будем. Совсем ничего не будем о нем думать. Будем знать, что оно существует,— и хватит. И еще кое о чем тоже. Об этом мы тоже не будем думать.

— Где сеньор хочет завтракать? — спросил Марио.

— Где угодно, только подальше от этой *puta*[1] — от моря.

— В большой комнате или в вашей спальне?

— В спальне. Вытащи плетеное кресло и поставь завтрак на столик возле.

Он выпил горячего чая и съел одно яйцо и несколько тостов с апельсиновым джемом.

— А фруктов нет?

— Только бананы.

— Принеси несколько штук.

— Так вредно же после спиртного.

— Это предрассудок.

— А вы знаете, пока вас не было, тут в деревне один человек умер оттого, что наелся бананов, после того как пил ром.

— А может, он был просто пьянчужка и опился ромом?

— Нет, сеньор. Этот человек умер сразу оттого, что выпил совсем

[1] Шлюха *(исп.)*.

немножко рома, а потом съел много бананов. Это были его собственные бананы, из его сада. Он жил на горке за деревней и работал на автобусном седьмом маршруте.

— Царство ему небесное,— сказал Томас Хадсон.— Принеси-ка мне бананов.

Марио принес бананы — маленькие, желтые, спелые, с дерева в саду. Очищенные, они были едва ли больше мужского пальца и очень вкусны. Томас Хадсон съел пять штук.

— Следи, как я буду помирать,— сказал он.— И принеси сюда Принцессу, пусть съест второе яйцо.

— Я уже дал ей яйцо в честь вашего возвращения,— сказал Марио.— И еще дал по яйцу Бойзу и Вилли.

— А Козлу?

— Садовник сказал, что ему вредно много есть, пока раны не зажили. Его здорово потрепали.

— Что это за драка у них вышла?

— Очень свирепая. Чуть не целую милю бежали и все дрались. Мы их потеряли в колючем кустарнике за садом. Дрались они без крика, теперь они всегда так дерутся. Не знаю, кто победил. Сперва пришел Большой Козел, и мы стали лечить его раны. Он пришел в патио и лег возле цистерны с водой. Наверх вскочить не мог. Потом, через час, пришел Толстяк, и ему мы тоже полечили раны.

— А помнишь, как они дружили, когда были котятами.

— Помню, как же. Но теперь, боюсь, Толстяк убьет Козла. Он на добрый фунт тяжелей.

— Козел — великий боец.

— Да, сеньор. Но подумайте сами — что значит лишний фунт веса.

— Я думаю, для котов это не так много значит, как для бойцовых петухов. Ты все расцениваешь с точки зрения петушиного боя. И для людей это не так много значит, кроме тех случаев, когда боксер ослабел оттого, что ему пришлось спускать вес. Когда Джек Демпси завоевал первенство мира, он весил всего 185 фунтов. А Уиллард весил 230. Козел и Толстяк — оба крупные коты.

— По тому, как они дерутся, лишний фунт — это огромное преимущество,— сказал Марио.— Если б их заставляли драться на приз, те, кто делает ставки, уж никак бы не упустили из виду лишний фунт веса. Лишнюю унцию и то приняли бы в соображение.

— Принеси мне еще бананов.

— Сеньор, я умоляю вас.

— Ты правда веришь в эту чепуху?

— Это не чепуха, сеньор.

— Ну, тогда принеси мне еще виски с минеральной.

— Если вы мне приказываете...

— Я тебя прошу.

— Если вы просите, это приказание.

— Ну так принеси.

Марио принес виски со льдом и холодной шипучей минеральной воды, и Томас Хадсон взял все это и сказал:

— Ну, следи, как я буду умирать.— Но гревожное выражение на темном лице юноши отбило у Томаса Хадсона охоту его дразнить, и он сказал: — Да что ты, я же знаю, что мне от этого ничего не будет.

— Сеньор знает, что делает. Но мой долг был протестовать.

— Ну вот и хорошо. Ты протестовал. Что, Педро пришел уже?

— Нет, сеньор.

— Как только придет, скажи ему, чтобы приготовил «кадиллак», и мы сейчас же поедем в город.

Ну, теперь иди, прими ванну, сказал себе Томас Хадсон. Потом оденешься, как полагается для Гаваны. Потом поедешь в город повидать полковника. Отчего ж тебе плохо? Какие еще у тебя огорчения? Огорчений у меня довольно, подумал он. В изобилии. Земля изобилия. Море изобилия. Воздух изобилия.

Он сидел в плетеном кресле, поставив ноги на подножку, которая выдвигалась из-под сиденья, и разглядывал картины на стенах своей спальни. В изголовье кровати — этой дешевой кровати с дрянным матрацем, купленной экономии ради, потому что он никогда здесь не спал, кроме как в случаях ссор,— висел «Гитарист» Хуана Гриса. *Nostalgia hecha hombre*[1], подумал он по-испански. Люди не знали, что от этого умирают. На противоположной стене над книжным шкафом висел *«Monument in Arbeit»* Поля Клее. Томас Хадсон не любил эту картину так, как он любил «Гитариста», но ему нравилось на нее смотреть, и он вспомнил, какой неприличной она ему казалась, когда он только что купил ее в Берлине. Краски были такие же непристойные, как на таблицах в медицинских книгах отца, где были показаны разные виды шанкров и других венерических язв. И как пугалась этой картины его жена, пока не научилась принимать ее странный колорит как данность и рассматривать ее только как произведение искусства. Сейчас он знал о ней не больше, чем когда в первый раз увидел ее в галерее Флехтгейма, в доме у реки в ту чудесную холодную осень в Берлине, когда они были так счастливы. Но это была хорошая картина, и он любил смотреть на нее.

Над другим шкафом висела одна из массоновских рощ. Это была *«Ville d'Avray»*, и ее Томас Хадсон любил так же, как он любил «Гитариста». Самое замечательное в картинах было то, что их можно было любить без чувства безнадежности. Их можно было любить без страданий, и самые лучшие были великой радостью, потому что в них осуществилось то, чего ты сам всегда старался достичь. И вот это было сделано, и, значит, все хорошо, даже если сам-то ты сделать это не сумел.

Бойз вошел в комнату и прыгнул к нему на колени. Он великолепно прыгал и мог без всяких видимых усилий вскочить на самый верх высокого шифоньера в большой спальне. Сейчас, прыгнув невысоко и очень аккуратно, он разлегся на коленях у Томаса Хадсона и стал любовно месить их передними лапами.

— Я смотрю на картины, Бой. Тебе лучше бы жилось, если б ты любил картины.

Хотя, может быть, он столько же получает удовольствия от прыжков и ночной охоты, как я от картин, подумал Томас Хадсон. Жаль, конечно, что он не умеет их видеть. Впрочем, кто знает. У него мог оказаться ужасный вкус в живописи.

— Интересно, Бой, какие бы тебе картины понравились. Наверно, тот голландский период, когда писали такие чудесные натюрморты с рыбами, устрицами и дичью. Ну, ну, полегче. Сейчас день, а не ночь, а днем не полагается нежничать.

Но Бойз продолжал нежничать, и Томас Хадсон повалил его на бок, чтобы успокоить.

— Надо же, Бой, все-таки соблюдать приличия,— сказал он.— Я вот в угоду тебе даже не пошел поздороваться с остальными котами.

Бойз был счастлив, и Томас Хадсон, положив ему руку на горло, чувствовал под пальцами его мурлыканье.

— Надо мне вымыться, Бой. Ты полжизни проводишь за этим занятием. Но ты это делаешь собственным языком. И в это время ты на

---

[1] Человек, охваченный глубокой тоской *(исп.)*.

меня ноль внимания. Пока ты моешься, ты как какой-нибудь бизнесмен в своей конторе. Это, мол, бизнес. Это нельзя прерывать. Ну, а со мной иначе. Вот мне сейчас надо выкупаться. А я вместо того сижу и напиваюсь с утра, как какой-нибудь паршивый пьянчужка. Вот в чем разница между нами. Зато ты не можешь простоять восемнадцать часов за штурвалом. А я могу. Двенадцать — когда угодно. Восемнадцать — когда потребуется. А вчера и сегодня утром — девятнадцать. Но я не умею прыгать и охотиться по ночам, как ты. Хотя иногда ночью случалось и нам лихо поохотиться. Но у тебя твой радар в усах. А у голубя, наверно, в этих наростах над клювом. Во всяком случае, у всех почтовых голубей есть такие наросты. Какие там у тебя ультракороткие частоты, а, Бой?

Бойз лежал тяжелый, плотный, длинный, беззвучно мурлыкающий и очень счастливый.

— Что говорит твой локатор, Бой? Какова у тебя ширина импульса? Какова у тебя частота повторения импульса? Знаешь, в меня ведь встроен магнетрон. Только ты никому не говори. Но в дальнейшем при более высокой решимости, достигнутой с помощью УВЧ, вражеских шлюх можно будет обнаруживать на более далеком расстоянии. Это все микроволны, Бой, и ты сейчас их мурлыкаешь.

Так вот, значит, как ты выполняешь свое решение не думать больше о море, пока не придет пора идти в новый рейс. Не море ты хотел забыть. Ты сам знаешь, что любишь море и нигде в другом месте не хотел бы жить. Выйди на балкон, посмотри на него. Оно не жестокое и не бессердечное, ничего из этого *Quatsch*[1]. Просто вон оно, там, и ветер движет им, и течение движет им, и они борются на его поверхности, но там — в глубинах — все это ничего не значит. Будь благодарен за то, что снова поплывешь по нему, и скажи ему спасибо за то, что оно твой дом. Оно твой дом. И не болтай и не думай о нем всякой чепухи. Не море твоя беда. Вот ты как будто уже начал кое-что соображать, сказал он себе. Хотя на суше этого по тебе не видно. Ладно, сказал он себе. В море приходится столько соображать, что уж на суше не хочется.

Берег, конечно, приятное место, подумал он. Вот сегодня посмотрим, до какой степени оно может быть приятным. После того как я повидаюсь с этим окаянным полковником. Я, конечно, всегда рад повидать его, потому что это укрепляет мое моральное состояние. Но не будем входить во все это, подумал он. Это одна из тех вещей, которые необходимо опустить в такой приятный день. Я пойду повидаться с ним. Но я не буду, так сказать, входить в полковника. В него уже много вошло такого, что никогда не выйдет обратно. И уже многое из него вышло, чего обратно уже не загонишь. Так что я подумал, нет, не нужно тебе входить в полковника. И я не буду. Только пойду повидаю его и сдам свой рапорт.

Он допил виски, снял кота с колен, встал, еще посмотрел на эти три картины, потом пошел в ванную и принял душ. Нагреватель был включен только после того, как утром пришли слуги, так что горячей воды было еще немного. Но Томас Хадсон хорошенько намылился, вымыл голову и под конец ополоснулся холодной водой. Потом надел белую фланелевую рубашку, темный галстук, фланелевые брюки, шерстяные носки, десять лет назад купленные грубые английские башмаки, кашемировый свитер и старую твидовую куртку. Затем позвонил Марио.

— Педро здесь?

— Да, сеньор. Он уже вывел машину.

— Приготовь мне «Тома Коллинза» с кокосовым молоком и горькой настойкой. Налей в один из стаканов с пробковым футляром.

[1] Вздор *(нем.)*.

— Да, сеньор. Пальто наденете?

— Возьму с собой на случай, если будет холодно на обратном пути.

— К ленчу вернетесь?

— Нет, и к обеду тоже нет.

— На котов не хотите взглянуть, прежде чем уехать? Они все на солнышке греются под стеной, где нет ветра.

— Нет. Повидаю их вечером. Я хочу привезти им подарок.

— Пойду приготовлю вам выпить. Минутку задержусь из-за кокосовых орехов.

Ну почему, черт возьми, я не захотел повидать котов? Не знаю. Совершенно не понимаю. Это что-то новое.

Бойз шел за ним следом, немного встревоженный его отъездом, но не впадая в панику, так как не было ни багажа, ни сборов.

— Может быть, я это сделал ради тебя, Бой,— сказал Томас Хадсон.— Не волнуйся. Я вернусь попозже вечером или утром. И, надеюсь, с прочищенными мозгами. Да как следует прочищенными. Тогда, может, додумаемся до чего-нибудь толкового. *Vámonos a limpiar la escopeta* [1].

Из ярко освещенной большой комнаты, которая все еще казалась ему огромной, Томас Хадсон перешел по каменным ступенькам в еще более яркий свет кубинского зимнего утра. Собаки прыгали вокруг его ног, и печальный пойнтер тоже подошел, подобострастно извиваясь и мотая опущенной головой.

— Ах ты, бедное горемычное животное,— сказал Томас Хадсон пойнтеру и похлопал его по спине, и пес в ответ повилял ему хвостом. Остальные собаки — все беспородные — были веселы и прыгали в возбуждении от холода и ветра. На ступеньках валялось несколько сухих сучьев, обломанных за ночь ветром с сеиб, росших вокруг патио. Из-за машины вышел шофер, демонстративно дрожа от холода, и сказал:

— С добрым утром, сеньор Хадсон. Как съездили?

— Да ничего, неплохо. А как наши машины?

— Все в идеальном порядке.

— Как бы не так,— сказал Томас Хадсон по-английски.

И затем, обращаясь к Марио, который уже спускался по ступенькам, держа в руках высокий стакан с темной, ржавого цвета жидкостью, заключенный в пробковый подстаканник, примерно на полдюйма не доходивший до его верхнего края, Томас Хадсон добавил:

— Принеси свитер для Педро. Такой, что застегивается спереди. Из вещей мистера Тома. И вели смести этот мусор со ступенек.

Томас Хадсон дал шоферу подержать стакан и нагнулся к собакам, лаская их. Бойз сидел на ступеньках и с презрением их оглядывал. Тут была Негрита, небольшая черная сучка, уже слегка посветлевшая от возраста, хвост у нее торчал закорючкой, а крошечные лапки и тонкие ножки чуть не сверкали, когда она с таким увлечением прыгала; мордочка у нее была острая, как у фокстерьера, а глаза ласковые и умные.

Томас Хадсон увидел раз ночью в баре, как она бежала вслед за кем-то из клиентов, и спросил у официанта, какой она породы.

— Кубинской,— ответил тот.— Она уж тут четвертый день мыкается. Каждого провожает к машине, но они все захлопывают дверцу у нее перед носом.

Они взяли ее с собой в Финку, и за два года у нее ни разу не было течки, и Томас Хадсон уже было решил, что она слишком стара, чтобы рожать. А затем в один прекрасный день ему пришлось силком

---

[1] Пойдем прочистим ружье *(исп.)*.

увести ее от большого служебного пса, и с тех пор у нее пошли рождаться щенята — от служебного пса, от бульдога, от пойнтера, и еще чудесный ярко-рыжий щенок, чьим отцом мог бы, пожалуй, быть ирландский сеттер, если бы только не были у этого щеночка грудь и плечи, как у бульдога, и хвост закорючкой, как у самой Негриты.

Теперь ее сыновья прыгали вокруг, и она опять была беременна.

— С кем она теперь повязалась? — спросил Томас Хадсон у шофера.

— Не знаю.

Подавая шоферу свитер, в который тот немедленно и облачился, сбросив свою потертую форменную куртку, Марио сказал:

— Отец — тот драчливый пес из деревни.

— Ну, прощайте, собачки,— проговорил Томас Хадсон.— До свиданья, Бой,— сказал он коту, который вдруг прыжками пробился среди собак к машине. Томас Хадсон, уже сидевший в машине, держа обернутый пробкой стакан, высунулся из окна и протянул руку к коту, а тот, встав на задние лапы, стал тыкаться головой в его пальцы.— Не расстраивайся, Бой. Я вернусь.

— Бедный Бойз,— сказал Марио. Он поднял кота и держал его на руках, и кот смотрел вслед машине, пока она поворачивала, огибая клумбу, и потом покатила по неровной, размытой ливнем подъездной аллее и скрылась наконец за склоном холма и высокими манговыми деревьями. Тогда Марио унес кота в дом и спустил его на пол, но кот тотчас вскочил на подоконник и опять стал смотреть туда, где дорога скрывалась за холмом.

Марио погладил его, но кот не успокоился.

— Бедный Бойз,— сказал высокий негритянский юноша.— Бедный, бедный Бойз.

Машина подъехала к воротам, шофер выскочил, откинул цепь, снова забрался на место и вывел машину на улицу. Навстречу им шел молодой негр, шофер крикнул ему, чтобы он закрыл ворота, негр улыбнулся во весь рот и утвердительно кивнул.

— Это младший брат Марио.

— Да, знаю,— сказал Томас Хадсон.

Они выехали на убогую деревенскую улочку и свернули к Главному шоссе. Миновали деревенские домишки, две бакалейные лавочки с мелькнувшими в открытых дверях стойками, ряды бутылок над ними, а по бокам полки с консервными банками. Последний бар и огромный испанский лавр, протянувший свои ветви над дорогой, остались позади, и они покатили вниз по старому мощенному камнем шоссе. Шоссе между двух рядов высоких старых деревьев шло под уклон мили на три. По обеим его сторонам были питомники, маленькие фермы, большие фермы с ветхими испанскими особняками колониального стиля, поделенными на клетушки, с заброшенными пастбищами, по которым бежали улицы, утыкавшиеся в склоны холма, заросшие бурой от засухи травой. Единственная зелень в этой зеленой стране оставалась сейчас вдоль речного русла, где стояли высокие серые стволы королевских пальм с перекошенными ветром зелеными купами. Ветер дул сухой, северный — сухой, резкий и холодный. Такие ветры уже успели остудить Флоридский залив, и поэтому сегодняшний норд не принес с собой ни тумана, ни дождя.

Томас Хадсон глотнул коктейля, в котором чувствовалась свежесть сока зеленого лимона, смешанного с безвкусным кокосовым молоком, которое было все же куда ощутимее, чем любая газировка. Коктейль был креплен добротным гордонским джином, и джин оживлял эту смесь у него на языке, глотать ее было приятно, а ангостурская горькая придавала ей упругости и колера. Пьешь — и у тебя такое ощу-

щение, будто ты коснулся надутого ветром паруса, подумал он. Вкуснее этого напитка ничего нет.

В пробковом подстаканнике лед не таял, и вода не разжижала коктейля, и он с нежностью поглаживал стакан пальцами и смотрел на места, мимо которых они проезжали.

— Почему ты не идешь вниз накатом? Экономил бы горючее.

— Если прикажете, я выключу зажигание,— ответил шофер.— Но ведь горючее-то казенное.

— А ты попрактикуйся,— сказал Томас Хадсон.— По крайней мере узнаешь, как это делается, когда горючее у нас будет не казенное, а свое собственное.

Теперь они ехали по равнине, где слева от дороги были цветоводческие хозяйства, а справа стояли домики плетельщиков корзин.

— Надо будет позвать плетельщика, чтобы починил большую циновку в гостиной, там, где она протерлась.

— *Sí, señor.*[1]

— Ты знаешь какого-нибудь?

— *Sí, señor.*

Шофер, которого Томас Хадсон очень не любил за его круглое невежество, за глупость и гонор, за непонимание мотора и варварское отношение к машине и за лень, отвечал ему односложно, официально, обидевшись на резкое замечание насчет экономии горючего. Несмотря на все свои недостатки, шофер он был первоклассный, то есть великолепно, реагируя мгновенно, водил машину по кубинским улицам с их бестолковым, неврастеническим движением. Кроме того, он слишком много знал об их деятельности, и уволить такого было не просто.

— Тебе не холодно в одном свитере?

— *No, señor*[2].

Ах, чтоб тебя! — подумал Томас Хадсон. Чего ты буркаешь? Ну, погоди, сейчас я тебя разговорю.

— Как у вас дома, холодно было вчера ночью?

— Ужасно холодно! *Horroroso!* Вы даже представить себе не можете, как холодно.

Мир между ними был восстановлен, и они въехали на мост, где несколько месяцев назад было обнаружено туловище девушки, которую ее любовник-полисмен разрезал на шесть кусков, завернув каждый в оберточную бумагу и разбросав по Главному шоссе. С тех пор река пересохла. А в тот вечер вода в ней поднялась, и машины стояли на набережной под дождем цепочкой на полмили, пока шоферы глазели на это историческое место.

Следующим утром газеты поместили на первых полосах фотографию туловища, и в одной статейке указывалось, что эта девушка, несомненно, была туристкой из Северной Америки, поскольку ее ровесницы, проживающие в тропиках, более развиты физически. Каким образом успели установить ее точный возраст, Томас Хадсон не имел понятия, так как голову обнаружили гораздо позднее в рыбачьем порту Батабано. Но туловищу с газетных фотографий действительно было далеко до наилучших фрагментов греческих статуй. Впрочем, она не была американской туристкой, а, как выяснилось, обзавелась своими прелестями, уж какие они там у нее были, здесь, в тропиках. На некоторое время Томасу Хадсону пришлось приостановить дорожные работы за воротами усадьбы, ибо стоило кому-нибудь из рабочих побежать или просто ускорить шаг, как ему грозила опасность, что за ним погонятся с криком: «Вон он! Держи, лови! Вон кто изрубил ее на куски!»

---

[1] Да, сеньор *(исп.)*.

[2] Нет, сеньор *(исп.)*.

Они переехали через мост и поднялись вверх по холму в Луйяно, где слева открывался вид на Эль Серро, каждый раз напоминавший Томасу Хадсону Толедо. Не Толедо Эль Греко. А ту часть настоящего Толедо, которая видна с холма. Машина одолевала последние футы подъема, и он на минуту ясно увидел его — Толедо, настоящий Толедо, а потом дорога нырнула вниз, и с обеих сторон подступила Куба.

Вот эту часть пути в город он никогда не любил. Из-за нее-то он и брал с собой в дорогу что выпить. Я пью, чтобы отгородиться от нищеты, грязи, четырехсотлетней пылищи, от детских соплей, от засыхающих пальмовых листьев, от крыш из распрямленных молотком старых жестянок, от шаркающей походки незалеченного сифилиса, от сточных вод в руслах пересохших ручьев, от насекомых на облезлых шеях домашней птицы, от струпьев на шеях стариков, от старушечьей вони, от орущего радио, думал он. А так поступать нельзя. Надо всмотреться поближе во все это и что-то делать. Но вместо этого ты таскаешь за собой свою выпивку, как в прежние времена люди не расставались с нюхательными солями. Впрочем, нет. Это не совсем так, подумал он. Тут некая комбинация из того, как я пью и как пили в «Переулке, где торгуют джином» у Хогарта. И еще ты пьешь перед разговором с полковником, подумал он. Ты всегда теперь пьешь или за что-нибудь, или отгораживаясь от чего-нибудь, подумал он. Черта с два! Сколько раз ты пил просто так. И сегодня хватишь как следует.

Он надолго приложился к стакану, и питье ополоснуло ему рот своей чистотой, свежестью и холодком. Теперь пойдет худший участок дороги, с трамвайной линией и с машинами, которые стоят у железнодорожного переезда вплотную одна к другой, дожидаясь, когда поднимут шлагбаум. Впереди, за гущей застрявших машин и грузовиков высился тот холм с крепостью Атарес, где за сорок лет до его рождения был расстрелян полковник Криттенден и еще несколько человек после провала экспедиции в Байя-Онде и где погибли сто двадцать два американских добровольца. Еще дальше небо пересекал густой дым, поднимавшийся из высоких труб гаванской Электрической компании, а под виадуком старая, мощенная булыжником дорога шла параллельно линии гавани, где вода была черная и маслянистая, как осадок на дне цистерн в танкере. Шлагбаум подняли, они поехали дальше и ушли из-под свирепого норда, пароходы с деревянной обшивкой — нелепые, жалкие торговые суда военного времени — стояли у залитых креозотом причальных свай, и вся пакость со всей гавани, черная, чернее креозота, и вонючая, как давно не чищенная помойка, плескалась об их корпуса.

Он увидел знакомые суда. Один старый баркас был такой большой, что подводная лодка не отказала ему во внимании и угостила его миной. Баркас доставил сюда лес, а вывозил груз сахара. Следы попадания были все еще видны на нем, хотя с тех пор его успели отремонтировать, и Томас Хадсон вспомнил, как они прошли в море мимо этого баркаса и увидели у него на палубе живых китайцев и мертвых китайцев. Я думал, что хоть сегодня-то ты не будешь думать о море.

Нет, думать о нем надо, сказал он себе. Тем, кто ходит в море, куда лучше, чем вот этим, мимо которых мы только что проезжали. Гавань, загаженная уже три-четыре сотни лет тому назад, это не море. У входа в нее она не так уж плоха. И со стороны Касабланки тоже не плоха. Вспомни, что в этой гавани ты когда-то недурно проводил время по вечерам.

— Посмотри,— сказал он. Видя, куда он глядит, шофер хотел остановить машину. Но он велел ехать дальше.— Вези к посольству,— сказал он.

Смотрел он на старую супружескую чету, которая ютилась в до-

щатой, крытой пальмовыми ветками пристройке у каменного забора, отгораживающего железнодорожные пути от участка, где Электрическая компания держала уголь, доставленный в гавань. Забор был весь черный от угольной пыли, так как уголь, вывезенный из гавани, сгружали поверху, а до железнодорожного полотна не было и четырех футов. Крыша пристройки круто шла к стене, и там едва хватало места на двоих. Муж и жена, жившие здесь, сидели сейчас у входа и кипятили кофе в жестяной банке. Это были негры, шелудивые от старости и грязи, одетые в тряпье, сшитое из мешков из-под сахара. Очень дряхлые негры. Собаки при них он не увидел.

— *¿Y el perro?*[1] — спросил он шофера.

— Я давно ее не вижу.

Они уже несколько лет проезжали мимо этих людей.

Женщина, письма которой он читал прошлой ночью, не раз восклицала при виде их пристройки:

— Какой позор!

— Тогда почему же ты ничем не поможешь им? — спросил он ее однажды.— Почему ты всегда ужасаешься и так хорошо пишешь о всяких ужасах и палец о палец не ударишь, чтобы покончить с ними?

Женщина рассердилась на него, остановила машину, вышла из нее, подошла к пристройке, дала старухе двадцать долларов и сказала:

— Найдите себе жилье получше и купите что-нибудь поесть на эти деньги.

— *Sí, señorita,*[2] — сказала старуха.— Вы очень любезны.

В следующий раз, когда их машина проезжала этими местами, они опять увидели стариков. Старики жили все там же и весело помахали им. Они купили собаку. Причем собака была беленькая, маленькая, курчавая — той породы, подумал он, которая явно не предназначена для участия в торговле углем.

— Как по-твоему, куда девалась их собака? — спросил Томас Хадсон шофера.

— Сдохла, должно быть. Хозяевам самим есть нечего.

— Надо им другую достать,— сказал Томас Хадсон.

Пристройка осталась далеко позади, теперь слева были покрытые грязновато-белой штукатуркой стены Генерального штаба кубинской армии. У входа в небрежной, но горделивой позе стоял солдат-кубинец, не очень темнолицый, в обмундировании цвета хаки, застиранном его женой, в кепи — поновее, чем у генерала Стиллуэлла, и с винтовкой, удобнейшим образом покоившейся на его костлявом плече. Он рассеянно посмотрел на их машину. Томас Хадсон увидел, что ему холодно на северном ветру. Походил бы взад и вперед и согрелся бы, подумал Томас Хадсон. А если простоит на одном месте, не расходуя лишней энергии, то скоро до него дойдет солнце и он согреется. Вряд ли он давно служит, уж очень худ, подумал он. К весне, если мы еще будем ездить сюда весной, я его, пожалуй, не узнаю. Винтовка ему, наверно, здорово тяжела. Жаль, что нельзя стоять на посту с легкой пластмассовой винтовочкой, вот как матадоры, работая мулетой, пользуются теперь деревянной шпагой, чтобы кисть не уставала.

— А что слышно про ту дивизию, которую генерал Бенитес должен был ввести в бои на европейском фронте? — спросил он шофера.— Она уже отбыла?

— *Todavía no.* Нет еще,— сказал шофер.— Но генерал учится ездить на мотоцикле. Рано утром раскатывает по Малекону.

— Значит, дивизия моторизованная,— сказал Томас Хадсон.— А

---

[1] А где собака? *(Исп.)*

[2] Да, сеньорита *(исп.)*

что в этих свертках, которые солдаты и офицеры выносят из Генерального штаба?

— Рис,— сказал шофер.— Нам рис привезли.

— А его трудно достать?

— Невозможно. Цена подскочила до небес.

— Ты теперь плохо питаешься?

— Очень плохо.

— Почему? Ты же ешь у меня. Я плачу за продукты, сколько бы они ни стоили.

— Я о доме говорю.

— А когда ты ешь дома?

— По воскресеньям.

— Придется купить тебе собаку,— сказал Томас Хадсон.

— Собака у нас есть,— сказал шофер.— Очень красивая и умная собака. Меня любит не знаю как. Я шага не могу сделать, чтобы она не кинулась за мной. Но, мистер Хадсон, у вас ни в чем нет недостатка, и вы ни понять, ни представить себе не можете, какие страдания принесла война кубинскому народу.

— Да, голод, наверно, сильный.

— Вы даже представить себе не можете, как мы голодаем.

Да, не могу, подумал Томас Хадсон. Совершенно не могу. Не могу себе представить, почему в этой стране — и вдруг голод. А тебя, сукина сына, следовало бы расстрелять за то, как ты относишься к моторам. Расстрелять, а не подкармливать. Я бы сам тебя расстрелял, и с величайшим удовольствием. Но вслух он сказал:

— Попробую, может, достану тебе рису для дома.

— Большое вам спасибо. Если бы вы знали, как нам, кубинцам, тяжело сейчас живется.

— Да, наверное, нелегко,— сказал Томас Хадсон.— Жаль, что я не могу взять тебя с собой в море. Ты бы отдохнул немного.

— В море, должно быть, тоже трудно.

— Да, трудно,— сказал Томас Хадсон.— Трудно даже в такие вот дни, как сегодня.

— Каждый из нас несет свой крест.

— А я бы взял свой крест и воткнул бы его кое-кому в *culo*[1].

— Надо проявлять спокойствие и терпение, мистер Хадсон.

— *Muchas gracias*[2],— сказал Томас Хадсон.

Они свернули на улицу Сан-Исидро. Она начиналась у центрального вокзала и напротив входа на заброшенную тихоокеанскую пристань, где когда-то пришвартовывались суда из Майами и Ки-Уэста и где садились старые гидросамолеты Пан-Американской компании. Теперь эта пристань была закрыта, так как тихоокеанские суда взял себе военно-морской флот, а Пан-Американская компания перешла на «ДС-2» и «ДС-3», и они приземлялись в аэропорту Ранчо Бойерос, а там, где раньше садились гидропланы, теперь пришвартовывались суда-охотники береговой пограничной охраны и кубинского военного флота.

Эту часть Гаваны Томас Хадсон хорошо знал еще в прежние годы. А та, которую он любил теперь, была раньше просто дорогой в Матансас. Невзрачный район, крепость Атарес, пригород, названия которого он не знал, а дальше мощенная кирпичом дорога и поселки по обе ее стороны. Мчишься мимо них и не отличаешь один поселок от другого. В этой же части города он знал каждый бар, каждый погребок, а улица Сан-Исидро славилась своими публичными домами на весь портовый район. Теперь улица захирела, бордели на ней не работали с тех самых пор, как их прикрыли, а проституток вывезли обратно в Европу. Эта

[1] Зад *(исп.)*.

[2] *Большое спасибо (исп.)*.

грандиозная операция была ничуть не похожа на отход из Вильфранша американских кораблей, базирующихся на средиземноморский порт, когда все девицы махали им на прощанье. Французский пароход с этими девицами уходил из Гаваны, и вся набережная была забита народом, причем помахать им на прощанье с берега, с пристани, с мола пришли не только мужчины. Женщины — кто наняв моторку, кто на шлюпках — описывали круги около парохода и шли рядом с ним, когда он покидал пролив. Томас Хадсон помнил, как это было грустно, хотя многим проводы проституток показались очень смешными. Но что в проститутках смешного, он никогда не мог понять. Отправка их почему-то считалась событием комическим. Впрочем, после того как пароход ушел, многие загрустили, а улица Сан-Исидро так и не оправилась после нанесенного ей удара. Ее название все еще трогает меня, подумал он, а ведь эта улица стала теперь совершенно неинтересной, да и белые на ней почти не попадаются, разве только шоферы грузовиков или посыльные, развозящие покупки на дом. В Гаване были и веселые улицы — те, где жили одни негры, были и опасные, целые районы опасных улиц, как, например, улица Иисуса и Марии в двух шагах отсюда. Но улица Сан-Исидро осталась такой же унылой, как и в те дни, когда всех проституток с нее свезли.

Теперь машина выехала в порт — к тому месту, откуда ходил паром до Реглы и где пришвартовывались суда береговой охраны.

Вода в гавани была темная, неспокойная, но приливная волна шла без барашков. Вода была слишком уж темная, хотя после черной мерзости того, что плескалось у берега, она казалась свежей, чистой, темной. Поглядев на залив, он увидел покой его зеркала, защищенного от ветра холмами над Касабланкой, увидел те места, где стояли на якоре рыбачьи шхуны, где пришвартовывались канонерские лодки кубинского флота и где бросило якорь и его собственное судно, хотя и не видное отсюда. За берегами залива он видел старинную желтую церковь и беспорядочно разбросанные дома Реглы — розовые, зеленые и желтые,— цистерны и трубы нефтеочистительного завода в Белоте, а позади них, ближе к Кохимару, высокие, серые холмы.

— Видите свой катер? — спросил шофер.

— Нет. Отсюда его не видно.

Они ехали по ветру; дым из труб Электрической компании относило назад, и утро было ясное, прозрачное, воздух словно только что промытый, чистый — такой, как на ферме среди холмов. Люди, ходившие по пристани, видимо, зябли на северном ветру.

— Поехали сначала во «Флоридиту»,— сказал шоферу Томас Хадсон.

— До посольства всего четыре квартала.

— Да. Но я сказал, что хочу сначала во «Флоридиту».

— Как вам угодно.

Они въехали в город и ушли из-под ветра, и, проезжая мимо складских помещений и магазинов, Томас Хадсон учуял запах муки, слежавшейся в мешках, и мучной пыли, запах только что вскрытых упаковочных ящиков, запах поджаренного кофе, который подействовал на него посильнее утренней порции виски, и чудесный запах табака, еще сильнее ударивший ему в нос, когда машина свернула направо к «Флоридите».

«Флоридита» стояла на одной из его любимых улиц, но он старался не ходить по ней днем — узкие тротуары, сильное движение, а по ночам, когда движение прекращалось, кофе здесь не жарили, и окна складов были на запоре, так что и табаком не пахло.

— Закрыто,— сказал шофер. Железные шторы по обе стороны кафе были еще спущены.

— Так я и думал. Тогда сворачивай на Обиспо к посольству.

По Обиспо он ходил пешком тысячи раз и днем и ночью. Ездить по этой улице он не любил, потому что она быстро кончалась, но откладывать свою явку к полковнику поводов у него больше не было, и он допил коктейль и посмотрел на машины, идущие впереди, на прохожих, на движение у перекрестка и решил приберечь улицу на потом, когда можно будет прогуляться по ней. Машина остановилась у здания посольства, и он вошел туда.

При входе полагалось записать свое имя, фамилию и цель посещения. У стола сидел грустный чиновник с выщипанными бровями и усиками на самых уголках верхней губы. Чиновник поднял голову и подвинул ему бумагу. Томас Хадсон даже не взглянул на нее и вошел в лифт. Чиновник пожал плечами и погладил свои бровки. Уж очень они у него выделялись на лице. Но такие все-таки опрятнее, чем густые, косматые, к тому же они гармонируют с его усиками. А тоньше его усиков и быть ничего не может, если уж заводить, так только такие. Более тоненьких нет ни у Эррола Флинна, ни у Пинчо Гутьерреса, ни даже у Хорхе Негрете. А все-таки он скотина, этот Хадсон, прошел мимо и даже не взглянул на него.

— Какого-то *maricón*[1] посадили у двери,— сказал Томас Хадсон лифтеру.

— Никакой это не maricón. Так — никто.

— Как тут у вас дела?

— Хорошо. Отлично. Как всегда.

На четвертом этаже он вышел и пошел по коридору. Он открыл дверь, среднюю из трех, и спросил офицера, сидевшего за столом, тут ли полковник.

— Он вылетел в Гуантанамо сегодня утром.

— Когда вернется?

— Он сказал, что, может быть, полетит на Гаити.

— Для меня ничего нет?

— У меня нет.

— Он ничего не просил передать мне?

— Сказал, чтобы вы никуда не отлучались.

— Какое у него было настроение?

— Отвратительное.

— А выглядел как?

— Ужасно.

— Ругал меня?

— Да нет как будто. Просил только передать вам, чтобы вы никуда не отлучались.

— Ничего такого, о чем мне следует знать?

— Нет. А разве должно быть?

— Вы это бросьте.

— О'кей. Вам, наверно, туго там пришлось. Но вы не здесь, не с ним работаете. Вы ходите в море. А я плевал на...

— Легче, легче.

— Где вы сейчас обретаетесь? За городом?

— Да. Но сегодня ночую здесь.

— Он сегодня не вернется, ни днем, ни вечером. А когда прилетит, я вас вызову.

— А он на самом деле не ругал меня?

— Да ничего подобного. Что это вы? Совесть нечиста?

— Нет. А кто-нибудь еще меня ругает?

— Насколько я знаю, даже адмирал вас не ругает. Сматывайтесь отсюда и напейтесь за меня.

[1] Женоподобный мужчина, гомосексуалист *(исп.)*.

— Я сначала за себя напьюсь.
— И за меня тоже.
— Это зачем же? По-моему, вы что ни вечер, то пьяны.
— Мне этого мало. Как там Хендерсон?
— Хорошо. А что?
— Ничего.
— А что?
— Ничего. Просто так спрашиваю. Жалобы у вас есть?
— Мы жаловаться сюда не ходим.
— Ах, какой герой! Истинный вождь!
— Мы предъявляем обвинения.
— Э-э, нет! Вы лицо гражданское.
— Провалитесь вы в тартарары!
— А зачем мне проваливаться? Я и так в тартарарах.
— Вызовите меня, как только он приедет. И передайте мой привет господину полковнику и скажите господину полковнику, что я являлся.
— Слушаю, сэр.
— А почему «сэр»?
— Из вежливости.
— Всего хорошего, мистер Холлинз.
— Всего хорошего, мистер Хадсон. Слушайте. Чтобы ваших людей по первому требованию можно было разыскать.
— Покорно благодарю, мистер Холлинз.

В коридоре он встретил знакомого капитана. Тот вышел из шифровального отдела. Капитан был загорелый (загар получен за игрой в гольф и на пляже Хайманитаса); загар и здоровый вид скрывали его неблагополучие. Он был еще молод и считался знатоком Дальнего Востока. Томас Хадсон познакомился с ним еще в Маниле, где он представлял фирму по продаже автомобилей с филиалом в Гонконге. Он говорил по-тагальски и на хорошем кантонском. Знал и испанский. И поэтому очутился в Гаване.

— А-а, Томми,— сказал он.— Когда вы приехали?
— Вчера вечером.
— Как дороги?
— Ничего, пыльненькие.
— Перевернетесь вы когда-нибудь в этой проклятой машине.
— Я осторожно езжу.
— Положим, это верно,— сказал капитан, которого звали Фред Арчер. Он обнял Томаса Хадсона за плечи.— Дайте я вас потрогаю.
— Зачем?
— Чтобы поднять настроение. Как потрогаю вас, так настроение сразу становится лучше.
— Вы давно не обедали в «Пасифике»?
— Недели две туда не заглядывал. Поедем?
— В любое время.
— Обедать мне некогда, а ужинать пожалуйста. Вечер у вас занят?
— Вечер — нет. Дальше — занято.
— У меня тоже. Где мы встретимся? Во «Флоридите»?
— Приезжайте туда, как только ваша лавочка закроется.
— Прекрасно. Потом вернусь обратно. Так что напиваться нам нельзя.
— Неужели вы, черти, по ночам работаете?
— Я работаю,— сказал Арчер.— Но это движение не получило широкого размаха.
— Ужасно рад повидаться с вами, мистер Фредди,— сказал Томас Хадсон.— У меня при виде вас настроение тоже улучшается.

— А зачем это вам? — сказал Фред Арчер.— У вас ведь все в порядке.

— Вы хотите сказать — было в порядке.

— Было, есть и будет.

— Негритянками, что ли, заняться?

— Негритянки вам ни к чему, братец. Этого самого у вас всегда хватает.

— Запишите мне это как-нибудь на бумажке, Фредди. Такое полезно почитывать рано поутру.

— А как ваш катер?

— Ничего. Несу за него материальную ответственность на тридцать пять тысяч долларов.

— Да, знаю. Видел этот документ в сейфе. С вашей подписью.

— Почему же такое безобразное отношение к документам?

— Золотые ваши слова.

— Это что, везде так?

— Нет, не везде. И вообще сейчас дело поставлено лучше. Гораздо лучше, Томми.

— Вот и хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Благая мысль венчает день.

— Может, зайдете к нам? У нас новые работники, они вам понравятся. Очень славные ребята.

— Нет, не зайду. Они знают что-нибудь о наших делах?

— Конечно, нет. Знают только, что вы ходите в море, и хотят с вами познакомиться. Они понравятся вам. Хорошие парни.

— Как-нибудь в другой раз познакомимся,— сказал Томас Хадсон.

— О'кей, шеф,— сказал Арчер.— Так я к вам приду, как только мы здесь закруглимся.

— Во «Флоридиту».

— Конечно. Куда же еще?

— Я что-то плохо соображаю.

— Ум за разум заходит? — сказал Арчер.— Так как, захватить мне с собой этих ребят?

— Нет. Разве только вам уж очень захочется. Там, может, кое-кто из моих будет.

— Вот уж не думал, что вашей братии охота встречаться на берегу.

— Заскучают, вот и сходятся.

— А их надо бы сгрести в одну кучу и посадить под замок.

— Такие отовсюду выберутся.

— Ну, идите,— сказал Арчер.— А то опоздаете туда.

Фред Арчер отворил дверь в комнату напротив шифровального отдела, а Томас Хадсон пошел по коридору и спустился по лестнице, не воспользовавшись лифтом. На улице солнце светило так ярко, что ему резало глаза, а с северо-северо-запада все еще дул сильный ветер.

Он сел в машину и велел шоферу ехать по улице О'Райли к «Флоридите». Перед тем как машина развернулась на площади у посольства и здания Ayuntamiento [1] и выехала на О'Райли, он увидел высокие волны у входа в гавань и тяжело подскакивающий в проливе бакен. Море у входа в гавань кипело, бурлило, прозрачно-зеленые волны разбивались о скалы у подножия крепости дель Морро, и белые барашки, увенчивающие их, сверкали на солнце своей белизной.

Выглядит это замечательно, сказал он себе. Почему «выглядит»? Это и на самом деле замечательно. За такую красоту надо выпить. Ах ты, черт побери, подумал он. Хорошо бы я действительно был таким твердокаменным, каким меня считает Фредди Арчер. А я и на самом

[1] Городского управления *(исп.)*.

деле твердокаменный. Никогда не отказываюсь, иду всегда охотно. Какого черта им еще нужно? Чтобы я глотал «торпекс» за завтраком? Или совал его под мышки, как табак? Прекрасный способ заработать желтуху, подумал он. Почему тебе пришла в голову такая мысль? Трусишь, Хадсон? Нет, не трушу, сказал он. Просто у меня такая реакция. Многие из них до сих пор еще не классифицированы. Во всяком случае, мною. Да, мне бы хотелось быть таким твердокаменным, каким меня считает Фредди, вместо того чтоб быть просто человеком. А человеческим существом быть интереснее, хоть и гораздо мучительнее. Еще как мучительно, вот, например, сейчас. А быть таким, каким тебя считают, было бы хорошо. Ну, хватит. Об этом тоже не думай. Не думаешь об этом, значит, оно и не существует. Черта с два, не существует! Но такова моя установка, которая меня держит, подумал он.

Бар во «Флоридите» был уже открыт. Он купил две вышедшие газеты «Крисоль» и «Алерта», прошел с ними к стойке и сел на высокий табурет слева у самого ее конца. За спиной у него была стена, которая выходила на улицу, с левого бока стена, что за стойкой. Он заказал двойной замороженный дайкири без сахара. Заказ принял Педрико, разинувший рот в улыбке, походившей на оскал умершего от перелома позвоночника. Тем не менее улыбка эта была искренняя, адресованная именно ему. Он стал читать «Крисоль». Сражения шли сейчас в Италии. Те места, где бои вела Пятая армия, были ему незнакомы, он знал плацдарм по другую сторону гор, где действовала Восьмая армия, и стал вспоминать его, когда Игнасио Натера Ревельо вошел в бар и стал рядом с ним.

Педрико поставил перед Игнасио Натерой Ревельо бутылки «Виктории», стакан с большими кусками льда, бутылку содовой, и Ревельо поспешно смешал себе коктейль, а потом, повернувшись к Томасу Хадсону, уставился ему в лицо своими роговыми очками с зелеными стеклами, притворяясь, будто только что увидел его.

Игнасио Натера Ревельо, высокий, худой, был одет в белую полотняную рубашку, белые брюки, черные шелковые носки, начищенные до блеска коричневые английские ботинки. Лицо у него было красное, усики щеточкой — желтоватые, зеленые стекла очков защищали воспаленные близорукие глаза. Волосы белесые, гладко прилизанные. Видя, как ему не терпится выпить, можно было подумать, что это у него первый стакан за день. Это было далеко не так.

— Ваш посол ведет себя как идиот,— сказал он Томасу Хадсону.

— Ну, тогда мое дело табак,— сказал Томас Хадсон.

— Нет, нет. Кроме шуток. Выслушайте меня. Это строго между нами.

— Пейте, пейте. Я ничего не желаю слушать.

— А послушать не мешает. И принять какие-то меры тоже не мешает.

— Вы не озябли? — спросил его Томас Хадсон.— В одной рубашке, в легких брюках.

— Я не зябкий.

И трезвым тоже никогда не бываешь, подумал Томас Хадсон. Первый стакан пьешь в маленьком баре возле дома, а сюда добираешься уже совсем на бровях. Ты, верно, и не заметил, когда одевался, какая сегодня погода. Да, подумал он. А ты сам? Когда ты выпил сегодня утром свою первую порцию и сколько хватил до той, что пьешь сейчас? Не бросай первый камня в пьяниц. Да дело не в пьянстве, подумал он. Пусть пьет, пожалуйста. Только уж очень он нудный. Зануд жалеть нечего и щадить их тоже не обязательно. Брось, сказал он, брось. Ты же хотел развлекаться сегодня. Ну и отдыхай, получай удовольствие.

— Кинем кости — кому платить? — сказал он.

— Прекрасно,— сказал Игнасио.— Вы и начинайте.

Томас Хадсон метнул, выбросил трех королей и остался в выигрыше.

Выиграть было приятно. Не то чтобы коктейль стал вкуснее от этого, но выбросить сразу трех королей было очень приятно, и он с удовольствием выиграл у Игнасио Натеры Ревельо, потому что Игнасио был сноб и зануда, а возможность выиграть у него придавала ему какую-то долю полезности и значения.

— Теперь кинем на следующую порцию,— сказал Игнасио Натера Ревельо.

Он из тех снобов и зануд, которых даже за глаза величаешь всеми тремя именами, подумал Томас Хадсон, так же как в мыслях у тебя он всегда сноб и зануда. Вроде тех, кто ставит цифру III после своей фамилии. Томас Хадсон Третий. Томас Хадсон в клозете.

— Вы случайно не тот Игнасио Натера Ревельо, который Третий?

— Конечно, нет. Что вы, не знаете, как зовут моего отца?

— Да, правильно. Конечно, знаю.

— И братьев моих знаете. Имя деда вам тоже известно. Перестаньте дурить.

— Постараюсь перестать,— сказал Томас Хадсон.— Изо всех сил буду стараться.

— Вот и хорошо,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Вам это только на пользу.

Устремив все свое внимание на предстоящий ход — на самое трудное, самое блистательное из всего, что он совершит за первую половину дня,— Игнасио Натера Ревельо щеголевато повел рукой и метнул из стакана четырех валетов.

— Бедный мой друг,— сказал Томас Хадсон. Он встряхнул кости в тяжелом кожаном стакане и с нежностью прислушался к их стуку.— Милые, симпатичные косточки. Такие они добротные, такие аппетитные,— сказал он.

— Ну, давайте, хватит дурить.

Томас Хадсон метнул на слегка влажную стойку трех королей и две десятки.

— Хотите пари?

— Мы и так на пари играем,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Ну, за чей счет вторая порция?

Томас Хадсон любовно встряхнул кости и метнул даму и валета.

— А сейчас — идем на пари?

— Уж очень вам везет.

— Ладно. Тогда беру коктейлями.

Он метнул короля и туза, которые степенно, гордо выкатились из стакана.

— Вот везет бродяге!

— Еще раз двойной замороженный дайкири без сахара и что закажет Игнасио,— сказал Томас Хадсон. Игнасио начинал нравиться ему.— Слушайте, Игнасио,— сказал он.— Я первый раз вижу, чтобы на мир смотрели сквозь зеленые очки. Сквозь розовые — да. Сквозь зеленые — нет. Вам не кажется, будто все какое-то травянистое? И будто вы на лужайке? У вас не бывает такого ощущения, будто вас выпустили попастись?

— Зеленый цвет самый полезный — глаза отдыхают. Это доказано крупнейшими окулистами.

— А вы знаетесь с крупнейшими окулистами? Они, наверно, буйный народ.

— Личных знакомств среди них у меня нет, я только своего знаю. Но он в курсе последних достижений медицины. Лучший окулист в Нью-Йорке.

— А мне нужен лучший в Лондоне.

— Лучшего лондонского окулиста я знаю. Но самый лучший в Нью-Йорке. Я с удовольствием вас к нему направлю.

— Метнем еще разок.

— Давайте. Ваш черед.

Томас Хадсон взял кожаный стакан и почувствовал надежную увесистость больших костей, которыми играют во «Флоридите». Он чуть шевельнул их, боясь, как бы они не расстались со своей добротой и щедростью, и метнул трех королей, десятку и даму.

— Сразу три короля. Это *clásico* [1].

— Ну не прохвост ли вы,— сказал Игнасио Натера Ревельо и выбросил туза, двух дам и двух валетов.

— Еще двойной замороженный дайкири и ни крошки сахара и что закажет дон Игнасио,— сказал Томас Хадсон. Педрико явился со своей обычной улыбкой и с заказом. Миксер он поставил перед Томасом Хадсоном, в нем осталась по крайней мере еще одна порция дайкири.

— Я с утра и до вечера могу вас обыгрывать,— сказал Томас Хадсон.

— Весь ужас в том, что это, кажется, так и есть.

— Кости меня любят.

— Хоть что-нибудь вас любит.

Томас Хадсон, в который раз за последний месяц, почувствовал, как по голове у него побежали мурашки.

— Что вы этим хотите сказать, Игнасио? — чрезвычайно вежливо осведомился он.

— Хочу сказать, что *мне* вас любить не за что, вы меня буквально ограбили.

— А-а,— сказал Томас Хадсон.— За ваше здоровье.

— Помирайте поскорее,— сказал Игнасио Натера Ревельо.

Томас Хадсон снова почувствовал, как по голове у него побежали мурашки. Он протянул левую руку, стараясь, чтобы Игнасио Натера Ревельо не видел этого, и кончиками пальцев тихонько постучал по низу стойки.

— Очень мило с вашей стороны,— сказал он.— Сыграем на следующую порцию?

— Нет,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Я и так большие деньги вам проиграл, и все за один день.

— Какие деньги? Вы проиграли только выпивку.

— Я обычно расплачиваюсь за выпитое.

— Игнасио,— сказал Томас Хадсон.— Вы уже третий раз говорите мне довольно неприятные вещи.

— У меня настроение довольно неприятное. Вам бы кто-нибудь так нахамил, как мне этот ваш посол, будь он проклят.

— Повторяю, я ничего не хочу слушать.

— Вот, вот! А жалуетесь, что я говорю вам неприятные вещи. Милый мой Томас. Мы с вами добрые друзья. Я столько лет знаю вас и вашего сына Тома. Кстати, как он?

— Он убит.

— Простите меня. Я не знал.

— Ничего,— сказал Томас Хадсон.— Выпьем, я плачу́.

— Я виноват. Простите меня. Пожалуйста, простите. Как это случилось?

— Я еще ничего не знаю. Когда узнаю, скажу вам.

— Где он погиб?

— Не знаю. В каких местах летал, знаю, а больше ничего.

— А в Лондоне он был? Видался с нашими друзьями?

[1] Классически *(исп.)*.

— Конечно. Он несколько раз туда летал и всегда заходил к Уайту и видался со всеми, кто там бывает.

— Хоть это утешительно.

— Что?

— Я хочу сказать, приятно, что он повидал наших друзей.

— Безусловно. И я уверен, что Тому было там хорошо. Ему везде было хорошо.

— Выпьем за него?

— Нет. К чертям. Не хочу,— сказал Томас Хадсон. Все опять нахлынуло на него; все, о чем он старался не думать; все горе, которое он отметал от себя, от которого отгораживался и не допускал ни одной мысли о нем ни во время рейса, ни сегодня утром.— Не надо.

— А по-моему, надо,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— По-моему, это как нельзя более кстати. Мы воздадим ему должное. Но платить буду я.

— Хорошо. Выпьем за него.

— В каком он был чине?

— Капитан.

— Мог бы дослужиться до подполковника или, по крайней мере, эскадрильей бы командовал.

— Что там говорить о чинах.

— Хорошо, не будем,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— За моего дорогого друга и за вашего сына Тома Хадсона. *Dulce es morire pro patria* [1].

— За свиную задницу,— сказал Томас Хадсон.

— В чем дело? Моя латынь хромает?

— Не мне судить, Игнасио.

— Но вы всегда блистали латынью. Я знаю это от ваших школьных товарищей.

— Моя латынь совсем никуда,— сказал Томас Хадсон.— Так же, как и мой греческий, и мой английский, и моя голова, и мое сердце. Я сейчас могу только одно выговорить: замороженный дайкири. *¿Tú hablas frozen daiquiri tú?* [2]

— По-моему, Тому следует оказать немножко больше уважения.

— Том и сам был завзятый шутник.

— Это верно. У него было прекрасное, тончайшее чувство юмора. И он был один из самых красивых юношей, каких я знал, и с прекрасными манерами. А какой спортсмен! Высшего класса!

— Да, правильно. Диск он метал на сто сорок два фута. Играл и защитника, и левого нападающего. Был прекрасным теннисистом, отлично стрелял влет, ловил форель.

— Он был великолепным спортсменом и прекрасным атлетом. Один из самых лучших спортсменов, каких я только знал.

— В одном ему только не повезло.

— В чем?

— В том, что он погиб.

— Не расстраивайтесь, Томми. Вспоминайте, какой он был. Солнечная натура, веселый, столько всего сулил впереди. Какой смысл расстраиваться?

— Смысла никакого,— сказал Томас Хадсон.— И расстраиваться больше не будем.

— Значит, вы со мной согласны? Вот и хорошо. Так приятно было поговорить о нем. И так тяжело услышать эту весть. Но вы, конечно, справитесь со своим горем, и я тоже справлюсь, хотя вам, отцу, в тысячу раз тяжелее. На чем он летал?

[1] Сладко умереть за родину *(искаженная латынь)*.

[2] Ты говоришь, дайкири со льдом? *(Исп.-англ.)*

— На «спитфайре».

— На «спитти». Буду представлять себе мысленно, как он ведет «спитти».

— Стоит ли вам так беспокоиться.

— А что? Я их в кино видал. У меня есть книги об английском воздушном флоте, и мы получаем сводки Британского информационного бюро. Там есть прекрасные материалы. Я отлично представляю себе, как Том выглядел. Наверно, в спасательной куртке, с парашютом, в летной форме, в огромных, тяжеленных башмаках. Просто вижу его. А теперь мне пора домой — обедать. Поедемте со мной? Лютесия будет вам очень рада.

— Нет, мне надо встретиться тут кое с кем. Большое спасибо.

— Всего вам хорошего, старик,— сказал Игнасио Натера Ревельо.— Я уверен, вы это преодолеете.

— Спасибо за помощь. Вы были очень добры.

— Да при чем тут доброта? Я любил Тома. Как и вы. Как все мы его любили.

— Спасибо за угощение.

— Я как-нибудь все у вас отыграю.

Он вышел. Из-за спины у Томаса Хадсона появился один его матрос с катера. Смуглый малый, курчавые, темные волосы коротко подстрижены, веко на левом глазу чуть опущено, глаз искусственный, но это не было заметно, так как правительство преподнесло ему четыре разноцветных глаза — налитый кровью, чуть красноватый, слегка замутненный и совсем чистый. Сейчас в глазнице у него сидел второй — чуть краснова-тый, и он уже был навеселе.

— А, Том. Когда ты приехал в город?

— Вчера,— ответил Томас Хадсон и добавил медленно, почти не шевеля губами: — Спокойно, мать твою. Не корчи из себя клоуна.

— Я не корчу. Просто выпил немножко. Если меня взрежут, то какую надпись увидят на моей печенке? *Конспирация.* Я король конспирации. И ты сам это знаешь. Подожди, Том. Я стоял рядом с этим типом, который работает под англичанина, и не мог не слышать вашего разговора. Томми погиб?

— Да.

— Ах, мать твою! — сказал матрос.— Ах, мать твою!

— Я не хочу говорить об этом.

— Понимаю, Том. Но когда ты узнал?

— Перед нашим последним выходом.

— Мать твою!

— Что ты делаешь сегодня?

— Я обещал встретиться кое с кем в «Баскском баре», перекусим там и поедем к девкам.

— А где будешь завтра обедать?

— В «Баскском баре».

— Скажи Пако, чтобы он позвонил мне, когда вы туда придете. Ладно?

— Ладно. Домой чтобы позвонил?

— Да. Ко мне домой.

— Поедем с нами к девкам? Мы собираемся к Генри, в его «Дом греха».

— Может, и поеду.

— Генри охотится сейчас за девками. С самого завтрака рыщет. И разка два уже переспал. Он все старается раззадорить тех двух сучек, которых мы подцепили в курзале. Правда, на свету они обе оказались такие хари, хуже некуда. Но больше ни фига не нашли. Черт его знает, что стало с этим городом. Сучек Генри держит у себя в «Доме греха», на

всякий случай, а сам ездит туда-сюда вместе с Умницей Лил. Они на машине.

— Ну и как, получается что-нибудь?

— По-моему, нет. Генри приспичило, подавай ему ту маленькую. Которую он каждый день видит во «Фронтоне». Умница Лил не берется ее уговорить, потому что она побаивается — уж очень он здоровенный. Умница Лил говорит, с тобой она пойдет, а с Генри ни за что, потому что боится — и роста его и веса, и вообще она всего о нем наслышалась. Но Генри только ее и хочет, потому что эти две сучки его совсем доконали. Давай ему ту маленькую, он, видите ли, в нее влюбился. Влюбился, и все тут. А сейчас, наверно, она вовсе у него из головы выскочила, потому что он опять упражняется с теми сучками. Все-таки поесть-то ему надо, и мы сговорились встретиться в «Баскском баре».

— Да, покормите его как следует,— сказал Томас Хадсон.

— Не захочет — не заставишь. Это только тебе удается. А мне нет. Но я буду просить его: ешь, Генри, ешь. Умолять его буду. И покажу ему пример, как надо есть.

— Пусть Пако его покормит.

— Идея! Пако это в самый раз.

— Думаешь, он не проголодается после таких подвигов?

— А ты бы не проголодался?

И тут в бар вошел самый рослый человек, какого Томас Хадсон знавал в своей жизни, и самый широкоплечий, и самый веселый, и самый благовоспитанный — вошел, улыбаясь во все лицо, даже в этот прохладный день покрытое крупными бисеринами пота. Его большая рука была протянута для приветствия. Он весь был такой большой, что с его появлением все в баре словно уменьшились в росте, а улыбка у него была ясная и открытая. На нем были старые синие штаны, рубаха, какие носят крестьяне-кубинцы, и сандалии на веревочной подошве.

— Том,— сказал он.— Ты здесь, бродяга. А мы вот все носимся, ищем девиц.

В помещении, куда ветер не проникал, его большое красивое лицо вспотело еще сильнее.

— Мне тоже дайкири, Педрико. Двойную порцию. Даже больше, если это возможно. Вот здорово, что мы встретились, Том. Да, совсем позабыл. Ведь со мной Умница Лил. Иди сюда, моя прелесть.

Умница Лил вошла в боковую дверь. Она выигрывала, когда сидела у стойки в дальнем конце, пряча за ее полированным деревом тучность расплывшегося тела, так что только красивое смуглое лицо было на виду. Но сейчас, по дороге от двери, прятаться было некуда, и она вперевалочку пронесла себя к стойке так быстро, как только можно было без видимой торопливости, и влезла на табурет, с которого только что поднялся Томас Хадсон. Ему теперь оставалось только сесть на соседний табурет и тем прикрыть ее с фланга.

— Здравствуй, Том,— сказала она и поцеловала Томаса Хадсона.— Генри просто несносен.

— Вовсе я не несносен, моя прелесть,— сказал ей Генри.

— Несносен, несносен,— сказала она.— И с каждым разом становишься все несноснее. Томас, хоть бы ты меня защитил от него.

— Чем же это он так несносен?

— Влюбился в одну девчушку, совсем малявочку, и вот подай ему только ее. А малявочка с ним сегодня идти не может, да если бы и могла, не пошла бы, она его боится, потому что он такой большой и в нем двести тридцать фунтов весу.

Генри Вуд покраснел, совсем взмок от смущения и разом сглотнул половину своего дайкири.

— Двести двадцать пять,— сказал он.

— Что я вам говорил? — сказал смуглый малый.— Разве я именно это не говорил?

— А с какой стати ты тут вообще что-то кому-то говоришь? — спросил Генри.

— Две суки. Две потаскухи. Две паршивые портовые дешевки. Две шлюхи, у которых на уме только одно: деньги. Мы их пробуем. Потом меняемся и пробуем опять. Они обе еще остыть не успели. А когда я сказал одно дружеское душевное слово, так я, видите ли, грубиян.

— Да, в общем-то они были не первый сорт,— сказал Генри и снова покраснел.

— Первый сорт? Облить их бензином да поджечь, вот что с ними надо было сделать.

— Какой ужас,— сказала Умница Лил.

— А я самый ужасный человек, мадам,— сказал смуглый парень.— Так себе и заметьте.

— Вилли,— сказал Генри.— Хочешь, я тебе дам ключ от «Дома греха», и ты сходишь посмотришь, все ли там в порядке.

— Не хочу,— сказал Вилли.— Ключ у меня свой есть, ты об этом, видно, забыл, а ходить туда и смотреть, все ли там в порядке, я не хочу. Вышвырнуть оттуда этих двух потаскух, тогда все и будет в порядке.

— Ну, а если мы ничего лучше не достанем?

— Должны достать. Лилиан, ты бы слезла с табурета и пошла позвонила кому-нибудь по телефону. И черт с ней, с этой карлицей. Выкинь эту гномиху из головы, слышишь, Генри? Будешь забивать себе такой чушью голову, станешь психом. Я-то знаю. Я сам психом был.

— Ты и теперь псих,— сказал ему Томас Хадсон.

— Может, и так, Том. Тебе виднее. Но гномихи мне не требуются (он выговаривал «гыномихи»). Если Генри хочет спать с гыномихой, его дело. Но только это блажь, все равно как если б он хотел спать с однорукой или с одноногой. Так что пусть он забудет про свою гыномиху, и пусть Лилиан отправляется к телефону.

— Я на любую приличную девушку согласен, какая найдется. Ты, надеюсь, не возражаешь, Вилли?

— Приличные девушки нам ни к чему,— сказал Вилли.— С ними только свяжись, так и вовсе психом станешь. Верно я говорю, Томми? Приличные девушки — да это же всего на свете опасней. Сразу тебе припаяют соучастие в преступных действиях, или изнасилование, или покушение на изнасилование. Нет, к матери приличных девушек. Нам нужны шлюхи. Хорошие, чистые, миленькие, занятные, недорогие шлюхи. Которые знают свое дело. Лилиан, почему не идешь к телефону?

— Хотя бы потому, что он занят,— сказала Умница Лил.— И вон какой-то тип у табачного прилавка уже ожидает, когда он освободится. Дурной ты человек, Вилли.

— Я ужасный человек,— сказал Вилли.— Другого такого скверного человека тебе не встретить. Но я все-таки хотел бы, чтоб наши дела были получше налажены, чем теперь.

— Ладно, пропустим еще по стаканчику,— сказал Генри.— А там, я уверен, Лилиан нам подыщет кого-нибудь из своих знакомых. Ведь подыщешь, моя прелесть?

— Будь покоен,— сказала Умница Лил по-испански.— Неужели же не подыщу? Но только звонить я буду из уличного автомата. Не отсюда. Звонить отсюда — это и неудобно и неприлично.

— Опять отсрочка,— сказал Вилли.— Ладно. Не стану спорить. Пусть будет еще одна отсрочка. Но только тогда уж давайте пить.

— А чем ты до сих пор занимался, интересно? — спросил Томас Хадсон.

— Люблю я тебя, Томми,— сказал Вилли.— Чем ты сам до сих пор занимался?

— Пил с Игнасио Натерой Ревельо.

— Звучит похоже на итальянский крейсер,— сказал Вилли.— Не было итальянского крейсера с таким названием?

— Кажется, нет.

— А похоже.

— Ну-ка, дай мне взглянуть на чеки,— сказал Генри.— Сколько вы с ним выпили, Том?

— Чеки у Игнасио. Он мне проиграл выпивку, он и платил.

— А все-таки сколько? — спросил Генри.

— По четыре порции, что ли.

— А до того что ты пил?

— На пути в порт — одного «Тома Коллинза».

— А дома?

— Ну, дома много чего.

— Ты же просто горький пьяница,— сказал Вилли.— Педрико, еще три двойных замороженных дайкири, а даме, что она пожелает.

— *Un highbolito con agua mineral*[1],— сказала Умница Лил.— Томми, давай пересядем к тому концу стойки. Они тут не любят, когда я сижу у этого конца.

— А ну их к чертям,— сказал Томас Хадсон.— В кои-то веки сошлись вместе старые друзья, так нельзя спокойно выпить по стаканчику где хочется. Ну их к чертям.

— Сиди где сидишь, моя прелесть, и никого не слушай,— сказал Генри. Но тут он заметил двух знакомых плантаторов в глубине бара и пошел к их столику, не дожидаясь заказанного.

— Ну, все,— сказал Вилли.— Теперь он и про гыномиху забудет.

— Очень он рассеянный,— сказала Умница Лил.— Уж такой рассеянный.

— Это от той жизни, которую мы ведем,— сказал Вилли.— Все ищем развлечений просто так, чтобы развлекаться. Искать развлечений нужно с толком.

— А вот Том не рассеянный,— сказала Умница Лил.— Том грустный.

— Слушай, кончай эту хреновину,— сказал Вилли.— Моча тебе в голову ударила, что ли? Этот ей рассеянный. Тот ей грустный. А еще раньше я был ужасный. Дальше что? Всякая шлюха тут будет критику наводить на людей. Ты что, не знаешь, что твое дело веселиться и других веселить?

Умница Лил заплакала настоящими слезами, крупными и блестящими, как в кино. У нее всегда были наготове настоящие слезы, как только захочется, или понадобится, или обидит кто-нибудь.

— Эта шлюха умеет лить такие слезы, каких мать надо мной не проливала,— сказал Вилли.

— Зачем ты меня так обзываешь, Вилли?

— Брось, Вилли, слышишь? — сказал Томас Хадсон.

— Вилли, ты злой и жестокий человек, и я тебя знать не хочу,— сказала Умница Лил.— Не знаю, почему такие люди, как Томас Хадсон и Генри, с тобой водятся. Ты просто пакостник, вот ты кто.

— Что ж ты — дама, а такие слова говоришь,— сказал ей Вилли.— Пакостник — некрасивое слово. Все равно что плевок на конце сигары.

Томас Хадсон опустил руку ему на плечо.

— Пей, Вилли. Не у тебя одного невесело на душе.

— У Генри весело. Сказать бы ему то, что ты мне сказал, он сразу заскучал бы.

[1] Хайболл с минеральной водой *(исп.)*.

— Я тебе ответил на твой вопрос.

— Да не в том дело. Какого черта ты давишься своим горем и молчишь? Почему не поделился ни с кем за две недели?

— Горе поделить нельзя.

— Скряга ты, вот ты кто,— сказал Вилли.— Копишь горе, как скряга копит золото в сундуке. Никак я этого от тебя не ожидал.

— Перестань, Вилли, не надо,— сказал Томас Хадсон.— Спасибо тебе, но не надо. Я и сам справлюсь.

— Копи, копи, скряга. Но не думай, что так будет легче. Ни хрена не легче, я знаю, ученый.

— Я тоже ученый,— сказал Томас Хадсон.— Так что давай без дураков.

— Ну как хочешь. Может, для каждого лучше своя система. Но я ведь вижу, как тебя за это время подвело.

— Просто я много пью и устал, и еще не успел отойти хоть немного.

— От той письма были?

— Да. Целых три.

— Ну и как?

— Хуже некуда.

— Н-да,— сказал Вилли.— Тоже радости мало. Ну, копи хоть это, все-таки кое-что.

— Кое-что у меня есть.

— Да, как же. Кот Бойз со своей любовью. Знаем. Слыхали. Как он, кстати, поживает, этот сукин кот?

— Все такой же, как был.

— Этот кот из меня душу выматывает,— сказал Вилли.— Ей-богу, выматывает.

— Он, конечно, истосковался.

— Верно ведь? Если б мне столько приходилось тосковать, сколько этому коту, я бы давно уже спятил. Чего еще будешь, Томми?

— Повторю опять.

Вилли обхватил рукой внушительную талию Умницы Лил.

— Ладно, Лилли,— сказал он.— Ты славная девушка. Я тебя обидеть не хотел. Виноват. Меня чувства одолели.

— Больше не будешь так говорить?

— Нет. Пока снова не одолеют чувства.

— Ну, выпьем,— сказал ему Томас Хадсон.— Твое здоровье, бродяга.

— Вот это другой разговор,— сказал Вилли.— Вот теперь ты на человека похож. Жаль, твоего кота Бойза нет с нами. Он бы гордился тобой. Понял, значит, что я имел в виду, когда говорил насчет того, чтобы поделиться?

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Понял.

— Ну и ладно,— сказал Вилли.— Ну и хватит об этом. Мусор весь из дома вон, едет мусорный фургон. Нет, ты посмотри на этого поганца Генри. Такой прохладный день, а он весь мокрый от пота. С чего бы это он так взмок?

— Из-за девочек,— сказала Умница Лил.— Он на девочках совсем помешался.

— Верно, что помешался,— сказал Вилли.— Пробуравь ему голову в любом месте, так из дырки сразу девки полезут. Помешался. Слово какое-то хлипкое, неужели лучшего не нашла?

— По-испански это довольно крепкое слово.

— Помешался? Да ну, ерунда. Вот выдастся сегодня свободное время, подберу тебе словечко похлеще.

— Том, давай пересядем к тому концу стойки, там я не буду как на иголках, и можно будет поговорить спокойно. Только не угостишь ли

меня сандвичем? А то я с самого утра поесть не успела. Ношусь с Генри.

— Я пошел в «Баскский бар»,— сказал Вилли.— Приводи его туда, Лил.

— Ладно,— сказала Умница Лил.— А может быть, я его отправлю, а сама здесь останусь.

Она величаво прошествовала мимо мужчин, сидевших у стойки, одним улыбаясь, с другими заговаривая на ходу. И все отвечали ей уважительно и ласково. Почти каждый из тех, с кем она обменивалась приветствиями, когда-нибудь да любил ее за двадцать пять лет. Наконец, она дошла до конца стойки, села и улыбнулась издали Томасу Хадсону, и он тотчас пошел за ней, захватив с собой все свои чеки на выпитое. У нее была милая улыбка, и чудесные темные глаза, и красивые черные волосы. Как только вокруг лба и вдоль пробора начинала вылезать седина, Умница Лил просила у Томаса Хадсона денег на парикмахерскую, и когда она выходила оттуда, волосы опять были черные и блестящие, как у молодой девушки, и даже не выглядели крашеными. Ее гладкая кожа походила на оливковую слоновую кость — если бы слоновая кость когда-нибудь бывала оливковой — с легким дымчато-розовым оттенком. Томасу Хадсону цвет ее кожи напоминал выдержанную древесину *mahagua* в месте распила, когда она только что отшлифована чистым песком и слегка навощена. Нигде больше не встречал он этот дымчатый тон, чуть даже ударяющий в прозелень. Правда, розового налета у *mahagua* не было. Розовый налет получался от румян, которыми Умница Лил подцвечивала свои щеки, гладкие, как у молодой китаяночки. Красивое ее лицо улыбалось ему, когда он шел к ней вдоль стойки, и чем ближе, тем оно становилось красивее. Но вот он сел, и рядом с ним оказалось большое грузное тело, и заметен стал слой румян на лице, и от тайны этого лица ничего не осталось, но все-таки и вблизи оно было красивым.

— А ты все еще хороша, Умница,— сказал он ей.

— Ох, Том, я стала такая толстая. Мне даже стыдно.

Он положил руку на ее мощное бедро и сказал:

— Ты симпатичная толстушка.

— Мне стыдно, когда я прохожу через бар.

— У тебя это получается красиво. Плывешь, точно корабль.

— Как наш друг?

— Отлично.

— А когда я увижу его?

— Когда пожелаешь. Хоть сейчас.

— Нет, сейчас не нужно. Том, о чем это Вилли тут говорил? Я что-то не все поняла.

— Да так, психовал просто.

— Нет, он не психовал. Про тебя, про какие-то твои огорчения. Это насчет твоей сеньоры?

— Нет. Ну ее к матери, мою сеньору.

— Что толку ругать ее, когда ее здесь нет.

— Да. Это тоже верно.

— Так что же это за огорчения у тебя?

— Ничего. Огорчения, и все тут.

— Расскажи мне, Том. Прошу тебя.

— Нечего и рассказывать.

— Мне можно рассказать, ты же знаешь. Генри мне всегда рассказывает про свои огорчения и плачет по ночам. Вилли мне рассказывает ужасные вещи. Не про огорчения, а про кое-что пострашней огорчений. Все мне всё рассказывают. Только ты вот не хочешь.

— Мне не станет легче, если я расскажу. Мне от этого всегда только хуже становится.

— Том, зачем Вилли говорит мне всякие гадости? Он же знает, что для меня это прямо как ножом по сердцу слушать такие слова. Он же знает, что я сама никогда никаких таких слов не говорю и ничего не делаю свинского и противного природе.

— Оттого-то мы и зовем тебя Умницей Лил.

— Если бы мне сказали: будешь делать такое, разбогатеешь, а не будешь, останешься навсегда в бедности,— я бы предпочла остаться в бедности.

— Знаю. Ты, кажется, хотела съесть сандвич?

— Это когда я проголодаюсь. Сейчас я еще не проголодалась.

— Тогда, может, выпьешь еще со мной?

— Охотно. Слушай, Том, что я тебя еще хочу спросить. Вилли сказал, у тебя есть кот, который в тебя влюблен. Неужели правда?

— Правда.

— Какой ужас.

— Что же тут ужасного? Я и сам влюблен в этого кота.

— Фу, даже слышать не хочу. Ты меня нарочно дразнишь, Том, не надо меня дразнить. Вилли вот дразнил меня и довел до слез.

— Я этого кота очень люблю,— сказал Томас Хадсон.

— Перестань, довольно об этом. Скажи мне лучше, когда ты меня поведешь в бар, куда ходят психи из сумасшедшего дома?

— Как-нибудь на днях.

— Неужели психи в самом деле ходят туда так же, как мы,— выпить, людей повидать?

— Совершенно так же. Вся разница в том, что на них штаны и рубахи из мешковины.

— А это правда, что ты играл в бейсбольной команде сумасшедшего дома, когда там был матч с колонией прокаженных?

— Еще бы. У них никогда не было лучшего подающего.

— А как ты вообще к ним попал?

— Ехал раз мимо, возвращаясь с ранчо Бойерос, и мне приглянулось место.

— Ты правда сводишь меня в этот бар?

— Конечно, свожу. Если тебе не страшно.

— Страшно. Но с тобой мне будет не так страшно. Мне для того и хочется сходить туда. Чтоб было страшно.

— Среди этих психов есть замечательные люди. Тебе понравятся.

— Мой первый муж был псих. Но он был тяжелый псих.

— А как тебе кажется, Вилли не псих?

— Ну что ты. Просто у него трудный характер.

— Он очень много тяжелого перенес.

— А кто нет? Но Вилли слишком любит козырять этим.

— Вряд ли. Я знаю. Можешь мне поверить.

— Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Видишь, вон стоит человек, разговаривает с Генри?

— Вижу.

— Он в постели ничего, кроме свинских штук, не признает.

— Бедный.

— Он вовсе не бедный. Он богатый. Но ему нравится только *porquerías* [1].

— А тебе никогда не нравилось *porquerías?*

— Никогда. Спроси кого хочешь. И с женщинами я тоже никогда в жизни не баловалась.

— Умница Лил.

— А что, разве ты хотел бы, чтобы я была другая? Тебе ведь

---

[1] Свинство *(исп.)*.

porquerias ни к чему. Тебе нужно простой любви и радости и потом спокойно заснуть. Я тебя знаю.

— *Todo el mundo me conoce* [1].

— Нет, все не знают. Все о тебе воображают невесть что. А я тебя знаю.

Томас Хадсон снова пил замороженное дайкири без сахара, и сейчас, приподняв тяжелый с заиндевевшими краями стакан, он смотрел на его содержимое, зеленовато-прозрачное под пенистой верхушкой, и оно напоминало ему море. Взбитая сверху пена походила на след за кормой, а прозрачная жидкость внизу была как морская волна, когда катер взрезает ее на мелководье над глинистым дном. Почти точно такой же цвет.

— Жаль, нет напитков цвета морской воды на глубине восьмисот саженей, когда стоит мертвый штиль, и солнце палит почти отвесно, и море кишит планктоном.

— Что? — спросила Умница Лил.

— Ничего. Давай пить эту мелководную жижу.

— Том, что с тобой такое? Что-нибудь не ладится?

— Нет.

— Ты сегодня ужасно грустный и как будто чуть-чуть постарел.

— Это от северного ветра.

— Но ты всегда говорил, что северный ветер бодрит тебя и придает тебе силы. Как мы часто любились с тобой оттого, что дул северный ветер.

— Очень часто.

— Ты всегда хвалил северный ветер, и ты купил мне вот это пальто, носить, когда он задует.

— Что ж, пальто красивое.

— Я бы его уже десять раз могла продать,— сказала Умница Лил.— Ты даже не представляешь, сколько на него было охотниц.

— Сегодня подходящая для него погода.

— Развеселись, Том. Ты же всегда такой веселый, когда выпьешь. Допей свой стакан и закажи еще.

— Это нельзя пить быстро, лоб заболит.

— Ну, тяни медленно, глоток за глотком. А я, пожалуй, выпью еще один *highbolito.*

Она сама приготовила себе хайболл, взяв бутылку, заранее поставленную перед ней Серафином, и Томас Хадсон посмотрел и сказал:

— Ну что это за питье — одна пресная вода. И цвет такой, как у воды в реке Файрхол до слияния с Гиббоном, от которого образуется Мэдисон. Долей еще виски, тогда хоть получится цвет этой речушки, что впадает в Медвежью реку у кедровой рощи за Ваб-Ми-Ми.

— Какое смешное название «Ваб-Ми-Ми»,— сказала она.— А что оно означает?

— Не знаю,— ответил он.— Просто так называется индейский поселок. Я, наверно, когда-то знал, как перевести, да забыл. Это на языке оджибвэев.

— Расскажи мне про индейцев,— попросила Умница Лил.— Про индейцев даже интереснее, чем про психов.

— Здесь, на побережье, индейцев немало. Только эти индейцы — поморяне, они больше рыбаки и угольщики.

— Про кубинских индейцев ты мне не рассказывай. Они все *mulatos* [2].

— Нет, это неверно. Среди них есть и чистокровные индейцы. Их предков привезли сюда, наверно, пленниками с Юкатана.

---

[1] Меня все знают *(исп.)*.

[2] Мулаты *(исп.)*.

— Не люблю *yucatecos* [1].

— А я люблю. Даже очень.

— Расскажи лучше про Ваб-Ми-Ми. Это на Дальнем Западе?

— Нет, это на Севере. Недалеко от Канады.

— В Канаде я была. Ездила раз в Монреаль на экскурсионном пароходе. Но шел дождь, и ничего не было видно, и мы в тот же вечер уехали поездом обратно в Нью-Йорк.

— И все время, что вы плыли, шел дождь?

— Не переставая. А пока мы еще не вошли в устье реки, был туман и временами шел снег. Нет уж, бог с ней, с Канадой. Расскажи про Ваб-Ми-Ми.

— Это был небольшой городок с лесопилкой на берегу реки. Прямо через городок проходила железная дорога, и у самого полотна громоздились кучи опилок. На реке была устроена запань, и речное русло было на несколько миль запружено бревнами. Как-то раз я там ловил рыбу, вздумал перейти с удочкой на другой берег и ползком стал перебираться с бревна на бревно. Вдруг одно бревно подо мной повернулось, и я очутился в воде. А когда я хотел выкарабкаться, оказалось, что надо мной сплошной бревенчатый свод. Сколько я ни шарил руками в темноте в поисках щели или просвета, мои пальцы встречали только древесную кору. Нигде не было такого места, чтобы можно было раздвинуть два бревна и пролезть между ними.

— Что же ты стал делать?

— Утонул.

— Ой, не шути так,— сказала она.— Скорей расскажи, что ты сделал.

— Я сразу же понял, что медлить нельзя. Стал пядь за пядью ощупывать ближайшее бревно, пока не нащупал то место, где оно прижималось к соседнему. Тогда я уперся обеими руками и до тех пор подталкивал его кверху, пока бревна чуть-чуть не разошлись. Я быстро просунул в просвет кисти рук, потом предплечья и локти и, уже работая локтями, развел бревна настолько, что смог высунуть голову и выпростать руки до самых плеч. Долго я лежал между двумя бревнами, обняв их руками и чувствуя, как нежно я их люблю. От бревен вода в реке казалась коричневой. А в речушке, впадающей неподалеку, она была такого цвета, как то, что ты сейчас пьешь.

— Мне бы ни за что не раздвинуть этих бревен.

— Я и сам не надеялся, что смогу их раздвинуть.

— Сколько времени ты пробыл под водой?

— Не знаю. Знаю только, что я очень долго лежал между бревнами, отдыхая, прежде чем решился действовать дальше.

— Этот рассказ мне нравится. Но после него меня будут мучить кошмары. Расскажи мне что-нибудь веселое, Том.

— Хорошо,— сказал он.— Дай подумать.

— Нет. Рассказывай сразу, не задумывайся.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Когда Том-младший был еще совсем маленький...

— *Que muchacho más guapo!* [2] — перебила его Умница Лил.— *Que noticias tienes de él?* [3]

— *Muy buenas* [4].

— *Me alegro* [5],— сказала Умница Лил, и при мысли о Томе-младшем, о летчике, глаза у нее наполнились слезами.— *Siempre tengo su*

---

[1] Юкатан *(исп.)*.

[2] Какой красавец парень *(исп.)*.

[3] Какие у тебя вести от него? *(Исп.)*

[4] Очень хорошие *(исп.)*.

[5] Я очень рада *(исп.)*.

fotografía en uniforme con el sagrado corazón de Jesús arriba de la fotografía y al lado la virgen del Cobre[1].

— Ты свято веришь в богоматерь дель Кобре?

— Верю. Слепо верю.

— Не теряй своей веры.

— Она день и ночь заботится о нем.

— Прекрасно,— сказал Томас Хадсон.—Серафин, еще одну двойную порцию, пожалуйста. Ну, так хочешь слушать веселую историю?

— Да, пожалуйста,— сказала Умница Лил.— Прошу тебя, расскажи что-нибудь веселое. А то мне опять стало грустно.

— *Pues el happy story es muy sencillo,*[2]— сказал Томас Хадсон.— Когда мы в первый раз поехали с Томом в Европу, ему исполнилось всего три месяца, а пароходишко был древний, маленький, тихоходный, и море большей частью было бурное. На пароходе пахло трюмной водой и машинным маслом, и медью иллюминаторов, покрытой смазкой, и *lavabos*[3] и дезинфекцией — большими розовыми лепешками, которые клали в писсуары...

— *Pues*[4], что-то не очень весело.

— *Si, mujer.*[5] Ни черта ты не понимаешь. Это веселая история, *muy*[6] веселая. Так, продолжаю. Кроме того, на нашем пароходе пахло ванными, и ты должен был мыться в определенные часы, а не помоешься, тогда стюард при ванной будет презирать тебя; пахло горячей соленой водой, льющейся из медных кранов в кабине, и мокрой деревянной решеткой на полу, и накрахмаленной курткой стюарда. Кроме того, там пахло дешевой английской стряпней, что способна испортить человеку настроение, и потухшими окурками сигарет «Вудбайнз», «Плейерс» и «Голд флейкс» в курительной комнате и всюду, где их ни бросят. Там не было ни одного приятного запаха, а ты ведь знаешь, что от англичан — и от мужчин и от женщин — идет специфический дух, они сами его чувствуют, как негры чувствуют наш запах, и поэтому им надо очень часто мыться. От коровы, когда она дыхнет на тебя, пахнет сладко, а вот от англичан — нет. И курение им не помогает, трубка может только добавить кое-что к их запаху. Правда, твид у них пахнет хорошо, и кожаная обувь, и седельное снаряжение тоже хорошо пахнут. Но на пароходе седельного снаряжения не бывает, а твид пропитан вонью потухшей трубки. Единственный приятный запах на этом пароходе можно было почувствовать, только уткнувшись носом в высокий стакан с сухим искристым девонским сидром. Сидр пахнул замечательно, и я утыкался в него носом по мере своих возможностей. Иногда даже превышая их.

— *Pues.* Вот это уже немножко повеселее.

— А сейчас пойдет самое веселое. Наша каюта была расположена низко — чуть выше уровня воды, так что иллюминатор приходилось держать закрытым. В него было видно, как вода мчится мимо и какой плотной зеленой стеной кидается она на стекло. Мы связали наши кофры и чемоданы и устроили из них заграждение у койки, чтобы Том не падал, а когда приходили проверить его, он каждый раз встречал нас смехом, если, конечно, не спал.

— Трехмесячный, и уже смеялся?

— Он всегда смеялся. Я не помню, чтобы наш Том когда-нибудь плакал в младенчестве.

[1] Я храню его фотографию в военной форме со святым сердцем Иисуса в уголке, вместе с изображением богоматери дель Кобре *(исп.)*.

[2] Эта веселая история очень простая *(исп.)*.

[3] Уборными *(исп.)*.

[4] Ну *(исп.)*.

[5] Нет, женщина *(исп.)*.

[6] Очень *(исп.)*.

— *¡Que muchacho más lindo y mas guapo!*[1]

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Рассказать тебе еще одну веселую историю о нем?

— Почему ты разошелся с его очаровательной матерью?

— Было такое странное стечение обстоятельств. Ну так как, хочешь еще одну веселую историю?

— Да. Только чтобы в ней было поменьше запахов.

— Вот этот замороженный дайкири, так хорошо взбитый, похож на волну, когда нос парохода, делающего по тридцать узлов, вспарывает ее и она разваливается по обе его стороны. А что, если б замороженный дайкири еще и фосфоресцировал?

— Добавь в него фосфора. Только, по-моему, это будет вредно. У нас на Кубе бывает, что люди совершают самоубийство, наевшись спичечных фосфорных головок.

— И выпив *tinte rápido*. А что такое «быстрые чернила»?

— Это такая жидкость, ею красят обувь в черный цвет. Но девушки — те, кому не повезло в любви или кого обманули женихи, сделав с ними нехорошее и так и не женившись на них, чаще всего обливаются спиртом и поджигают себя. Это классический способ самоубийства.

— Да, знаю,— сказал Томас Хадсон.— *Auto da fé*[2].

— Это уж наверняка,— сказала Умница Лил.— Они почти всегда умирают. Вся голова в ожогах, и обычно ожоги и по всему телу. Быстрые чернила — это чаще всего просто красивый жест. Йод *au fond*[3] тоже чаще всего красивый жест.

— О чем это вы, упыри, тут болтаете? — спросил бармен Серафин.

— О самоубийствах.

— *Hay mucho*[4],— сказал Серафин.— Особенно среди бедного люда. Я не припомню, чтобы кто-нибудь из богатых кубинцев кончал с собой. А ты?

— А я помню,— сказала Умница Лил.— Было несколько таких случаев. И все хорошие люди.

— Уж ты запомнишь что надо и что не надо,— сказал Серафин.— Сеньор Томас, а вы не хотите заесть чем-нибудь свой дайкири? *¿Un poco de pescado? ¿Puerco frito?*[5] Закуски?

— Sí,— сказал Томас Хадсон.— Давайте, что у вас найдется.

Серафин поставил перед ним блюдо с хрустящими коричневыми ломтиками жареной свинины и блюдо с красным снеппером, запеченным в тесте так, что розовато-красная кожица его была покрыта желтой корочкой, а под ней белела нежная мякоть. Серафин был рослый малый, не очень-то церемонный на язык, и ступал он тоже не церемонясь, потому что носил башмаки на деревянной подошве, постукивающие на мокром полу за стойкой, где всегда было что-нибудь расплескано.

— Холодное мясо подать?

— Нет. Хватит и этого.

— Бери все, что ни предложат, Том,— сказала Умница Лил.— Ты же знаешь здешние порядки.

Про этот бар было известно, что даровыми коктейлями тут не угощают. Зато гости могли получать бесплатную горячую закуску, куда входили не только жареная рыба и свинина, но и кусочки жареного мяса и гренки с сыром и ветчиной. Кроме того, бармены смешивали коктейли в огромных миксерах, и после разлива там всегда оставалось по меньшей мере еще порции полторы.

---

[1] Какой красивый и милый мальчик *(исп.)*.
[2] Аутодафе *(исп.)*.
[3] В сущности *(франц.)*.
[4] Их много *(исп.)*.
[5] Что-нибудь рыбное? Жареную свинину? *(Исп.)*

— Теперь тебе не так грустно? — спросила Умница Лил.

— Да.

— Скажи мне, Том. Что тебя так огорчает?

— *El mundo entero.*[1]

— А кого же не огорчает то, что творится во всем мире? И день ото дня все хуже и хуже. Но нельзя же только и делать, что сокрушаться из-за этого.

— Законом это не преследуется.

— А зачем законы, мы сами понимаем, что хорошо, что плохо.

Дискуссии с Умницей Лил на этические темы не совсем то, что мне требуется, подумал Томас Хадсон. А что тебе, дьяволу, требуется? Тебе требовалось как следует напиться, и ты, вероятно, уже пьян, хоть и не замечаешь этого. Того, что тебе нужно, ты получить не можешь, и твои желания никогда больше не исполнятся. Но ведь есть различные паллиативы, вот и воспользуйся ими. Действуй, Хадсон. Действуй.

— *Voy a tomar otro de estos grandes sin azúcar*[2],— сказал он Серафину.

— *En seguida, Don Tomás*[3],— сказал Серафин.— Вы что, хотите перекрыть свой же рекорд?

— Нет. Я просто пью, и пью спокойно.

— Когда ставили рекорд, вы тоже пили спокойно,— сказал Серафин.— Спокойно и мужественно, с утра и до вечера. И вышли отсюда на своих на двоих.

— Плевал я на свой рекорд.

— Имеете шанс побить его, если будете много пить и мало закусывать,— сказал ему Серафин.— Тогда шансы у вас есть.

— Том, побей рекорд,— сказала Умница Лил.— Я буду свидетельницей.

— Не нужны ему свидетели,— сказал Серафин.— Я свидетель. А кончу смену, передам счет Константе. Помните тот день, когда вы поставили рекорд? Так вот вы уже сейчас его перекрыли.

— Плевал я на свой рекорд.

— Вы в хорошей форме, пьете отлично, без перерывов, и пока на вас ничего не сказывается.

— К матери мой рекорд.

— Ладно. *Como usted quiere*[4]. Счет я веду на всякий случай, вдруг вы передумаете.

— Со счета он не собьется,— сказала Умница Лил.— Чеки-то у него с копиями.

— Тебе что нужно, женщина? Тебе нужен настоящий рекорд или фиговый?

— Ни то и ни другое. Я хочу *highbolito c agua mineral*[5].

— *Como siempre*[6],— сказал Серафин.

— Я коньяк тоже пью.

— Мне бы лучше не видать, как ты пьешь коньяк.

— Знаешь, Том, я однажды, когда садилась в трамвай, упала и чуть не погибла.

— Бедная Лил,— сказал Серафин.— Какая у тебя жизнь — полная опасностей и всяких переживаний!

— Уж лучше твоей — с утра до вечера стоишь за стойкой в деревянных башмаках и угождаешь пьяницам.

---

[1] Весь мир *(исп.)*.
[2] Еще одну двойную порцию без сахара *(исп.)*.
[3] Сию минуту, дон Томас *(исп.)*.
[4] Как хотите *(исп.)*.
[5] Хайболл с минеральной водой *(исп.)*.
[6] Как всегда (исп.).

— Это моя работа,— сказал Серафин.— А угождать таким выдающимся пьяницам, как ты, для меня большая честь.

В бар вошел Генри Вуд. Он стал рядом с Хадсоном — высокий, весь потный, взволнованный переменой в ранее принятых планах. Что может доставить ему большее удовольствие, подумал Томас Хадсон, чем внезапное изменение планов!

— Мы едем к Альфреду в его «Дом греха»,— сказал Генри.— Хочешь с нами, Том?

— Вилли ждет тебя в «Баскском баре».

— Пожалуй, на сей раз Вилли нам брать незачем.

— Тогда так и скажи ему.

— Хорошо, я ему позвоню. А ты поедешь, Том? Будет очень весело.

— Тебе надо бы поесть.

— Я закажу себе большой сытный обед. Ну, как твои дела?

— Мои дела хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Отлично.

— Будешь перекрывать свой рекорд?

— Нет.

— Вечером увидимся?

— Вряд ли.

— Если хочешь, я приеду и переночую у тебя.

— Нет. Развлекайся. Только поешь чего-нибудь.

— Я закажу себе великолепный обед. Даю честное слово.

— Не забудь позвонить Вилли.

— Вилли я позвоню. Можешь не беспокоиться.

— А где у Альфреда этот «Дом греха»?

— У него великолепно. Дом смотрит на гавань, хорошо обставлен, и вообще там замечательно.

— Я спрашиваю адрес.

— Адреса я не знаю, но я передам с Вилли.

— Ты не думаешь, что Вилли обидится?

— А что поделаешь, Том? Не могу я пригласить его туда. Ты знаешь, как я люблю Вилли. Но есть места, куда я не могу таскать его за собой. Ты знаешь это не хуже меня.

— Ладно. Только не забудь позвонить ему.

— Честное слово, позвоню. И даю слово, что закажу себе шикарный обед.

Он улыбнулся, похлопал Умницу Лил по плечу и вышел. Для такого гиганта походка у него была удивительно красивая.

— А какие у него девочки в «Доме греха»? — спросил Томас Хадсон Умницу Лил.

— Да нет их, все разбежались,— сказала Умница Лил.— Там есть нечего. И выпивки, по-моему, тоже маловато. Куда ты поедешь — туда или, может, ко мне?

— К тебе,— сказал Томас Хадсон.— Но попозже.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое.

— Хорошо. Но о чем?

— Серафин,— сказала Лил.— Дай Томасу еще одну порцию двойного замороженного, без сахара. *Tengo todavia mi highbolito*[1].— Потом, обратившись к Томасу Хадсону: — Вспомни, когда тебе жилось всего веселее. Только чтобы без запахов.

— Без запахов не обойдется,— сказал Томас Хадсон. Он смотрел, как Генри Вуд прошел через площадь и сел в спортивную машину очень богатого сахарного плантатора по имени Альфред. Генри Вуд был слишком громоздкий для такой машины. Громоздкость ему во всем мешает, подумал Томас Хадсон. Но есть кое-какие дела, где она не по-

[1] У меня еще есть немного *(исп.)*.

меха. Нет, сказал он себе. Сегодня же у тебя свободный день. Пользуйся своим свободным днем.— О чем же тебе рассказать?

— О том, о чем я тебя просила.

Он смотрел, как Серафин нагибает миксер над высоким бокалом и как шапка дайкири завитком переливается через его край на стойку. Серафин опустил бокал в картонный футляр, и Томас Хадсон поднял его — тяжелый, холодный — за тонкую ножку и сделал большой глоток, и прежде чем проглотить задержал дайкири во рту, холодя им язык и зубы.

— Хорошо,— сказал он.— Самый веселый день в моей жизни был любой из тех дней, когда я, мальчишкой, просыпался утром и мне не надо было идти в школу и не надо было работать. По утрам я всегда просыпался очень голодным и чувствовал запах росы на траве и слышал, как ветер шумит в верхушках деревьев, если было ветрено, а если ветра не было, тогда я слышал лесную тишину и покой озера и ловил первые утренние звуки. Первым звуком иногда был полет зимородка над водой, такой спокойной, что его отражение скользило по ней, а он летел и стрекотал на лету. Иногда это цокала белка на дереве около дома, подергивая хвостом в такт своему цоканью. Часто это был голос ржанки, доносившийся с холмов. И всякий раз, когда я просыпался и слышал первые утренние звуки, хотел есть и вспоминал, что ни идти в школу, ни работать не надо, мне было так хорошо, как никогда больше не бывало.

— Даже с женщинами?

— С женщинами я был счастлив. Отчаянно счастлив. Невыносимо счастлив. Так счастлив, что самому не верилось — казалось, ты пьян или сошел с ума. Но такого счастья, как с моими детьми, когда мы жили все вместе, или как бывало по утрам, я никогда больше не испытывал.

— Как это может быть? Один, без людей — и счастлив не меньше, чем с людьми.

— Это все ерунда. Ты сама просила меня рассказать первое, что придет в голову.

— Вовсе нет. Я просила, расскажи мне веселую историю о самом приятном, что у тебя было в жизни. А какая же это история? Проснулся человек, и ему стало приятно. Ты расскажи настоящую.

— О чем?

— Чтобы там была любовь.

— Какая любовь? Небесная или земная?

— Да ну тебя. Просто настоящая любовь и чтоб было весело.

— Об этом могу рассказать очень интересную историю.

— Вот и рассказывай. Еще порцию заказать?

— Сначала дай это допью. Так вот. Это было в Гонконге, в городе замечательном, где я вел сумасшедший образ жизни и веселился вовсю. Там очень красивая бухта, а на материковом ее берегу стоит город Каулун. Сам Гонконг расположен на холмистом острове, покрытом густыми рощами, наверх там ведут извилистые дороги, всюду разбросаны виллы, а город внизу, у подножия холмов, как раз напротив Каулуна. Между Гонконгом и Каулуном курсируют современные быстроходные паромы.

Каулун красивый город, тебе бы он очень понравился. Чистый, хорошо спланированный, рощи подходят к самым его окраинам, а рядом со двором женской тюрьмы прекрасный участок для охоты на лесных голубей. Мы ходили охотиться на этих голубей — они крупные, красивые, с прелестным лиловатым опереньем на шейке, а полет у них стремительный, сильный. Охота шла в сумерках, когда они прилетали на ночлег к огромному лавровому дереву, которое росло у побеленной сте-

ны тюремного двора. Иногда мне удавалось подстрелить голубка, быстро летящего по ветру над самой моей головой, и он падал на тюремный двор, и я слышал, как арестантки поднимали из-за него драку, кричали, визжали от восторга, а потом опять крик и визг, когда охранник-пенджабец, разогнав их, подбирал птицу и, будучи личностью весьма обязательной, выносил ее нам из служебной калитки.

Район на материке за Каулуном называется Новые Территории. Среди холмов в рощах там водилось много лесных голубей, и по вечерам бывало слышно, как они перекликаются друг с другом. В этих местах мне часто приходилось видеть, как женщины и дети копают землю у обочин дорог и ссыпают ее в корзины. Увидев человека с ружьем, они убегали и прятались в лесу. Как выяснилось, землю они копали потому, что в ней был вольфрам. В те годы вольфрам очень ценился.

— *Es un poco pesada esta historia*[1].

— Нет, Умница Лил. Эта история совсем не скучная. Подожди, не торопись. Сам по себе вольфрам действительно *pesado*[2]. Но это все очень любопытно. Добывать его, оказывается, легче легкого. Копай землю и вывози ее или собирай камни. В Эстремадуре, в Испании, есть целые деревни, где дома сложены из камней с высоким содержанием вольфрама, и каменные изгороди в полях тоже из этой руды. А тамошние крестьяне живут бедно. В те времена вольфрам был в такой цене, что мы использовали транспортные самолеты «ДС-2» — сейчас они летают отсюда в Майами — для доставки его с полей Нам Янга в Свободном Китае в аэропорт Кай-Так в Каулуне. А оттуда его морем вывозили в Соединенные Штаты. Вольфрам редкий металл, он считался жизненно необходимым в нашей подготовке к войне, так как его употребляли при изготовлении стали, а на Новых Территориях любой мужчина, любая женщина выкапывали столько земли, сколько могли унести в плоской корзине на голове, и сгружали эту землю в большом сарае, где ее продавали из-под полы. Я выяснил это на голубиной охоте и довел до сведения людей, которые были заняты скупкой вольфрама на материке. Моими сообщениями никто не заинтересовался, но я продолжал свое и пошел с докладом выше, и наконец один крупный военный, которому не было никакого дела до того, что вольфрам на Новых Территориях расхищается, сказал мне: «Друг мой, вы же знаете, разработки в Нам Янге ведутся». Но по вечерам, когда мы охотились около женской тюрьмы и видели, как старый двухмоторный «дуглас», только что перелетев через японскую линию фронта, появляется из-за холмов и идет на снижение к аэропорту, груженный мешками с вольфрамом, нам странно было представить себе, что многие женщины в женской тюрьме отбывают срок за незаконную добычу вольфрама.

— *Si, es raro*[3],— сказала Умница Лил.— Но когда же будет про любовь?

— Когда захочешь, тогда и будет,— сказал Томас Хадсон.— Но если ты послушаешь про места, где все это происходило, тогда мой рассказ произведет на тебя еще большее впечатление.

Около Гонконга много островов и заливчиков, и вода в море чудесная, чистая. Новые Территории это холмистый, заросший лесами полуостров, который выдается с материка, а остров, где построен город Гонконг, лежит в большой, синей, глубокой бухте, протянувшейся от Южно-Китайского моря до самого Кантона. Зимой погода там была как у нас сейчас, когда норд переходит в ураган с дождями, и спать там было прохладно.

Я просыпался по утрам и даже в дождь шел на рыбный рынок.

---

[1] Это немного тяжелая история *(исп.)*.

[2] Тяжелый *(исп.)*.

[3] Да, это интересно *(исп.)*.

Тамошняя рыба почти такая же, как наша, а основное, что идет у них в пищу,— это красный групер. А еще там были бочковатые, мокро поблескивающие помпано и огромные креветки, я таких громадин нигде больше не видел. Рыбный рынок особенно хорош был рано утром, когда туда приносили свежую, только что выловленную, мокро поблескивающую рыбу. Неизвестные мне сорта попадались, но мало, а кроме рыбы там торговали и дикими утками, пойманными в силки: шилохвосты, чирки, свиязи — и селезни и уточки — в зимнем оперении, а такого нежного, сложнейшего, как у наших вальдшнепов, узора оперения я у диких уток никогда раньше не видел. Я любовался этими птицами, их невероятным оперением, прекрасными глазами, любовался жирной, мокро поблескивающей, только что выловленной рыбой и прекрасными овощами, выращенными на человечьих экскрементах, именующихся там «ночной подкормкой», а овощи были такие красивые — что твои змеи. Я ходил на рынок каждое утро и каждое утро испытывал наслаждение.

Еще по утрам на улицах всегда встречались похоронные процессии. Провожающие были одеты во все белое, оркестр играл веселые мотивы. В тот год на похоронах чаще всего можно было услышать «Минуты счастья вновь пришли». Днем эта песенка все время стояла у тебя в ушах, потому что люди мерли, как мухи, а ведь на этом острове, по слухам, жили четыреста миллионеров, не считая тех, что обосновались в Каулуне.

— *¿Milionarios chinos?*

— Да, главным образом миллионеры-китайцы. Но были и всякие другие. Я сам знал многих миллионеров, и мы часто обедали вместе в знаменитых китайских ресторанах. В Гонконге было несколько шикарных ресторанов, не уступающих самым известным в мире, а кантонская кухня великолепна. В тот год среди моих лучших друзей были десять миллионеров, которых я знал только по их инициалам — Х. М., М. Я., Т. В., Х. Ж. и тому подобное. Так именовались все важные китайцы. Кроме того, я дружил с тремя китайскими генералами, один из них приехал из Уайтчепела в Лондоне и служил инспектором полиции — замечательный был человек; и еще с шестью летчиками Китайской Национальной авиакомпании, которые получали баснословные деньги, но стоили того; еще был у меня знакомый полисмен и не совсем нормальный австралиец и много англичан офицеров и... Но не буду утруждать тебя перечислением всех моих друзей. Стольких хороших, близких дружков у меня больше не было ни до, ни после Гонконга.

— *¿Cuando viene el amor?*[1]

— Я все думаю, какую amor пустить первой. Ладно. Вот тебе одна моя amor.

— Только чтобы было интересно, а то мне немножко надоел твой Китай.

— И напрасно. Ты бы влюбилась в него так же, как я.

— Почему же ты не остался там?

— Нельзя там было оставаться, того и гляди, могли прийти япошки.

— *Todo está jodido por la guerra.*[2]

— Да,— сказал Томас Хадсон.— Согласен.— Он никогда не слышал от Умницы Лил такого крепкого словца и, услышав его, удивился.

— *Me cansan con la guerra.*[3]

— Мне тоже,— сказал Томас Хадсон.— Я здорово устал от нее. Но вспоминать Гонконг никогда не устаю.

---

[1] Когда начнется про любовь? *(Исп.)*

[2] От войны все в дерьме *(исп.)*.

[3] Надоела мне эта война *(исп.)*.

— Ну, так расскажи мне о нем побольше. Это *bastante interesante*[1]. Но я хотела послушать про любовь.

— Да знаешь, там все было так интересно, что времени на любовь почти не оставалось.

— А кто у тебя была там первая?

— Первой была очень высокая и красивая китаянка, сильно европеизированная, эмансипированная, но она не хотела приходить ко мне в гостиницу, говоря, что тогда все об этом узнают, и ночевать у нее дома тоже не позволяла, потому что тогда узнает прислуга. Но ее овчарка уже знала о нас. Она сильно нам все осложняла.

— Тогда где же ты с ней сходился?

— Сходились, как молокососы сходятся,— там, где я этого добивался, главным образом в машинах, в лодках.

— Бедный наш дружок мистер Икс!

— Конечно бедный.

— И тем ваша любовь и ограничивалась? Вы так-таки и не провели ни одной ночи вместе?

— Нет.

— Бедный Том. А стоила она таких терзаний?

— Кто ее знает. Кажется, стоила. Мне, конечно, надо было снять дом, а не оставаться в отеле.

— «Дом греха» тебе надо было снять, как это здесь делают.

— Не люблю я эти «Дома греха».

— Да, знаю. Но если уж она так тебе была нужна.

— Это все как-то обошлось. Тебе еще не надоело слушать?

— Нет, Том, что ты! Про такое не надоест. Чем же это все кончилось?

— Однажды мы ужинали с этой девушкой, а после ужина долго катались в лодке, и это было замечательно, только не очень удобно. У нее была чудесная кожа, все, что предшествует тому самому, очень возбуждало ее, и губы у нее были тонкие, но отягощенные любовью. Потом мы вышли из лодки и пошли к ней в дом, а там эта овчарка, и надо было стараться, чтобы никто не проснулся, и наконец я ушел к себе в отель, неудовлетворенный, усталый от споров, хотя она и была права. Но зачем тогда эта дурацкая эмансипация, если нельзя лечь в постель с мужчиной. Если уж провозглашать эмансипацию, тогда надо прежде всего дать свободу постельным простыням. Словом, я был настроен мрачно и *frustrado*[2].

— Я никогда не видела, чтобы ты был *frustrado*. Это, наверно, очень смешно.

— Нет, не смешно. Я был злющий в ту ночь, все мне казалось отвратительным.

— Ну, рассказывай дальше.

— Взял я ключ у портье с таким настроением, что к черту все на свете. Отель был большой и мрачный, и мрачно роскошный, и я поднялся на лифте, зная, что меня ждет большой, и роскошный, и мрачный, и неуютный номер и не ждет прекрасная китаянка. Прохожу по коридору, отпираю массивную дверь своего огромного мрачного номера, и как ты думаешь, что я там вижу?

— Что ты там видишь?

— Трех совершенно прелестных молодых китаянок, таких прелестных, что моя китаянка, которую мне не удалось сегодня заполучить, рядом с ними выглядела бы школьной учительницей. До того они были хороши, что просто выдержать невозможно, и ни одна из троих ни слова не говорила по-английски.

[1] Довольно интересно *(исп.)*.

[2] Подавленно *(исп.)*.

— Откуда же они взялись?

— Один из моих миллионеров прислал. Они мне передали записку от него. Записка была на толстенной бумаге в веленевом конверте, и там было сказано только: «С приветом от С. В.»

— И что ты стал делать?

— Я ведь совершенно не знал их обычаев, поэтому я сперва поздоровался с каждой за руку, потом перецеловал всех по очереди, потом предложил пойти вместе под душ, чтобы лучше перезнакомиться между собой.

— На каком языке ты им это предложил?

— На английском.

— И они поняли?

— Я им все очень хорошо объяснил.

— А что было дальше?

— Я не знал, как быть, мне еще ни разу не приходилось ложиться в постель с тремя девушками сразу. Две — это еще куда ни шло спьяну, хоть я знаю, что ты этого не одобряешь. Но три — это уже целое общество, и я просто не знал, как быть. Я спросил, не желают ли они выпить, но они не пожелали. Тогда я выпил сам, и мы все вчетвером сели на кровать — по счастью, кровать была огромных размеров, а девушки маленькие. А потом я выключил свет.

— Ну и как это было?

— Чудесно. Никогда бы не думал, что можно обнимать трех девушек сразу. Но оказалось, что можно. Тем более в темноте. Мне даже спать не хотелось. Но в конце концов я заснул, а когда проснулся, они все три спали и при утреннем свете были так же хороши, как накануне. Это были самые красивые девушки, каких я когда-либо видел.

— Лучше, чем я при нашем первом знакомстве двадцать пять лет назад?

— Нет, Лил. *No puede ser*[1]. Но ведь они были китаянки, а ты знаешь, как китаянки могут быть хороши. У меня и раньше бывали китаянки.

— Но целых три сразу.

— Да, три — это многовато. Для любви нужна только одна, это я согласен.

— Ты не думай, что я ревную. Ты ведь их не искал сам, и потом, это был подарок. Вот ту, что с собакой, что не захотела с тобой спать, ее я ненавижу. Но скажи мне, Том, как ты себя чувствовал утром?

— Я себя чувствовал так, как будто меня выжали. Как будто во мне ничего не осталось, одна пустота. Спина у меня не гнулась, поясница болела так, что не прикоснись, и я чувствовал себя развратником до мозга костей.

— И первым делом ты выпил.

— Первым делом я выпил, и тогда мне стало немного лучше, а на душе так совсем хорошо.

— А потом что ты сделал?

— Посмотрел на них, как они спят все втроем, и пожалел, что у меня нет фотоаппарата. Прелестная получилась бы фотография. Но я все еще чувствовал себя выжатым, и меня мучил голод, и я подошел к окну посмотреть, какая погода, и увидел, что идет дождь. Я обрадовался, решив, что можно будет весь день проваляться в постели. Но сперва нужно было позавтракать и позаботиться о завтраке для девушек. Я заперся в ванной, принял душ, потом потихоньку оделся и вышел из комнаты, осторожно притворив за собою дверь, чтобы не хлопнула. Внизу, в утреннем кафе при отеле, я плотно позавтракал — ел копчушки, булочки с джемом, шампиньоны и бекон. За завтраком я

[1] Этого не может быть *(исп.)*.

выпил целый чайник чаю и двойную порцию виски с содовой, но ощущение пустоты не проходило. Я просмотрел утреннюю гонконгскую газету на английском языке и при этом все думал: в котором же часу здесь встают? Потом я прошел через вестибюль к главному подъезду и выглянул на улицу. Дождь лил еще сильнее. Я хотел было зайти в бар, но он еще не открылся. Виски к завтраку мне приносили из служебного буфета. Дольше ждать не хотелось, и я поднялся к себе в номер. Отпер дверь и увидел, что китаянки исчезли.

— Какая жалость.

— Вот и я тогда так подумал.

— Что же ты стал делать? Выпил, наверно.

— Да. Я выпил, а потом еще раз принял душ, хорошенько вымывшись с мылом, и тут меня стали вдвойне одолевать сожаления.

— *¿Un doble remordimiento?*

— Нет, не двойное сожаление, а два рода сожалений. О том, что я спал с тремя девушками. И о том, что они исчезли.

— Со мной по утрам тебя тоже, бывало, одолевали сожаления. Но ты быстро с ними справлялся.

— Верно. Я со всем умею быстро справляться, такой я человек. И я всегда был подвержен сожалениям. Но в то утро в отеле сожаления были просто гигантские, и притом вдвойне.

— И ты опять выпил.

— Как это ты догадалась? Да, а потом позвонил своему миллионеру. Но его нигде не было. Ни дома, ни в конторе.

— Наверно, он был в своем «Доме греха».

— Скорей всего. И туда же отправились мои китаянки, рассказать, как у нас прошла ночь.

— Но где он сумел раздобыть трех таких красивых девушек? В Гаване теперь трех красавиц не раздобудешь. Ты не представляешь себе, как я сегодня намучилась, чтобы достать что-нибудь сносное для Генри и Вилли. Правда, утром это еще труднее.

— Ну, у гонконгских миллионеров это было поставлено по-деловому. Их агенты рыскали по всей стране. По всему Китаю. Совсем как антрепренеры бейсбольной команды «Бруклин Доджерс» в поисках пополнения. Только в каком-нибудь городе или деревне объявится красавица, они уже тут как тут — купили и доставили для обучения, выхаживания и подготовки.

— Но как эти девушки могли выглядеть утром не хуже, чем вечером, ведь, наверно, у них были прически *muy estilizado* [1], как у всех китаянок. А чем сложнее прическа, тем трудней сохранить ее после такой ночи.

— А у них вовсе не было сложных причесок. У них волосы были подрезаны и распущены по плечам, как носили в то время американки, да и теперь еще многие носят. И чуть-чуть завиты. Так этому С. В. нравилось. Он бывал в Америке и, наверно, смотрел американские фильмы.

— И больше они у тебя не появлялись?

— Появлялись, но уже по одной. С. В. посылал их мне время от времени в виде подарка. Но трех сразу больше никогда не посылал. Они были новенькие, понятно, что он их приберегал для себя. И, кроме того, он говорил, что не хочет подрывать мои моральные устои.

— Наверно, хороший был человек. А где он теперь?

— Его, кажется, расстреляли.

— Бедняга. Мне очень понравилась эта история, Том, и ты ее рас-

---

[1] Стилизованные *(исп.)*.

сказал по возможности деликатно. И вроде бы сам немного развеселился.

Вроде бы так, подумал Томас Хадсон. Ну что ж, для этого я сюда и пришел. Разве нет?

— Слушай, Лил,— сказал он.— Не хватит ли нам пить?

— А как ты себя чувствуешь?

— Лучше.

— Подай Томасу еще двойную порцию замороженного, без сахара. А я уже немножко пьяненькая. Мне больше ничего не надо.

Я действительно чувствую себя лучше, подумал Томас Хадсон. То-то и странно. Всегда тебе становится лучше, все в конце концов преодолеваешь. Только одного нельзя преодолеть, это — смерти.

— Ты была когда-нибудь мертвая? — спросил он Лил.

— Конечно нет.

— *Jo tampoco*[1].

— Зачем ты так говоришь? Мне страшно, когда ты так говоришь.

— Я не хотел пугать тебя, милая. Я никого не хочу пугать.

— Мне приятно, когда ты называешь меня милая.

Все это без толку, подумал Томас Хадсон. Неужели нельзя придумать что-нибудь другое, не менее действенное, чем сидеть и пить во «Флоридите» с потасканной старушкой Лил на том конце стройки, где обычно сидят старые шлюхи и напиваются в лоск? У тебя только четыре свободных дня, неужели же нельзя провести их как-нибудь получше? Где? — подумал он. У Альфреда, в его «Доме греха»? Тебе и здесь неплохо. Где найдешь лучшую или хотя бы равноценную выпивку, а раз уж ты взялся пить, так пей, братец, на всю катушку. Этим ты сейчас занят, и пусть это занятие будет тебе по душе — по душе на всех частотах. Ты всегда одобрял и любил это занятие, так что изволь любить и сейчас.

— Люблю,— сказал он вслух.

— Что?

— Пить. Не просто пить, а пить вот эти двойные порции замороженного, без сахара. Если бы выпить столько, сколько я выпил, да с сахаром, пожалуй, стошнило бы.

— *Ya lo creo*[2]. А если бы кто другой выпил столько, сколько ты, да без сахара, он, наверно, умер бы.

— Может, я тоже умру.

— Еще чего! Ты просто побьешь свой рекорд, а потом мы пойдем ко мне и ты заснешь и на самый худой конец будешь храпеть.

— А я храпел последний раз?

— *Horrores*[3]. И называл меня десятью разными именами.

— Извини.

— Ничего. Мне было смешно. Я кое-что узнала о тебе, о чем раньше не догадывалась. А другие девушки не обижаются, когда ты называешь их по-разному?

— Других девушек у меня нет. Жена — есть.

— Я изо всех сил стараюсь, чтобы она мне нравилась, стараюсь не думать о ней плохо, но это очень трудно. Ругать ее при себе, конечно, никому не позволяю.

— Я ее буду ругать.

— Нет. Не надо. Это пошло. Я терпеть не могу две вещи. Мужчин, когда они плачут. Я знаю, плакать им иногда приходится. Но я этого не люблю. И еще не терплю, когда они ругают своих жен. А почти все

---

[1] Я тоже *(исп.)*.
[2] Я думаю *(исп.)*.
[3] Ужас *(исп.)*.

этим занимаюсь. Так что ты свою, пожалуйста, не ругай, мне так хорошо с тобой, не порть мне удовольствия.

— Ладно. Пошла она к черту. Не будем о ней говорить.

— Том, прошу тебя. Ты же знаешь, я считаю ее красавицей. Она и есть красавица. Правда. *Pero no es mujer para tí*[1]. Но не будем ее ругать.

— Хорошо.

— Расскажи мне еще что-нибудь веселое. Если тебе будет весело рассказывать, тогда можно и без любви.

— Нет у меня веселых историй.

— Зачем ты так говоришь? Ты их сотни знаешь. Выпей еще одну порцию и расскажи мне веселую историю.

— А ты почему ничего не расскажешь?

— Что же мне рассказывать?

— Что-нибудь для укрепления этой, как ее, морали?

— *Tu tienes la moral muy baja*[2].

— Конечно. Я это прекрасно знаю. Но ты бы все-таки рассказала мне что-нибудь такое для укрепления.

— Этим тебе надо заниматься. Сам знаешь. Все другое, все, что ни попросишь, я сделаю. И это ты тоже знаешь.

— О'кей. Так ты правда хочешь послушать еще одну веселую историю?

— Да, пожалуйста. Вот твой бокал. Еще одна веселая история и еще один дайкири, и тебе станет совсем хорошо.

— Ручаешься?

— Нет,— сказала она и заплакала, глядя на него, заплакала легко и естественно, будто вода забила в роднике.— Том, что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Я боюсь спросить. Это?

— Это самое,— сказал Томас Хадсон. Тогда она заплакала навзрыд, и он обнял ее за плечи при всем честном народе и стал успокаивать. Она плакала некрасиво. Она плакала откровенно и сокрушительно.

— Бедный мой Том,— сказала она.— Бедный Том.

— Возьми себя в руки, *mujer*, и выпей коньяку. Вот теперь мы с тобой повеселимся.

— Не хочу я веселиться. Я никогда больше не буду веселиться.

— Постой,— сказал Томас Хадсон.— Видишь, как бывает, когда расскажешь людям все как есть.

— Сейчас я развеселюсь,— сказала она.— Подожди, дай мне минутку. Я схожу в уборную и успокоюсь.

Да уж, будь любезна, подумал Томас Хадсон. Потому что мне очень плохо, и если ты не перестанешь плакать или заговоришь об этом, я отсюда смоюсь. А если я смоюсь отсюда, куда мне, к черту, деваться? Он понимал, что возможности его ограничены и что никакой «Дом греха» тут не поможет.

— Дай мне еще двойного замороженного дайкири без сахара. *No sé lo que pasa con esta mujer*[3].

— Она плачет, как из лейки льет,— сказал бармен.— Вот кого бы пустить вместо водопровода.

— А как там дела с водопроводом? — спросил Томас Хадсон.

Его сосед слева — веселый коротышка со сломанным носом (в лицо Томас Хадсон его знал, но ни имени, ни политических убеждений вспомнить не мог) — сказал:

---

[1] Но она не для тебя *(исп.)*.

[2] У тебя очень низкая мораль *(исп.)*.

[3] Я не знаю, что происходит с этой женщиной *(исп.)*.

— Это *cabrones*[1]! За воду они всегда деньги вытянут, потому что без воды не обойдешься. Без всего прочего можно обойтись, а воду ничто не заменит. Без воды что ты будешь делать? Так что на воду они деньги у нас всегда вытянут. И, значит, хорошего водопровода здесь не будет.

— Я что-то не совсем вас понимаю.

— *Si, hombre.*[2] Денег на водопровод они всегда наберут, потому что водопровод вещь необходимая. Значит, проводить его не станут. Будете вы резать курочку, которая несет вам золотые водопроводы?

— А почему не провести водопровод, хорошо заработать на нем и словчить как-нибудь еще?

— Лучше, чем с водой, не словчишь. Пообещайте людям воду, вот вам и деньги. Какой политик будет проводить хороший водопровод и тем самым ставить крест на своем *truco*[3]? Политики неопытные, бывает, постреливают друг друга из-за всяких мелких дел, но кто захочет выбивать истинную основу из-под политической экономии? Предлагаю тост за таможню, за махинации с лотереей, за твердые цены на сахар и за то, что у нас нет и не будет водопровода.

— *Prosit*,— сказал Томас Хадсон.

Во время их разговора из дамской уборной появилась Умница Лил. Лицо она привела в порядок и не плакала, но вид у нее был убитый.

— Ты знаешь этого джентльмена? — спросил Томас Хадсон, представляя ей своего нового или же вновь обретенного старого знакомого.

— Знает, но только в постели,— сказал этот джентльмен.

— *Cállate*[4],— сказала Умница Лил.— Он политик,— пояснила она Томасу Хадсону.— *Muy hambriento en este momento*[5].

— Хочу пить,— поправил ее политик.— К вашим услугам,— сказал он Томасу Хадсону.— Что будем заказывать?

— Двойной замороженный дайкири без сахара. Бросим кости, кому платить?

— Нет, плачу я. У меня здесь неограниченный кредит.

— Он хороший человек,— шепотом сказала Томасу Хадсону Умница Лил, а хороший человек тем временем старался привлечь внимание ближайшего бармена.— Политик. Но очень честный и очень веселый.

Политик обнял Лил за талию.

— Ты с каждым днем худеешь, *mi vida*[6],— сказал он.— Мы с тобой, наверно, одной политической партии.

— Водопроводной,— сказал Томас Хадсон.

— Ну нет! Что это вы? Хотите отнять у нас хлеб наш насущный и напустить нам полон рот воды?

— Выпьем за то, чтобы *puta guerra*[7] скорее кончилась,— сказала Лил.

— Пьем.

— За черный рынок,— сказал политик.— За нехватку цемента. За тех, кто контролирует цены на черные бобы.

— Пьем,— сказал Томас Хадсон и добавил: — За рис.

---

[1] Бранное слово *(исп.)*.
[2] Да, друг *(исп.)*.
[3] Здесь: мошенничество, афера *(исп.)*.
[4] Замолчи *(исп.)*.
[5] Сейчас он очень хочет есть *(исп.)*.
[6] Жизнь моя *(исп.)*.
[7] Шлюха-война *(исп.)*.

— За рис,— сказал политик.— Пьем.

— Как тебе сейчас — лучше? — спросила Умница Лил.

— Конечно лучше.

Он взглянул на нее и увидел, что она, того и гляди, опять зальется слезами.

— Только попробуй заплакать,— сказал он.— Я тебе морду разобью.

На стене за стойкой висел литографированный плакат, на котором был изображен человек в белом костюме, а под ним надпись: *«Un Alcalde Mejor»*. «За лучшего мэра». Плакат был большой, и «лучший мэр» смотрел прямо в глаза всем здешним пьянчугам.

— За *«Un Alcalde Peor»*,— сказал политик.— За худшего мэра.

— Будете баллотироваться? — спросил его Томас Хадсон.

— А как же?

— Вот и хорошо! — сказала Умница Лил.— Давайте изложим нашу политическую платформу.

— Это не трудно. Лозунг у нас завлекательный: *«Un Alcalde Peor»*. А собственно, зачем нам платформа?

— Без платформы нельзя,— сказала Лил.— Ты как считаешь, Томас?

— Считаю, что нельзя. Ну, а если так: долой сельские школы?

— Долой! — сказал кандидат в мэры.

— *Menos guaguas y peores* [1],— предложила Умница Лил.

— Прекрасно. Автобусы ходят реже и возят хуже.

— А почему бы нам вообще не разделаться с транспортом? — сказал кандидат.— *Es más sencillo* [2].

— О'кей,— сказал Томас Хадсон.— *Cero transporte* [3].

— Коротко и благородно,— сказал кандидат.— И сразу видно, что мы люди беспристрастные. Но этот лозунг можно развить. Если так: *Cero transporte aéreo, terrestre, marítimo* [4]?

— Прекрасно! Вот теперь у нас настоящая платформа. А что мы скажем о проказе?

— *Por una lepra más grande para Cuba* [5],— сказал кандидат.

— *Por el cáncer cubano* [6],— сказал Томас Хадсон.

— *Por una tuberculosis ampliada, adecuada y permanenta para Cuba y los cubanos* [7],— сказал кандидат.— Это малость длинновато, но по радио прозвучит хорошо. Как мы относимся к сифилису, единоверцы мои?

— *Por una sífilis criolla cien por cien* [8].

— Прекрасно,— сказал кандидат.— Долой пенициллин и все прочие штучки американского империализма.

— Долой,— сказал Томас Хадсон.

— По-моему, нам надо выпить,— сказала Умница Лил.— Как вы к этому относитесь, *correligionarios* [9]?

— Блестящая мысль,— сказал кандидат.— Никому другому она и в голову не могла бы прийти.

— Даже тебе? — сказала Умница Лил.

— Наваливайтесь на мой кредит,— сказал кандидат.— Посмотрим, выдержит ли он такую атаку. Бар-мен, бар-друг, всем нам того же самого, а вот этому моему политическому соратнику без сахара.

---

[1] Меньше автобусов и похуже *(исп.)*.

[2] Это еще проще *(исп.)*.

[3] Никакого транспорта *(исп.)*.

[4] Никакого воздушного, наземного и морского транспорта *(исп.)*.

[5] За распространение проказы на Кубе *(исп.)*.

[6] За рак на Кубе *(исп.)*.

[7] За полноценный, массовый, постоянный туберкулез для Кубы и кубинцев *(исп.)*.

[8] За стопроцентный креольский сифилис *(исп.)*.

[9] Единоверцы *(исп.)*.

— Вот хорошая идея для лозунга,— сказала Умница Лил.— Кубинский сахар кубинцам.

— Долой Северного Колосса,— сказал Томас Хадсон.

— Долой,— повторили остальные.

— Наши лозунги должны больше касаться внутренних дел и городских проблем. Пока мы воюем, пока мы все еще союзники, вникать в международные отношения не следует.

— Тем не менее лозунг «Долой Северного Колосса» должен остаться в силе,— сказал Томас Хадсон.— Колосс ведет глобальную войну, и сейчас самое время валить его. Этот лозунг необходим.

— Когда меня выберут, тогда и свалим.

— За *Un Alcalde Peor*,— сказал Томас Хадсон.

— За всех за нас. За нашу партию,— сказал Alcalde Peor. Он поднял стакан.

— Надо запомнить все обстоятельства рождения нашей партии и написать ее манифест. Какое сегодня число?

— Двадцатое. Более или менее.

— Двадцатое — чего?

— Двадцатое более или менее февраля. *El grito de La Floridita*[1].

— Торжественный момент! — сказал Томас Хадсон.— Ты умеешь писать, Умница Лил? Можешь все это увековечить?

— Писать я умею. Но сейчас я ничего не напишу.

— Есть еще несколько проблем, по которым мы должны определить свою позицию,— сказал Alcalde Peor.— Слушайте, Северный Колосс, почему бы вам не заплатить за следующую порцию? Вы убедились, что мой кредит мужественно выдержал все наши атаки. Но мы же знаем, что он на исходе, так зачем его, бедняжку, еще и приканчивать? Давайте, Колосс, давайте.

— Не называйте меня Колоссом. Мы же против этого Колосса.

— Ладно, хозяин. А вы, собственно, чем занимаетесь?

— Я ученый.

— *Sobre todo en la cama*[2],— сказала Умница Лил.— Он глубоко изучил Китай.

— Ладно. Все равно этот раз платите вы,— сказал Alcalde Peor.— И давайте дальше обсуждать нашу платформу.

— Что мы скажем о Домашнем очаге?

— Это предмет священный. Домашний очаг пользуется таким же уважением, как и религия. Тут надо проявить осторожность и деликатность. Ну, скажем, так: *Abajo los padres de familias*[3]?

— Это уважительно. Но не лучше ли просто — Долой Домашний очаг?

— *Abajo el Home*[4]. Чувства здесь выражены прекрасные. Но многие могут спутать этот очаг с настоящим очагом.

— А о Детях что скажем?

— Пустите детей и не мешайте им приходить ко мне, как только они достигнут возрастного ценза и смогут участвовать в выборах,— сказал Alcalde Peor.

— Теперь Развод,— сказал Томас Хадсон.

— Тоже щекотливая тема,— сказал Alcalde Peor.— *Bastante espinoso*[5]. А вы сами как относитесь к разводу?

— Может, развода касаться не следует? А то это будет противоречить нашей кампании в пользу Домашнего очага.

---

[1] Голос «Флоридиты» *(исп.)*.
[2] Особенно в постели *(исп.)*.
[3] Долой отцов семейств *(исп.)*.
[4] Долой очаг *(англ.-исп.)*
[5] Довольно щекотливая *(исп.)*.

— Ладно, отставить. Теперь давайте посмотрим...

— Куда ты посмотришь? — сказала Умница Лил.— Ты же совсем окосел!

— Не осуждай меня, женщина,— сказал Alcalde Peor.— Но одну вещь мы должны сделать.

— Какую?

— *Orinar*[1].

— Поддерживаю,— услышал себя со стороны Томас Хадсон.— Это основное.

— Отсутствие водопровода тоже основное. А это основано на воде.

— Вернее, на алкоголе.

— По сравнению с водой процент алкоголя не велик. В основе вода. Вот вы ученый. Какой процент воды у нас в организме?

— Восемьдесят семь целых и три десятых процента,— сказал Томас Хадсон наугад, зная, что это не верно.

— Точно,— сказал Alcalde Peor.— Ну как, пойдем, пока ноги ходят?

В мужской уборной спокойный, благородного вида негр читал розенкрейцеровскую брошюру. Он прорабатывал недельное задание по курсу изучаемых им наук. Томас Хадсон почтительно приветствовал его, и негр так же почтительно ответил ему.

— На улице сегодня холодно, сэр,— заметил служитель, читавший религиозную брошюру.

— В самом деле холодно,— сказал Томас Хадсон.— Как твои занятия?

— Очень хорошо, сэр. Не хуже, чем можно было ожидать.

— Прекрасно,— сказал Томас Хадсон. Потом, обратившись к *Alcalde Peor*, у которого что-то там не ладилось: — В Лондоне есть клуб, одна половина членов которого испытывает трудности с мочеиспусканием, а другая страдает недержанием мочи. Я тоже был членом этого клуба.

— Великолепно,— сказал Alcalde Peor, закончив свои труды.— Как он назывался, этот клуб? Не *El Club Mundial*[2]?

— Нет. По правде говоря, я забыл его название.

— Забыли название своего клуба?

— Да. А что тут такого?

— Давайте сделаем еще разок. Сколько стоит помочиться?

— Сколько дадите, сэр.

— Я плачу,— сказал Томас Хадсон.— Обожаю платить за это дело. Будто цветы покупаешь.

— Может, это был Королевский автоклуб? — спросил негр, подавая ему полотенце.

— Нет, ни в коем случае.

— Извините, сэр,— сказал студент-розенкрейцер.— Я знаю, это один из самых больших клубов в Лондоне.

— Правильно,— сказал Томас Хадсон.— Один из самых больших. Вот, возьми, купишь себе на это что-нибудь хорошее.— Он дал негру доллар.

— Зачем вы дали ему песо? — спросил Alcalde Peor, когда они вышли за дверь и вернулись в сутолоку бара ресторана и в грохот, доносившийся с улицы.

— Он мне не нужен.

---

[1] Помочиться *(исп.)*.

[2] Клуб всего мира *(исп.)*.

— *Hombre*,— сказал Alcalde Peor.— Как вы себя чувствуете? Хорошо? О'кей?

— Вполне,— сказал Томас Хадсон.— Вполне о'кей. Большое вам спасибо.

— Как ездилось? — спросила со своего табурета у стойки Умница Лил. Томас Хадсон посмотрел на нее и опять словно бы впервые увидел. Она показалась ему много толще и гораздо темнее лицом.

— Хорошо ездилось,— сказал он.— В путешествии всегда встречаешь интересных людей.

Умница Лил положила руку ему на бедро и ласково сжала, он он уже не смотрел на Умницу Лил, он смотрел мимо смуглых кубинских лиц и светлых панам, мимо пьющих и играющих в кости, туда, где за распахнутыми дверьми белела залитая солнцем площадь, и вдруг увидел, как к дверям подкатила машина, и швейцар, сняв фуражку, отворил заднюю дверцу, и из машины вышла она.

Это была она. Только она умела выйти так из машины, деловито, и легко, и красиво и в то же время так, будто она оказывала большую честь тротуару, ступив на него ногой. Вот уже много лет все женщины старались походить на нее, кое-кто даже не без успеха. Но стоило появиться ей — и становилось ясно, что это лишь жалкие подделки. Сейчас на ней была военная форма. Она улыбнулась швейцару, о чем-то его спросила, он ответил, сияя от удовольствия, и она прошла прямо в бар. За ней шла еще одна женщина, тоже в военной форме.

Томас Хадсон встал с места, что-то сдавило ему грудную клетку, и сделалось трудно дышать. Она уже заметила его и шла к нему по свободному неширокому проходу между стойкой и столиками. Ее спутница шагала следом.

— Извините меня,— сказал Томас Хадсон Умнице Лил и Alcalde Peor.— Мне нужно поговорить с одной знакомой.

Они встретились на середине прохода, и он сжал ее в объятиях. Они сжимали друг друга так, что, кажется, крепче уже нельзя было, и он целовал ее крепко и бережно, и она тоже целовала его и руками ощупывала его плечи.

— Ты,— сказала она.— Ты. Ох, ты.

— Чертовка,— сказал он.— Как ты попала сюда?

— Очень просто — из Камагуэя.

На них стали оглядываться, и он приподнял ее, все так же тесно прижимая к себе, и еще раз поцеловал, а потом снова поставил на пол и взял за руку и потянул к столику у стены.

— Здесь нельзя так,— сказал он.— Нас могут арестовать.

— Ну и пусть арестуют,— сказала она.— Знакомься, это Гинни. Моя секретарша.

— Привет, Гинни,— сказал Томас Хадсон.— Помогите мне усадить эту сумасшедшую за столик.

Гинни была симпатичная, очень некрасивая девица. Одеты они обе были одинаково: офицерская куртка, только без знаков различия, рубашка с галстуком, юбка, чулки и ботинки на низком каблуке. На голове пилотка, а на левом плече нашивка, каких Томас Хадсон раньше никогда не видал.

— Сними пилотку, чертовка.

— Не полагается.

— Сними.

— Ну так и быть.

Она сняла пилотку и тряхнула рассыпавшимися волосами, а потом, откинув голову, посмотрела на Томаса Хадсона, и он увидел знакомый открытый лоб, и знакомую колдовскую волнистость волос все такого

же цвета спелой пшеницы с серебристым отливом, и высокие скулы, и чуть запавшие щеки под ними, чуть запавшие, отчего как ни взглянешь, так и защемит сердце, и плосковатый нос, и размазанные его поцелуями губы, и прелестный подбородок, и линию шеи.

— Как я выгляжу?

— Сама знаешь.

— Тебе уже приходилось целовать женщину в таком костюме? И оцарапываться о пуговицы армейского образца?

— Нет.

— А ты меня любишь?

— Я тебя всегда люблю.

— Нет, а вот сейчас, сию минуту — любишь?

— Да,— сказал он, и у него запершило в горле.

— Тем лучше,— сказала она.— Плохо бы тебе было, если б не любил.

— Ты сюда надолго?

— Только до вечера.

— Я хочу еще поцеловать тебя.

— Ты же сказал, что за это нас арестуют.

— Ладно, потерпим. Что ты будешь пить?

— Есть тут порядочное шампанское?

— Да. Но есть и местные напитки, которые очень хороши.

— Очевидно. Сколько порций ты уже выпил сегодня?

— Не знаю. Десять или двенадцать.

— Но пьяного в тебе только тени под глазами. Ты влюблен в кого-нибудь?

— Нет. А ты?

— Потом разберемся. Где твоя стерва-жена?

— В Тихом океане.

— Хорошо бы поглубже. Саженей так на тысячу. Ох, Томми, Томми, Томми, Томми, Томми.

— Ты в кого-нибудь влюблена?

— Кажется, да.

— Негодяйка.

— Ужасно, правда? Первый раз мы встречаемся после того, как я ушла от тебя, и ты ни в кого не влюблен, а я влюблена.

— Ты ушла от меня?

— Это моя версия.

— Он славный?

— Он? Да, очень славный, как бывают славными дети. Я очень нужна ему.

— А где он сейчас?

— Это военная тайна.

— И ты туда едешь?

— Да.

— К какому ты принадлежишь ведомству?

— Мы — СОДВ [1].

— Это все равно, что УСС[2]?

— Да нет же, глупый. Не прикидывайся дурачком и не строй из себя обиженного только потому, что я влюблена в кого-то. Ты же ведь не спрашиваешь моего совета, когда собираешься в кого-то влюбиться.

— Ты его очень любишь?

— Я вовсе не говорила, что я его люблю. Я сказала, что влюблена

---

[1] Служба организации досуга войск.

[2] Управление стратегических служб.

в него. А хочешь, сегодня даже и влюблена не буду, раз тебе это неприятно. Я ведь здесь голько на один день. Я не хочу быть нелюбезной.

— Ну тебя к черту,— сказал он.

— Может быть, мне взять машину и вернуться в отель? — спросила Гинни.

— Нет, Гинни. Мы сперва выпьем шампанского. У тебя машина есть? — спросила она Томаса Хадсона.

— Есть. Стоит там на площади.

— Можем мы поехать к тебе?

— Конечно. Позавтракаем здесь и поедем. А можно прихватить чего-нибудь и поесть дома.

— До чего это замечательно вышло, что мне удалось попасть сюда.

— Да,— сказал Томас Хадсон.— А откуда ты вообще знала, что здесь можно кое-кого встретить?

— Мне сказал один человек на аэродроме в Камагуэе, что ты здесь бываешь. И мы решили: не найдем тебя, посмотрим Гавану.

— Так давай посмотрим Гавану.

— Нет,— сказала она.— Пусть уж Гинни одна смотрит. А может быть, у тебя кто-нибудь есть, кто бы показал Гинни Гавану?

— Найдется.

— Только вечером мы должны вернуться в Камагуэй.

— В котором часу самолет?

— В шесть утра, кажется.

— Все устроим,— сказал Томас Хадсон.

К их столику подошел молодой человек, кубинец.

— Простите, пожалуйста,— сказал он.— Мне хотелось бы получить от вас автограф.

— С удовольствием,— сказала она.

Он подал ей открытку с изображением бара и Константе за стойкой, сбивающего коктейль, и она расписалась актерским размашистым почерком, так хорошо знакомым Томасу Хадсону.

— Не стану говорить, что это для моей маленькой дочки или для сына-школьника,— сказал молодой человек.— Это для меня самого.

— Тем приятнее,— сказала она и улыбнулась ему.— Очень мило, что вы меня попросили об этом.

— Я видел все ваши фильмы,— сказал молодой человек.— Я считаю вас самой красивой женщиной в мире.

— Чудесно,— сказала она.— Пожалуйста, продолжайте считать так.

— Не окажете ли вы мне честь выпить со мной?

— Мы тут пьем с моим другом.

— Я вашего друга знаю,— сказал молодой человек.— Мы знакомы уже много лет. Можно к вам подсесть, Том? Тем более у вас две дамы.

— Мистер Родригес, диктор городского радио,— сказал Томас Хадсон.— А как ваша фамилия, Гинни?

— Уотсон.

— Мисс Уотсон.

— Рад познакомиться, мисс Уотсон,— сказал диктор. Он был красивый молодой человек, черноволосый, загорелый, с ласковыми глазами, приятной улыбкой и большими, ухватистыми руками бейсболиста. Он и в самом деле играл в бейсбол, и не только в бейсбол, но и в азартные игры, и в его привлекательности было нечто от привлекательности профессионального игрока.

— Может быть, мы позавтракаем все вместе? — сказал он.— Сейчас как раз время ленча.

— Нам с мистером Хадсоном нужно съездить за город,— сказала она.

— Я охотно позавтракала бы с вами,— сказала Гинни.— Вы мне очень понравились.

— А он — приличный человек? — спросила она Томаса Хадсона.

— Даже отличный. Во всей Гаване лучшего не найдешь.

— Большое спасибо, Том,— сказал диктор.— Так вы решительно отказываетесь от завтрака?

— К сожалению, нам нужно ехать,— сказала она.— Мы и так задержались. Встретимся в отеле, Гинни. Спасибо, мистер Родригес.

— Вы бесспорно самая красивая женщина в мире,— сказал мистер Родригес.— Я всегда это знал, но сейчас я в этом убедился.

— Пожалуйста, продолжайте так считать,— сказала она, и мгновенье спустя они уже были на площади.— Что ж,— сказала она.— Все очень хорошо получилось. Гинни он понравился, и он, кажется, милый.

— Он очень милый,— сказал Томас Хадсон, и шофер отворил перед ними дверцу машины.

— Ты сам милый,— сказала она.— Жаль только, что ты уже так много выпил сегодня. Потому-то я и замяла разговор о шампанском. Кто была твоя смуглая приятельница у стойки бара?

— Просто моя смуглая приятельница у стойки бара.

— Хочешь выпить еще? Можно остановиться где-нибудь по дороге.

— Нет. А ты хочешь?

— Ты же знаешь, я никогда не пью спиртного. Но от бокала вина я бы не отказалась.

— Дома у меня есть вино.

— Вот и чудесно. Теперь можешь меня поцеловать. Здесь нас не арестуют.

— *¿Adonde vamos*[1]*?* — спросил шофер, не поворачивая головы.

— *A la finca*[2],— сказал Томас Хадсон.

— Ох, Томми, Томми, Томми,— сказала она.— Ну что же ты меня не целуешь? Пусть он видит, это ведь ничего, правда?

— Да. Это ничего. Можешь у него потом вырезать язык, если хочешь.

— Не хочу. И вообще не хочу никаких жестокостей, теперь и никогда. Но ты милый, что предложил это.

— Идея была недурная. Расскажи мне о себе. Ты все прежняя люби-меня?

— Я такая же, как была.

— Правда, такая же?

— Конечно, такая же. В этом городе я твоя.

— До отправления самолета.

— Точно,— сказала она и поудобней устроилась на сиденье машины.— Посмотри,— сказала она.— Все нарядное, светлое осталось позади, и кругом грязно и неприглядно. Всегда с нами бывало так.

— Не всегда.

— Да, пожалуй,— сказала она.— Не всегда.

Они смотрели на все грязное и неприглядное кругом, и ее зоркий взгляд и грациозный ум мгновенно отмечали то, что он сумел разглядеть лишь за долгие годы.

— Вот теперь уже лучше,— сказала она. За всю жизнь она ни разу не солгала ему, и он тоже старался ей не лгать, но это очень плохо удавалось.

— Ты все еще меня любишь? — спросила она.— Говори как есть, не приукрашивай.

— Да. Ты сама должна знать.

---

[1] Куда поедем? *(Исп.)*

[2] В усадьбу *(исп.)*.

— Я знаю,— сказала она и в доказательство обняла его, если это могло служить доказательством.

— Кто он, твой теперешний?

— Не будем о нем говорить. Тебе бы он не понравился.

— Скорей всего,— сказал он и так крепко прижал ее к себе, что казалось, еще немного — и что-нибудь будет сломано, если один из них не высвободится. Это была старая их игра, и в конце концов высвободилась она и ничего не сломалось.

— Ты всегда выигрываешь,— сказала она.— Тебе хорошо, у тебя грудей нет.

— У меня многого нет, что есть у тебя. Ни таких длинных ног, ни лица, на которое взглянешь — и защемит сердце.

— Зато у тебя есть многое другое.

— Ну как же,— сказал он.— Например, по ночам — общество кота и подушки.

— Сегодня я заменю тебе это общество. Долго еще нам ехать?

— Одиннадцать минут.

— Слишком долго, при данных обстоятельствах.

— Хочешь, я возьму руль и доеду за восемь?

— Нет, не надо. Лучше вспомни, как я учила тебя быть терпеливым.

— Это было самое разумное и нелепое, чему меня в жизни учили. Давай вкратце повторим урок.

— А нужно?

— Нет. Все равно, уже только восемь минут осталось.

— У тебя дома уютно? Постель широкая?

— Увидишь,— сказал Томас Хадсон.— Что, уже начались обычные сомнения?

— Нет,— сказала она.— Но я хочу широкую-широкую постель. Чтобы можно было совсем забыть про армию.

— Есть широкая постель,— сказал он.— Настолько, что и для армии места хватит.

— Не хами,— сказала она.— Знал бы ты этих Сынов воздуха. Даже самые лучшие под конец демонстрируют фотографии своих жен.

— Слава богу, что я их не знаю. Мы хоть, может, и задубели от морской воды, но по крайней мере не именуем себя Сынами моря.

— Расскажи мне что-нибудь об этом,— попросила она, угнездив руку у него в кармане.

— Нет.

— Я так и знала, и я люблю тебя за это. Но мне любопытно, и люди расспрашивают меня, и я тревожусь.

— Любопытно — это куда ни шло,— сказал он.— А тревожиться незачем. Хотя, по пословице, любопытство кошку сгубило. У меня есть кошка, и она очень любопытна.— Он вспомнил Бойза и продолжал: — А тревоги губят дельцов, даже в полном расцвете сил. Мне за тебя не нужно тревожиться?

— Только как за актрису. И то не очень. Еще всего две минуты. Здесь красиво, мне нравится. А можно мы позавтракаем в постели?

— А вдруг потом нас сморит сон?

— Ну и пусть, это не страшно. Лишь бы только я не упустила самолет.

Машина теперь круто взбиралась вверх, по старой булыжной дороге, обсаженной большими деревьями.

— А ты ничего не боишься упустить?

— Только тебя,— сказал он.

— Нет, а в смысле обязанностей.

— Разве я похож на человека, у которого есть обязанности?

— Кто тебя знает. Ты превосходный актер. В жизни хуже не видала. Милый ты мой, сумасшедший, я тебя так люблю,— сказала она.— Я пересмотрела тебя во всех твоих главных ролях. Больше всего ты мне нравился в роли Верного Мужа, она у тебя очень искренне получалась. Помнишь, например, у Рица в Париже?

— Да, там роль Верного Мужа особенно удавалась мне,— сказал он.— Как Гаррику в Олд-Бейли.

— Ты что-то путаешь,— сказала она.— По-моему, лучше всего ты играл эту роль на «Нормандии».

— Когда ее сожгли, я неделю ни о чем думать не мог.

— Тебе случалось и побивать этот рекорд.

— Да,— сказал он.

Машина остановилась, и шофер вышел отпереть ворота.

— Так вот где мы живем.

— Да. На самом верху. Извини, дорога в ужасном состоянии.

Машина еще немного поднялась в гору, поросшую деревьями манго и отцветающими уже фламбоянами, обогнула загон для скота и выехала на круглую подъездную аллею. Он отворил дверцу, и она ступила на землю, будто великодушно и щедро одаривая ее своим прикосновением.

Она взглянула на дом, увидела раскрытые окна спальни. Окна были большие и почему-то напомнили ей «Нормандию».

— Пропущу самолет,— сказала она.— Могу я заболеть в конце концов? Болеют же другие женщины.

— У меня есть два знакомых врача, которые под присягой подтвердят, что ты больна.

— Чудесно,— сказала она, уже поднимаясь по лестнице.— Но нам не придется для этого приглашать их к обеду?

— Нет,— сказал он и распахнул перед ней двери.— Я с ними сговорюсь по телефону и пошлю шофера за свидетельством.

— Решено,— сказала она.— Я больна. И пусть на этот раз войска развлекаются сами.

— Ты все равно улетишь.

— Нет. Я буду развлекать тебя. Наверно, тебя давно уже никто как следует не развлекал.

— Да.

— И меня — да. Как правильно в этом случае — «да» или «нет»?

— Не знаю.— Он крепко сжал ее и заглянул ей в глаза, потом отвел взгляд в сторону. Они стояли у входа в большую спальню, и он толчком отворил дверь.— Пожалуй, «нет»,— сказал он задумчиво.

Окна были распахнуты настежь, по комнате гулял ветер, но сейчас, при солнце, это даже было приятно.

— Совсем как на «Нормандии». Ты это нарочно для меня сделал, чтоб было похоже на «Нормандию»?

— Конечно, дорогая,— солгал он.— А ты как думала?

— Ох и лгун же ты, хуже меня.

— Где уж мне до тебя.

— Лгать не нужно. Просто притворимся, что ты это сделал для меня

— Для тебя,— сказал он.— Только ты выглядела немного иначе.

— А покрепче обнять человека ты не можешь?

— Не поломав ему костей — нет,— сказал он. И добавил: — Во всяком случае стоя.

— А кто возражает против того, чтобы лечь?

— Не я,— сказал он и, подхватив ее на руки, понес к постели.— Дай только закрою жалюзи. Я ничего не имею против того, чтобы ты развлекала армию. Но для развлечения слуг в кухне имеется радио. Мы им не нужны.

— Иди скорее,— сказала она.
— Иду.
— Вспомни все, чему я тебя учила когда-то.
— Я и так помню.
— Не всегда.
— Ну вот,— сказал он.— Когда мы с ним познакомились?
— Мы просто встретились. Ты разве не помнишь?
— Слушай, давай лучше не будем ничего вспоминать и не будем разговаривать, не будем, не будем, не будем.

Немного спустя она сказала:
— Даже на «Нормандии» людям иногда хотелось есть.
— Сейчас вызову стюарда.
— Но ведь этот стюард не знает нас.
— Так узнает.
— Нет. Лучше выйдем отсюда, я хочу посмотреть дом. Что ты написал за последнее время?
— Что, что. Ничего.
— У тебя разве нет свободного времени?
— Как это свободного?
— Ну, когда ты на берегу.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Том,— сказала она. Они дошли до большой комнаты и уселись в глубокие старые кресла, и она сняла туфли, чтобы ощутить под ногами циновку, устилавшую пол. А потом свернулась в кресле клубочком, распушив свои волосы ему в угоду и потому что она знала, как это на него действует, и теперь при каждом движении ее головы они колыхались тяжелой шелковистой массой.
— А, чтоб тебя,— сказал он.— Милая,— добавил он.
— Я уже привыкла к твоим проклятиям,— сказала она.
— Не будем об этом говорить.
— Зачем ты на ней женился, Том?
— Потому что ты была влюблена.
— Причина не слишком основательная.
— Никто и не думал этого утверждать. Я-то во всяком случае. Но может быть, мы не будем обсуждать мои старые ошибки, в которых я уже раскаялся?
— Если захочу, будем.

Вошел большой черный с белым кот и начал тереться об ее ноги.
— Он спутал тебя со мной,— сказал Томас Хадсон.— Впрочем, он, вероятно, знает, что делает.
— Так это...
— Именно. Он самый. Бой,— позвал он.

Кот подошел и вспрыгнул к нему на колени. Ему было все равно, чьи это колени.
— Мы можем оба любить ее, Бойз. Ты посмотри на нее хорошенько. Другой такой женщины тебе вовек не увидеть.
— Это тот кот, с которым ты спишь в постели?
— Да. А что, есть возражения?
— Никаких. Он куда симпатичней человека, с которым сплю я, хотя у него такие же грустные глаза.
— Нам непременно нужно о нем разговаривать?
— Нет. Так же, как тебе не нужно пытаться меня уверить, что ты не выходишь в море, хотя веки у тебя воспалены, и в уголках глаз белые сгустки, и волосы выгорели от солнца, и...
— И шагаю я по-матросски, враскачку, и попугай сидит у меня на левом плече, и я больно дерусь своей деревянной ногой. Дорогой мой глупыш, я действительно выхожу иногда в море, потому что я маринист

и делаю зарисовки для Музея естественной истории. Даже война не должна мешать научным исследованиям.

— О, священная наука,— сказала она.— Что ж, постараюсь запомнить этот вымысел и придерживаться его. Том, ты правда нисколько ее не любишь?

— Нисколько.

— И все еще любишь меня?

— Ты могла бы судить по некоторым признакам.

— А вдруг это тоже роль? Любовник, неизменно хранящий верность предмету своей любви, с какими бы шлюхами его этот предмет ни заставал. Ты даже по-своему не был мне верен, Синара.

— Я всегда говорил, что образованность тебя погубит. Меня уже в девятнадцать лет не интересовали эти стихи.

— А я всегда говорила, что если бы ты побольше писал и серьезно работал над своими картинами вместо того, чтобы придумывать небылицы и влюбляться во всяких...

— Жениться на всяких, хотела ты сказать.

— Нет. Жениться — это, конечно, плохо. Но ты влюбляешься, а после этого я не могу тебя уважать.

— Какая знакомая милая фраза: «После этого я не могу тебя уважать». Продай мне ее, я дам любую цену, чтобы только изъять ее из обращения.

— Теперь я тебя уважаю, Том. Ты ведь ее не любишь, правда?

— Я люблю тебя и уважаю тебя, а ее я не люблю.

— Ну вот и чудесно. Как хорошо, что я заболела и не могу лететь.

— А ведь я в самом деле тебя уважаю. Отношусь с уважением к любой глупости, которую ты делаешь или сделала когда-то.

— И ты чудесно ведешь себя со мной и всегда исполняешь данные мне обещания.

— Какое, кстати, было последнее?

— Не знаю. Но если было какое-нибудь, ты наверняка его не сдержал.

— Может быть, обойдем это, радость моя?

— Хорошо, если б это можно было обойти.

— А давай попробуем. Мы ведь многое умели обходить.

— Нет. Не умели. Тому есть реальные доказательства. Тебе всегда кажется, что физическая близость — это в любви все. Ты не думаешь, что любимой женщине хотелось бы гордиться тобой. Не стараешься проявлять иногда нежность в мелочах.

— Не разыгрываю младенца, которого нужно нянчить и опекать,— тебе ведь именно такие мужчины нравятся.

— Если б только ты больше нуждался во мне и я чувствовала, что я тебе в самом деле нужна, а не только дай-и-возьми и убери-я-не-голоден.

— Слушай, зачем мы приехали сюда? Заниматься морализированием?

— Мы приехали потому, что я люблю тебя и хочу, чтобы ты был достоин самого себя.

— А также тебя, и господа бога, и прочих абстракций. Но я даже в живописи не абстракционист. Ты, наверно, требовала бы от Тулуз-Лотрека, чтобы он не шатался по публичным домам, а от Гогена, чтобы он не болел сифилисом, а от Бодлера, чтобы он пораньше возвращался домой. Я себя не равняю с ними, но все-таки — ну тебя к черту.

— Никогда я такой не была.

— Была. А к тому же еще твоя работа. Эти чертовы съемки с утра и до вечера.

— Я отказалась бы от съемок.

— Ну, конечно. Я в этом не сомневаюсь. И выступала бы в ночных

клубах, а меня определила бы в вышибалы. Помнишь, мы строили такие планы?

— Какие новости у Тома?

— Все в порядке,—сказал он, и колючий озноб прошел у него по телу.

— Он мне вот уже три недели не пишет. Можно бы, кажется, выбрать время для матери за такой срок. Он всегда писал очень аккуратно.

— Знаешь, как оно бывает с ребятами на войне. А может быть, сейчас задерживают всю переписку. Это иногда делается.

— Помнишь, когда он был маленький и совсем не говорил по-английски?

— А ты помнишь, какой оравой он верховодил в Гштааде? И в Энгадине, и в Цуге.

— У тебя есть какие-нибудь его новые фотографии?

— Только та, которая и у тебя есть.

— Я бы выпила чего-нибудь, что в этом доме можно выпить.

— Все что угодно. Пойду поищу кого-нибудь из слуг. Вино в погребе.

— Только не уходи надолго.

— Неподходящие слова для нас с тобой.

— Не уходи надолго,— повторила она.— Слышишь? И никогда я не требовала, чтобы ты пораньше возвращался домой. Не в этом была беда. Ты сам знаешь.

— Знаю,— сказал он.— И я не уйду надолго.

— Может быть, твой слуга приготовит нам и поесть?

— Может быть,— сказал Томас Хадсон. И прибавил, обращаясь к коту: — Ты пока побудь с нею, Бойз.

Зачем, думал он. Зачем я солгал? Зачем затеял эту комедию осторожничанья? Не потому ли, что, как говорит Вилли, я хочу сохранить свое горе для себя одного? Но разве я правда такой?

А что было делать, думал он. Как сказать матери о гибели сына, сразу же после возврата к любовной близости с ней? Как самому себе сказать об этом? Когда-то у тебя на все находился ответ. Вот найди ответ и сейчас.

Нет ответа. Пора бы уже тебе это знать. Нет и не может быть.

— Том,— услышал он ее голос.— Мне тоскливо одной, а кот, как он ни старайся, не может заменить мне тебя.

— Сбрось его на пол. Я сейчас, только наколю лед. Слуга ушел в деревню.

— Да бог с ним. Мне уже не хочется пить.

— Мне тоже,— сказал он и вернулся в комнату, мягко ступая по циновке после гулкого изразцового пола. Он взглянул на нее и убедился, что она здесь, не исчезла.

— Ты не хочешь о нем говорить,— сказала она.

— Не хочу.

— А почему? Разве так не лучше?

— Он слишком похож на тебя.

— Не в том дело. Скажи мне. Он погиб?

— Да, погиб.

— Обними меня, Том, только крепче. Я, кажется, правда заболела.

Он почувствовал, что ее бьет дрожь, и он опустился на колени у кресла, и обнял ее, и чувствовал, как она дрожит всем телом. Потом она сказала:

— Бедный ты мой. Бедный, бедный.—Помолчав, она сказала еще:— Прости меня за все, что я когда-нибудь делала или говорила.

— Ты меня прости.

— Бедный ты, и бедная я.

— Бедные все,— сказал он, но не добавил «Бедный Том».

— Больше тебе нечего мне рассказать?

— Нет Только это.
— Вероятно, мы потом научимся справляться.
— Очень может быть.
— Я бы хотела заплакать, но у меня внутри только пустота, от которой мутит.
— Понимаю.
— У всех это случается?
— Почти. Но у нас это уже больше случиться не может.
— Мне теперь кажется, будто мы в доме у мертвого.
— Я жалею, что не сказал тебе, как только мы встретились.
— Да нет, все равно,— сказала она.— Ты всегда был такой, все откладывал. Я не жалею.
— Я так нестерпимо хотел тебя, что поступил, как эгоист и дурак.
— Это не эгоизм. Мы всегда любили друг друга. Только слишком часто совершали ошибки.
— Особенно я.
— Нет. Мы оба. Давай больше никогда не будем ссориться, хорошо?
Что-то вдруг произошло в ней, она наконец разрыдалась и сказала:
— О, Томми, я не могу, не могу это вынести.
— Я понимаю,— сказал он.— Родная моя, дорогая, прекрасная. Я тоже не могу.
— Мы были такие молодые, и глупые, и такие красивые оба, а Томми — господи, до чего же он был хорош...
— Весь в мать.
— Теперь этого уже и не докажешь ничем.
— Моя бедная любимая девочка.
— Что же мы будем делать дальше?
— Ты будешь заниматься своим делом, а я — своим.
— Нельзя ли нам хоть немного побыть вместе?
— Только если не уляжется ветер.
— Так пусть дует подольше. Иди ко мне — или, может быть, это нехорошо сейчас?
— Том бы не осудил нас за это.
— Я тоже так думаю. Помнишь, как ты ходил на лыжах, посадив его к себе на плечи, и мы спускались с гор уже в сумерках и пели, проходя через сад за гостиницей?
— Я все помню.
— Я тоже,— сказала она.— Почему мы были такие глупые?
— Мы были не только влюбленными, но и соперниками.
— Увы, да. Но ведь ты никого другого не любишь, правда? Ведь теперь это все, что у нас осталось.
— Нет. Можешь мне верить.
— И я нет. А мы не могли бы вернуться друг к другу, как тебе кажется?
— Не знаю, что бы из этого вышло. Можно попробовать.
— Долго еще продлится война?
— Спроси у того, кто над нею хозяин.
— Несколько лет?
— Год-два во всяком случае.
— А тебя тоже могут убить?
— Вполне.
— Тогда что толку?
— Ну, а если меня не убьют?
— Не знаю. Может быть, теперь, когда Тома нет, мы не станем злобствовать и давать волю самому дурному в себе.

— Я могу постараться. Злобы у меня нет, а с дурным в себе я научился справляться. Правда.

— Вот как? Это проститутки тебя умудрили?

— Должно быть. Но если мы будем вместе, они мне не понадобятся.

— Ты всегда умел для всего найти красивые слова.

— Ну вот. Уже начинается.

— Нет. Ведь мы в доме у мертвого.

— Ты это уже говорила.

— Извини, пожалуйста,— сказала она.— Но я не знаю, как по-другому сказать то же самое. У меня сейчас как-то немеет внутри.

— Чем дальше, тем больше будет неметь,— сказал он.— И вначале это не дает облегчения. Но потом будет легче.

— Скажи мне все самое худшее, что тебе известно, может быть, тогда быстрей онемеет совсем.

— Хорошо,— сказал он.— Как же я люблю тебя, господи.

— И всегда любил,— сказала она.— Ну, говори же.

Он сидел у ее ног и не смотрел на нее. Он смотрел на кота Бойза, который лениво развалился на циновке в солнечном прямоугольнике, падавшем от большого окна.

— Он был сбит зенитным орудием во время разведывательного полета в районе Абвиля.

— Он не выпрыгнул с парашютом?

— Нет. Машина сгорела. Вероятно, его убило сразу.

— Слава богу,— сказала она.— Слава богу, если так.

— Я почти уверен в этом. Он бы успел выпрыгнуть.

— Ты мне правду говоришь? Может быть, парашют сгорел после того, как он выпрыгнул?

— Нет,— солгал он, решив, что на сегодня довольно.

— От кого ты узнал?

Он назвал знакомое имя.

— Гогда это верно,— сказала она.— У меня больше нет сына и у тебя тоже. Надо привыкать к этому. Больше ты ничего не знаешь?

— Нет,— сказал он, стараясь, чтобы это прозвучало как можно правдивей.

— А мы будем жить дальше?

— Именно.

— Чем же?

— Ничем,— сказал он.

— Можно, я останусь и буду с тобой?

— Едва ли в этом есть смысл,— сказал он.— Как только немного утихнет, я должен буду уйти в рейс. Ты не из болтливых, и ты умеешь похоронить то, что слышишь от меня. Так вот, похорони это.

— Но я бы могла быть с тобой, пока ты здесь, а потом дожидаться твоего возвращения.

— Не стоит,— сказал он.— Я никогда не знаю, когда мы вернемся, и потом, тебе будет тяжелей без работы. Если хочешь, побудь, пока мы не уйдем в рейс.

— Хорошо,— сказала она.— Я побуду с тобой это время, и никто нам не помешает думать о Томе. И любить друг друга, как только ты скажешь, что можно.

— Эта комната никак не связана с Томом.

— Да. А с кем она связана, тех я самый дух изгоню отсюда.

— Может быть, нам правда поесть чего-нибудь и выпить по стакану вина?

— Бутылку вина,— сказала она.— Он был такой красивый мальчик, Том. И такой забавный и такой добрый.

— Послушай, из чего ты сделана?

— Из того, что ты любишь,— сказала она.— С примесью стали.

— Не пойму, куда девались все слуги,— сказал Томас Хадсон.— Они, правда, не ждали, что я вернусь сегодня домой. Но кто-то во всяком случае должен дежурить у телефона. Сейчас принесу вино. Оно уже, наверно, холодное.

Он откупорил бутылку и налил два стакана. Это было то вино, которое он приберегал для своих возвращений и пил его, уже успев поостыть после рейса, и на поверхности дружелюбно вскипали мелкие аккуратные пузырьки.

— За нас и за все, чего у нас уже нет, и за все, что у нас будет.

— Было,— сказал он.

— Было,— сказала она. Потом она сказала:— Единственное, чему ты всегда оставался верен, это хорошему вину.

— Большое достоинство, не правда ли?

— Извини, мне не нужно было упрекать тебя утром, что ты много выпил.

— Ты знаешь, это мне очень помогает. Смешно, а это так.

— Что именно — то, что ты пил, или упреки?

— То, что я пил. Замороженное, в высоких стаканах.

— Возможно. И я впредь воздержусь от замечаний — разве насчет того, что в этом доме очень трудно дождаться какой-нибудь еды.

— Умей терпеть. Сколько раз ты меня этому учила.

— Я терплю,— сказала она.— Только я голодна. Я теперь понимаю, почему люди едят на поминках.

— Ничего, будь циничной, если тебе от этого легче.

— И буду, не беспокойся. Не прикажешь ли извиняться за каждое сказанное слово? Я уже раз извинилась, хватит.

— Слушай, ты,— сказал он.— Я живу с этим на три недели дольше тебя и, должно быть, уже нахожусь в другой стадии.

— Ну конечно, ты всегда в другой стадии, более значительной и интересной. Я тебя знаю. Не пора ли тебе возвращаться к своим шлюхам?

— Может быть, ты все-таки перестанешь?

— Нет. Мне так лучше.

— Кто это написал «Помилуй всех женщин, Мария»?

— Мужчина, конечно,— сказала она.— Какая-то сволочь в брюках.

— Хочешь, я прочитаю тебе эту вещь целиком?

— Нет. И вообще ты мне уже надоел со своим «на три недели дольше» и со всем прочим. Если я нестроевая, а ты занят чем-то настолько секретным, что даже спишь только с кошкой, чтобы не проговориться во сне, это...

— Тебе все еще не ясно, почему мы расстались?

— Расстались потому, что ты мне надоел. Ты всегда любил меня, и не мог не любить, и теперь не можешь.

— Это верно.

Рядом, в столовой, стоял мальчик-слуга и все слышал. Он и прежде не раз становился невольным свидетелем ссор и всегда огорчался этим так, что его даже в пот кидало. Он любил своего хозяина, любил его кошек и собак и с почтительным восхищением относился к красивым женщинам, бывавшим в доме, и когда они ссорились, ему было невыносимо грустно. А эта женщина красивее всех других, и все равно кабальеро ссорится с ней, и она говорит кабальеро недобрые слова.

— Сеньор,— сказал он, подойдя к двери.— Простите великодушно. Но не выйдете ли вы в кухню, мне нужно кое-что передать вам.

— Извини, дорогая.

— Все какие-то тайны,— сказала она и налила себе еще вина.

— Сеньор,— сказал мальчик, когда они вышли.— Звонил лейтенант и просил вас немедленно явиться, даже повторил два раза: немедленно.

Он сказал, что вы знаете куда и что это по делу. Я не хотел разговаривать по нашему телефону и позвонил из деревни во «Флоридиту». Там мне сказали, что вы поехали сюда.

— Хорошо,— сказал Томас Хадсон.— Большое тебе спасибо. Пожалуйста, изжарь нам с сеньорой яичницу и скажи шоферу, чтобы готовил машину.

— Слушаю, сэр.

— Что случилось, Том? Что-нибудь нехорошее?

— Меня вызывают на работу.

— Ты ведь говорил, что в такой ветер нельзя.

— Говорил. Но это не от меня зависит.

— Мне остаться здесь?

— Оставайся, если хочешь. Можешь почитать письма Тома, а к шести мой шофер отвезет тебя на аэродром.

— Хорошо.

— Можешь взять письма себе, если хочешь, и фотографии тоже, и все, что попадется. Просмотри все ящики моего стола.

— А ты все-таки изменился.

— Может, кой в чем и изменился,— сказал он.— Пойди в мастерскую, взгляни на работы,— сказал он.— Там есть неплохие вещи, написанные раньше, до всего. Возьми, что понравится. Есть твой портрет, неплохой.

— Я возьму его,— сказала она.— Какой ты хороший, когда ты хороший.

— Почитай и ее письма, если захочешь. Среди них есть уникальные, прямо хоть в музей. Их тоже можешь взять, если это тебя позабавит.

— Ты, видно, думаешь, что я разъезжаю с сундуком.

— Ну, прочтешь, а потом спустишь в унитаз в самолете.

— Вот разве что.

— Я еще постараюсь вернуться к твоему отъезду. Но не знаю, удастся ли, так что не жди. Если шофер должен будет задержаться со мной, я пришлю такси, и оно отвезет тебя в отель или на аэродром.

— Хорошо.

— Если тебе что понадобится, скажи мальчику. Он тебе и выгладить может, что нужно, а ты пока надень что-нибудь из моих вещей.

— Хорошо. Ты только люби меня, Том, и пусть такое, как только что было, этому не мешает.

— Не бойся. Это все пустяки, а не любить тебя я не могу, ты же сама сказала.

— Вот пусть так оно и будет.

— Это не от меня зависит. Возьми любые книги, все, что тебе приглянется в доме, а мою яичницу, всю или половину, отдай Бойзу. Ему только нужно нарезать помельче, он так любит. Ну, мне пора. И так уже вышла задержка.

— До свидания, Том.

— До свидания, чертовка. Смотри береги себя. А мне, верно, не предстоит ничего серьезного.

Он толкнул дверь и вышел. Кот прошмыгнул в коридор вместе с ним и смотрел на него, задрав мордочку кверху.

— Ничего, Бойз, все в порядке,— сказал он коту.— Я еще покажусь тут до выхода в море.

— Куда ехать? — спросил шофер.

— В город.

Не могу представить себе, чтобы нам нашлось дело в такую погоду. А может, и обнаружено что-нибудь. Может, кто-нибудь терпит бедствие в море. Черт, только бы не впустую опять. Не забыть бы составить коротенькое завещание, чтобы дом в случае чего достался ей. И не забыть за-

верить его в посольстве и положить в сейф. Она молодец, сумела принять это и не сломиться. Но до нее еще не дошло по-настоящему. Жаль, когда дойдет, меня с ней не будет. Жаль, я ничем не могу помочь ей. А может, еще смогу, если на этот раз все сойдет благополучно, и на следующий тоже, и на черезследующий.

Ладно, пока пусть сойдет на этот раз. Интересно, возьмет ли она письма и прочее. Надеюсь, она возьмет, и надеюсь, не забудет дать Бойзу яичницу. Когда холодно, у него всегда разыгрывается голод.

Разыскать людей будет нетрудно, вот только как он, выдержит ли еще рейс до ремонта. Ну один-то выдержит. Один-то наверняка выдержит. Рискнем, во всяком случае. Запасных частей у нас хватит. Удалось бы только поближе подойти, это главное. А хорошо было бы, если бы не понадобилось выходить сегодня. Наверно, хорошо было бы. Да, черта с два.

Давай разберемся. Сына ты потерял. Любовь потерял. От славы уже давным-давно отказался. Остается долг, и его нужно исполнять.

А в чем он, твой долг? В том, что ты на себя взял. А все прочее, что ты на себя брал в жизни?

Она в это время лежала на постели в большой спальне, комнате, чем-то напоминавшей «Нормандию», и кот Бойз лежал около нее. Яичницу она так и не могла съесть, а вино показалось ей безвкусным. Всю яичницу она отдала Бойзу, нарезав на маленькие кусочки, а сама выдвинула верхний ящик стола, и увидела почерк сына на голубых конвертах со штампом цензуры, и вернулась назад, и ничком бросилась на постель.

— И тот и другой,— сказала она коту, разнеженному яичницей и теплом, исходившим от женщины, которая была рядом.— И тот и другой,— сказала она.— Скажи, Бойз, что же нам теперь делать?

Кот тихонько урчал.

— Ты тоже не знаешь, Бойз,— сказала она.— И никто не знает.

(Окончание следует)

Т. С. ЭЛИОТ

Перевод с английского

Томас Стернс Элиот — талантливый поэт, мыслитель и критик, в творчестве которого с особой силой выразились кризисные явления буржуазного мира XX века. Элиот — сторонник консервативных политических взглядов, убежденный поборник «элитарного», «герметического» письма, замкнутого в себе, доступного лишь для избранников.

Стихи Элиота нелегки для понимания. Он считал произведение искусства явлением имманентным, «закрытым», самодовлеющим: каждый образ Элиота — знак, выражающий настроение поэта, его откровенно субъективное отношение к внешнему миру.

И, однако, Элиот как поэт был выше и шире своих воззрений. В его художественных произведениях — стихах, пьесах, поэмах — звучит подлинное беспокойство за судьбы мира, искреннее отчаяние, мучительная тревога. Следование традициям мировой поэзии переплетено в них с дерзким новаторством, далеко не всегда для нас приемлемым, но всегда останавливающим внимание. Стихи Т. С. Элиота — документ эпохи всеобщего кризиса капитализма.

Поэтому журнал «Иностранная литература» знакомит своих читателей с подборкой стихотворений и фрагментов из поэм Т. С. Элиота.

Они не первый раз появляются в нашей печати. С отличными переводами из Элиота выступили в свое время известные мастера стихотворного перевода — И. А. Кашкин, М. А. Зенкевич. Наша подборка продолжает и расширяет это знакомство; сейчас, когда творческий путь поэта завершен, в его наследии легче выбрать то, что представляется особенно удачным и характерным, имеющим ценность для нас.

Т. С. Элиот выступил в 10-х годах как ведущая фигура имажизма — авангардистского течения в поэзии английского языка — и уже в 20-х годах стал общепризнанным лидером западноевропейского и американского модернизма. С годами авторитет Элиота делался все более прочным и неоспоримым, утверждался новыми и новыми его книгами. Окидывая обобщающим взглядом весь творческий путь Элиота, мы должны объективно отнестись к его литературному наследию, которое все в большей степени делается предметом литературных споров за рубежом. Т. С. Элиота уже пробуют сделать этаким поэтом № 1 XX века, а его суждения о литературе и культуре уже и сейчас широко используются в борьбе против передового искусства нашего времени.

Американец по рождению, Элиот начал свой творческий путь как участник группы имажистов. Эта поэтическая школа сложилась накануне первой мировой войны в англо-американской литературной среде. Имажизм был одним из самых сложных течений авангардизма начала XX века. В нем снобистский бунт против мещанских вкусов викторианской поэзии сочетался с глубоким преклонением перед поэтической традицией, особенно традицией античной. Литературная атмосфера в США была для Элиота недостаточно рафинированной и восприимчивой, и он с 1910 года обосновался в Европе. Пребывание в Париже и ученье в Сорбонне ввели его в литературный мир предвоенной Франции, обусловили его симпатии к так называемым постсимволистам. Среди его французских учителей для Элиота особенно важны были поэты Т. Корбьер и Ж. Лафорг, но бросается в глаза и его значительная близость к С. Малларме — сложнейшему и темнейшему из символистов старшего поколения,— а затем к П. Валери, большому французскому поэту XX века.

Среди имажистов 10-х годов должны быть упомянуты также Э. Паунд, впоследствии опорочивший себя сотрудничеством с итальянскими фашистами (из-за этого Элиот порвал с ним), популярный у нас Р. Олдингтон и критик Т. Э. Хьюм, ставший основоположником так называемой «новой критики» — формалистического направления англо-американской науки о литературе.

Но уже после первой мировой войны выяснилось, что наиболее влиятельным поэтом из имажистов стал именно Элиот. Во многом это объяснялось и тем, что Элиот смело порвал со стеснявшими его теориями имажистов и пошел своей дорогой, отличающейся от путей других представителей этой школы. Цикл его стихотворений «Пруфрок и другие наблюдения» (1917) был смелой попыткой создать лирический портрет современника — утонченного и надломленного интеллигента, истеричного, иронически относящегося к себе и своему обществу, смутно предчувствующего приближение некой катастрофы. Сходным оказался и образ Суини, героя следующего цикла стихов Т. С. Элиота, мучающегося в сумрачной атмосфере послевоенной Европы, мечтающего о побеге из привычного и пошлого мира, но не способного на эту акцию и потому зачастую смешного и жалкого. Оба образа, созданные молодым Элиотом, отражали многие реальные настроения и черты западноевропейской интеллигенции тех лет и были своеобразной аналогией для образов «потерянного поколения». Во многом близки эти образы и к господину Тесту — герою многих произведений Поля Валери,— и к персонажам прозы Хемингуэя, Дос Пассоса, Фицджеральда, Олдингтона.

Стихи о Пруфроке и Суини положили начало новому своеобразному поэтическому жанру — циклу портретов-поэм, в целом создающему облик лирического героя, нередко автобиографический и сатирически окрашенный. При этом часто использовался прием так называемого «потока сознания» — бесконечного монолога, живо напоминающего прозу Дж. Джойса. Пародия, гротеск, карикатура, натуралистический эпатаж входят постоянными элементами в эти портреты-поэмы, написанные изощренным стилем, изобилующие литературными реминисценциями и цитатами, что делает их понимание весьма затрудненным. Реформатор английского стиха, Элиот нередко отказывается от традиционной рифмы, создает свои конструкции верлибра, весьма сложные и нередко опирающиеся на видоизмененные метрические ходы древнегреческого стиха. Если он и сохраняет рифму, то вносит в нее много нового и смелого, решительно рвет с традиционным сладкогласием.

Проблема «потерянного поколения» заметно возросла и углубилась в двух сильнейших поэтических произведениях Элиота, которые появились в первой половине 20-х годов — в «Бесплодной земле» (1922) и в «Полых людях» (1925). Даже в названиях этих поэм звучит основная трагическая тема творчества молодого Элиота — опустошенность, ощущение совершившейся и длящейся катастрофы мировой культуры, осознание ничтожности и пустоты бытия, изувеченного силами, неведомыми для поэта, но безусловно внушающими ему отвращение и ужас. Страх становится характерным настроением поэта, проявляясь во множестве обличий и масок, пугающих и преследующих Элиота. Все определеннее этот страх обрисовывается как самоощущение поэта, чувствующего обреченность и неестественность мира, в котором он живет, мира, сдвинутого со своих основ — но единственно приемлемого для поэта. В его статьях и новых стихах вырисовывается и идея упорядочения этого мира, идея создания мира как бы стройного и целостного, что достижимо хотя бы в сфере искусства. Ощущение катастрофичности европейской действительности и поиски выхода из катастрофы — хотя бы иллюзорного — звучат и в цикле «Кориолан», соотносимом с той трактовкой этого образа, которую в 30-х годах давали иные постановки этой трагедии, рассматривавшие судьбу шекспировского героя как параллель к карьере фашистских диктаторов,— в аспекте сравнения с Европой начала 30-х годов. В «Триумфальном марше» из «Кориолана» прорывается ужас перед неотступно настигающим Европу призраком новой войны, призраком фашизма; в пьесе «Камень» вдруг звучит безнадежный хор безработных и появляется покаянное и искреннее обращение к народу — едва ли не единственное в поэзии Элиота. В пьесе «Убийство в соборе», воссоздающей в тонах религиозной драмы историю борьбы бесстрашного Томаса Бекета против тирании короля Генриха II (1935), даже появляется фигура доблестного мученика, поднимающего свой голос в защиту духовных ценностей,— явление, достаточно редкое для Элиота, со все большим скепсисом относящегося к различным гуманистическим начинаниям того времени.

В те же годы окончательно оформляется общая эстетическая и политическая программа Элиота, бессменного вдохновителя и редактора журнала «Крайтирион» — этого подлинного оракула буржуазного искусства в пору «бесплодно потраченного времени между двух войн», как горько сказал сам Элиот. Политические позиции поэта складываются как открытое сочувствие консервативным режимам, на деле отступавшим все дальше и дальше перед фашизмом. Но фашизм вызывал у Элиота брезгливую гримасу сноба, недовольного «коричневым плебсом». Эстетическая позиция поэта, еще недавно высмеивавшего Пруфроков и Суини, свелась к прямому прославлению нормативной поэтической системы, опирающейся на примат религиозного чувства — на догматы католицизма, которые поэт хотел восстановить во всем их влиянии на общество и искусство. Свою программу создания нового искусства, которое помогло бы стабилизации потрясенного капитализма, Элиот пояснял параллелью: он противопоставлял революционному искусству Джона Мильтона, поэта английской революции XVII века, творчество Джона Драйдена, которое, существенно фальсифицируя, выдавал за «классицизм». Однако, требуя возрождения некого аристократического классицизма, сам Т. С. Элиот не хотел отказаться от своей авангардистской

формы, в которой написаны и его «Четыре квартета» (1934—1942) — последнее значительное произведение его печальной и насмешливой музы, вновь оплакивавшей судьбы неразумно устроенного общества, в котором так тяжко и страшно живется. В частности, в четвертом квартете звучат прямые отголоски второй мировой войны, угрюмое эхо «битвы за Англию», вопль жалобы и сострадания; война предстала перед поэтическим сознанием Элиота как апокалипсическое видение гибели мира, но в этой картине было выражено и неприятие фашизма, готовность сопротивляться ему. Ощущение обесцененности старой цивилизации, ощущение варварства и дикости, таящихся под маской внешнего благопристойного мещанства XX века, переданы в «Четырех квартетах» с большой поэтической силой. Нельзя не заметить богатого содержания «Четырех квартетов» — они вводят нас в философский мир поэта, в котором причудливо соединяются новейшие идеи физики XX века, догматы Фомы Аквинского и концепции Данте. В конечном итоге это, безусловно,— проявление бессилия философии современного буржуазного мира, но проявление, не лишенное поэтической импозантности. «Четыре квартета» — скорее реквием в четырех частях, реквием по старой европейской культуре, прерываемой истерическими призывами к богу. Отчаянье, бесперспективность общества, в котором живет и которое защищает Элиот в «Четырех квартетах», вырастает в чувство безысходной трагедии; она тянется и все не может закончиться и вовлекает в свой водоворот новые и новые поколения. «Четыре квартета» — страшное признание. Да, но и выражение страшного бессилия, которое Элиот — автор изящных и ядовитых очерков и эссе — пытается скрыть от читателей, явственно слышащих это бессилие в задыхающемся голосе Элиота, поэта, избравшего для себя позу стоического сноба. У О. Шпенглера, печально талантливого немецкого историософа, автора «Заката Европы», есть один запоминающийся образ: Шпенглер вспоминает, что во время раскопок Помпеи был обнаружен труп римского легионера, часового, встретившего страшную смерть на своем посту,— и призывает помнить об этом примере мужества, которое истолковано в духе немецкого «чувства долга». Элиот напоминает этого легионера, который до конца стоял на заведомо потерянном посту и встретил на нем смерть.

После второй мировой войны (на которую он откликнулся стихотворениями в честь британцев как единственных якобы защитников цивилизации) Т. С. Элиот принял участие и в «холодной войне»: в ряде статей он отстаивал идею «атлантической культуры», отработал до полной ясности свою философию элиты как единственного подлинно творческого начала, противопоставленного культуре народной. Но это были выступления стареющего модернистского оракула, увлекавшегося своими схемами и искусственными концепциями и уже не поднимавшегося до уровня своих наиболее сильных поэтических прозрений.

Когда я читаю Элиота, я всегда вспоминаю собор в Ковентри. Англичане не стали восстанавливать старый норманнский храм, разрушенный нацистами, и его благородные закопченные руины до сих пор зияют своими пустыми розетками и проемами стрельчатых окон. Но тут же, из руин, выросло яркое, весьма модное здание из бетона и стекла — новый собор, украшенный стилизованными коваными фигурами архангела, вознесшего копье, и довольно карикатурного сатаны, извивающегося перед ним. В этом странном монументе есть и признание невосполнимости понесенных потерь, осознание невозвратности прошлого, и претензия на воссоздание этого прошлого, претензия на утверждение его навсегда умерших принципов.

Р. САМАРИН

Суини среди соловьев

О горе! Мне нанесен смертельный удар! [1]

Горилла Суини расставил колени,
Трясется — от хохота, вероятно.
Руки болтаются; зебра на скулах
Превратилась в жирафьи пятна.

Круги штормовой луны к Ла-Плате
Скользят, озаряя небесный свод.
Смерть и Ворон парят над ними,
Суини — страж роговых ворот.[2]

[1] Предсмертный крик героя трагедии Эсхила «Агамемнон».

[2] По представлениям древних греков, сквозь роговые врата проходили сны с дурными предзнаменованиями.

В дымке Пёс и Орион
Над сморщившейся морской пустыней;
Некая дама в испанском плаще
Пытается сесть на колени Суини,

Падает, тащит со столика скатерть —
Кофейная чашечка на куски;
Дама устраивается на полу,
Зевает, подтягивает чулки;

Молчащий мужчина в кофейной паре
Возле окна развалился, злится;
Официант приносит бананы,
Фиги и виноград из теплицы;

Молчащий двуногий шумно вздыхает,
Мрачно обдумывает ретираду;
Рашель, урожденная Рабинович,
Когтями тянется к винограду;

У нее и у леди в испанском плаще
Сегодня зловеще-таинственный вид;
Усталый мужчина чует худое,
Отклоняет предложенный ими гамбит,

Выходит, показывается в окне,
Лунный свет скользит по затылку,
Побеги глицинии окружают
Широкую золотую ухмылку;

Хозяйка с кем-то, не видно с кем,
Калякает в приоткрытую дверцу,
А за углом поют соловьи
У монастыря Иисусова Сердца,

Поют, как пели в кровавом лесу,
Презревши Агамемноновы стоны,
Пели, роняя жидкий помет
На саван и без того осквернённый.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Кориолан

ТРИУМФАЛЬНЫЙ МАРШ

Камень, бронза, камень, сталь, камень, лавры, звон подков
По мостовой.
И знамена. И фанфары. И столько орлов.
Сколько? Сочти. И такая давка.
В этот день мы не узнавали себя, не узнавали Города.
Столько народу на этой дороге, к храму приводит эта дорога.
Столько ждущих, сколько ждущих? Не все ли равно, если столько много.

Идут? Пока нет еще. Только вдали орлы. Да еще фанфары.
Вот они. Наконец. А он?
Природное бодрствование нашего Я есть восприятие.
Мы можем ждать на стульях, держа сосиски.
Что прежде всего? Ты видишь? Это

5 800 000 винтовок и карабинов,
102 000 пулеметов,
28 000 минометов,
53 000 полевых и тяжелых орудий,

Неизвестно, сколько снарядов, мин и взрывателей,
13 000 аэропланов
24 000 авиационных моторов
50 000 артиллерийских упряжек,
потом 55 000 интендантских фур,
11 000 полевых кухонь,
1 150 полевых пекарен.

Сколько же все это длится! Не видно его? Нет,
Идут Капитаны гольф-клуба, а это Скауты,
А вот société gymnastique de Poissy[1],
А вот и Лорд-Мэр с Членами Гильдии. Вон,
Смотри, это он, смотри:
Нет вопросительности в глазах
И в руках, застывших над гривой коня,
Но в глазах ожидание, пристальность, воспринимание, безразличие.
О, скрытое под крылом голубя, скрытое в груди черепахи,
Под пальмой в полдень, под бегущей водой
В недвижный миг текучего мира. О, скрытое.

Вот они направляются к храму. Приносят жертву.
Вот девственницы выходят с урнами, в этих урнах
Прах
Прах
Прах праха, и снова
Камень, бронза, камень, сталь, камень, лавры, звон подков
По мостовой.

Вот все, что мы видели. Но сколько орлов! И сколько фанфар!
(На Пасху мы не поехали за город и потому отвели
Маленького Сирила в церковь. Он услыхал колокольчик
И громко сказал: разносчик.)
Не бросай сосиску,
Она еще пригодится. Он ловкий. Простите,
Нет ли у вас огонька?
Огонь
Огонь
Et les soldats faisaient la haie? ILS LA FAISAIENT.[2]

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

---

[1] Гимнастическое общество Пуасси *(франц.)*.
[2] Солдаты образовали кордон? Да *(франц.)*.

Из «Ландшафтов»

АСК

Ветвь откинув, увидеть, как
Светлый лось
Пьет из светлого родника,
Удалось ли тебе? Так оставь
Прошлых лет и грезы и явь.
Взгляд в себя обрати,
Сократи
По склонам петляющие пути,
Обрети,
Где зеленое в серое влито,
Келью схимника, мир и молитву.

РЭННОХ, ДОЛИНА ГЛЕНКО

Здесь голоден ворон, здесь кроткий олень
Пригоден для пули. В пространстве неярком
Меж небом и вереском ловкий прыжок и полет
Ни к чему. В тонком воздухе лунный
Либо жар, либо лед. Путь колеблется между
Равнодушием вечной вражды
И апатией сломанных копий,
Между шумом греха и безмолвием зла.
Здесь природы распад. Только память сильна
По ту сторону плоти. Гордость пала,
Но тень ее, та, что нетленна, ее смертного ложа длина
Не совпадает с размерами плоти.

Перевод М. ЕРЕМИНА

Из «Популярной науки о кошках»

ВТОРОЗАКОНИЕ

Кот по прозванию Второзаконие
Стал достояньем молвы и истории,
Когда еще помнили о церемонии
Вступленья на трон королевы Виктории.
Он прожил одиннадцать жизней подряд
И пережил трижды одиннадцать жен,
И нажил премного прапраправнучат,
И жив, и на солнышке греется он.
Завидев его, старичок-старожил
Глядит изумленно, еще изумленнее
Бормочет: «Позвольте... Но, право, нет сил
Поверить... Но это же вижу я сам...
О боже!
Похоже...
А может быть, все же поверить глазам...
Ведь право же, это же Второзаконие!»

Второзаконие располагается
Среди мостовой на дороге к базару;
Сначала машины ему удивляются,
Потом направляются по тротуару.
Бычки помычат, а овечки поблеют,
Но гуртовщики их погонят в обход:
Второзаконие косточки греет —
Кто потревожить такого дерзнет?
Разве какие-нибудь посторонние...
И снова твердит старичок-старожил:
«Позвольте... но как же... ведь, право, нет сил
Поверить... я, видно, рассудка лишаюсь...
Похоже...
О боже!
А может быть, все же я не заблуждаюсь,
И весь этот шум из-за Второзакония!»

Второзаконие после обеда
Дремлет в таверне «Лиса и кувшин».
Если в углу разгорится беседа,
Или же кто из подпивших мужчин
Заявит: «Пора бы еще по одной!» —
То тут же владелица багроволицая
Привстанет и скажет: «Ступайте домой,
Не то я сейчас же пошлю за полицией!»
Что возражать? Нет резона резоннее,
И люди уходят, а наш старожил
Бормочет себе: «Ну, поди ты, нет сил...
О боже!.. И ноги дрожат, как нарочно...
А все же...
Псхоже,
Что я еще в силах пройти осторожно
И не наткнуться на Второзаконие!»

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Из «Четырех квартетов»

БЕРНТ НОРТОН

Часть I

Время настоящее и время прошлое,
Быть может, оба наступают в будущем.
А время будущее пребывало в прошлом.
Если время — неразрывное настоящее,
Нет во времени искупления.
Что могло бы быть — лишь абстракция,
Остающаяся вечной возможностью
В отвлеченности спекуляции.
Что могло бы быть и что было,
Завершаются единственным — настоящим.
Эхо шагов в памяти
По непройденному пути
К двери, не открытой ни разу,
В сад роз. Моих слов эхо

Вот, в вашей памяти.
Но к чему
Трогать пыль на вазе с лепестками роз,
Я не знаю.
Другие эхо
Раздаются в саду. Ты слышишь?
Скорей, крикнула птица, найди их, найди их,
За угол. В первую дверь,
В наш первый мир. Доверишься
Обману дрозда? Наш первый мир.
Там они были, величавые и незримые,
Ступавшие — не касаясь их — поверх мертвых листьев,
В осеннем зное, сквозь дрожащий воздух;
И птица откликнулась в ответ на
Неслышимую музыку, льющуюся из кустарника,
И невидимые взгляды мелькали: розы
Выглядели цветами, на которые смотрят.
Там они были, будто наши же гости, приглашенные, приглашающие;
И мы шли вместе с ними — в нерушимом порядке —
По пустынным аллеям, к кругу в зарослях букса,
Заглянуть в опустевший бассейн,
Пересохший, зияющий порыжелым бетоном.
И бассейн стал полон влаги — сиянья солнца,
И лотос рос, тихо-тихо,
Зрея влажной сердцевиной света,
И они, позади нас, отражались в бассейне.
Но проплыло облако, и бассейн опустел.
Иди, звала птица, ведь в листве были дети,
Замершие возбужденно, таящие смех.
Иди, иди, иди, крикнула птица: человеческий род
Не может вынести слишком много реальности.
Время прошлое и время будущее,
Что могло бы быть и что было,
Завершаются единственным — настоящим.

Перевод Д. СИЛЬВЕСТРОВА

ИСТ КОУКЕР

Часть V

Итак, я на полпути, переживший двадцатилетие,
Пожалуй, погубленное двадцатилетие entre deux guerres[1],
Пытаюсь учиться употреблению слов и каждый раз
Все начинаю заново для неизведанной неудачи,
Ибо слова подчиняются лишь тогда,
Когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь
Когда не нужно. Итак, каждый приступ
Есть новое начинание, набег на невыразимость
С негодными средствами, которые иссякают
В сумятице чувств, в беспорядке нерегулярных
Отрядов эмоций. Страна же, которую хочешь
Исследовать и покорить, давно открыта
Однажды, дважды, множество раз — людьми, которых
Превзойти невозможно,— и незачем соревноваться,

[1] Между двух войн *(франц.)*.

Когда следует только вернуть, что утрачено
И найдено, и утрачено снова и снова: и в наши дни,
Когда все осложнилось. А может, ни прибылей, ни утрат.
Нам остаются попытки. Остальное не наше дело.
Дом — то, откуда выходят в дорогу. Мы старимся,
И мир становится все незнакомее, усложняются ритмы
Жизни и умирания. Не раскаленный миг
Без прошлого, сам по себе, без будущего,
Но вся жизнь, горящая каждый миг,
И не только жизнь какого-то человека,
Но и древних камней с непрочтенными письменами.
Есть время для вечера при сиянии звезд
И время для вечера при электрической лампе
(Со старым семейным альбомом).
Любовь почти обретает себя,
Когда «здесь» и «теперь» ничего не значат.
Даже в старости надо исследовать мир,
Безразлично, здесь или там.
Наше дело — недвижный путь
К иным ожиданьям.
К соучастию и сопричастию
Сквозь тьму, холод, безлюдную пустоту,
Стонет волна, стонет ветер, огромное море
Альбатрос и дельфин. В моем конце — начало.

ЛИТТЛ ГИДДИНГ

Часть II

Пепел на рукаве старика —
Пепел розового лепестка.
Пыль, поднявшаяся столбом,
Выдает разрушенный дом.
Пыль, оседающая в груди,
Твердит, что все позади,
И не надо мечтать о звездах.
Так умирает воздух.

Потоп и засуха в свой черед
Поражают глаза и рот,
Мертвые воды, мертвый песок
Ждут, что настанет срок.
Тощая выжженная борозда
Намекает на тщетность труда,
Веселится, не веселя.
Так умирает земля.

Вода и огонь унаследуют нам,
Городам, лугам, сорнякам.
Вода и огонь презрят благодать,
Которую мы не смогли принять.
Вода и огонь дадут завершенье
Нами начатому разрушенью
Храмов, статуй, икон.
Так умрут вода и огонь.

В колеблющийся час перед рассветом
Близ окончанья бесконечной ночи
У края нескончаемого круга,
Когда разивший жалом черный голубь
Исчез за горизонтом приземленья,
И мертвая листва грохочет жестью,
И нет иного звука на асфальте,
Меж трех еще дымящихся районов,—
Я встретил пешехода — он то мешкал,
То несся с металлической листвою
На городском рассветном сквозняке.
И я вперился с острым любопытством,
С которым в полумраке изучают
Случайных встречных, в опаленный облик
И встретил взгляд кого-то из великих,
Кого я знал, забыл и полупомнил
Как одного из многих; мне в глаза
Глядел знакомый мозаичный призрак.
Такой родной и неопределимый.
И я вошел в двойную роль, и крикнул,
И услыхал в ответ: «Как! Это ты?»
Нас не было. Я был самим собою,
Но понимал, что я не только я —
А он еще довоплощался; все же
Его слова рождали узнаванье.
И вот, подчинены простому ветру
И слишком чужды для непониманья,
По воле пересекшихся времен
Мы встретились в нигде, ни до, ни после,
И зашагали призрачным дозором.
Я начал: «Мне легко с тобой на диво,
Но к дивному приводит только легкость.
Скажи: что я забыл, чего не понял?»
И он: «Я не хотел бы повторять
Забытые тобой слова и мысли.
Я ими отслужил: да будет так.
И ты отслужишь. Так молись за мною,
Чтоб и добро, и зло тебе простили.
Злак прошлогодний съеден, и, насытясь,
Зверь отпихнет порожнее ведро.
Вчерашний смысл вчера утратил смысл,
А завтрашний — откроет новый голос.
Но так как ныне дух неукрощенный
Легко находит путь между мирами,
Уподобляющимися друг другу,
То я найду умершие слова
На улицах, с которыми простился,
Покинув плоть на дальнем берегу.
Забота наша, речь, нас подвигала
Избавить племя от косноязычья,
Умы понудить к зренью и прозренью,
И вот какими в старости дарами
Венчается наш ежедневный труд.
Во-первых, холод вянущего чувства,
Разочарованность и беспросветность,
Оскомина от мнимого плода
Пред отпадением души от тела.

Затем, бессильное негодованье
При виде человеческих пороков
И безнадежная ненужность смеха.
И, в-третьих, повторенье через силу
Себя и дел своих, и запоздалый
Позор открывшихся причин; сознанье,
Что сделанное дурно и во вред
Ты сам когда-то почитал за доблесть,
И вот хвала язвит, а честь марает.
Меж зол бредет терзающийся дух,
Покуда в очистительном огне
Ты не воскреснешь и найдешь свой ритм».
День занимался. Посреди развалин
Он, кажется, меня благословил
И скрылся с объявлением отбоя.

Из «Стихов на случай»

НА ОБОРОНУ ОСТРОВОВ

Пусть эти памятники немолчной музыки
строительного камня, многих веков
терпеливого возделывания английской
земли и английской поэзии

сомкнутся с воспоминаниями о нынешней
обороне островов,

с воспоминаниями об отправленных
на серые корабли — линейные, торговые,
рыболовные, о тех, кто легли костьми
в английскую мостовую на дне морском,

о тех, кто по новым правилам бился со смертью,
боролся с властью мрака в огне и воздухе,

о тех, кто дорогами предков пришел на поля
Фландрии, Франции, тех, неразгромленных
в день разгрома, неизменных в день торжества,
изменивших обычаям предков лишь в вооружении,

и снова о тех, для кого дорогами славы
служат тропинки и улицы Англии:

чтобы сказать былым и грядущим поколениям
нашей крови и нашего языка, что
сейчас мы заняли наши места, повинуясь приказу.

Перевод АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

И. ТЕРТЕРЯН

ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

Заметки об испанском «почвенничестве»

В одной из новелл Хуана Гойтисоло (включенной в книгу «Конец праздника», 1962) на террасе загородной виллы беседуют молодые интеллигенты. Хозяин дачи Мигель — преподаватель литературы, его гости — тоже типичные «гуманитарии». Поблизости снуют крестьянки, занятые своими повседневными делами, они доят коров, убирают навоз, сгребают сено:

«— Лолита и ее сестры (девушки из крестьянской семьи, прислуживающие на даче.— *И. Т.*) познали истину жизни. Их труд дает им абсолютную полноту самореализации.

— Да, в нас все случайно. А у них наоборот — у них каждый жест открывает жизненную сущность... Мы, интеллигенты, действуем в пустоте.

— А ты объясни это рабочим,— сказал Мигель.— Вы, дескать, зарабатываете в день пятьдесят песет, но зато знаете сущность, а мы, хотя кажемся вам богачами, поверхностны и ненатуральны. Они тебе ответят!»

Разумеется, Луису, рассуждающему о «самореализации» служанки Лолиты, и в голову не приходит сойти с террасы да помочь этой самой Лолите сгребать навоз. Впрочем, тут виноват не столько Луис, сколько автор новеллы, который весьма сурово относится к философствованиям своих персонажей и поручает язвительному Мигелю их высмеять. Откровенно презрительная интонация, с какой Гойтисоло рассказывает об этом, с его точки зрения, интеллигентском юродстве, не снимает, однако, подмеченного им факта: молодые испанские интеллигенты (так же, как их сверстники в других высокоцивилизованных странах) с завистливым восхищением глядят на «черный труд» и тоскуют по каким-то неведомым и недоступным им ощущениям от труда и от жизни вообще. Что-то есть, значит, в самом их образе жизни, что толкает к раздумьям об его неполноте, неистинности или «несущностности».

Это умонастроение, в последние десятилетия завладевшее людьми куда более серьезными и зрелыми, чем приятели гойтисоловского героя, отлилось в проблемах, которые решали, на свой — испанский — лад, писатели, принадлежащие к влиятельному и заметному в современной испанской литературе течению. В начале 60-х годов в испанской критике и публицистике замелькал новый термин — «гойизм». Вызвано это было не появлением художников, подражающих манере Гойи. Нет, под гойизмом подразумевается широкое течение, обнимающее все виды искусств,— и литературу даже в большей степени, чем изобразительное искусство, но своим подходом к национальной жизни, отбором явлений и черт — резких, мрачных, жестоких, однако безусловно исконных испанских — вызывающее аналогии с творчеством Гойи.

Гойизм по сути своей, если воспользоваться понятием, сложившимся в русской идеологической традиции,—не что иное, как своеобразное «почвенничество»[1]. Особого и, надо сказать, обширнейшего исследования потре-

[1] Разумеется, здесь возможна лишь приблизительная аналогия. Мы позволяем себе в дальнейшем изложении употреблять этот условный термин, поскольку в испанской критике не существует единого и общепринятого обозначения исследуемого нами литературного течения.

бовал бы вопрос об исторических корнях этого движения в Испании. Однако в послевоенной литературе почвенничество начало формироваться как бы «с нуля» — ведь культурная традиция в стране 1939 годом была прервана. Писатели отталкивались от собственного социального опыта в условиях новой, послевоенной действительности — и лишь в процессе осмысления этого опыта они «возвращались» к традиции, открывая для себя ее неувядающее обаяние. Примерно за двадцать последних лет почвенничество в испанской литературе превратилось в разветвленное течение, привлекающее и напряженной философичностью и оригинальной образностью. С ним связано на протяжении многих лет творчество выдающихся писателей Камило Хосе Селы и Мигеля Делибеса и творчество других, не столь выдающихся, но тоже значительных и уважаемых писателей. Почвенничество стало фактом духовной жизни сегодняшней Испании — им восторгаются и с ним спорят, к нему присоединяются и его ниспровергают. Именно поэтому оно, на наш взгляд, заслуживает специального и внимательного разбора.

И Камило Хосе Села и Мигель Делибес — писатели, вступившие в литературу в первое послевоенное десятилетие,— в начале своего творческого пути были далеки от какой бы то ни было идеализации народа, равно как и от поисков почвы, в которую могло бы пустить корни чахнущее современное искусство. Перелом в их умонастроении происходит где-то около пятидесятого года, и знаменательно, что этот перелом в очень сходной форме переживают писатели, никак друг с другом не связанные и очень несхожие. В повести Делибеса «Дорога» (1950) и в книге путевых заметок Селы «От Миньо до Бидасоа» (1952) писатели растворяются — притом с радостной готовностью — в какой-то внезапно открывшейся им стихии.

Села во время своего путешествия по северному побережью Испании, от Миньо до Бидасоа, тщательно фиксирует те душевные состояния, которые вызывает в нем соприкосновение с окружающим. Почти всегда это состояния «бесконечного счастья», «огромного мира в душе» и т. п. Такое благостно-умиленное настроение характерно для момента перелома, «примирения с действительностью». Мигель Делибес в повести «Дорога» тоже воссоздает мир безоблачный и безмятежный — тем более безмятежный, что увиден он глазами ребенка. В селе, где живет мальчик Даниэль по прозвищу Сова, есть, конечно, бедные и богатые, но для Даниэля и те и другие — прежде всего добрые или злые, придирчивые или снисходительные, ворчливые или веселые. Печальные происшествия случаются там так же часто, как смешные,— и прелесть жизни заключена как раз в чередовании, в естественном переплетении горя и радости, счастья и тревоги. Вполне справедливо писал автор впоследствии об этой повести: «Дорога» — это несколько глотков кислорода в удушливой атмосфере тогдашнего романа. Читатель пресытился отчаянием и тоской и с жадностью набрасывается на ясные и прозрачные книги»[1]. Не только читатель — сам писатель устал от созерцания действительности, внушавшей ему лишь отвращение и бесплодную тоску.

В книгах Селы, написанных после 1952 года, перед нами вместо очень сердитого молодого человека (каким был Села в сороковые годы, в эпоху, когда он писал романы «Семья Паскуаля Дуарте» и «Улей», книгу «Путешествие в Алькаррию») — человек умудренный и умиротворенный, нашедший неиссякаемый источник радости, незакрывающуюся отдушину, позволяющую дышать и во вредоносной атмосфере современного общества. На вопрос, заданный ему как-то интервьюером, является ли он конформистом или нонконформистом, Села ответил, что в этом смысле он продолжает традицию писателей «поколения 1898 года»: «Как все они, я нонконформист по отношению к тому, что можно назвать внешней действительностью, ее маской, но не по отношению к сущностной, интраисторической действительности народа». (Понятие «интраистория» было введено Унамуно для обозначения глубинной народной жизни в отличие от поверхностной, эфемерной жизни общества, государства.)

Иными словами, Села принимает жизнь. Не конкретную — упаси боже! — жизнь Испании середины XX века, но жизнь вообще. Он для себя открыл, что за социальной действительностью, которая вызывает такую боль и вынуждает человека яростно атаковать ее, стоит нечто более сущностное, и потому более действительное, и потому более достойное искусства. Он, конечно, попрежнему видит голод, нищету, несправедливость, неравноправие, но обладает теперь секретом преодолевать и «снимать» их как нечто, не мешающее народу жить своей вечной природной жизнью. Приведем небольшой отрывок из книги «Евреи, мавры и христиане (Путешествие по Старой Кастилии)», хорошо демонстрирующий этот механизм преодоления социального зла:

«Деревни без дорог, без поездов, без воды, кроме той, что бог послал, а земля согласна вернуть; деревни мистические и героические в лучшие времена, а теперь спрятавшиеся в полях, совсем как пугливые кролики; деревни, на которые нападают волки, и молнии, и засухи; деревни, которые забыли цвет сытости и не знают цвета счастья.

Бродяга, проходя по этим деревням, где девушки и парни спрашивают его: что продаете, добрый человек? — а у самих нет и полушки, чтобы купить то, что бродяга мог бы продавать,— чувствует себя счастливым и не одиноким, потому что он не слышит других звуков, кроме звуков мира — ревет осел, клохчет курица, снесшая яйцо, плачет ребенок, воркует голубь, свистит кнут, поет батрак,— и не вдыхает других запахов, кроме густых запахов мира — печеного хлеба, утреннего воздуха, теплого навоза, распус-

[1] M. Delibes. Obras completas. B., 1964, t. I, p. 19.

И. ТЕРТЕРЯН

ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

тившихся цветов, девушек, что веют хлеб на току, воды, что блестит в луже».

В путевых заметках («От Миньо до Бидасоа», «Евреи, мавры и христиане», «Первое путешествие по Андалузии») Села развивает своего рода философию бродяжничества. Бродяга один, он выключен из всякой системы, он никому и ничего не обязан. Живет он подаянием. Иногда берется за работу, но только тогда, когда работа приятна, иначе она превращается в социальные оковы, в проклятие. И вот тут, в положении социального робинзона, человек восходит (именно восходит) к основам бытия. К вечному, первичному, самому простому и самому важному. Голод, утоление голода, сострадание, бесхитростная и естественная доброта. Люди оцениваются по готовности разделить свою трапезу с бродягой, по умению есть, пить, наслаждаться едой и вином. Критиками было замечено, что дети, юродивые и нищие занимают особое место в галерее лиц, встреченных Селой в его странствиях. Их действительно множество на страницах его книг. Дети, нищие и дурачки тоже живут вне социального устройства, они знают и ценят простое, вечное и необходимое.

Принципиальный, программный примитивизм не исключает знаменитой эрудиции Селы. Эти же книги путевых заметок переполнены экскурсами (часто гребовавшими оригинальных разысканий) в историю, историю испанского языка, искусства, религии, фольклора (недаром Села сказал, что «Евреи, мавры и христиане» ввели его в Академию). История, искусство — тоже вечное и необходимое человеку. Нет бездны между эрудитом, роющимся в фолиантах, и бродягой, принимающим хлеб из рук дающего,— они оба живут истинной жизнью, истинными ценностями в отличие от социального человека, знающего лишь мнимые, ложные ценности. Все вечное сохраняет и обогащает душу, все социальное ее разрушает.

Мигель Делибес тоже испытал потребность в робинзонаде — бегстве из пропыленного и пропитанного злобной фальшью городского мира: «...всю свою жизнь я искал какие-то устойчивые ценности, какие-то вечные материальные ценности и до сих пор не нашел ничего более верного, чем природа. Поэтому и мое пристрастие к простым, примитивным людям вызвано не капризом. Для меня роман — это человек, а на высотах цивилизации уже не встречается человек в его подлинных, непосредственных, беспримесных реакциях. Его можно найти только в народе. То, что мы называем цивилизацией, содержит немалую толику лицемерия... Образование начинает с того, что учит притворяться, а кончает тем, что всех стрижет под одну гребенку. Человек, который носит модный костюм и подавляет свои инстинкты,— это плоский человек, без контрастов, без естества и потому ничем для романа не интересный»[1].

Биографические обстоятельства облегчили Делибесу поиски робинзонады — его отец был страстным охотником и приобщил к этой страсти сыновей. Охотничьи книги Делибеса («Книга об охоте на мелкую дичь», «Книга об охоте на красную куропатку») стоят в ряду шедевров этого, столь богатого в мировой литературе жанра. Создал Делибес и образ своего робинзона (аналогичного «бродяге» Селы) — это герой романа «Дневник охотника» Лоренсо, школьный надзиратель, забитый, усталый от неурядиц и нехваток человечек, неловкий в обращении с родными, соседями и сослуживцами и обретающий другую, полную и деятельную жизнь, когда в субботу с ружьем и собакой уходит из города к речным заводям.

Робинзонада—охотничья или бродяжья— это еще только истоки почвеннического мышления, самое его зарождение. Разумеется, и Села и Делибес были достаточно трезвыми людьми, чтобы не преувеличивать реального значения робинзонад — увы, доступных современному человеку лишь на каникулах. Ценности «более устойчивые» следовало искать в образе жизни постоянном, не распадающемся на социальную повседневность и внесоциальную праздничность. Ведь и «бродяга» и «охотник» надевают маску — пусть поневоле, пусть страдая от неполноты и ненатуральности жизни,— но надевают маску и стригутся под общую гребенку, когда возвращаются в город и пока снова не выйдут в открытое поле. Только народ, только тот примитивный человек, который никогда не носит модного костюма и не подвергается нивелирующему образованию, сохраняет в своей жизни «устойчивые ценности». Но одно дело общаться с народом, находясь в положении бродяги или охотника, и совершенно другое дело — зорким и честным художническим глазом увидеть его повседневную жизнь. Тут уж умиленное настроение, идиллические краски неуместны. И Села и Делибес, дойдя до этого поворота своего пути, были последовательны и решительно сменили палитру: в их живописи стали преобладать мрачные, черные тона, изредка прорезанные красным — цветом крови. Голод, нищета, невежество, пьянство — все это пока неотъемлемые черты народной жизни, и писатели не замалчивали и не скрывали этого. Однако цель их состояла не в обличении и не в беспристрастном отражении фактов. Цель состояла в том, чтобы докопаться, как и где человек из народа, живущий в этой тьме угнетающих и унижающих человека обстоятельств, оказывается все-таки единственным оплотом человечности.

В творчестве Селы 50-х—60-х годов преобладает жанр, который он сам назвал «истинно кастильским наброском» (apunte carpetovetónico). Это маленький очерк, иногда приближающийся к рассказу, иногда — к непритязательной бытовой зарисовке. «...Истинно кастильский набросок — это как бы кисло-сладкий рисунок, нечто между карикатурой и офортом, рассказанный или нарисованный, в котором очерчен тип или кусочек жизни особого мира — того, что географы называют, почти поэтично, «выжженной Испанией». «Выжженная Испания» — это определение дает ключ к «наброскам» Селы. Ведь для писателя, художника — не для географа — «выжженной» Испания названа не

[1] M. Delibes. Obras completas, t. I, p. 9.

только потому, что там преобладают сухие красноземные почвы и красный, оранжевый, рыжий — цвета кастильского пейзажа — кажутся ожогами на теле земли. Выжженная Испания — это еще и ромерии (паломничества), и карнавалы, когда чувствуется дыхание двух тысячелетий, и глухие кастильские села, где только небольшая часть жителей может прокормить себя обычным сельским трудом, а все остальные должны кочевать в поисках поденщины либо изобретать себе какие-нибудь несусветные промыслы, это села, где царят еще самые допотопные представления о чести и морали и где сурово карают отступление от этой морали, где на счету каждый рот и поэтому люди приучаются к черствости, к незаметной повседневной жестокости по отношению друг к другу и особенно к детям, больным, старикам.

Кульминация темы «выжженной Испании» — в небольшой книжке Селы «Испанские истории. Слепые и дурачки» (1958). Кстати, посвящена эта книжка Хемингуэю, с которым Села близко сошелся во время «опасного лета», проведенного Хемингуэем в Испании. В четырнадцати маленьких набросках, включенных в этот сборник, даны портреты деревенских слепцов и дурачков. (Дурачок, юродивый — жертва пьянства, тяжелых болезней, плохого ухода за детьми — непременная фигура в испанской деревне.) В этих историях нет ничего от карикатуры или шаржа — рассказ более всего походит на офорты Гойи. Испанские критики часто употребляют в применении к этим наброскам Селы термин «черный юмор». Под «черным юмором» подразумевается смех, леденящий душу, не смех, а гримаса, скрывающая боль и часто ужас. Поводом для такого смеха служит все, что связано со смертью, физическими страданиями, надругательством над человеком. Сохранилось ли что-то от человеческого облика? — как будто спрашивает Села. И в темной глубине светит робкий свет — сострадание, капля жалости и доброты, неистребимая человечность человека. Приведем полностью маленький этюд из «Испанских историй», один из самых пронзительных в книге:

«У Сисо Мартинеса, слепого от рождения, птичье лицо и походка загнанной лисы. Говоряг, что в глаза Сисо Мартинеса можно обмакивать хлеб, как в шоколад. Если бы Сисо Мартинес сидел неподвижно, как камень, глаза у него заросли бы травой, мягким мхом, пушистыми маками, жгучей крапивой. Сисо Мартинеса, когда он был ребенком, пинками выгнали из дому: его отец, человек твердых взглядов, считал, что есть должен только тот, кто работает. А смерть тоже следует своим правилам и приходит не за тем, за кем нужно. У нас в домах даже остатки от обеда никогда не отдадут нищему, пока все не остынет. Наверное, хозяйки считают, что если бедняк будет есть горячее, он развратится и пойдет по дурной дорожке. Сисо Мартинес по горло сыт — конечно, это только так говорится — холодным супом, холодной фасолью, холодным горохом. У Сисо Мартинеса руки всегда холодные. Сисо Мартинес по ночам подходит к пекарне погреться. «Ты уже здесь, сучий слепой?» — «Да, сеньор». У Мигеля Морено, пекаря, в сердце, где-то за семью печатями прячется капелька жалости «Ну, давай залезай вон туда и не мешайся». Сисо Мартинес на охапке тмина торопится поспать часа два. Сон как удача, надо уметь ею воспользоваться».

В отличие от Селы Мигелю Делибесу присуща задушевная мягкость и не мрачный смех, а скорее уж горькая и печальная улыбка. В романе «Красный листок» (1959) герой, старый провинциальный чиновник, находится, как он сам повторяет, в «приемной у смерти». Ему стукнуло семьдесят пять, его отправили на пенсию, жалкую пенсию, которой не хватает, чтобы купить угля, заплатить за электричество, за визит врача. Из жизни старика ушло все социальное — осталось только одно вечно человеческое: борьба за хлеб, за тепло, одиночество, беспомощность и тоскливое ожидание смерти. Старый Элой (так зовут чиновника) окружен людьми. С одной стороны — сын, преуспевающий мадридский нотариус, невестка, бывшие сослуживцы, бывшие приятели. Люди они, может быть, и неплохие, но неосознанно эгоистичные, поглощенные своей мышиной суетней и мелким тщеславием. Никто из них не может и не хочет остановиться, вслушаться в речь старика, понять его страх и его смертную тоску. С другой стороны — одна только служанка Деси, девчонка с глупыми, вытаращенными глазами на круглом, как лепешка, лице. Деси только что приехала из деревни на заработки, она неотесанна, темна, невежественна. Города она как будто и не замечает, живет еще своей деревенской жизнью, нелепыми, а то и жутковатыми деревенскими происшествиями. Но одна только Деси чувствует (даже не понимает — понимать она не в состоянии) одиночество и беспомощность старика, только она просто и без усилий дарит ему сочувствие и помощь. И в конце рассказа холодеющими руками цепляется старый Элой за Деси, единственное теплое существо в холодном и пустом мире.

Роман Делибеса «Мыши» (1962) может уже считаться классическим произведением того течения, которое мы окрестили почвенничеством,— классическим и по четкости идеи и по кристальной поэтичности формы, доносящей до нас идею. Делибес возвращается к схеме «Дороги» — сельская жизнь, цепь обыденных происшествий и ребенок, глазами которого увидена эта жизнь. Но маленький Нини окружен совсем не той безмятежной идиллией, какой был окружен Даниэль по прозвищу Сова из «Дороги». Половина села живет в пещерах, в ужасающей грязи и нищете. Столетнего старика, соседа Нини, заживо едят черви. Более трех четвертей земли принадлежит трем богачам, остальные крестьяне перебиваются, кто как может. Дядя (он же и отец — инцест не редкость в грязи и скученности крестьянских

И. ТЕРТЕРЯН

ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

семей) Нини промышляет ловлей мышей и крыс, потому и известен он под прозвищем дядя Мышелов. В голодные годы полевая мышь для крестьян — лакомство. Если вдуматься в картину, представленную Делибесом,— она страшна. Перед некоторыми деталями станет в тупик любой моралист. Молодой крестьянин, например, забил палкой до смерти ворчливую мать. Священник, к которому этот крестьянин пришел покаяться, отпустил его со словами: «Прочитай, сынок, три раза «Аве Мария», да с чувством, и больше никогда так не поступай». Слова священника чудовищны до нелепости (как будто у парня есть еще матери...) и вместе с тем, по мысли автора, глубоко справедливы: не парень виноват в убийстве — виноваты голод, нищета, усталость, озлобление.

И весь этот «непроглядный ужас жизни» в романе преодолевается. Замечательно, что между собой крестьяне почти не говорят о нищете, о несправедливости. Есть в их жизни основа, которую они все время нащупывают сквозь толстый слой житейской грязи. Эта основа — природный мир, чередование времен года, звери и птицы, все сущее на земле. Протагонист книги, мальчик Нини, воплощает слияние человека и природы. Для Нини события — это прилет аиста, колка свиньи, ощенившаяся сука, убитый соседом лисенок. Нини вслушивается в голос ветра и шум паводка, он запоминает приметы и поговорки, ему внятен язык растений. Он мог бы показаться маленьким старичком, мудрым гномиком — если бы не детские шалости. Через Нини в рассказ проникает дыхание народной жизни, извечной, неизменной, как неизменны зимние заморозки и весенние грозы. И Нини детским, но безошибочным чутьем разделяет людей — на своих и чужих. Всеми силами (такое упрямство в ребенке кажется неестественным) сопротивляется он попыткам филантропов послать его в город учиться. «Я не хочу быть сеньором»,— твердит Нини с какой-то кажущейся тупостью, которая на самом деле есть предчувствие «истины». Для Нини люди делятся по тому, как они относятся к природе, что значит для них природа. Замечательно, что его деление всегда совпадает с социальным, он угадывает, где проходят классовые границы. И оттого Нини неожиданно прозорлив и провидит абсолютную несводимость народного и социального миров.

В тяжкий голодный год дядя Мышелов заметил, что кто-то другой выкуривает мышей из разведанных им норок, покушается на принадлежащую ему добычу. Он один уже много лет охотится на мышей, и вся округа признает его неписаное право. А тут появился пришелец, для которого охота — развлечение, который разрушает норки, не думая о будущем годе. Подкараулив охотника, дядя Мышелов с криком «Мыши тут мои!» убивает его. «Он умер,— говорит Нини.— Надо уходить из пещеры». Дядя Мышелов хитро улыбнулся. «Пещера моя». «Они этого не поймут»,— сказал Нини. «Кто они?» — спросил Мышелов. «Они»,— прошептал мальчик»[1].

[1] M. Delibes. Las Ratas. B., 1962. p. 164.

Кто же эти «они»? Алькальд, судья, губернатор, который иногда объезжает округу? Все те, кто живет в городе, куда повезут судить дядю Мышелова? Все те, кто не понимает, что значит голод и охота, которой кормится твоя семья из поколения в поколение? «Они» никогда не поймут правоту дяди Мышелова, а Нини не хочет понимать их — их законы, их правила, их бессмысленную науку.

В романе Делибеса уже намечены все идейные и художественные особенности течения. Конечно, исходным импульсом художника является недовольство действительностью, резко критическое к ней отношение. В этом Делибес не одинок — теми же чувствами ведомы и писатели, придерживающиеся традиционного реализма, и сторонники «объективной прозы», столь влиятельной в испанской литературе 50-х годов. Однако почвенники идут своим путем, не совпадающим с путями ни традиционного реализма, ни объективной прозы. Там народная жизнь является предметом анализа, пристального и беспристрастного. Почвенники ставят себе иную цель — не анализировать, не идти к народу с лупой, скальпелем и другими инструментами анализа, но исходить из народного ощущения жизни, из того, что народ воспринимает как реальность. Реализм — да, но не обличение, не разложение на причины и следствия. Программной целью писателя является не обнаружение виновников, но обнаружение «устойчивых ценностей».

«Объективный роман» тоже видит в народе единственную надежду, но лишь в одном его качестве—в его способности к борьбе. Для почвенников идеальное качество народного характера — не сопротивление, а выживание, стойкость, жизнеспособность. Да, условия, в которых живет народ, ужасны, соглашаются почвенники, но — вечны и неустранимы. Главное же, что народ живет и что жизнь его прекрасна и помимо этих условий, вопреки им.

Обратимся к нескольким наиболее показательным романам этого направления, философски осмысливающим тему. Появление всех выбранных нами для разбора книг было сочтено в Испании литературным событием — им присуждались премии, ими восторгались критики, их уже перевели во многих странах.

В романе Луиса Беренгера «Мир Хуана Лобона» (1967) рассказ ведется от имени браконьера Хуана Лобона (лобон — значит волчище). Конечно, браконьером его считают другие, сам-то он называет себя охотником. Он охотник по крови: его отец, дед и прадед были охотниками и научили его закону честной охоты. Если бы мир Хуана Лобона ограничивался бы лесом, полем, озером, если бы этот мир был населен лишь умными, верными псами, оленями, козами, кабанами! Хуан Лобон был бы счастлив, вырастил бы сыновей — таких же сильных, прямодушных, выносливых и надежных охотников, как он сам.

Рассказ Хуана Лобона течет медленно, от эпизода к эпизоду, о том о сем, как бывает у охотников на привале. Глаз у него меткий,

память цепкая, как каждую тропинку в лесу и каждого убитого им оленя, помнит он слова, жесты, поступки людей. Его монолог выдержан в одном словесном ключе: энергично-грубоватом, подчас скудном на оттенки, но выразительном. Интонация создает характер: грубый и застенчивый, вспыльчивый и терпеливый, примитивный и чуткий в одно и то же время, совершающий преступление, но остающийся честным.

Дело в том, что мир, который окружает Хуана Лобона, не похож на лес, где правит закон честной охоты. Помещик, судья, адвокат, жандармы, наконец сам Франко, который где-то далеко, но которому, по представлению Хуана, принадлежат все леса и поля (кроме тех, что принадлежат помещику дону Гумерсиндо),— все они напридумали много хитроумных законов и лишили Хуана того, что должно принадлежать всем людям: права свободно охотиться и добывать на жизнь тем ремеслом, какое ты знаешь. И у них хватает денег, хитрости и ловкости, чтобы затравить Хуана Лобона, как волка, сплести такую сеть лживых обвинений, из которой не может вырваться бесхитростный и гордый парень. Хуан Лобон далек от обобщений. Он рассказывает только то, что случилось с ним. Он, собственно, даже не понимает, как им удалось это сделать,— так же, как не понимает, почему люди из города травят кроликов, кабанов и рыб дымом, сульфатом, бензином, динамитными шашками и прочими цивилизованными способами. Закон о частной собственности на землю кажется ему выдумкой бабушки дона Гумерсиндо, а все, что довело его до тюрьмы,— кознями барственного хама дона Гумерсиндо, вероломного адвоката, подлых и трусливых егерей, сваливших на Хуана свою вину. Но Лобон настолько точен, он так старается быть правдивым и справедливым, не забыть ни хорошего, ни дурного, что к концу его рассказа мы четко осознаем: в мире Хуана Лобона есть и хорошие и дурные люди, и если он все же пишет свои записки в тюрьме, оклеветанный, избитый, то не злая воля одного помещика или судьи повинна в этом, но огромная невидимая система, в которую не вмещается Хуан Лобон с его простыми истинами. Мир Хуана Лобона и социальный мир роковым образом не совпадают Чем кончится этот конфликт: сумеет ли Хуан укрыться в своем одиноком волчьем логове, приспособится он к внешнему миру или погибнет — мы не знаем. Других возможностей, во всяком случае, романист для него не видит.

«Слепые муравьи» Рамиро Пинильи (1961) были удостоены крупнейшей в Испании литературной премии «Эухенио Надаль». Книга эта, что называется, «забирает» напряженностью действия и суровой значительностью фигур. Крестьянская семья — беднейшая из бедных. Фабула проста — попытка запастись углем на зиму: сначала достать уголь, выброшенный на скалы во время бури с потонувшего судна. Это адское по трудности и опасности предприятие стоит жизни одному из сыновей. Потом уголь надо спрятать от жандармов: чтобы не быть уличенными, отец и мать пять дней не хоронят погибшего сына. Уголь перетаскивают, перепрятывают, из-за него вступают в стычку со всей деревней, терпят несправедливые обвинения, бойкот, побои. Отец семьи, Сабас, проявляет поистине эпическую мощь — силу, терпение, волю, хитрость — во имя тепла для семьи. Он, однако, терпит поражение: из-за того, что не все его близкие подобны ему. У них — матери, бабки, сыновей — есть свои слабости, маленькие, но губительные страсти. И только младшего сына Сабас рассчитывает воспитать по своему образу и подобию, таким же молчаливым, неприхотливым, все выносящим, как камни.

Сабас денно и нощно трудится, не ощущая усталости, боли, скуки. Но мало того. В этом изнурительном, однообразном труде он видит предназначение — свое и своих детей — и не позволяет детям уклониться от него. Средний сын, Косме, втайне ненавидит отца, потому что отец принуждает его жить в этом мире, хотя где-нибудь наверняка есть доля полегче. Но отец не признает иной доли, иного дома, кроме отчего, иного труда, кроме завещанного дедами и прадедами.

В конце романа Сабас ведет младшего сына на берег моря и показывает ему муравейник: муравьи снуют, такие же неутомимые и такие же неистребимые, как люди. Но для чего они живут? Для чего трудятся и все начинают сначала? Неужели они слепые? И Сабас отвечает мальчику: «Когда после целого трудового дня ты бросишься в постель, думая о тяжелом труде, который предстоит тебе завтра, и не только о труде, но и о том, что ты должен вести свирепую и бесполезную войну, чтобы нетронутыми сохранить свои убеждения перед напором слов и идей из книг, газет, радио, с трибун — всего, что хочет разрушить твою личность и втянуть тебя в вихревой круговорот, поглотить тебя, отобрать у тебя все свое, внутреннее, единственно достойное,— тогда ты, глядя в темноте в потолок, вспомни о них и тебе станет легче»[1].

На протяжении всего романа молчаливость и немногословие были характерными свойствами Сабаса, а тут он произносит длинную тираду, употребляя такие слова, каких он и знать не мог (вроде: личность, идеи). К тому же ни разу до этого не были упомянуты книги, газеты, радио — по всей видимости, в доме Сабаса их не было. Ясно, что финальная речь принадлежит автору, воспользовавшемуся героем как рупором. Вот он — народ, благодаря которому продолжается жизнь на земле! Ему одному ведомы правда и долг. А весь остальной, крутящийся в бессмысленном водовороте мир, все вкупе: жандармы и судьи, книги и газеты — все это стремится лишь разрушить природную, «муравьиную» цельность народа. Пусть сабасы слепы, как муравьи, и не ви-

[1] R. Pinilla. Las ciegas hormigas. B., 1961, p. 285.

И. ТЕРТЕРЯН
ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

дят, что их борьба «бесполезна».— но в этой слепоте их сила, их превосходство.

Самый, пожалуй, яркий роман этого течения — «Река, что нас уносит» Хосе Луиса Сампедро (1964). Профессор экономики, далекий от литературной жизни (и, следовательно, от литературной моды), Сампедро сохраняет какую-то наивную свежесть безыскусного рассказа, очарование которого преодолевает рассудочность общего замысла. Написан-то роман все-таки для доказательства заранее выдвинутого тезиса, только автор сумел облечь философскую назидательность в привлекательный наряд естественности.

Некий Рой Шеннон, ирландский студент, изучавший до войны испанскую филологию и попавший затем в английскую оккупационную армию в Европе, переживает тяжелый душевный кризис. Он разочаровывается в западной демократии, в ее гуманности. Служба, да и жизнь вообще, теряет в его глазах смысл и оправдание, он близок к помешательству и самоубийству. Однажды в порту Аликанте испанский рыбак ответил ему на какой-то незначащий вопрос поговоркой: «Хлеб и наваха». «Я не мог забыть эту фразу, спокойную и стоическую. Хлеб и наваха! Правда хлеба и правда стали, правда жизни и правда смерти. И сверх того, правда голода...» У Шеннона возникает предчувствие, что жизнь может обрести смысл, если удастся «свести» ее к этим первоначальным реальностям: хлебу, голоду, смерти. Он демобилизуется, уезжает в Испанию. Там, скитаясь по стране, он прибивается к артели плотогонов, делит с ними труд, хлеб и ночлег. Река несет бревна, и, повинуясь ее течению, движутся люди. Так и судьба Шеннона делает прихотливые, крутые изгибы, неся его, как песчинку, в народное море.

То, что Шеннон ирландец, никакой роли не играет. Важно, что он чужак, «посторонний», что он говорил раньше на другом языке (в переносном смысле), а теперь учит язык плотогонов. Истина ведь может быть увидена только извне, удивленными глазами неофита. Люди, живущие «по правде», этого не замечают, живут себе и живут, как бог на душу положит. Нужен вот такой Шеннон, чтобы прийти и поразиться обыденным, от века заведенным вещам.

Роман построен бесхитростно — как река течет. От села к селу идут сплавщики, и с ними движется сюжет. Через встречи, происшествия, отношения плотогонов друг с другом и с жителями окрестных сел встает перед нами органическая жизнь народа, то бурная, то медленная, как река Тахо. В этой жизни есть все: праздники и смерти, вера и поэзия, любовь и похоть, хлеб и вино, доброта и злоба, ревность и дружба — и все это течет, мешаясь одно с другим, как воды мешаются в реке. И хотя эта жизнь проходит в условиях, поставленных какими-то внешними силами (малоземельные или разоренные кулаком крестьяне вынуждены идти на лесосплав, жандармерия преследует тех, кто мстит обидчику, и т. п.), но плотогоны и крестьяне относятся к этим условиям как к неизбежным и, в общем, внешним, не затрагивающим их подлинной жизни. «Внутри», между собой, в народной среде они живут по своим законам, подчиняясь только своим, тоже вечным, понятиям.

В основах их жизнь неизменна с каких-то древних времен. Почти не изменилось их ремесло, сохранился обычай при встрече двух артелей соревноваться в ловкости и смелости, пробегая по бревнам, крутящимся в водовороте, и много других обычаев. По вечерам у костра они слушают старинные рассказы и поют песни, и когда Шеннон однажды прочитал им средневековый романс, он почувствовал себя перенесенным в средние века: такой непосредственной была реакция слушателей.

Да и не только средневековое, но где-то в глубинах прячется и более древнее, языческое начало—оно вырывается в сцене крестного хода в местечке Отерон. Крестный ход сопровождается действом — погребением и воскресением Христа, сожжением чучела Иуды и т. п. Но в поведении толпы есть что-то несоответствующее евангельскому духу, не просветленное христианским умилением. Шеннон осознает это, глядя на деревянную фигуру, которую крестьяне снимают с креста и пеленают в саван. «Это было одно из тех чисто испанских распятий, подобных знаменитым статуям из Оренсе или Бургоса, которые обволакивают религиозный порыв трагической и мрачной тайной. Сияющий образ того, кто проповедовал в Палестине любовь и только любовь, распят кальтиберами еще более жестоко, чем это было на вершине Голгофы... И Шеннон, стоя перед этим Христом, спрашивал себя, что вело руку резчика — благочестие или варварское чувство; и сомневался, овладеет ли верующим, созерцающим это распятие, дух евангельской любви или же он призовет темные, подсознательные, таинственные силы, жаждущие крови».

Нельзя сказать, что все плотогоны идеальны и добродетельны. Напротив, некоторые из них как будто воплощают пороки. Четырехпалый — святоша, Секо — сластолюбивый бабник, Галера — жадный обжора. Но их пороки не смешаны с подлостью, низостью, корыстью. И оттого граничат со страстью. Сластолюбие Секо может поднять его до героической удали, до полного самозабвения. Жадный Галера отвратителен, его презирают и товарищи и сын, но его жадность не переходит ни в стяжательство, ни в корыстолюбие, он готов кусок вырвать у другого, именно кусок — только то, что можно немедленно съесть.

Вопрос о злом начале в народном характере немало занимает Шеннона (и автора) и разрешается в образе Дамасо. Дамасо — это дьявол во плоти. Он озлоблен жизнью настолько, что ненавидит все вокруг себя и готов сеять зло и разрушение повсюду. Он провоцирует стычки и раздоры, каждое его слово дышит ненавистью. Как дьявол, он нашептывает даже ребенку свою науку — науку ненавидеть. В деревне Сотондо устраивается праздник в честь плотогонов, языческий праздник с непристойными шутками

и играми. Один из плотогонов, по обычаю, должен рядиться в быка. После шуточной корриды «убитого» быка торжественно относят в таверну, где вливают в него столько вина, сколько понадобится, чтобы он «воскрес». На этот раз роль быка взялся исполнять Дамасо, и коррида приняла совсем не шутейный оборот. Как злой дух, носится Дамасо по площади, изготовив острые, не менее опасные, чем у настоящего быка, рога... Он опьянен тем, что он — один против всех. Ведь именно такова, по его убеждению, жизнь, именно так и должно быть! Вот уже повалился с распоротым брюхом огромный пес, любимец местного богача... Вот уже приближается сверкающий сталью рог к человеку. Но тут навстречу «быку» выходит артельный...

Здесь открывается сущность злого начала в народном характере, аналогичная сущности зла в христианском миросозерцании. Религия ведь не исключает зла, напротив, бог и дьявол, свет и тьма, рай и ад — категории взаимосвязанные и нуждающиеся друг в друге. Дьявол недаром мыслится падшим и извергнутым из рая ангелом. Он не только восстает против бога и спорит с ним за каждую человеческую душу, он еще всегда сознает свою зависимость от бога, свою подчиненность. Тьма рассеивается перед светом. Так и Дамасо в глубине души знает, что его ненависть слабее добра, и в решающий момент он склоняется перед добром. Он тушуется и сбрасывает рогатую маску, когда перед ним встает артельный Американец. Он отступает перед мужеством и сердобольностью девушки Паулы, которую пытался подкараулить и изнасиловать. И когда все же Дамасо в конце романа совершает зло — убивает человека, то оказывается, что и тут он послужил добру. Он убивает кулака Бенигно, омерзительного деревенского тирана, преследовавшего Паулу и ранившего Американца.

Бенигно — тоже злой человек, но он зол совсем не так, как Дамасо. В Дамасо злое начало ничуть не своекорыстно и даже артистично. Он не извлекает никакой выгоды из своей злобы, он не подчиняет себе людей, а переманивает их в свою веру — космической вражды всех со всеми. Бенигно — это обычное социальное зло: хищник, угнетатель, тираи. Зло Дамасо имманентно народной душе, зло Бенигно — абсолютно чуждо народу, навязано ему извне, социальным порядком, и народ извергает его, физически не приемлет. А Дамасо — по-своему такой же цельный человек, как Американец, как Паула, как Кинтин, рассказчик легенд. Поэтому он и связан с ними судьбой, на жизнь и на смерть.

Артельный Американец (прозванный так, потому что жил несколько лет в Южной Америке) воплощает самую сердцевину народного характера: спокойную силу и королевское достоинство, справедливость и великодушие, надежность и волю, умение заставить уважать и заставить любить себя. Он из тех вожаков, за которыми, не раздумывая, идут на смерть. И он вел людей на смерть — в юности Американец был анархистом, динамитчиком. Но он разочаровался в революции: энтузиазм и самопожертвование народа всегда используют в своих целях вожди, которые добиваются лишь того же, что в речах проклинают,— денег и власти. Теперь Американец верит только в труд, в личное достоинство, в аскетизм. Жизнь Американца кончается отшельничеством и просветленным ожиданием смерти. Писатель набрасывает здесь очерк народного бунта, исходящего из самых глубин народной души и разрешающегося возвращением к этим глубинам — к вере, к растворению в природе, к примирению со всем сущим.

Паула, любовь к которой исцеляет Шеннона,— сама женственность. Рядом с ней, верит Шеннон, можно стать «целым человеком, как камень, как дерево». И, прощаясь с Паулой, полюбившей другого, Шеннон говорит ей: «Спасибо за то, что ты настоящая».

Настоящая... Это слово чаще других повторяется в романе. Дважды Шеннон встречается с людьми (деревенским священником и чудаковатым профессором, живущим на старости в сельском уединении), в беседах с которыми подводятся итоги — философские — всему пережитому Шенноном и показанному в романе.

Священник бросил почетную службу в консистории и попросился в глухую деревню. Люди здесь вовсе не набожны, многие из них грешны. «Не то чтобы я придерживался руссоистских идей, но... жизнь здесь настоящая, здесь все ближе к реальности. Ненависть и вера народа еще пахнут потом и кровью, его обычаи и понятия диктуются природой и человеческим естеством. А там, наверху, люди живут без корней, без биения пульса, ни во что глубоко не веря. Их проблемы — бури в луже, они волнуются из-за чинов, общественных привилегий, роскоши, плотских капризов — и почти никогда из-за голода, любви или страсти. Нет, поверьте мне, народ может быть добрым и злым, но он бывает и тем и другим по-настоящему». Профессор дон Педро тоже видит главное достоинство народа в «умении быть верным скрытой сущности». «Перед настоящим человеком мы чувствуем себя как перед каменным столпом, как перед завершенным творением: он, как говорится, умеет быть на своем месте. Отсюда глубокая укорененность деревенских людей в отличие от танцующей поверхностности городских»[1].

В конце книги плотогоны доходят до цели, труд их окончен, пути расходятся. И хотя Шеннон потерял любимую женщину, он возвращается в цивилизованный мир выздоровевшим, окрепшим для житейской борьбы, вооруженным верой и надеждой. Он знает теперь, что в мире есть «настоящее», что под верхним, суетным, презрен-

[1] J. L. Sampedro. El rio que nos lleva. B., 1964, p. 356.

И. ТЕРТЕРЯН

ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

ным слоем общества бьется пульс. Что бы ни происходило на поверхности, в глуби сохраняются подлинные ценности, первоосновы бытия. У «людей реки» Шеннон научился тому, что надо «быть на своем месте», быть собою — как камень, как дерево. И тогда не так уж важно, что происходит на поверхности, пусть там себе бушуют «бури в луже». Река Тахо все равно несет свои воды в море...

Роман Х. Л. Сампедро развертывает почвенническую программу с предельной полнотой. Некоторые пункты этой программы многократно повторены в литературе последних лет. Вот хотя бы очень важный пункт — противопоставление людей деревенских и городских, чистого потока и пены, настоящего и фальшивого, глубокого и поверхностного. Во множестве книг это противопоставление проводится прямолинейно до навязчивости. Мануэль Висент строит роман «Пасха и апельсины» (1967) на двух параллельных и несоприкасающихся рядах: времяпрепровождение нескольких семей мадридских и иностранных туристов, приехавших провести пасхальные дни у моря (тут, конечно, пьянство, разврат, отцы, растлевающие сыновей, матери, щеголяющие бесстыдством на глазах у детей, и т. п.),— и жизнь деревни, скрытая от глаз туристов, но напряженная и «настоящая».

Четко проведено это противопоставление и в романе Игнасио Альдекоа «Часть какой-то истории» (1967). На маленький рыбацкий остров (островок, где нет властей, нет даже священника — в случае надобности они приезжают с «большой земли») буря выбрасывает яхту с четырьмя американцами. Между этими людьми — женщиной и тремя мужчинами, по-видимому богатыми,— разыгрывается какая-то драма, которую жители острова не могут разгадать, хотя и понимают, что это драма скуки, бесцельности, пустоты, доходящей до безумия. Да, как безумные, пытаются эти люди развеселиться и втягивают в свое веселье нескольких островитян: стариков, падких на выпивку, юношу, которому льстит связь с богатой и красивой иностранкой, так что он готов забыть свою скромную невесту. Вместо дружной трудовой жизни на острове воцаряется всеобщий разброд: пьянство, ссоры, недовольство. Обрывается все трагически: во время нелепого карнавала с фейерверком, устроенного американцами, один из них (муж женщины) тонет. То ли самоубийство, то ли несчастный случай... Наступает мрачное отрезвление. После похорон американцы уезжают, а жители острова, пряча глаза от стыда, возвращаются к своим занятиям. Рассказчик (писатель, приехавший на остров отдохнуть от изматывающей столичной суеты) подводит итог: «...из-за дюны я различал эти два мира: сзади меня — мир деревни, передо мной — мир яхты. Это не только образы всего твердого, организованного, жизнеспособного, с одной стороны, и хаотичного, анархичного, обреченного на смерть — с другой. Это символы враждебных, противоположных сил, между которыми я мечусь» [1].

Все это может показаться весьма убедительным — за исключением одного обстоятельства. Жители острова образуют дружный, единый, здоровый коллектив. Жизнь их нелегка, работа опасна, но зато живут они в чистоте и счастье. Этакий бедняцкий рай. И только присутствие и поведение иностранцев разъедает этот рай, как кислота разъедает металл. Разумеется, такое представление о народном коллективе утопично. Однако авторы этих романов доказывают, что все зло в народной жизни — извне, что если бы не было городов, властей, дачников, народ мирно жил бы и трудился сообща. В «Слепых муравьях» Пинильи односельчане избивают Сабаса, потому что считают его доносчиком, жандармским шпионом. Узнав же, что и Сабас лишился угля, крестьяне тут же проникаются жалостью и солидарностью. В «Реке, что нас уносит» Бенигно, как мы уже говорили, противостоит народному сообществу как нечто чужеродное: как будто этого Бенигно, заурядного мироеда, прислали из города. Власти при этом изображаются отнюдь не в обличительном аспекте, они вовсе не стремятся «специально» угнетать и обижать крестьян. Жандармский начальник в «Слепых муравьях» — добросовестный и честный служака, он даже сочувствует Сабасу и его семье; но что поделаешь, долг есть долг. Не такой уж дурной человек и дон Гумерсиндо из «Мира Хуана Лобона». Дело не в злой воле, дело в том, что так устроен мир, и те, кто идет в одной колее, не могут понять тех, кто идет в другой. Жандармский начальник не может понять, что значит для крестьянина зимой уголь,— почувствовать по-настоящему, всеми фибрами души, так, чтобы преступить долг. Дон Гумерсиндо не может понять, почему Хуан Лобон считает себя вправе охотиться на его земле: один руководствуется юридическим, а другой — «обычным» правом, и свести их воедино невозможно. Как «запад есть запад, восток есть восток», так тут город есть город, и деревня есть деревня, «и с места они не сойдут». Недаром в одной критической статье роман Беренгера «Мир Хуана Лобона» назван романом «социальным, но не революционным». Социальным — потому что он констатирует, и решительно, социальный антагонизм. Не революционным — потому что он показывает этот антагонизм неустранимым.

Возможность революции, однако, не устранишь из «контекста» народной жизни, когда речь идет об испанском народе. Слишком памятен его революционный взрыв в недавнем прошлом. Этому взрыву также было найдено объяснение в рамках почвеннического миросозерцания.

В «Пасхе и апельсинах» Мануэля Висента среди туристов, нахлынувших в андалузское местечко, есть один, которого не привлекают ни жаркое солнце, ни легкие удо-

[1] J. Aldecoa. Parte de una historia. M., 1967, p. 65.

вольствия. Это француз, мосье Альбер, бывший интербригадовец, решивший теперь, когда туристам открыт свободный доступ в Испанию, пройти по местам, где он воевал. И вот он идет по деревне, опасаясь, что его узнает кто-нибудь из крестьян. Но нет — за тридцать лет мосье Альбер неузнаваемо изменился. А крестьяне остались такими же... Мосье Альбер встречается с сыном одного из тех, кого он хорошо помнит,— крестьянского вожака, расстрелянного франкистами. Сын — такой же угрюмый, дерзкий, напряженный, как струна, бунтарь, каким был отец. И в деревенской таверне вокруг себя мосье Альбер видит такие же мрачные лица, как тридцать лет назад. И он думает, что «в этих крестьянских головах, опаленных солнцем, дремлет трагедия. Она может спать целый век и вдруг, в один прекрасный день, бог весть почему, проснуться, выпрямиться, потрясая в воздухе серпом»...[1]

Революционное — то есть, в понимании почвенников, мятежное и разрушительное— начало присуще народной душе. Оно так же извечно, как и другие свойства народного характера, и объяснимо не конкретными обстоятельствами, а именно этой своей укорененностью в самых глубинах духа. И именно поэтому оно трагично, бессмысленно, обречено, неминуемо переходит в кровавую месть. А дальше — либо разочарование и примирение с богом (как это случилось с Американцем из романа Сампедро), либо бессмысленная гибель.

В 1961 году вышел небольшой роман Нино Кеведо «Ночи без звезд». Его герои — партизаны, спустя много лет после окончания гражданской войны еще сражающиеся в пиренейских лесах. Командир отряда Бернардо — тоже цельный человек, «как камень, как дерево». Сила, смелость, терпение, верность — одним словом, в нем соединены все благородные качества народного характера. Когда Бернардо воевал на фронте, его семью в родной деревне репрессировали по доносу односельчанина. Бернардо не ушел с разбитыми республиканскими частями за границу, потому что он должен был отомстить и потому что отец его еще оставался в тюрьме. И вот прошли годы, а Бернардо и его товарищи, лишенные руководства и связи с единомышленниками, прячутся в горных пещерах, нападают на жандармов, вступают в стычки с карательными войсками. Кое-кто из крестьян тайком носит им еду, но у крестьян у самих нечего есть. И партизаны вынуждены грабить лавки и таверны, похищать детей для выкупа, за деньги переводить через границу уголовников, бегущих от кары. Их война становится какой-то инерцией, влекущей их все дальше и дальше, к таким формам борьбы, какие по сути чужды их прямым и благородным характерам. Они никогда не говорят об идее, о цели борьбы — их травят, они защищаются, и в их титаническом, упорном сопротивлении уже нет ничего, кроме ярости загнанного зверя. И когда они мстят, то мстят по-зверски, соперничая в жестокости со своими гонителями (Бернардо, способный на безграничную нежность к любимой девушке, мстит доносчику, погубившему его родных, тем, что насилует на его глазах его жену). А когда погибают, то погибают бессмысленно и одиноко, как зверь в чаще от пули охотника. Так вырождается, исчерпав себя, народный бунт. Так превращается он в стихию бесполезного разрушения, несущую гибель и самому разрушителю. Такова философия народной революции, предложенная романистом.

■

Почвенническое течение разработало своеобразную художественную систему, во всех звеньях которой — от сюжетных ситуаций и особого типа героя до изобразительной атмосферы отдельных сцен — должен отражаться народный взгляд на мир.

Фабульные узлы часто завязываются вокруг обстоятельств, имеющих огромное значение для народного сознания в силу укоренившегося верования. Так, мертвый, оставшийся без погребения,— трагедия для людей, придерживающихся исконных народных понятий. Невозможность предать земле прах близкого человека становится пружиной драматических событий в ряде романов («Слепые муравьи» Пинильи, «Мужчины растут под землей» К. М. Идигораса, «Похоронить мертвых» Герреры Саморы). Вообще, смерть — чаще насильственная — непременная кульминация такого романа. Иного способа разрешения конфликта, да и иного катарсиса писатели как будто не знают: только в смерти обнаруживает себя истина.

Впрочем, многочисленные убийства, совершаемые часто с непостижимой уму жестокостью, вводятся в повествование и для раскрытия еще одной важной идеи: бесчувственность, твердокаменность, черствость — это оболочка народного характера, выдубленная несчастьями и нищетой. Даже совершая преступления и жестокости, в самой глубинной глубине человек из народа неповинен. Романист, во всяком случае, понимает и обычно оправдывает убийцу.

Служанка Деси (из «Красного листка» Делибеса), вспоминая о родной деревне, многожды возвращается к одному и тому же эпизоду. Во время паводка крестьяне с холма смотрят на разлившуюся реку, затопившую полдеревни. И только маленький брат Деси, дурачок от рождения, во всю глотку распевает детский стишок о дожде (вроде нашего «Дождик, дождик, пуще!»). Вдруг в воде показалась коровья туша. Крестьянин, узнавший свою корову, начал колотить себя камнем по голове, и ругаться сквозь зубы, и корчиться, как припадочный, а когда Маркос опять загорланил «Дождик, дождик, пуще!», хозяин коровы

И. ТЕРТЕРЯН

ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

[1] M. Vicent. Pascua y naranjas. B., 1967, p. 212.

крикнул матери мальчика: «Заткни ему глотку, или я сам заткну!» Никто не пошевелился, и тогда крестьянин выпрямился во весь рост, схватил вилы и три раза вонзил их в живот мальчику, раскатисто хохоча: «Теперь ты узнаешь, как петь!» Деси рассказывает о смерти брата старому Элою, и оба они жалеют убийцу и сочувствуют ему: ведь это бедствие довело его до такого дела...

В «Слепых муравьях» Пинильи также есть символический эпизод. В доме Сабаса окотилась кошка. Младшая дочь, шестилетняя девочка, души не чает в котятах, играет с ними в «дочки-матери», отдает им свою чашку молока. Мать сердится — молока и так не хватает — и грозит утопить котят. Девочка прячет котят на чердаке: может быть, не попадутся на глаза родителям, они и забудут про них. Но вот уже после ночной вылазки за углем и гибели старшего сына котята как-то выбрались из убежища и, резвясь, вбежали в комнату. Девочка бросилась их ловить. На суматоху вошла окаменевшая от горя мать, молча подобрала котят, связала и, не обращая внимания на истерический плач дочери, понесла к берегу топить. А ночью обессилевшая от слез девочка думает о матери: «...она убила моих котяток, но ведь у нее убили сына...». Устами ребенка, очевидно, глаголет истина. И если уж ребенок простил матери свои слезы, поняв, что мать выстрадала право быть жестокой, то кто же упрекнет мать? Такова логика романа. Но есть что-то бесчеловечное в этой логике, чуждое истинному материнству...

Герой почвеннической прозы отличается элементарностью натуры, доходящей до примитивности. Его поступками движут инстинкты, если же он одержим страстью, то эта страсть вырывается в первозданном виде, не замутненная рефлексией. Рефлексия, сомнения, рассуждения ему чужды. В «Реке, что нас уносит» Шеннон смиренно признает свою неполноценность в сравнении с Антонио, которого предпочла Паула. Он, Шеннон, рефлектирующий интеллигент, связывает с любовью к Пауле надежды на духовное обновление. Он и проявляет свою любовь длинными и возвышенными объяснениями, смущенным вниманием. А Антонио — «естественный человек», для которого страсть — это просто страсть. И Паула чувствует себя принадлежащей Антонио с первого его жадного взгляда, с первого властного движения, которым он кладет руку ей на плечо.

В начале статьи мы приводили высказывание Мигеля Делибеса о романическом интересе, каким наделены, по его мнению, лишь примитивные цельные характеры. Английский критик Лео Хики пишет о творчестве Делибеса: «Главный его персонаж — элементарное существо, которое мы можем назвать «инфраменом»... протагонисты его рассказов и романов образуют вереницу оборванных и голодных людей, примитивных, несчастных и жалких» [1]. Цивилизованный критик считает, что эти персонажи призваны вызывать сочувствие (поскольку они такие голодные, грязные и оборванные), но не замечает, что автор-то сам отдает своим героям не только сочувствие, но и бесспорное предпочтение перед хорошо одетыми, благополучными и образованными людьми.

«Мои книги строятся всегда вокруг человека почти примитивного, с открытыми взгляду страстями...» — пишет Карлос Мария Идигорас. А Мануэль Висент выражается еще определеннее: по его словам, он «слепо верит в нижнюю часть тела». Голова, конечно, может ошибаться, сбивать с толку, разводить путаницу, а вот инстинкт — никогда не ошибется. Апология примитивного, «естественного» человека характерна для многих испанских писателей, даже равнодушных к другим постулатам почвеннической идеологии. Таких писателей привлекает не противопоставление города и деревни, природы и цивилизации, укорененности и поверхностности — только вот этот специфический герой: глыба, а не человек, вулкан, извергающий страсти. Понятен, например, интерес за рубежом (в США, Англии, ФРГ) к романам Х. М. Кастильо-Наварро: они кажутся воплощением испанской специфики — столько в них необузданных страстей, убийств и жестокости. Кастильо-Наварро объясняет «буйством крови» все события в истории испанского народа. В романе «Псы умирают на улице» (1964) два брата становятся сначала уголовниками, налетчиками, а потом анархистами (с легкостью переходя от одного занятия к другому) единственно по причине страстности натур, не выносящих повседневности, однообразного труда, бережливости. Третий же брат, рассудительно решивший остаться мирным рабочим, всячески выставляется в смешном и отталкивающем виде, поносится и героями и автором как филистер, рыбья кровь, трус и т. п. Разумеется, добропорядочный брат эгоистичен, мелочен, противен даже родной матери, которая зато безгранично любит щедрых и безрассудных сыновей-авантюристов.

В испанской критике писателям-почвенникам нередко адресуются обвинения в натурализме. Уж слишком много в их произведениях грязи, голода, унижающей человека нищеты. Лео Хикки брезгливо отмечает, что во всех почти романах Делибеса кроме, так сказать, зримой грязи «описаны дурные запахи». Делибеса особенно часто упрекают в том, что он поддерживает легенду о «черной Испании» (то есть нищей, несчастной, мрачной стране), легенду, которая умаляет якобы престиж Испании за границей и отпугивает туристов. «В связи с моей книгой «Старые истории Старой Кастилии» один мадридский рецензент обвинял меня в том, что я воскрешаю «черную Испанию», как будто черная — вернее, несчастная — Испания когда-нибудь переставала существовать... Ничто не изменилось за последние сто лет в грустной Кастилии. Селения из глины с каждым днем становятся все беднее. Так зачем же я буду скрывать

[1] L. Hicky. 5 horas con Miguel Delibes. M., 1968, p. 215.

правду? Зачем создавать «белую» легенду?»[1] — возмущенно ответил Делибес и был прав. Натурализм вообще не измеряется количеством показанной житейской грязи. Только общая концепция произведения, общий взгляд художника на действительность делают произведение натуралистическим или реалистическим. Не вдаваясь в анализ общей концепции и обвиняя писателя в натурализме только на основании отдельных сцен или деталей, критик выступает как защитник приукрашивания, «обеления» действительности. Такую — весьма распространенную — критику почвенничества мы назвали бы «критикой справа», охранительной, официозной критикой.

В конце 50-х — начале 60-х годов, в условиях резкого подъема общественной активности, начала разворачиваться и критика почвенничества «слева» — то есть с позиций реалистического искусства, участвующего в борьбе за коренные преобразования в стране. Тут уж речь идет как раз не об отдельных сценах, не об изображении грязи, нищеты и прочих ужасов действительности, а об идее, скрытой в этом изображении, об отношении художника к действительности.

Франсиско Фернандес Сантос в эссе «Мифология испанской нищеты»[2] выступает против тех писателей, которые впадают в «эстетический транс» при созерцании деревни. Буквально во всем, что есть в народной жизни, такой писатель хочет увидеть «скрытую душу» народа. При этом писатель начинает одухотворять голод, нищету, невежество, в которых на самом деле нет ничего ни духовного, ни просветляющего, ни возвышающего. Другой испанский публицист, подписавшийся псевдонимом Хулиан Андия, в статье «Национализм и эстетика отсталости»[3] рассматривает гойизм (он как раз и ввел этот термин в критический обиход) как проявление национализма. Для Хулиана Андии это означает жестокость, мракобесие, суеверия и пр., увиденные в ракурсе их национальной специфичности. «Гойизм — это Испания жестокая и мрачная, но тем не менее прекрасная». «Национальная жестокость, превращенная в эстетическую тему» — такое определение Андия относит к творчеству Селы, Делибеса и еще нескольких писателей. Он усматривает опасность в том, что «романтически и эстетски настроенный интеллигент пытается примириться с окружающей его нищетой, приписывая нищете национальную глубину и переводя житейскую грязь в эстетический план». Так возникает литературный национализм, который превозносит «образ жизни низших слоев населения, главным образом сельского, открывая в их косности и примитивности глубинные свойства народной души и подлинное выражение национального духа». И Андия, и упомянутый выше Фернандес Сантос опасаются, что «эстетическое возвеличение нищеты способствует выработке идеологии, оправдывающей исторический квиэтизм и противление прогрессу». В эссе Фернандеса Сантоса «Мифология испанской нищеты» тоже говорится об оправдании отсталости, архаичного социального режима, которое легко может быть выведено из безоглядного поклонения народу, из эстетизации всех сфер народной жизни. В этом же духе многократно высказывался Хуан Гойтисоло на страницах своего сборника статей «Хвостовой вагон» (1967). Андия формулирует опасность, которую представляет в общественном плане гойизм, более определенно: гойизм облегчает патерналистскую демагогию: народ, дескать, консервативен, погружен в свое органическое бытие и нуждается в заботе и опеке сверху.

Нам вполне понятен пафос испанских критиков почвенничества — в Испании патернализм, в который облекается диктатура, стал одним из серьезнейших препятствий на пути к демократии. Конечно, писатели-почвенники не выдвигают доктрину единения народа — в его «истинной ипостаси», крестьянстве,— с господствующим порядком. Напротив, у этих писателей крестьянство не является оплотом власти, оно знать не хочет эту власть (как, впрочем, власть вообще). Но существует реальная опасность, что власть сама использует почвенническую идеологию, приберет ее к рукам, поняв ее выгодную противоречивость.

Опасная внутренняя противоречивость почвенничества мучает и писателей — наиболее глубоких и самокритичных. Особенно важен перелом в творчестве Мигеля Делибеса.

В 1966 году Делибес писал другу: «Когда-то мне дали премию, и я почувствовал себя обязанным стать романистом. Но стал ли я им? Стоят ли все мои романы на деле хоть двух реалов? Одним словом, я сейчас переживаю душевный разброд, но, может быть, именно поэтому яснее вижу некоторые вещи»[1]. В этот критический для себя момент Делибес по-новому продумал соотнесенность своего творчества с перспективами исторического развития Испании.

Следующий роман Делибеса «Пять часов с Марио» (1966) нимало не напоминает его прежние книги. Впервые за пятнадцать лет Делибес не пишет ни о деревне, ни о природе, ни о первоэлементах жизни. Это роман как раз о тех городских людях, которые раньше казались писателю такими плоскими и бесцветными рядом с Нини, Деси и другими простодушными дикарями. Роман о людях, подвергшихся нивелирующему воспитанию,— только теперь писатель видит среди них и таких, кто позволил, и таких, кто не позволил остричь себя под

[1] M. Delibes. Vivir al dia. B., 1968, p. 178—179.
[2] Fr. Fernandez Santos. Mitologia de la miseria española. "Indice". 1960.
[3] Julian Andia. Nacionalismo y estética del semidesarrollo. "Cuadernos". 1961, Julio.

[1] Из письма от 10.3.1966 г. к литературоведу Франсиско Ольмосу Гарсии, любезно предоставленного нам адресатом.

И. ТЕРТЕРЯН
ГДЕ ИСКАТЬ «УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕННОСТИ»?

одну гребенку. Кроме рубежей, что разделяют крестьян и горожан, в обществе обнаруживаются иные и тоже непроходимые рубежи.

По испанскому обычаю, покойника не оставляют на ночь в пустом помещении. Кто-нибудь из близких должен провести ночь у гроба, бодрствуя и охраняя вечный сон усопшего. Такую ночь накануне похорон проводит героиня романа Кармен у гроба мужа. Пять часов осталось ей побыть наедине с Марио, в последний раз мысленно обращается она к мужу, перебирая события их совместной жизни, повторяя те же упреки и сетования, что, наверное, миллион раз твердила ему живому.

Монолог Кармен построен мастерски. Удивительна разговорная естественность речи, перебивки, возвращения, повторы, непринужденность интонации и восклицаний. О чем только не говорит Кармен: о детях и о друзьях, о войне и религии, о последнем церковном соборе и о литературе. И в ее монологе раскрывается законченный тип буржуазного мышления. Сама она из небогатой семьи, но с детства накрепко усвоенный ею свод правил и оценок свидетельствует о том, как широко распространяется буржуазное мышление в буржуазной стране. Вот она действительно острижена под ту самую «гребенку»! Кармен — вся — состоит из ходячих мнений, газетных рассуждений и непоколебимой уверенности в своей правоте. Притом она не невежественная домашняя хозяйка, которая заботится лишь о сытном куске, столовом серебре или даже об автомобиле (поскольку теперь уж пешком и на рынок стыдно отправляться). Это бы еще ладно. Но образования Кармен хватает как раз настолько, чтобы поучать мужа и детей по всем злободневным вопросам. «...уж ваш-то собор все вверх дном перевернул, тоже мне, церковь для бедных...», «...лучше смерть, запомни, смерть, чем брак с протестантом или евреем...» — это по религиозному вопросу. О молодежи: «...как будто если они молодые, то уже на все имеют право. А ты мне — «юный бунтарь», против чего же он бунтует, на что им еще жаловаться, когда у них все есть, порядок, мир, все так говорят, только ты со своим «хотят голоса», «хотят ответственности»... сами не знают, чего хотеть, а я тебе скажу, что им бы немножко почтения не помешало к старшим и солидности...», «...все ребята наполовину красные, у них мозги набекрень с этими дурацкими разговорами о свободе, о диалоге и всем таком...» А вот об интеллигенции: «...когда Борха засыпал под эту твою Пятую симфонию, а ты говорил: «Это будет у нас в семье интеллектуал», я прямо голову терял. Ни за что в мире я не хочу, чтобы у меня был сын интеллектуал, это же несчастье, пусть лучше бог его приберет...» И о войне: «...война была крестовым походом, все это говорят, а ты — трагедия». И припев «все это говорят», повторяющийся через каждую фразу, вкупе с афоризмом, изреченным когда-то отцом Кармен: «Машин у нас мало, зато мы можем экспортировать духовные ценности и моральную порядочность».

Брак Кармен и Марио был мучительной драмой. Оба были безысходно одиноки. Как бы ни была пошла и глупа Кармен, она ведь тоже страдала,— Марио не мог и не хотел обеспечить ей хотя бы минимум того социального престижа, какой она полагала подобающим и необходимым для женщины ее воспитания. Но за страданиями Кармен встает трагедия Марио.

Скромный преподаватель провинциального института, неудавшийся писатель, незаметный журналист, Марио не был ни революционером, ни творцом. Это был рядовой интеллигент, но выстоявший и не позволивший обществу остричь и оболванить себя. И еще пытавшийся просветить тех, кто вокруг него. Мы узнаем о его борьбе со средой лишь со слов Кармен, подчеркивающей неудачи и поражения Марио,— но все равно мы понимаем, что это была по-своему титаническая борьба. Марио пишет зашифрованные, параболические романы о несправедливой войне, о солдатах, бросивших оружие,— в клубе говорят, что это предательская, пацифистская книга. Марио собирает единомышленников, издает газету — ее почти никто не читает («...читать невозможно, милый, одни ужасы, какие-то дети без школы, или о том, что в тюрьмах не топят, или о батраках, которые умирают с голоду»). Непонимание, травля, угрозы — вот и все видимые результаты его действий. Доведенный до отчаяния, он делает судорожные жесты — кого-то эпатирует, что-то выкрикивает на домашних вечеринках («...его линчуют, его линчуют и будут правы»,— думает жена). «Мне тошно и страшно, я так одинок, Кармен»,— говорит он незадолго до смерти. «А я как будто не слышу»,— вспоминает жена.

Конечно, новый роман Делибеса замечателен не тем, что писатель отвернулся от деревни и обратился к городскому быту. Само по себе это ни достоинство, ни недостаток. Замечательно, что писатель отказался от ограниченности почвеннического взгляда: это вот (народ, деревня) — хорошо, а это вот (город, интеллигенция) — плохо. Кроме борьбы крестьян за жизнь писатель увидел — и тоже драматическую — борьбу за мысль, за интеллектуальную свободу. Кроме одиночества дяди Мышелова, который не умеет даже выразить свою мысль так, чтобы его поняли,— одиночество Марио, который умеет все выразить, но ему это не позволено, да его и не понимают. А то враждебное, отвратительное, что раньше выступало какой-то бесформенной массой (цивилизация? город? общество?), обрело четкий социальный контур — это современное общество с его аппаратом принуждения и его железно-несокрушимой системой взглядов. Это люди, может быть и не располагающие буржуазной собственностью, но проникшиеся буржуазной моралью, буржуазной эстетикой, буржуазным способом мыслить. Это слой населения, который берет на себя охранительные функции, ибо все его мечты и планы связаны с продви-

жением внутри данного порядка. Пусть Кармен сейчас находится совсем не на высших ступенях лестницы (на рынок пешком ходит), но зачем же эту лестницу разрушать, как тогда попадешь на самый верх? Убогая, но живучая и агрессивная система мышления этого слоя блестяще продемонстрирована Делибесом. В этом актуальность романа.

Для Мигеля Делибеса и других писателей-почвенников дилемма, следовательно, состоит не в том, писать или не писать о деревне, сочувствовать или не сочувствовать народу, восхищаться или не восхищаться его стойкостью. Надо решить, где провести пограничную черту. Между народом и ненародом, городом и деревней, людьми «естественными» и людьми поверхностными — либо же между реальными социальными силами, сталкивающимися в нынешней испанской ситуации?

В этой связи мы и вернемся к интеллигентам, которых Хуан Гойтисоло высмеял за их скулеж об «истинности» и «сущностности» народного бытия. Для Гойтисоло проблема очерчена точно — батрак зарабатывает в день жалкие пятьдесят песет; все, что не направлено на изменение этого положения,— юродство и праздная болтовня. Однако кроме этой, действительно насущной задачи, обусловленной специфическими чертами испанской жизни, есть еще задачи, поставленные перед искусством общим развитием капитализма. И в Испании эти задачи становятся все очевиднее, по мере того как страна приближается к европейскому «стандарту» буржуазной цивилизованности. Современное искусство должно бороться за человеческую цельность и «настоящесть» против всех форм отчуждения, которым подвергается человек в буржуазном мире. Искусство обязано отыскивать и поднимать могучие и цельные характеры. А раз современное общество с обезличивающим трудом, тиранической властью, оглупляющими и одурманивающими средствами массовой информации разрушает такие характеры, то, видимо, искать их нужно где-нибудь подальше от индустриальной и бюрократической цивилизации, где-нибудь в «глубинке». Прийти к такому выводу испанскому художнику легче, чем художнику из другой европейской страны. Ведь в Испании в силу особенностей ее исторической судьбы эта «глубинка» еще поражает своей нетронутостью.

А сохранение национальной специфичности художественного видения — разве не долг искусства в век всеобщей стандартизации? И ведь действительно, народная жизнь сообщает повествованию какую-то материальную плотность в противоположность хрупкости головных построений интеллектуальной литературы: вот и сюжета нет, рассказ состоит из цепи эпизодов, обыденных происшествий, а мы как завороженные погружаемся в бездонную жизнь...

И вместе с тем какой это скользкий и опасный путь для искусства! Начав с благородного и понятного восхищения народной жизнестойкостью и цельностью, можно прийти к идеализации косности и неподвижности. Любуясь абсолютно всеми сторонами народной жизни, можно и оправдать их — оправдать, обнаружив во всем скрытую духовность. Если ничто не может помешать народной душе проявляться в тех истинно национальных формах, в которых она сложилась, то почему не смириться с увековечиванием существующего порядка вещей, он же все равно ничего не значит. Поклоняясь крестьянину, легко оплевать всякого человека из города только за то, что у него руки без мозолей и он размышляет о «пустопорожних» философских вопросах, вместо того чтобы добывать хлеб насущный в поте лица своего.

Писатели-почвенники осознают необходимость отстаивать цельность человеческой личности — в этом объяснение их влияния, их успеха. Но в их творчестве выражено ощущение неполноты, нецельности, возникшее лишь на одном полюсе общества.

Мы остановились так подробно на романе Делибеса «Пять часов с Марио» именно потому, что в образе Марио звучит новая и, на наш взгляд, ценная для писателя-почвенника нота. Эта нота — признание того, что не только в крестьянстве, но и в городской среде может сложиться личность, внутренне цельная, несмотря на вынужденную практическую нецельность, и настоящая — «как камень, как дерево».

Признав, что органическая жизнь народа не довлеет сама себе, что в нее может быть внесено одухотворяющее, просветляющее начало, что не отсечением, не изоляцией «на острове» народного бытия достижима идеальная цель искусства,— признав это, писатели-почвенники найдут решение встающей перед ними дилеммы. Противостоять разложению, но не впасть в апологию неподвижности. Утверждать идеал, но не идеализировать то, что обречено историей. Видеть народный быт как хранилище красоты, но не видеть красоту в уродливом, диком и жестоком. Отрицать суемыслие, но не мысль, суету, но не движение вообще.

Е. КНИПОВИЧ

ТОМАС МАНН О ФАШИЗМЕ

Разные концепции «Доктора Фаустуса»

В № 9 журнала «Иностранная литература» за 1969 год была опубликована статья исследователя и переводчика творчества Томаса Манна С. Апта «Читая письма Томаса Манна».

Определяя основные линии эпистолярного наследия великого писателя, автор статьи, естественно, обращался и к творчеству его — в частности, к наиболее значительному произведению последнего периода, роману «Доктор Фаустус». Для особого внимания к этому роману существовала и непосредственная причина — оценка «Доктора Фаустуса», которая заключалась в эссе известного польского писателя С. Лема «О моделировании действительности в творчестве Томаса Манна» (опубликовано в ГДР в журнале «Зинн унд форм»). Принципиальное осуждение романа, говорит С. Апт, С. Лем основывает на том, что в «Докторе Фаустусе» анализ реальных общественных сложностей, вызвавших ту «цепную реакцию», которая превратила в развалины всю Европу и четверть Азии, заменен застывшей, детерминистской схемой фаустовского мифа, простейшим случаем выбора между добром и злом. А такой выбор, говорит С. Лем, «есть, может быть, у Робинзона Крузо, но не у обыкновенного смертного, который по уши увяз в своем обществе и теряет чувство личной ответственности... сообразно своему «весу», то есть тому, какое давление оказывают на него неличные, общественные силы».

В № 6 журнала «Новый мир» за 1970 год напечатан русский перевод эссе С. Лема (под названием «Мифотворчество Томаса Манна»). Публикации предпослано краткое предисловие автора, в котором он, не опровергая того, что С. Апт правильно понял его, С. Лема, толкование романа, вместе с тем утверждает, что такое толкование дает произведению подавляющее большинство исследователей творчества писателя и что, таким образом, С. Апт спорит уже не с ним, С. Лемом, а вроде как с «гласом народа». А ведь по пословице это есть и «глас божий», то есть некоторый архаический псевдоним объективной истины.

Однако при чтении текста статьи и предисловия к ней создается впечатление, что весь «глас народа», в сущности, ограничивается одним литературоведением ФРГ. Но ведь если бы даже все без исключения литературоведы ФРГ давали роману столь единодушную оценку (в чем я лично не уверена), то ведь существуют в литературоведении другие точки зрения, в основе которых лежит концепция творчества Томаса Манна и «Доктора Фаустуса», чрезвычайно близкая той, которую изложил С. Апт. Очень точно и «компактно» эту концепцию определил замечательный писатель и блестящий эссеист К. Федин: «Самосознание романиста, место его в современном обществе, назначение поэта и роль искусства в наши дни — эта тема многосторонне исследуется писателем, перекочевывая из его прозы в статьи и обратно, отыскивая себе воплощение в образах, и становится отточенным инструментом для раскрытия несравненно более обширного мира, нежели искусство,— всего мира буржуазной цивилизации.

По существу, тема поэта и есть подспудная и, мне кажется, заветная тема Томаса Манна. Но так как он смотрит на современность глазами реалиста, то огромное для него содержание понятия «поэт» сталкивается с действительностью и вступает с ней в жестокий конфликт.

Этот конфликт перерастает, собственно, в борьбу поэта за свое место в обществе, превращается в новую, более емкую тему для художника, толкает к познанию самого буржуазного общества, к его разоблачению и наконец к протесту против его строя».

Правда, в предисловии к публикации в «Новом мире» С. Лем противопоставляет объективное, «само по себе», существование звезд или камней, «зависимому» от человеческого восприятия разной среды и разного исторического времени существованию произведения литературы. Вследствие этого он может и не принимать как одну из «множественностей» толкование «Доктора Фаустуса» и творчества Томаса Манна, принадлежащее К. Федину. Но вопрос об объективном существовании произведения литературы, да и произведения любого искусства, очень не прост. Конечно, камни есть «объективные» камни, но как обстоит дело с камнем, который обработан «каменотесом» Микеланджело? И звезды есть звезды, но как быть с теми звездами, которые брызнули из сосцов богини на полотне Тинторетто «Рождение Млечного Пути»? Что тут объективно и что тут «множественно»? И существует ли книга объективно только как четырехугольный предмет высотой, шириной и длиной в столько-то сантиметров или есть у произведения литературы еще и иная «объективность» — та, например, которая заставила поэзию французского Сопротивления почему-то поднять из глуби веков «Песнь о Роланде» и ее героя? Думаю, что в каждом подлинном произведении искусства наряду с «временным», «относительным» восприятием его разными читателями разных социальных слоев и разных эпох существует и то зерно абсолютной истины, которое может сделать его живым для последующих исторических периодов. И я думаю также, что это «зерно» с наибольшей точностью может нащупать именно марксистско-ленинское литературоведение.

И хотя С. Лем утверждает в предисловии, что своим эссе он полемизирует лишь как бы с самим романом «Доктор Фаустус», а по существу с привычным штампом его толкования, согласиться с этим трудно потому, что в тексте все инвективы точно адресованы именно и только великому немецкому писателю.

Так в чем же, с точки зрения С. Лема, не прав Томас Манн?

В том, что он якобы отождествил грешного композитора Адриана Леверкюна с немецкой нацией, а дьявола, с которым тот заключил пакт,— с фашизмом. И сведя таким образом «отношения» немецкой нации и фашизма к старому фаустовскому мифу, он объективно героизировал, возвысил эту «двустороннюю сделку». С. Лем уделил в эссе много места доказательству справедливой мысли о том, что Мефистофель «Фауста» и «демон» фашизма диаметрально противоположны. Но ведь и Томас Манн ни в малой мере их не отождествляет. У «черта», явившегося к грешному композитору, нет ни малейшего сходства с Мефистофелем. Более того, сам Томас Манн в статье «Возникновение Доктора Фаустуса» дает ключ к генеалогии этого «нового» черта.

Одним из существенных литературных источников, которые с самого начала питали замысел «Доктора Фаустуса», была, по словам Томаса Манна, замечательная повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда». Из этого следует, что Томас Манн очень внимательно исследовал модификацию «дьявола» в мировой литературе. Ведь не только величественный герой поэмы Мильтона, но даже и странствующий схоласт «Фауста» Гёте уже во второй половине XIX века претерпели огромные изменения. Николая Ставрогина искушал, по его определению, чахлый бесенок с насморком, Ивану Карамазову черт явился в виде облезлого пошляка, обедневшего помещика средней руки.

Что касается доктора Джекиля, то он путем научного эксперимента выделил из себя активное, действенное начало — мистера Хайда. И это «самое сокровенное» личности доброго уравновешенного буржуа оказалось «чертом» — убийцей, преступником. Причем его отличительная черта — это потертость, безликость, незаметность. И об истинной сущности его нормальный человек может догадаться только по ощущению ледяного холода, невозможности «сосуществования» с ним.

Несомненно, в ближайшем родстве с мистером Хайдом состоит малорослый, небритый, обутый в нечищеные ботинки и излучающий ледяной холод ночной собеседник Адриана Леверкюна. И это отнюдь не единственное воплощение зла, так сказать, новой формации в современной литературе. Достаточно вспомнить хотя бы «Дракона» Евгения Шварца.

И в *таком* воплощении зла, сочетающем пошлость, мизерность с властью над людьми, и отражены отношение художников современности к фашизму, память о победах фашизма, о его вожаках — тех, кто, по слову Бертольта Брехта, был даже не великим преступником, но всего лишь свершителем великих исторических преступлений.

И подставляя в своем эссе на место *такого* дьявола гётевского Мефистофеля, С. Лем сам создает некий миф о Томасе Манне и «Докторе Фаустусе».

Следующее возражение, выдвинутое в эссе против «Доктора Фаустуса» и его автора, заключается в том, что ситуация романа — архаична, так как в наши дни «дьявол» — в том числе и «дьявол» фашизма — не вступает в спор или поединок с отдельным человеком и даже более того — что у человека в условиях власти фашизма нет возможности выбора, ибо как отдельный человек он вообще не существует.

«Каков же фон времени, на котором развивается эта история (роман «Доктор Фаустус».— *Е. К.*)?— спрашивает С. Лем.— Испытать даже самое чудовищное зло,

---

зная, что оно «адресовано лично тебе», потому что существует Некто, кто именно тебя выбрал жертвой,— это, что и говорить, роскошь по сравнению с нормами эпохи. Мы в Европе были зернами, которые миллионами летели в жернова; и в щелях, разделяющих жизнь и смерть, миллионы существ не имели ни времени, ни места не только на разговоры с адом или с небом, но даже на один-единственный жест попранной человечности. Жертвы были лишены лица, имени, личности. Тот, кто, названный поименно, погибал за свои заслуги или грехи как избранник дьявольских или недьявольских сил, находился в чрезвычайной, в исключительной, в завидной ситуации: он хоть на мгновение выходил из безвестности, становился человеком хотя бы для убийцы, который распознавал в нем личность, а не только сырье для химических фабрик».

Я не думаю, чтобы столь разных людей «героической нравственности», как Юлиус Фучик или генерал Карбышев, хоть сколько-нибудь занимал вопрос о том, что они стали «личностью» для дьявола, убийцы, который настойчиво предлагал им заключить с ним пакт. Но ведь «личное» предложение стать предателем, доносчиком, диверсантом, палачом узники тюрем и концлагерей получали от «дьявола» ежедневно и ежечасно. И удивляться надо не тому, сколько под страхом пытки и смерти шли на этот «пакт», а тому, сколько все-таки «вопреки всему» его отвергли. Выбор? Но ведь миллионы не были убиты сразу, и «жизнь» (если это можно назвать жизнью) в лагере была ежедневным и ежечасным «выбором». И читая материалы об этой «жизни», беседуя с людьми, на чьей руке навсегда остался лагерный номер, опять-таки удивляешься не тому, сколько было там «безликого» ужаса, а тем проявлениям человечности, опять-таки «вопреки всему».

Нет, фашизм не был проявлением «некой мировой глупости», «иррациональным» стремлением носителей этой «глупости», лизнувших крови, беспорядочно уничтожать слабых — евреев, цыган, детей, женщин, стариков.

Ведь фашизм — это знаем мы оба, и С. Лем и я,— был диктатурой наиболее реакционных слоев империалистической буржуазии. И начал он убийства не со слабых, а с сильных и не с «чужих», а с немцев.

Первые узники концлагерей были немцы, антифашисты. И первые головы, которые упали с плеч под ударом «древнегерманского» топора, были головы немецких коммунистов. Да и уничтожая слабых (не только в лагерях уничтожения — вспомним колодцы, полные детских трупов, возле деревень Белоруссии и Смоленщины), фашисты прежде всего стремились «выявить» и ликвидировать «сильных», вожаков—коммунистов, комиссаров. И до того, как узник концлагеря мог стать «сырьем» для химической продукции, все, что из него можно было выжать, как из рабочей силы, выжималось на «дочерних» предприятиях Круппа или И. Г. Фарбен. Ценой неограниченного расхода людей мощные концерны получали годовой доход в много миллиардов марок. Да, фашистская власть считала на миллионы, но мы всегда помним, что это миллионы личностей, людей, и страдания, «выбор», смерть каждого из них имеет для нас — тех, кто остался в живых,— равный вес и цену.

В уцелевших бункерах Бухенвальда все стены увешаны фарфоровыми веночками, табличками, крестиками, под ними — имена на всех языках Европы. Нет, для каждого из миллионов погибших сделать это невозможно. И безымянны не только жертвы лагерей уничтожения. Никто не знает «поименно» тех, кто покоится на Пискаревском кладбище — братской могиле шестисот тысяч моих земляков-ленинградцев. Но каждый, чьи близкие «вошли» в огромный список мертвых города-героя, несет туда свою личную скорбь и личную память, так же как свою личную скорбь, боль и гордость каждый соотносил в годы войны с формулой, ставшей поистине священной,— «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Такая боль и такая память укрепляют во всяком нормальном человеке чувство личной ответственности, крайне, до предела необходимое чувство для гражданина планеты Земля наших дней. Вот почему прав Томас Манн, который в романе «Доктор Фаустус» не топил вопрос об ответственности во впечатляющем потоке статистических данных, а сказал горькие слова об ответственности каждого, о необходимости «выбора». И если этот самый жгучий вопрос поставлен на судьбе художника, если Томас Манн пытается вместе с читателем понять, почему вступил незащищенным в сферу фашизма большой талант Германии XX века, то честь ему за это и хвала. А также и за то, что в романе сказана горькая правда о реакционных традициях немецкой нации и немецкой культуры, о том косном, слепом тяготении к «национальному» как к единому, имманентному, навсегда данному понятию, которое становится и тайным пристрастием к смерти.

В эссе С. Лема уделено много внимания, так сказать, «деидеологизации» фашизма, в частности опровержению связи философских основ фашистской доктрины с философией Ницше.

Согласна, учение Ницше выступает в трудах фашистских идеологов в окарикатуренном виде, согласна и с тем, что в россыпи блестящих парадоксов немецкого философа можно найти и весьма остроумные антибуржуазные выпады. И все же думаю, что связь между «стержнем» философии Ницше (а он все-таки есть!) и фашизмом отрицать невозможно.

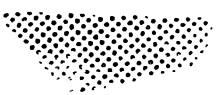
А возражение, вроде следующего — «какая связь, если большинство фашистских убийц даже и не читали Ницше»,— сродни отрицанию мелкобуржуазности той или иной идеологии на том основании, что носители ее не владеют мелочной лавочкой

Связь «автономного государства мысли» с историческими судьбами нации отнюдь не проста. Вернее было бы сказать, что «царство мысли» никак не автономно по отношению к истории и социологии. Вот почему и нельзя согласиться с тем выводом, каким заканчивает С. Лем свою речь в защиту Ницше:

«В великой, часто диссонирующей симфонии человеческой мысли не хватало бы Ницше; и совершенство будущего, предсказываемого народолюбцами, не в том, чтобы запрещать взгляды, противоречащие принятым. Главное, пожалуй, создать такие социальные условия, чтобы можно было говорить абсолютно все в полной уверенности, что ни парадоксы, ни неправда не сотворят зла, поскольку нет для этого горючего материала». Боюсь, что в этих словах заключено то представление об «автономном царстве мысли», которое делает его чем-то вроде летающего острова «мудрецов» Лапуты в «Путешествии Гулливера».

Совершенное будущее, предсказываемое народолюбцами, то есть коммунизм, действительно, по логике, не будет содержать горючего для идеологии лжи и изуверства. Но ведь откуда она придет в это общество? Очевидно, именно с «Лапуты», где обоснуются некие космические ревизионисты, бесцельно бомбардирующие коммунистическое общество продуктами своей идеологии, где для нее «нет горючего».

Боюсь, что спор с Томасом Манном завел отличного писателя С. Лема на такие дороги, где можно запутаться окончательно и где невозможно определить и величие и действительную исторически обусловленную ограниченность Томаса Манна — последнего великого писателя буржуазного мира.



А. КАРАГАНОВ

ИСКУССТВО, БИЗНЕС, ПОЛИТИКА

Очень много истрачено бумаги на обоснование и пропаганду идеи враждебности политики искусству. К идее этой не раз обращалась буржуазия, используя ее то как барьер для защиты искусства от влияний революционной политики, то как рекламный знак полной суверенности, неприкасаемости и независимости индивидуалистического искусства.

Но один из парадоксов современности состоит в том, что под словесный шум о враждебности политики искусству буржуазия, как никогда раньше, активизирует политическое искусство. Обращение художника к политическим проблемам и темам стало веянием времени. Можно сказать больше: в искусстве буржуазных стран появилась мода на политику. Если в 40—50-х годах наша советская публицистика должна была сосредоточить свой огонь преимущественно на фактах распространения безыдейности, аполитичности через произведения искусства, то сейчас наш идейный противник во многом переменился: мы чаще, чем раньше, встречаемся и с фактами пропаганды реакционной политики средствами искусства, и с такого рода «развитием» революционных идей, которое иной раз завершается вольным или невольным приспособлением к идеологическим нуждам буржуазии.

Надо сказать, что «политизация» художественного творчества в разных искусствах развивается неравномерно. Буржуазия особенно озабочена сейчас проблемами использования массовой культуры. Когда речь идет о модном салоне вычурной живописи, рассчитанной на знатоков, о камерном спектакле в маленьком театре или о малотиражном романе, хозяева, финансирующие искусство, нередко проявляют либерализм и терпеливость: они предпочитают в таких случаях щеголять широтой взгляда и изысканной современностью вкуса. Иное дело — кинофильм или популярная телепередача: тут буржуазные хозяева особенно дорожат своим влиянием и властью.

На американский экран один за другим выходят ныне фильмы, посвященные важнейшим проблемам современной политики. Для их кинематографической разработки чаще всего используются детектив, мелодрама, сексуальный боевик и другие жанры «коммерческого кино». Если в былые годы слова «коммерческий фильм» были для Голливуда едва ли не синонимом подчеркнутого отстранения от политики, то теперь коммерческим фильмом очень часто становится фильм политический.

Среди такого рода фильмов есть ленты о «подвигах» американских «зеленых беретов» во Вьетнаме и о событиях в Чехословакии, о столкновениях «ястребов» и «либералов» вокруг проблем войны и мира и о советско-китайских отношениях, о стене в Берлине и о битвах союзников во Франции в 1944—1945 гг., изображаемых как решающие битвы второй мировой войны...

Вот совсем свежий пример. Недавно на экраны буржуазных стран вышел американский фильм «Председатель», поставленный по роману Джей Р. Кеннеди (режиссер Ли Томпсон, автор сценария Бен Медоу). Сюжет картины построен на перипетиях сложной акции американской разведки: герой фильма — крупный ученый, лауреат Нобелевской премии (его роль играет Грегори Пек) — направляется в Китай с зада-

нием выведать там некий научный секрет. В Китае он встречается и долго беседует с Мао Цзэ-дуном (предварительно сыграв с ним в пинг-понг), работает в лаборатории своего китайского коллеги, в конце концов добывает требуемый секрет, проваливается, с трудом спасается... Вся эта разведывательная операция проводится американской разведкой в тесном сотрудничестве с... советской: ее представитель в Вашингтоне участвует в подготовке поездки ученого-разведчика; связной советской разведки в Китае спасает его от ареста и провожает к границе; герой фильма смог оторваться от преследователей и перейти границу только благодаря тому, что советские пограничники прикрыли его отход отсекающей завесой минометного огня.

Уже из этого краткого пересказа сюжета видно, что перед нами самая настоящая кинопровокация: своим фильмом Голливуд работает на вполне определенные тезисы антисоветской пропаганды.

По жанру «Председатель» — это остросюжетный детектив: с красоткой, помогающей обаятельному герою, с «закрученной» историей его разоблачения, с бегством и погоней. (Кстати, по такому же принципу, но еще более изощренно построен новый фильм Хичкока «Топаз», клеветнически извращающий внешнюю политику Советского Союза и опять же «разоблачающий» таинственные связи советской разведки — на этот раз с французской.) Фильм «Председатель», как и «Топаз», рассчитан на самый массовый успех — привлечение широкого зрителя входит в расчеты его создателей.

Сейчас нет буквально ни одной области политики, ни одного фронта идеологической борьбы, где американская кинематография не выступала бы с фильмами, впрямую обслуживающими внешнеполитические и пропагандистские ведомства США. Кинематограф — не только творчество, но и промышленность, дорогостоящее производство. И естественно, что в нем капитал осуществляет свой диктат с большей, нежели в других искусствах, наглядностью.

Следует сказать, что и в этих условиях в Америке нет-нет да и появляются картины, продолжающие традиции критического реализма (назову в этой связи недавно вышедший очень сильный фильм Сиднея Поллака «Лошадей тоже пристреливают. Не правда ли?»). С той или иной степенью глубины и правды изображаются в них уродливые проявления расизма, культ жестокости, растление человека под влиянием собственнических отношений, приоткрываются некоторые секреты буржуазной политической кухни. Борьба двух культур происходит и в кино, хотя прогрессивные художники здесь находятся в особо сложном положении из-за высокой стоимости фильмопроизводства.

Как показывает практика, борьба эта охватывает не только самый процесс создания фильма, но и прокат. Когда прогрессивный, по-настоящему социальный фильм критического направления выходит на экран, на его пути к массовому зрителю воздвигаются самые разнообразные преграды. В этом деле участвуют пресса, радио, телевидение, хозяева проката, а когда это касается зарубежного экрана, то и внешнеполитические ведомства.

В тех случаях, когда художник недостаточно послушно следует начертанному буржуазными хозяевами курсу или — боже упаси! — делает зигзаги в сторону неугодной им политики, хозяева бывают беспощадны! Слова о свободе творчества в таких случаях отбрасываются как наивные побасенки для простачков.

В июльском номере журнала «Эвергрин» (1969 г.) напечатана статья Джона Лара «Искусство и бизнес». Ее автор называет многочисленные факты строительства культурных центров в городах США — по инициативе и на деньги американского бизнеса. Он убедительно показывает, что, затевая такое строительство, отцы того или иного города заботятся о процветании не только искусства. Мэр города Милуоки заявил: постоянный театр поднимет престиж Милуоки и его конкурентоспособность среди других городов, что привлечет промышленность и пойдет на пользу жителям.

О том, что интересы искусства стоят при этом где-то на десятом месте, свидетельствуют такие факты, приводимые в той же статье: во многих городах США бизнесмены строят здания и не дают денег на содержание театральных трупп, а если все же вмешиваются в дела искусства, то делают это ради утверждения своего влияния на искусство, своего господства.

Некоторое время тому назад режиссер Джон Хенкок перешел работать в театр Питсбурга. Как только он согласился на переезд (до этого он работал в Сан-Франциско), хозяева театра Питсбурга наняли частного детектива, чтобы следить за своим будущим сотрудником. Детектив ни разу не пришел на спектакли: ему было поручено выяснить, не является ли Хенкок наркоманом или гомосексуалистом, а главное — не коммунист ли он. Подобные методы, продолжает Джон Лар свой рассказ со слов самого Джона Хенкока,— вторая натура бизнесменов, они проделывают все это столь же естественно, как и дышат... Отчет детектива был заслушан на открытом заседании правления, где утверждалась кандидатура режиссера.

Работая в театре Питсбурга, Хенкок должен был тратить уйму сил и времени, чтобы представить, угадать, что думает по тому или иному поводу Р. К. Меллон — негласный правитель города. Одна из постановок Хенкока, построенная на материалах допросов в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, была исключена из репертуара: боялись недовольства близкого друга Меллона — известного своими реакционными взглядами губернатора Калифорнии Рональда Ригана.

«Когда Хенкока в конце концов уволи-

А. КАРАГАНОВ
ИСКУССТВО, БИЗНЕС, ПОЛИТИКА

ли,— пишет в заключение Джон Лар,— президент городского национального банка в Питсбурге сказал журналистам: «Надо же преподать художникам урок и показать, что пренебрегать интересами истеблишмент им не позволено».

Комментируя историю Хенкока, Джон Лар добавляет: корпорации только тогда материально (своими субсидиями) поддерживают искусство, когда оно служит утверждению их власти, защите их интересов.

Вопрос о бессилии художника перед диктатом капитала обсуждается ныне не только в левых писательских кругах. Почтенное буржуазное издание «Таймс литерари сапплмент» выступило недавно с редакционной статьей, наполненной горькими размышлениями по этому поводу.

Человек интеллектуального труда, говорится в статье, располагающий относительной автономией в своей академической деятельности, все чаще начинает понимать, что его роль в обществе подчинена интересам, ему чуждым... Он бессилен повлиять на систему привилегий в области культуры, порожденную классовыми устоями в обществе и, в конечном итоге, контролирующую сбыт и потребление продуктов его интеллектуального труда.[1]

Редакционная статья «Таймс литерари сапплмент» посвящена недавно вышедшему двухтомнику критика и литературоведа Ричарда Хоггарта. Но двухтомник использован в ней только как повод для постановки вопросов, выходящих за пределы литературоведения. В частности, автор редакционной статьи особо выделяет более чем наивные рассуждения Хоггарта о том, что телевидение, обращаясь к широким массам, постепенно ломает барьеры между людьми различного социального происхождения и тем самым вносит свой вклад в создание более демократического общества. «В период обострения классовых противоречий,— замечает по этому поводу автор редакционной статьи,— средства массовой информации не занимают независимого положения: они прямо служат пропаганде официальной точки зрения».

Бессилие интеллектуала, продолжает автор, явление не новое, оно существует давно. Новым является лишь то, что интеллектуал начал сознавать свое бессилие и вместе с тем начинает рушиться его вера в систему. На смену вере приходят чувства опустошенности, пессимизма...

Эти чувства, добавим мы, часто деформируют самым драматическим образом литературное творчество тех, кто научился ненавидеть проявления античеловеческой власти частной собственности, но не умеет понять их истоков и причин, не знает выхода из тупиков, которые создаются господством частной собственности.

Опустошенность, пессимизм, гнев без адреса и отчаяние, оторванное от своих реальных истоков, внутренне подрывают писательскую критику буржуазного общества. Бездумно и безответственно, нечестно по отношению к читателю и своему художническому долгу поступает писатель, когда он славословит собственнический образ жизни, расцвечивая его яркими красками рекламы и старательно обходя свойственные ему противоречия. Но и всеотрицающий скептицизм может стать формой бездумной мистификации действительности. Реальные противоречия собственнического общества часто переносятся в таких случаях в призрачный мир «извечных», «изначальных» конфликтов человеческого бытия, порожденных «метафизическим» началом в человеке. Частью этого призрачного мира — мифом в ряду других мифов — становится и отчуждение человека, ибо оно рассматривается писателями, о которых идет речь, вне своей социальной биографии, представляется трагедией человека, как такового.

Опыт современной литературы показывает, что такая мистификация действительности вместо углубления в ее конфликты очень часто сводит на нет критику собственнического мира в произведениях, задуманных как острокритические, убивает истинный политический пафос.

Как известно, в ФРГ, Италии, Франции, США и других странах многие молодые писатели «левого» направления, выступая по вопросам художественного творчества, настойчиво подчеркивают ныне: литература может и должна вдохновляться политикой. При этом они не довольствуются позицией тех художников, которые отстаивают политические идеи как бы издалека, не бросаясь в гущу борьбы, оставляя себе возможность писать независимо от текущих полемик. Молодые хотят непосредственно участвовать в событиях, обращаются к студентам и рабочим, читают свои произведения в университетах, хотели бы читать и на заводах, но часто не встречают там необходимого понимания. Дело в том, что в своем практически-творческом выражении позиция «левых» нередко приобретает черты и особенности, противоречащие авторским намерениям и целям.

Западногерманский издатель Гюнтер Буш, каждодневно встречающийся с рукописями молодых, так характеризует их творчество: «Современные читатели требуют от литераторов, чтобы они изображали подлинное положение людей, живущих в обществе, в котором происходят глубокие изменения». Как же литераторы отвечают на эти требования? «Они стараются найти стиль, выражающий муки сегодняшнего общества. При этом они обходятся без реалистического описания, используя игру словами в качестве инструмента для преобразования мышления читателя, ломая привычные связи и стандартные обороты разговорной речи»[1].

Гюнтер Буш констатирует явление, но не анализирует его следствий. А следствия эти в высшей степени драматичны. Поиски стиля, выражающего муки современного общества, стремление преобразовать

[1] «Таймс литерари сапплмеит», 5 марта 1970 г.

[1] Интервью Буша напечатано в итальянской газете «Коррьера делла сера» 18 сентября 1969 года.

мышление читателя часто превращаются в некую интеллектуальную игру словами, которая становится труднопреодолимым барьером между писателем и демократическим читателем. Увлеченный такой игрой, писатель неизбежно становится художником для избранных, далеким от низов, к которым он обращается. Бунт в стиле мешает бунту в политике; революционно-критическая сила реализма изымается из арсенала писателя, считающего себя борцом.

Точно так же болезнь социального бессилия часто поражает литературу, когда она критикует действительность — без ее анализа, жалуется на жизнь, живописует ее мрак и не идет дальше. В таких случаях не спасает даже простота формы, доступность языка, умение дать читателю узнаваемые картины жизни.

«Есть реалисты,— пишет о таких писателях Петер Шнейдер,—давно уже примирившиеся с тем, что капитал уничтожает их фантазию, и единственная их реакция на жалкое существование — ежечасно его признавать и описывать с величайшей тщательностью. Втайне они надеются, что, прочтя о своем жалком существовании, читатель будет политически воспитан в духе ярости, которую сами они тем не менее предпочитают выражать в форме художественных образов. Литературные кошмары только добавляют свою долю к тем микрокошмарам, которые человек испытывает ежедневно, безмолвно переживая их у своего рабочего места, на улице, в кино» [1].

Ничего существенного в этом смысле не дают читателю и авангардисты, которые вообще пренебрегают реальностью столкновения между желаниями людей и враждебной им действительностью, а всю свою энергию направляют на изображение средств изображения. Все эти формы искусства не ограждают человеческие желания от капитализма. Наоборот, они ограждают капитализм от бунта желаний.

«...Литература,— резюмирует свою мысль Петер Шнейдер,— которая показывает массам их нищету единственно затем, чтобы их к ней приучить,— такая литература мертва, и ее нужно похоронить. Тот, кто изображает свое угнетение, должен показывать его в движении, вскрывать его причины и намечать путь к освобождению».

Недостаточная действенность или полная беспомощность претендующей на социальную остроту и политическую активность литературы индивидуалистического толка приводит к тому, что одновременно с дальнейшим ростом интереса к политике среди западных писателей появляется разочарование в политике, в социальной «ангажированности» литературы.

«Мне жаль времени,— сетует Ганс Вернер Рихтер, создатель и лидер известной в ФРГ «Группы-47»,— потерянного на литературу, которую мы рассматривали с точки зрения социологии как базу для высказываний «за» и «против», для полемики о политических учениях и революционной практике.. Мы окончательно потеряли чувство меры. Несколько лет назад писатели, встречаясь, разговаривали о своих и чужих книгах. Сегодня они непременно должны отдать дань идеологии и рассуждают только о политических учениях: устно, в газетах и телепередачах. Журналы забиты их политическими заявлениями. Разве это литература?» [1]

Ему вторит американец Альфред Кейзин: «Многие признанные писатели приносят свои своеобразные интеллекты в жертву массовым страстям битв жизни и тех современных религиозных схваток, которые зовутся идеологическими». И дальше: «Характеризуя 60-е годы, период, который больше известен своим социальным брожением, чем верой в высокое искусство, я полагаю, что чрезмерно большое давление, оказываемое «обществом» на личность отдельного писателя, достаточно наглядно показывает (хотя и не «объясняет») бросающееся в глаза отсутствие шедевров» [2].

Писатели, проповедующие индивидуалистическое самоотстранение от социальных страстей, как правило, понимают, что художнику очень трудно скрыться в башне из слоновой кости. Не в моде нынче такие башни, бесконечно наивна и несовременна мечта о них. И чтобы защититься от «давления общества», от власти социальных страстей, некоторые писатели настойчиво претендуют на особое положение в обществе, на некую «экстерриториальность».

Очень громко эту избранность писателя, исключительность его положения в обществе утверждает Антонин Лим, в прошлом чехословацкий критик, один из редакторов газеты «Литерарни новины» — а ныне эмигрант, посвятивший себя пропаганде антикоммунизма.

«По самой своей природе,— заявил он в недавнем интервью,— художник является анархистом. Он — враг власти, всего установленного, он исследует неизвестное. Его мораль чужда морали коллектива. Он может быть хиппи или жить как герцог, может быть примерным мужем или же иметь двадцать любовниц, но в любом случае он занимает положение исключительное и остается в одиночестве» [3].

Еще недавно Лим клялся моралью коллектива, теперь он ее отрицает, по крайней мере для художника. Еще недавно он писал о гражданском долге писателя защищать «социализм с человеческим лицом», теперь он проповедует анархизм одиночки. Где же «самовыражается» Лим, а где цинично подыгрывает своим хозяевам?

Ложные представления о месте художника в обществе, о необходимой для искусства «автономии» нередко приводят писа-

[1] «Курсбух» № 16, 1969.

[1] «Коррьера делла сера», 25 сентября 1969 г.

[2] «Нью-Йорк таймс бук ревью», 21 декабря 1969 г.

[3] «Кензен литтерер», 1—15 февраля 1970 г.

телей индивидуалистического толка к наивной и смешной претензии на постоянную правоту в спорах с окружающими. Отсюда — один шаг до позиции верховного судьи общества, который имеет моральное право читать наставления классам и партиям, даже не задумываясь о задачах самопроверки, о мнении народном, о мудрости практики, победоносно утверждающей себя в качестве критерия истины.

В наши дни бывают и такие случаи, когда писатели не могут расстаться с этой ролью судьи даже после того, как волею обстоятельств и увлечений они оказались в рядах революционных или претендующих на революционность организаций. В результате и получается, что в утверждении «особости», независимости художника — судьи своего общества нередко сближаются «правые» и «левые», те, которые открыто защищают буржуазность, и те, которые называют себя ее решительными противниками: их объединяет философия индивидуализма.

Одним из наиболее ревностных пропагандистов идеи об особой роли художника и — еще шире — интеллигента, о постоянном его противостоянии господствующим в обществе институтам выступает ныне Жан-Поль Сартр.

Преимущество интеллигентов перед другими людьми, по Сартру, состоит в более настойчивом стремлении развивать и распространять свои идеи. Интеллигент — это человек, живущий внутри противоречия, человек протестующий, в том числе и против себя. Ему дана власть заражать людей своими комплексами. Интеллигент побуждает каждого подвергать все обсуждению, противопоставляя себя тем самым политической власти.

Идея о преимуществах интеллигента и о постоянной правоте художника не имеет ничего общего с утверждением реального значения и роли интеллигенции в обществе, определяющихся ее знаниями, опытом, культурой ума, умением научно постигать мир, соединяя мысль с действием. У Сартра это скорее полемическая платформа, флаг для демонстраций, формула вызова. Когда перечитываешь многочисленные интервью Сартра и сопоставляешь их с его практическими действиями, создается впечатление, что Сартра не так уж занимает вопрос о том, какая власть помогает художнику быть свободным, какая мешает: ему важно продемонстрировать противодействие художника любой власти.

В одном из своих интервью Сартр пытается обосновать свободу человека, понимающего свою обусловленность. Человек, говорит Сартр, всегда может изменить то, что из него сделали. Свобода — это то малое движение, благодаря которому общественное существо, полностью обусловленное, превращает себя в личность, которая не воспроизводит во всей полноте то, что было ею воспринято в силу ее обусловленности.

И в первом и во втором случае перед нами выступает по сути дела «старый» Сартр, сторонник индивидуалистически понимаемой свободы, слегка подновивший свой словарь за счет понятий, призванных продемонстрировать нынешнюю его принадлежность к «левому» движению. И этот «старый» Сартр, тоскующий по абсолютной свободе индивидуалистически мыслящей личности, вопрошает в конце интервью, данного еженедельнику «Нувель обсерватер»: «Неужели невозможно представить себе такой тип политической организации, где не было бы подавления?» [1]

Нам неизвестно, каким представляет себе Сартр желанный ему тип политической организации. Известно лишь, что он согласился (такова новая страница его запутанной биографии) стать главным редактором газеты французских маоистов «Друг народа». В новом своем качестве Сартр даже китайскую «культурную революцию» старается оправдать как революцию против бюрократизма. А обращаясь к событиям во Франции в мае 1968 года, он объясняет поражение «студенческого восстания» (терминология Сартра) тем, что «аппарат» КПФ и профсоюзов дезориентировал рабочих, рабочим говорили: студенты — идиоты, которые все разрушают. Речь, по мысли Сартра, идет, таким образом, не об отсутствии согласия между рабочими и студентами, а о бюрократическом аппарате, который настроил рабочих против студентов.

Таковы новейшие зигзаги политической и философской мысли Сартра, объявившего войну «аппаратам» рабочих партий и одновременно вставшего на защиту маоистов, сторонников одной из самых жестоких форм подавления, прикрываемого революционными лозунгами.

Проблемы деформации революционной мысли и действия в духе «левого» экстремизма маоистского или троцкистского стиля приобрели актуальность и в Италии.

Газета «Коррьера делла сера» напечатала 6 сентября 1969 года серию интервью под общим заголовком «Китай в Италии». Участники интервью — каждый по-своему — анализируют причины появления, содержание программ и деятельности прокитайских групп в Италии.

Известный своим антикоммунизмом Иньяцио Силоне утверждает, что протест «левых» экстремистов направлен против аппарата политических и профсоюзных организаций рабочих — он вызван их отказом от первоначальных целей и программ, их интеллектуальным одряхлением.

Политические и духовные предшественники Иньяцио Силоне, как мы знаем, называли политические партии и профессиональные союзы трудящихся бандами анархистов, врагами гуманизма, ниспровергателями законности и справедливости. Все это говорилось, писалось в пору молодости этих партий и профсоюзов, их первых революционных атак на капитал.

С тех пор прошли годы и десятилетия. В программах и деятельности организаций рабочего класса произошли, не могли не произойти определенные изменения, продиктованные развитием жизни и освободитель-

[1] «Нувель обсерватер», 26 января 1970 г.

ной борьбы против капитала. И вот — еще один парадокс истории — теперешние антикоммунисты вменяют эти изменения в вину организации рабочего класса, становясь как бы на защиту их ранних программ и целей. При этом они берут «левых» экстремистов себе в союзники по принципу: враг моих врагов — мой друг.

Происходит нечто прямо-таки невероятное: буржуазные политики проявляют не только терпимость в отношении к «левым» экстремистам, но и определенную заинтересованность в их деятельности — крайностями «левого» экстремизма они пугают массового обывателя, заставляя его покрепче держаться за существующие устои: хоть плохонький, да порядок, а иначе — полная анархия. И потом: раскольническая деятельность «левых» экстремистов, их крикливая критика «обюрократившихся аппаратов» рабочих партий и профсоюзов выгодна буржуазии: нередко она привлекает внимание и тех слоев народа, особенно молодежи, которые прямой буржуазной пропаганде антикоммунизма не поддаются.

Выступление Силоне отражает широко распространенные ныне настроения буржуазных идеологов, которые и побаиваются «левых» экстремистов и — одновременно! — радуются их активности, злорадствуют по поводу трудностей рабочего движения, создаваемых их деятельностью.

Писатель Карло Кассола считает, что основной причиной бунта «левых» экстремистов является неосуществленная ликвидация старого гуманизма: груз традиций продолжает вызывать почтение к тому, что стало уже призраком,— к культуре, превратившейся в болтовню, в фабрику мифов.

В этом объяснении есть свой резон: кризис буржуазного общества, опустошение и деформация его духовной культуры, угнетающая сила и коррупция его институтов — все это действительно может вызывать истерию «левого» экстремизма среди тех протестантов, которые не научились подлинной революционности, основанной на теоретических идеях и практическом опыте марксистско-ленинских партий рабочего класса.

По мнению писателя Гоффредо Паризе, возникновение «левого» экстремизма в Италии совпадает — по времени — с началом нового студенческого движения и обострением советско-китайских отношений. Что же касается содержания «левого» экстремизма в Италии, то оно, по мысли Паризе, сводится в основном к отрицанию ради отрицания.

«В то время как идеалом Маркса,— пишет Паризе.— был труд по изучению и почиманию прошлого во имя преобразования настоящего... предрассудком сегодняшних «китайцев» является отказ от изучения прошлого во имя ложной борьбы против «концепций». Они разрушают прошлое, вместо того чтобы разрушать настоящее. Идеалом Маркса было мужество тех, кто совершает революцию и видит в революции «переход», согласно его собственной формуле в «Критике Готской программы», в то время как предрассудком «китайцев» является желание разрушать, не зная даже, что может быть построено. В этом — типичное проявление их инфантильности... Предрассудок всегда был врагом культуры, и поэтому со стороны «китайцев» вполне последователен тот крестовый поход против культуры, который ими закамуфлирован лозунгом «культурной революции».

Сопоставление высказываний участников интервью еще раз показывает, что различия в трактовке «левого» экстремизма отражают различия во взглядах трактующих. Каждый берет из множества причин и особенностей «левого» экстремизма какую-то одну — ее выделяет, ее абсолютизирует, руководствуясь своим пониманием общественной жизни, своими целями в современной борьбе социальных сил. Одни выдвигают на первый план антибуржуазность «левого» экстремизма, другие — бунтарское ниспровержение «прогнивших ценностей старого гуманизма», третьи — выступления «левых» (нередко приобретающие клеветнический, провокационный характер) против «концепций» и «аппаратов» рабочих партий, выступления, объективно сближающие «левых» с буржуазными идеологами и пропагандистами антикоммунизма.

Индивидуалистические концепции, индивидуалистические представления о роли писателя в обществе оказывают определенное влияние и на ту часть художественной интеллигенции, которая связана с левым движением, с партиями рабочего класса. Это влияние проявляется прежде всего в попытках ревизии ленинских идей о литературе как части партийного дела, о партийности литературы.

В январе 1970 года состоялось заседание секции культуры ЦК ИКП, посвященное роли интеллигентов-коммунистов в условиях современных политических и классовых столкновений. В порядке подготовки к заседанию миланский редактор еженедельника «Ринашита» Марио Спинелла опубликовал статью «Интеллигенция в партии» [1].

Суть ее такова. Традиционный интеллигент выполняет функции посредника. Революционный интеллигент стремится проявить себя в качестве творца. Нередко бывает, что присоединение интеллигента к революционному движению имеет свою специфическую причину — нежелание выступать в роли посредника, которая навязывается ему правящим буржуазным классом. Такой интеллигент видит в партии организованную силу, в которой могут воплотиться его собственные революционные идеи.

Интеллигент постоянно сопоставляет политику партии со своими воззрениями, со своим собственным истолкованием мыслей Маркса и, таким образом, приходит порою к противопоставлению определенной системы идей эмпирической практике, то есть тактике, а иногда и стратегии партии. Пар-

[1] «Ринашита», 2 января 1970 г.

тия же, в свою очередь, стремится отвести интеллигенту роль, которая соответствует роли, ранее осуществлявшейся им внутри буржуазной системы, то есть техническую роль посредничества (агитация и пропаганда линии партии и ее борьбы).

Участники заседания с особым вниманием отнеслись к проблеме изменения социального статуса интеллигенции, указывали на необходимость обеспечения свободы исследовательского поиска для интеллигентов-коммунистов. Вместе с тем высказанное Марио Спинеллой предложение о создании некой «отдельной» организации революционной интеллигенции за пределами партии было отвергнуто. По сути дела Марио Спинелла в своих рассуждениях исходит из все той же предпосылки об особой роли и особом месте интеллигента. Он впрямую не настаивает на постоянной правоте интеллигента в столкновении с окружением, но фактически такая правота подразумевается.

Об этом говорили, полемизируя с Марио Спинеллой, участники упомянутого заседания (материалы заседания опубликованы в «Ринашита» от 16 января 1970 г.). Так, основной докладчик на заседании, Наполитано, напомнил, что ни одному из интеллигентов, работающих в партии, не угрожает опасность ограничения теоретического поиска. Практика ИКП свидетельствует о росте активности коммунистов-интеллигентов в партийной жизни, в формировании политики партии. Тем не менее кое-кто говорит о «посредничестве»...

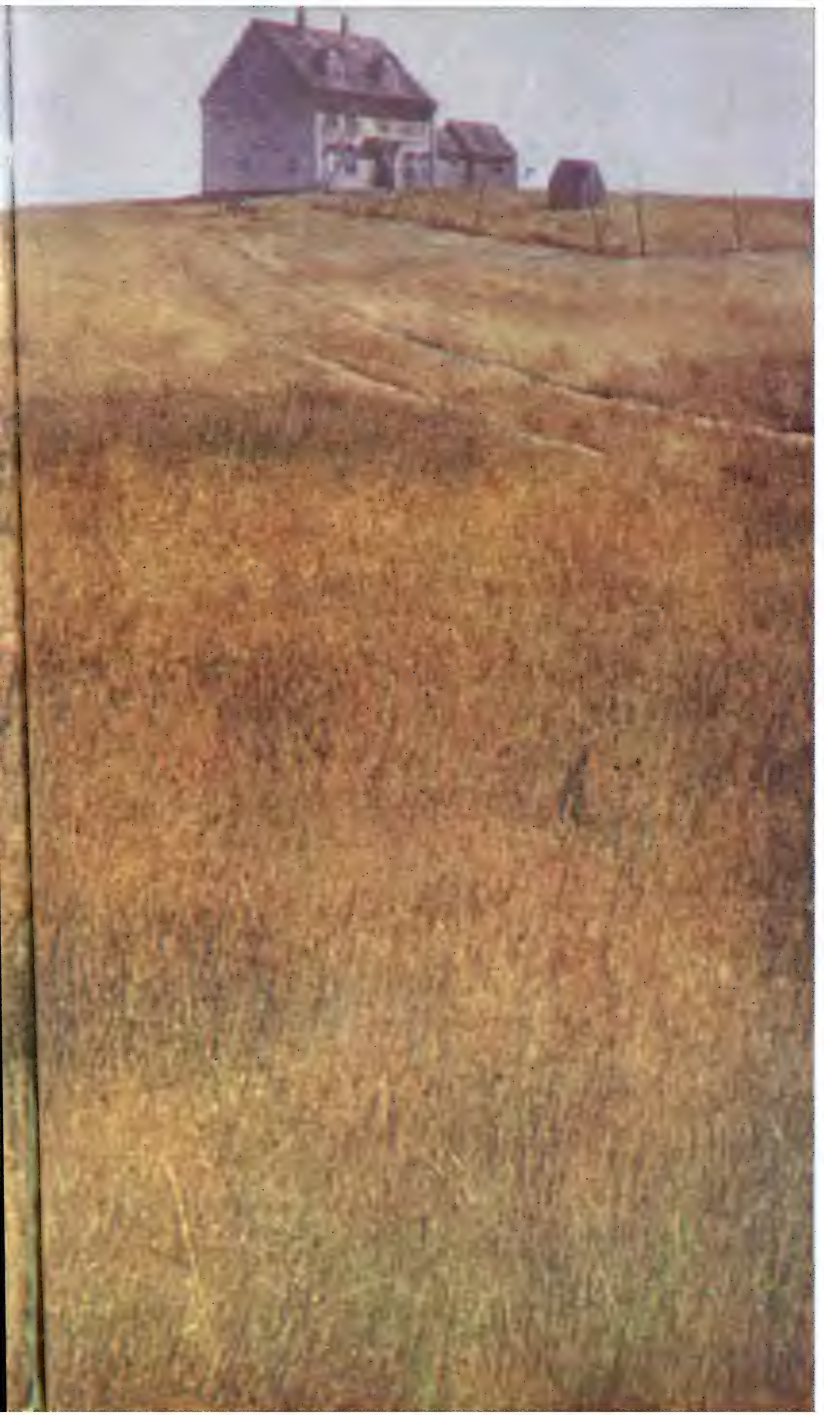
«Такая постановка вопроса вызывает серьезные возражения, ибо одно дело выполнять роль «приказчиков правящих групп по осуществлению подчиненных функций обеспечения социальной гегемонии и политического управления» (Грамши), и другое дело — способствовать развитию единства и гегемонии рабочего класса, завоеванию им поддержки всех социальных групп, чьи интересы не антагонистичны рабочему классу. В такой функции революционных интеллигентов нет ничего неизбежно подчиненного, хотя, несомненно, присутствует элемент передачи идей и пропаганды идеологических и политических позиций. Но вместе с тем здесь может и должен присутствовать творческий элемент, оригинальный и критический исследовательский вклад».

Споры о месте, роли и задачах художника в современном мире, об отношении его к реальностям жизни продолжаются. Эти споры ведутся в романах и поэмах, на экране и сцене, на писательских симпозиумах и в газетных полемиках. Ясно, что их направление, их дальнейший ход будут определяться развитием классовой борьбы. Буржуазия сделает все, чтобы сохранить у себя в подчинении, откровенном, прямом или скрытом, даже для самого художника незаметном, творческие силы литературы и искусства. Растущее освободительное движение трудящихся классов будет привлекать на свою сторону — и чем оно активнее, тем сильнее — художников, способных видеть и анализировать действительность, просвещать свой разум, жизнью наполнять свое творчество.

Сын Альберта. 1959 год.

К статье Е. Матусовской «Мир Уайеса»

Мир Кристины. 1948 год.



Джентльмен. 1960 год.

Мансарда. 1962 год.

МИР УАЙЕСА

В Чадсфорде, небольшом провинциальном городке штата Пенсильвания, живет один из самых своеобразных художников современной Америки — Эндрью Уайес. К сожалению, в нашей стране имя этого художника известно не очень широко. Между тем у себя на родине Уайес очень популярен. Первая его персональная выставка была устроена в 1937 году, когда ему было всего 20 лет, а уже в 27 лет он был академиком, в 38 — стал «почетным доктором изящных искусств», в 46 лет был награжден высшей гражданской наградой США «Медалью Свободы». Частные коллекционеры и крупнейшие музеи страны приобретают его произведения, газеты публикуют его фотографии, журналы — специальные и не специальные — статьи о нем и его творчестве.

«Самый популярный из современных американских художников», «простота, бесконечная проникновенность», «все его картины как бы подернуты живой дымкой, так что неодушевленное становится одушевленным»,— так отзывается пресса о творчестве Эндрью Уайеса.

Жители Чадсфорда и его окрестностей; осенние пенсильванские пейзажи с тонкими оголенными деревьями и чуть припорошенной первым снегом землей; дома, полные своих историй, своего быта, своей памяти, своих шорохов и ночных скрипов; портреты людей, судьба которых известна ему до третьего поколения; холмы, дороги, обрывы, напоминающие о событиях собственной жизни или жизни кого-нибудь из окрестных жителей...— навсегда полюбившиеся художнику черты и приметы исчезающей фермерской Америки постоянно вновь и вновь появляются в его картинах. Уайес, который никогда не оставлял этих мест и не собирается покидать их впредь, особенно гордится тем, что «стал неотделимой частицей здешней жизни».

Америка стоэтажных домов, дорог безостановочного движения, совершенных машин и высоких скоростей все больше теснит другую Америку — Америку небольших ферм, поглощая ее леса и поля, необратимо изменяя ее пейзаж. И чем решительнее наступает этот мир, тем большую ценность обретают для художника уцелевшие островки прошлого. И потому Уайес с такой чрезмерной, подчеркнутой скромностью уверяет, что не хочет для себя большей чести, чем быть «живописцем родного края». Даже свою жизнь и быт своей семьи Уайес превращает в своего рода «машину времени»: дом его перестроен из мельницы восемнадцатого века, сам он носит сапоги конца прошлого столетия, его жену нередко можно увидеть в старинной широкополой квакерской шляпе, а сына — в башмаках, сохранившихся со времен гражданской войны между Севером и Югом.

Тех, кто впервые встречается с картинами этого художника, поражает и особенная, ему одному присущая негромкая разговорная интонация, и странные, нуждающиеся в расшифровке и разъяснении названия его картин, и любовь к подробному описанию каждого предмета. Пожалуй, наибольшее количество споров и недоумений вызывает именно эта не свойственная современной живописи любовь к предметам, к деталям, к подробностям и мельчайшим черточкам. Сам Уайес предостерегает против неверного истолкования его любви к деталям: «...я должен признаться, что именно эта перенасыщенность делает мои картины привлекательными для тех, кто вовсе не понимает искусства и получает удовольствие от натуралистического изображения предметов».

Между тем подробное повествование становится для него основным средством передачи настроения, атмосферы—главного в искусстве Уайеса.

Одна из самых известных его работ — «Мир Кристины». Разбитая параличом женщина ползком передвигается по выжженно-

Бекки Кинг. 1946 г.

му до желтизны нещадным летним солнцем полю. Ощущение тревоги создается и нагнетается художником. С болезненной равнозначностью отмечает взгляд художника кустики коричневых колючек, разбросанные то тут, то там в поле, четкий геометрический рисунок домов на горизонте, их окна и сетку переплета в них, резкие росчерки крыльев воронов, кружащих над амбаром, их скользящие тени, косую тень от приставной лестницы на стене фермы. Белье, взметнувшееся на веревке от внезапного порыва ветра, тонкие колья покосившейся ограды, идеальные овалы колес плуга, разметавшиеся волосы Кристины, жилы, взбухшие на ее тонких руках, стежки дратвы на подошвах, колоски и травинки вблизи, примятые ее ползущим телом, такие же отчетливые вдали у самой линии горизонта...

Иначе воспринимаешь этот же прием в картине «Сторона ветров». (К сожалению, в нашей подборке не удалось воспроизвести эту репродукцию). Чуть подернутое влажными облаками серое небо, зеленый цвет травы приглушен до бурого воздухом непогожего переменчивого дня, старый деревянный дом с острой двускатной крышей, застывший и настороженный, затененная стена сарая, его фундамент из белесого бута, покрытого рыжеватым мхом, три старых жестяных ведра, брошенных кем-то, тонкий рисунок серебристых водосточных труб... Тень сарая падает на дом и на траву, одно из окон, находящееся против света, тускло отражает небо, темная нить туго натянутой бельевой веревки как бы перечеркивает картину — все вместе создает то мгновенное, длящееся доли секунды ощущение тишины в мире, затаившегося летнего дня, атмосферы одновременно устойчивости и зыбкости, радости и безотчетной грусти, покоя и неожиданной тревоги. Уайес словно пытается придать постоянство переменчивым вещам в мире и хотя бы в творчестве своем побеждает время. Желание скорее запечатлеть момент, пока он не стал тускнеть, пока «сейчас» не превратилось в «минуту назад», в «месяц назад», в «когда-то», пока он не стал неуловимым, преследует Уайеса. Единственный возможный для него способ воссоздать чувство момента — это закрепить, запечатлеть все как можно точнее, дойдя до той границы точности, где она перейдет уже в новое качество.

Картины Уайеса невелики по размерам, требуют долгого и внимательного разглядывания. Он не выбирает для них ни необычных сюжетов, ни волнующих событий, ни красивых величественных пейзажей. Дороги, развезенные осенней беспутицей, речные отмели с песком, усеянным мелкими ракуш-

ками, сараи и фермы, сложенные из порыжелого камня или потемневших от времени бревен, жители ничем не примечательной наружности и обычной судьбы — постоянные обитатели картин художника. Иногда даже может показаться, что он страшно далек от сегодняшнего дня, его тревог и волнений, но, вглядевшись внимательнее, начинаешь понимать, что сам Уайес, его творческий путь и его жизнь обусловлены, предрешены своей эпохой и зависимы от нее, принимает он ее или нет. Проблемы современной Америки в творчестве Уайеса никогда не ставятся прямо и непосредственно. Он решает их как бы «от противного», негативно, но его творчество становится одним из симптомов середины нашего века. И в своей позиции Уайес—явление не единичное. Его поиски и раздумья совпадают в этом смысле с размышлениями многих американских писателей — Шерли Энн Грау, Бредбери, Апдайка и других,— тех, кого волнует тема старой провинциальной фермерской Америки, тема прошлого и его отношения с настоящим. Проблему эту решает и Бредбери в повести «Вино из одуванчиков», и Джон Апдайк в романе «Ферма», и Шерли Энн Грау в романе «Стерегущие дом». Как будто со страниц их книг сошел и сам Эндрью Уайес.

Стремление возвратиться к земле, чтобы предаваться неспешным размышлениям и раздумьям, желание решать лишь наиболее важные вопросы существования, не разменниваясь в суете городской повседневности, сближает творчество этих писателей и Эндрью Уайеса. Уайес вовсе не желает повернуть время вспять и превратиться в смешную и нелепую преграду на его пути. Он лишь показывает, что прошлому были присущи такие черты и свойства, в которых через некоторое время человечество будет остро нуждаться. И в этом Уайесу необычайно близок его ровесник и единомышлен-

Охотник. 1943 г.

Внучка. 1956 г.

ник писатель-фантаст Рэй Дуглас Бредбери. В их личной жизни, в их пристрастиях и характерах, в их творчестве есть множество поразительных совпадений. Вероятно, и Уайес вслед за Бредбери мог бы сделать слова Йитса «Человек влюблен, ему дорого все, что уходит» эпиграфом ко всему своему творчеству, его девизом и оправданием.

Как выход, как забрезжившую надежду, как обещание Уайес и Бредбери находят нового героя — мальчика. У Бредбери мальчишкам то открывается вся мудрость и все чудеса мира («Вино из одуванчиков»), то человечество и его судьба ждут решения десятилетнего мальчика («Каникулы»), то ему вверяется будущее цивилизации и культуры («Улыбка»), и, наконец, Бредбери пишет рассказ «Здравствуй и прощай», в котором воплотилась его грустная и недостижимая мечта о вечном мальчике. В картинах Уайеса «Мечтатель», «Над проливом», «Молодая Америка», «Жареные каштаны», «Сын Альберта» мальчики — тот же исток всего будущего. Уайеса особенно привлекает в них то, что они находятся еще в мимолетной и зыбкой стадии предыстории, что они еще не тронуты мучительным страхом жизни. В них — радость начала, неустойчивая нежная незавершенность. В них — шемящая грусть скорого окончания детства. В них — обещание продолжения жизни. И тут Уайес встречается с проблемой «молодой Америки», которая так волнует Сэлинджера, Уэбба, Ли Олдса и многих других писателей. Герой Уайеса, которому завещается весь мир, бесконечно одинок. Единственная его ценность — это короткая и мимолетная пора детства. Как бы внезапно появившимся и готовым вот-вот исчезнуть изображает его Уайес. Ни Уайес, ни Бредбери не знают, как решит свою судьбу и судьбу земли этот мальчик.

Беспечный, одинокий и грустный, неизвестно откуда, неизвестно куда едет по совершенно пустынной земле на своем легком прозрачном велосипеде сын фермера — соседа Уайеса, превратившийся для художника в символ будущего Америки («Молодая Америка»). Над пустынным и беспредельным пейзажем с лесами на дальнем горизонте высится поросший невысокой сухой травой холм. Сюда, на безлюдный, высокий берег вышел тонконогий, на цаплю похожий мальчик («Над проливом»). Он стоит, скрестив за спиною руки, готовый в любую минуту побежать, или, быть может, даже полететь, или просто забыть об этом моменте, когда он стоял наедине с пустынным миром, с собою и своей неведомой, готовой свершиться судьбой...

Мы надеемся, что наша публикация — лишь начало знакомства с творчеством американского художника, влюбленного в прошлое, встревоженного сегодняшним днем, пытающегося угадать, что принесет неведомое завтра.

Елена МАТУСОВСКАЯ

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ТРУДНАЯ СУДЬБА «ЖЕЛЕЗНОГО ГУСТАВА»

Ганс Фаллада. Железный Густав. Перевод с немецкого Р. Гальпериной. Предисловие Б. Сучкова. Москва, «Художественная литература», 1969. 752 стр.

Роман «Железный Густав» был написан Гансом Фалладой в 1938 году. Шестой год фашистской диктатуры ознаменовался войной в Испании, аншлюсом Австрии, Мюнхенским соглашением, наконец, погромной «хрустальной ночью» 9 ноября. События этой ночи особенно потрясли Г. Фалладу; писатель, все эти годы проживший в Германии, решил эмигрировать. Однако уже в разгар приготовлений Фаллада, как вспоминает его вдова, отказался от этой мысли. «Я не могу,— сказал он,— я не могу покинуть Германию. Я слишком немец, я способен думать и писать только по-немецки; в чужой стране я наверняка больше не смогу писать».

В гитлеровской Германии вышло несколько романов Ганса Фаллады, как всегда полных горечи, сочувствия к судьбам «маленьких людей», исковерканным жизнью, несправедливостями общественного строя. Но критика эта относилась ко временам Веймарской республики — нацисты сами использовали ее в своих демагогических целях. И хотя некоторые из книг Фаллады тотчас по выходе в свет задерживались цензурой, фашисты до поры до времени были заинтересованы, чтобы европейски известный писатель продолжал работать в условиях их режима. А он надеялся, что, избегая прямых столкновений, сумеет и здесь остаться самим собой, сумеет писать в духе прежних своих произведений, не поступаясь совестью.

«Железный Густав» имеет много общего с предыдущими романами Г. Фаллады, однако он шире их по охвату исторических событий. Действие его начинается на другой день после выстрела в Сараеве, 29 июня 1914 года. Семья главного героя книги Густава Хакендаля — хозяина процветающего извозного заведения, бывшего прусского вахмистра, прозванного «железным» за суровую непреклонность характера, подчинившего своей деспотической воле и казарменным порядкам жену и пятерых детей,— быстро оказывается захваченной водоворотом событий.

Живо и достоверно изображает Фаллада взрыв шовинистического угара, бездумного энтузиазма, охватившего Германию в первые дни войны. Столь же убедительно показан затем постепенный — из года в год — процесс отрезвления, утраты иллюзий, ожесточения. Разоряется Густав Хакендаль, у которого забирают лошадей на военные нужды; в конце концов он становится простым извозчиком, едва зарабатывающим на хлеб. Гибнет на войне его старший сын Отто, безвольный и добрый человек. Любимец отца Эрих, пробыв три недели в окопах, оказывается в тылу; взявший его под свою опеку социал-демократический депутат Мейер, беспринципный политикан, лицемер и демагог, сначала помогает Эриху сделать карьеру и разбогатеть, а затем разоряет; Эрих Хакендаль скатывается на самое дно преступного мира. Становится проституткой другая любимица Густава, младшая дочь Эва, попавшая в цепкие лапы вора и сутенера Эйгена Баста. Удачней, казалось бы, складывается судьба старшей дочери, Зофи, совладелицы крупной клиники; но жизнь ее холодна, по-человечески скудна — она тоже не чувствует себя счастливой.

Только самому младшему из Хакендалей,

Гейнцу, среди всех мытарств, которые ему приходится испытать на тягостном пути безработного (с такой щемящей горечью уже описанном Фалладой в романе «Что же дальше, маленький человек?»), удается сохранить душевную чистоту, доброту и порядочность. Нравственная стойкость человека — вот главное, на что, как и в прежних своих произведениях, возлагает надежды Г. Фаллада, вот что противопоставляет он этому безжалостному миру, корежащему людские судьбы. Путь активного, организованного сопротивления как бы оказывался в стороне от его писательского взгляда.

Что ж, нравственная стойкость — это не так уж мало, детям Густава Хакендаля ее действительно не хватило. Они упрекают отца: это он своей деспотической муштрой с детства подавил в них собственную волю, способность к сопротивлению. Писатель и сам не снимает с Железного Густава ответственности за трагическую судьбу его семьи, он не сглаживает тяжких черт этого воспитанного в прусской казарме характера. Но авторское отношение к нему отнюдь не однозначно. По мере чтения мы невольно начинаем испытывать некоторое уважение к этому человеку, которому тоже досталось немало ударов от судьбы, но который сумел сохранить в себе какой-то необходимый внутренний стержень, достоинство, мужество, честность, и эпитет «железный», вызывавший у нас до поры только неприязнь, постепенно открывается в ином, достойном уважения, качестве.

Как бы символом стойкости старого извозчика становится конный пробег из Берлина в Париж и затем обратно, который семидесятилетний Хакендаль предпринимает на своей пролетке. Отчаянное путешествие оказывается триумфальным; какое-то время оно кажется кульминацией в его судьбе, да и в сюжете романа. Но в жизни Густава это ничего не меняет; едва вернувшись, он снова начинает возить пассажиров. Что ждет дальше его и его детей? Трудно сказать...

В издании 1938 года роман кончался тем, что наиболее привлекательные его герои, Густав и Гейнц Хакендали, приходили в нацистскую партию и здесь обретали решение всех проблем. Искусственность, неорганичность этого нелепого финала были очевидны. Уже после войны из автобиографических записей, сделанных Фалладой в 1944 году, стала известна история этой концовки. «Железный Густав» был написан по заказу кинофирмы «Тобис»; на основе романа был сделан киносценарий, с которым ознакомился лично Геббельс. Он и потребовал новой концовки. «Если бы я предвидел такое,— в отчаянии писал потом Фаллада,— я бы никогда не принял этого заказа». Но требование было поставлено жестко, после короткой борьбы с собой писатель согласился. «Я не люблю красивых жестов; убить себя перед троном тирана, бессмысленно, не принеся никому пользы, во вред своим детям,—это не по мне... я принял дополнительное поручение. Месяц, когда я писал этот хвост, обведен в моем календаре черными чернилами».

Многими черными месяцами и годами заплатил Фаллада за свою капитуляцию; до конца войны он уже не создал ничего, достойного своего таланта. Кстати сказать, фильм о Железном Густаве так и не вышел на экраны, а тираж романа гитлеровцы изъяли из книжных магазинов. Слишком уж он был пронизан духом столь ненавистного им «прогнившего гуманизма» — этого нельзя было выскрести никакими поправками.

Уже после смерти Фаллады литературовед из ГДР Гюнтер Каспар реконструировал первоначальный текст «Железного Густава».

Но вот теперь мы дочитываем роман, уже зная об этой насильственной концовке — и сами не можем не задуматься над тем же вопросом: а разве и впрямь невозможен был такой финал, разве в реальной жизни такие, как Гейнц, не могли прийти к фашистам? Разве не попадались на их демагогию многие субъективно неплохие люди, отчаявшиеся за долгие годы безработицы, испытавшие социальную несправедливость, разочаровавшиеся в своих правителях,— в романе Фаллады этому посвящено немало впечатляющих сцен, и мы знаем из истории, что это копившееся годами озлобление использовалось фашистами. В «Железном Густаве», как и в других произведениях писателя, показаны объективные обстоятельства, способствовавшие захвату власти реакцией, и в этом одно из его достоинств. Фальшь навязанной концовки была в том, что фашизм отнюдь не означал выхода — он вел к трагедии еще более жестокой, вел к краху, и рано или поздно люди это осознавали.

И все-таки, пожалуй, не только в этом. Ибо то человеческое достоинство, та внутренняя сила, которыми наделен был старый Густав Хакендаль, думается, помогли бы ему устоять и перед ложью фашизма. И не только устоять, но и противостоять.

В предисловии к роману справедливо отмечается глубинная общность Густава с героем последнего романа Фаллады «Каж-

дый умирает в одиночку» (1947) — Отто Квангелем, суровым, много испытавшим человеком, который поднялся на борьбу против фашистского государства: «Как личность и как характер Густав выкован из того же железа». Но образы Квангеля и его жены — это уже новый этап в миросозерцании Фаллады; чтобы прийти к нему, надо было пережить «Густава». Действия Квангелей — не организованная борьба, это сопротивление отдельных людей, почти наверняка обреченное на поражение,— но это уже борьба, уже сопротивление, без которых самые лучшие душевные свойства не избавляют от бессилия и позора. Вот вывод, к которому приходит в итоге жизни писатель, вот к чему он приводит героев своего последнего романа. И трудный опыт «Железного Густава» в известном смысле явился здесь ключевым; он помогает многое понять как в предшествующем, так и в последующем творчестве Фаллады, демонстрируя и слабости его, и внутреннюю силу, которая позволила писателю достойно завершить свой творческий путь.

М. ХАРИТОНОВ

УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО ЗЛА

Уильям Голдинг. Повелитель мух. Перевод с английского. «Вокруг света», №№ 7—11, 1969.

Журнал по преимуществу юношеского круга чтения, «Вокруг света» опубликовал перевод романа английского писателя Уильяма Голдинга, который, пожалуй, естественнее было бы видеть в издании для взрослого читателя. Читать эту книгу интересно, но трудно, а чем ближе к концу, тем труднее. Страдания детей — вообще мучительный, кровавый сюжет в литературе. Недаром Достоевский муками малых сил объяснил бунт своего героя против бога и его отказ от билета на вход в царство мировой гармонии. Но когда дети жестоки со своими товарищами, когда они мучают и убивают друг друга — читать это почти непереносимо.

Толстой говорил: дети — увеличительное стекло зла,— в том смысле, что то, что нехорошо по отношению ко взрослым, ужасно в отношении детей. Но не ужаснее ли во сто крат, когда дети сами, сознательно или неосознанно подражая миру старших, переносят в свои отношения и детские игры всю жестокость взрослого мира?

Уильям Голдинг придумывает условный сюжет, будто ставит опыт, обостряя до предела все отношения и противоречия современной ему жизни. Дети, одни дети оказываются на необитаемом острове, затерянном крохотной точкой в просторах Тихого океана. Их появление на острове мотивировано автором скверно, условно, с нарочитой небрежностью. Где-то бушует чудовищная война с атомными взрывами, и, как можно угадать, самолет, спасающий английских школьников, терпит бедствие в океане. Никто из взрослых не уцелел, пилот сгорел, все или почти все дети каким-то чудом спаслись и теперь находят друг друга на тоненькой полоске пляжа, среди скал, в путанице лиан прибрежного леса. Это, конечно, условное допущение, одно из многих допущений, какие будут встречаться в романе и дальше, но они дадут автору возможность развернуть его пессимистическую робинзонаду, не жертвуя ни одним из оттенков отношений, возникающих обычно между детьми в их играх, соперничестве, вражде и дружбе.

В истории детей можно увидеть притчу, имеющую в виду взрослых. Но Голдинг помнит, что дети есть дети, и их желания, страхи, фантазии рисует с психологической правдой, заставляющей читать его книгу не как аллегорию — как реалистический роман.

Вот они, потерянные и боящиеся одиночества, без матерей и отцов, без учителей и наставников, соединяются на морском берегу и инстинктивно тянутся, жмутся друг к другу. К чувству страха и беззащитности примешивается детская радость делать, что хочешь, веселье полной свободы без старших, внезапной самостоятельности, к которой всегда стремятся подростки. Как дружно и весело, с каким энтузиазмом обследуют мальчики *свой* остров, убеждаясь, что они единственные его хозяева!

Как и обычно в любом ребячьем сообществе, среди них начинают вскоре выделяться более самостоятельные и яркие фигуры. Это прежде всего Ральф — двенадцатилетний мальчик, энергичный, ловкий и смелый. И как всегда в мальчишечьих играх, рядом с д'Артаньяном должен объявиться его рассудительный и верный слуга Планше, а рядом с Дон Кихотом — Санчо Панса, Ральф находит себе преданного товарища в толстом мальчике в очках с обидным школьным прозвищем Хрюшка.

Ральф становится вождем по свободному выбору ребят, и он придумывает то, что соединит всех: надо строить хижины, чтобы укрываться ночью от холода и дождя, и надо развести большой костер, дым которого мог бы привлечь проходящие в океане корабли. Дети ободрены, успокоены: теперь им светит надежда, их усилия объединены, голова и руки заняты. Отряд мальчиков уходит в лес охотиться на диких свиней. А на вершине горы начинает пылать костер, изобретательно зажженный Ральфом с помощью стеклышка очков Хрюшки.

Но эта идиллия живет недолго. Постоянно поддерживать огонь в костре нелегко, а строить хижины — утомительно и скучно.

Трудности, страх, опасности, поначалу объединившие ребят, начинают вскоре свою разрушительную работу, подтачивают солидарность, вызывают к жизни смутно дремавшие инстинкты. И первыми дичают «охотники» во главе с Джеком Мерридью.

Убийство свиньи, кровь, азарт и ярость погони — все это мало-помалу развращает их, делает из них маленьких дикарей, готовых на чудовищные по жестокости поступки. «Повелитель мух» — мертвая свиная голова на палке, обсиженная мухами,— страшное пугало, которое разрушает душу и позволяет все.

Что, однако, за сила делает благопристойных английских мальчиков, певших в церковном хоре, дикарями, разрушителями? Отчего Джек так легко перетягивает в свою дикарскую вольницу большинство ребят? Первое, что позволяет увидеть автор: чувство мальчишеской солидарности так же сильно в зле, как и в добре. Джек Мерридью — малый достаточно волевой, жестокий и твердый, чтобы увлечь ребят за собою и держать всех в узде. Его приманка — не только жареная свинина, но сладость полного подчинения авторитету вождя, освобождения себя от ответственности, от страха перед жизнью, растворение в стадном чувстве. Он помогает ребятам расстаться с угрызениями совести: раскрасив лицо цветной глиной, «охотники» теряют личное «я», они как бы надевают на себя некую форму, всех уравнивающую и разрешающую им все.

Ральф и Хрюшка во всем превосходят Джека, уступая ему только в одном — ему ничего не стоит переступить через жестокость, избить малыша, разбить очки Хрюшке. «На кой черт нам эти законы... Мы сильные... мы охотники!» — кричит Мерридью, и многие ребята соглашаются с ним, потому что все созидательное и доброе стоит усилий и труда, а все разрушительное — легко и весело. Юный ницшеанец приобщает ребят к крови, связывает их круговой порукой.

Ребята боятся зверя, который может спуститься с горы, выйти из лесной чащи, но зверя надо бояться внутри себя. Так говорит автор, не опасаясь, что его упрекнут в пасторской нравоучительности.

Измученные страхом и неуверенностью души инстинктивно ищут защиты в стадном чувстве. Самое страшное — это остаться одному. И когда Саймона, бежавшего рассказать им о своем открытии, что не злой зверь, а пугавшая всех тень на горе — это всего лишь купол парашюта, когда тихого, доброго Саймона забивают насмерть в остервенении ритуальной пляски, самое страшное, что этот дикий хоровод втягивает в себя всех и даже Ральфа с Хрюшкой, которые потом, опомнившись, вспоминают об этом как о каком-то безумном, чудовищном сне.

«Охотникам», подчинившимся власти Джека Мерридью, кажется, что они счастливы: не надо ни о чем думать, они поют, танцуют, объедаются жареной свининой. И с наслаждением размазывая жир по лицу, они, словно слепые и глухие, никак в толк не возьмут то, что говорит им Ральф, что подсказывает здравый смысл: надо всем объединиться и заботиться о костре, иначе никто не увидит его дым и никто не придет им на помощь.

Сам Джек, охотясь с азартом и завоевывая власть над ребятами, забывает о главной их цели — спасении с острова. У него уже нет сил повернуться и оглядеться вокруг себя: охота на кабанов поглощает его всецело, забота о своей власти и престиже превращается в самоцель. Ребята же все точно захмелели от этого зелья, в котором смешаны жестокость и подчинение; все можно, что разрешает новый вождь, а нужно лишь то, чего он требует. Тот, кто напоминает о прежней цели, неприятен им, становится их врагом, и они, дичая, истребляя друг друга, несутся к верной гибели.

Читатель Голдинга с волнением следит, как жалкая горстка миссионеров добра во главе с Ральфом движется по берегу к неприятельскому лагерю, чтобы попытаться в последний раз уговорить обезумевших ребят. Беспомощный Хрюшка, несущий в руках морской рог — символ былой ребячьей республики,— со святой наивностью и детской верой в добро надеется переубедить Джека: «Я пойду к нему с рогом. Я покажу его. Слушай, скажу я, ты сильнее меня и у тебя нет астмы. Ты, скажу я, видишь обоими глазами. Но я не стану просить, чтобы ты отдал мне очки из милости. Упрашивать тебя я не стану, скажу я, и не потому, что ты сильный, а потому, что справедливость есть справедливость. Отдавай мои очки, скажу я, ты должен отдать!»

Но тщетно. Их не слушают, им улюлюкают, угрожают... Ужасен конец Хрюшки, предательство близнецов — Сэма-и-Эрика, волчье одиночество Ральфа. Ребята травят своего бывшего вождя как дикого зверя, и он сам превращается в звереныша в попытках спастись от погони. Обезумевшие преследователи отрезают ему все пути, поджигая кусты, в которых он прячется, и выкуривая его дымом. В азарте преследования они не замечают, что огонь грозит уничтожить все живое на острове и оставить их самих без пропитания и крова.

В масштабе маленького острова им грозит всеобщая катастрофа, что-то вроде конца света в миниатюре.

Какие мучения, страхи и мрачные предчувствия должны были угнездиться в психике современного Голдингу человека Запада, чтобы в середине нашего столетия мог появиться этот антипод старым утопиям и пересахаренной литературе для детей — поистине детский роман XX века.

Для автора необитаемый остров — идеальная колба, где можно поставить свой социальный опыт и, как говорят ученые, in vitro проследить процесс расчеловечивания, возвращения диких инстинктов и первобытных побуждений. Стоит порушиться привычным обстоятельствам, освободиться от авторитета взрослых, воплощающего в данном случае у Голдинга всякий общественный гуманистический контроль, как мгновенно начинает таять тонкий слой цивилизации, не только привнесенный воспитанием, но и тот, более глубокий слой, что намыт в человеческой психике эволюцией нескольких тысячелетий.

Сам Голдинг тяготеет к объяснениям вне-

социальным. Но в книге различим и социальный момент, связанный с критикой современной буржуазной цивилизации. Джек Мерридью яростно отстаивает свое первенство, стремится верховодить, не брезгуя при этом никакими средствами, потому, между прочим, что знает: так поступают люди в знакомом ему мире взрослых. Отчаянная борьба за власть, культ насилия, игра на инстинктах толпы, освобождение от совести с помощью обезличивания — все это переимчивый подросток, и не тая в крови, мог усвоить из жизненной практики старших.

Предупреждение писателя тем более важно, что недобросовестные и отравленные человеконенавистнической философией взрослые люди научились широко использовать во зло некоторые свойства податливой, пластичной психики подростков. Не отсюда ли грозная легкость эпидемии хунвэйбинства, бойскаутская исключительность и нетерпимость, военизация детских коллективов, сулящая веселую игру, но постепенно опасно подчиняющая юное создание?

В конце романа автор, нагнетавший чувство безысходности, словно бы вдруг пожалел читателя и дал Ральфу, а заодно и остальным ребятам возможность спастись. Похоже, что это произошло в силу чудесного закона утешающей поэзии, о которой говорится в балладе Жуковского:

...здесь несчастье — лживый сон,
счастье — пробужденье.

Офицер британских морских сил с якорем на фуражке выходит с катера навстречу Ральфу в тот момент, когда, преследуемый оравой мальчишек с копьями наперевес, отрезанный полосой огня и дыма, обессиленный, задыхающийся, он выскакивает к морю, на узкую полоску прибрежного песка. Ребята видят катер, видят матросов с автоматами и будто на глазах изреживается и пропадает кровавая пелена, застилавшая им свет. Недавно еще дико оравшая и преследовавшая своего товарища толпа маленьких негодяев превращается вдруг в кучку оробевших школьников, длинноволосых, грязных и смущенных своим одичанием.

Ральф объявляет себя главным среди них, и Джек Мерридью с остатками черной шапочки хориста на лбу не решается этого оспорить. Дети мгновенно стряхивают с себя какое-то наваждение, жестокий сон, гипноз, под которым они жили все эти дни.

Тоскливое чувство вызывает эта книга: слишком тонкой оказывается в сознании человека пленка цивилизации, слишком быстро тают привитые воспитанием навыки и группа аккуратных английских школьников превращается в толпу и стадо, слишком легко кровь объединяет, а подчинение освобождает от чувства личной ответственности.

Пессимистичен взгляд художника современного западного мира, и, несмотря на счастливый конец, безнадежностью веет от его книги. Но если писатель садится за рабочий стол и пишет ее, значит надежда не оставила его совсем, значит ему хочется воззвать к людям, предупредить их о всегда грозящей им опасности...

Перевод, появившийся в журнале «Вокруг света», не позволяет, к сожалению, говорить о художественном своеобразии автора. Английский текст как бы наскоро затесан, грубовато обструган в русском переводе — по нему можно угадать мысль книги, понять расстановку и движение фигур, но разговор о художественном мастерстве писателя поневоле придется отложить до другого случая.

В. ЛАКШИН

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ОРАТОРИЯ О СУДЬБЕ ПОЭТА

Stephan Hermlin. Scardanelli. "Sinn und Form" № 3, 1970.

Имена великих поэтов вызывают в памяти поколений давно сложившиеся, традиционные образы. Не задумываясь, можно представить себе величественного старца Гёте в удобном кресле веймарского министра, романтически-болезненного Шиллера или саркастически улыбающегося Гейне... Фридрих Гёльдерлин, проживший исключительную по трагичности жизнь, предстает в воображении одиноким странником, идущим по бесконечным дорогам, ищущим в тревожном и мелочном мире заветные цели и недостижимые идеалы. В этом году исполнилось двести лет со дня рождения великого немецкого поэта. Удивительный жребий выпал на долю Фридриха Гёльдерлина (1770—1843). Едва достигнув середины земного пути, он лишился рассудка и около четырех десятилетий пребывал в полном безумии. Он потерял все, что составляло привлекательную силу его творческой личности: поэтический дар, чувства глубокой любви и преданной дружбы, наконец самое имя свое. Он перестал ощущать себя Гёльдерлином и укрылся, как под черной маской, под странным псевдонимом — Скарданелли.

Наш современник, немецкий поэт Стефан Хермлин, чья поэзия родственна высокой патетике Гёльдерлина, написал к юбилейным дням радиопьесу «Скарданелли». Уже само заглавие определяет избранное автором место и время действия. Одинокий поэт живет в доме тюбингенского столяра Циммера, куда поселили его родные и друзья. В башенке-мансарде с крошечными окнами, выходящими на реку Неккар, проходят томительные десятилетия. Но для башенного отшельника время остановилось. Человек острой мысли, он как бы нарочито обессмысливает сузившуюся для него действительность, принимает немногих посетителей, приветствуя их нелепыми титулами.

Тихий плеск реки за окнами, жалобные аккорды недоигранной на клавесине мелодии, глухой голос безумца, мало напоминающий звонкую поэтическую речь восторженного юноши в прошлом, скрип половиц и крутой деревянной лестницы—вот звуковой фон радиопьесы Стефана Хермлина. Это произведение написано необычно — здесь почти нет диалогов, ибо главный герой не способен их вести. Отдельные реплики, скрещение мыслей, едкие контроверзы друзей и врагов Гёльдерлина составляют словесный материал оратории Стефана Хермлина о судьбе поэта. Благодаря лаконичности выразительных средств внимание слушателя (пьеса написана для слуха) сосредоточивается на том главном, что составляет и основу жизни поэта, и существо его внутреннего мира. Когда-то другой поэт — безумец, современник Гёльдерлина Генрих Клейст сказал: «Во мне все спутано, как волокна льна в прялке». Это же можно сказать и о мерцающем, мучительно расслоенном сознании Гёльдерлина, утратившего рассудок.

Стефан Хермлин пользуется приемом, который можно было бы назвать монодрамой. Все, что проходит перед слушателями, преломлено сквозь лишенное логических законов раздробленное мышление Гёльдерлина. Больной поэт не в состоянии охватить пройденный жизненный и творческий путь во всей целостности. Словно пучок лучей, прорезывающих темноту, вспыхивают разрозненные воспоминания, и, разумеется, не в их хронологической последовательности, а по ходу каких-то сложных и порой случайный ассоциаций. И как бы искусно Стефан Хермлин ни строил свою ораторию, от слушателя может ускользнуть смысл — и прямой, и подспудный — отдельных реплик, если не помнить биографических фактов поэта и событий его эпохи.

Фридрих Гёльдерлин родился в маленьком городке Лауффене, в Швабии, на берегу Неккара. Он происходил из старинного бюргерского рода, где было несколько поколений духовных лиц. Его отец, умерший, когда мальчику исполнилось всего два года, занимал должность управляющего монастырскими угодьями. Овдовевшая мать (ей было 24 года) вторично вышла замуж за нюртингенского бургомистра Гока. От второго брака родился сводный брат Гёльдерлина — Карл Гок. Стефан Хермлин, делая Карла одним из действующих лиц, как бы противопоставляет его практический, очень «земной» характер романтически восторженной натуре Фридриха.

С юных лет Фридрих резко выделялся природной мягкостью, мечтательностью и склонностью к музыке и поэзии. В рассудительной практически-филистерской семье мальчик чувствовал себя одиноким и непонятым. Еще острее оттенилась эта отчужденность, когда Фридрих учился в Денкендорфской духовной школе, в школе Маульброниского монастыря, а потом в Тюбингенской духовной семинарии. Казалось, заранее предрешен жизненный путь — Фридрих должен стать проповедником. Кроткая любящая матушка Гок в мечтах видела своего сына викарием большого прихода, любимцем прихожан. А он никак не мог примириться с суровой обстановкой монастырских стен и зубрежкой церковных текстов.

Чем больше развивался сосредоточенный в себе, живший богатой духовной жизнью юноша, тем сильнее отходил он от сотоварищей-семинаристов, не понимавших его горячих мечтаний. Знакомство с философскими системами древних греков увлекло молодого Гёльдерлина. Он преклонялся перед античностью и видел свой идеал гражданственности в общественном строе государств-городов — Афин и Спарты. Контраст между идеализированными поэтом представлениями о свободе, внутренним богатством человеческой личности и угнетенным положением, в котором находилась вотчина герцога Вюртембергского и других немецких князьков, постоянно мучил его. Он жил мыслями о предстоящих подвигах на благо человечества. Все это было созвучно идеям его друзей, будущих философов — Шеллинга и Гегеля, учившихся в Тюбингене. Вместе с ними в ознаменование годовщины взятия Бастилии он участвовал в посадке «дерева свободы».

«Тюбингенские гимны» Гёльдерлина, рожденные в годы Французской революции и под ее влиянием, дышали патетикой освободительной борьбы и ненавистью к тирании.

Вместе с молодыми поэтами-друзьями, восторженными юношами Людвигом Нейфером и Рудольфом Магенау, Гёльдерлин был одержим самыми высокими чувствами любви к свободе и надежды на близкий крах феодального деспотизма.

Стефан Хермлин пользуется документами эпохи, произведениями Гёльдерлина и его письмами, чтобы красноречиво показать настроение поэта во время Французской революции, принципам которой он остался верен до конца сознательной жизни. Юный Гёльдерлин зорко следил за борьбой революционной Франции против австро-прусской реакции. Он писал сестре: «Верь мне, дорогая сестра, если австрийцы победят, для нас наступят тяжелые времена. Произвол князей будет ужасен. Поверь мне и молись за французов — защитников прав человека».

Атмосфера революционного энтузиазма возникает в радиопьесе всякий раз, когда воспаленная мысль больного Гёльдерлина возвращается к поре его юности. И наряду с этим — милые воспоминания о Луизе Наст, двоюродной сестре друга поэта, Иммануила Наста. Недолгая любовная идиллия, когда молодые люди обменивались письмами в стихах и клялись в вечной дружбе, оборвалась, вернее всего, из-за мучительной неустойчивости характера Гёльдерлина. Он приходит к решению вернуть кольцо Луизе и никогда не жениться.

Юноша сообщает родным свое намерение навсегда отвергнуть ненавистную ему профессию пастора. Получив диплом магистра богословия, Гёльдерлин становится домаш-

ним учителем. Для свободомыслящего образованного молодого человека это единственный путь, возможный в Германии его времени.

Стефан Хермлин воскрешает голоса «хозяев» поэта, живущего в разных домах на скромном положении гувернера. По рекомендации Шиллера, перед которым тогда преклонялся молодой поэт, он попадает в дом майора фон Кальба и его жены Шарлотты фон Кальб, одной из образованных женщин века, друга Гёте и Шиллера. В этом доме, где все дышало любовью к поэзии, Гёльдерлин писал стихи и роман «Гиперион». Он решил создать «эпопею человеческого духа», наметить и определить путь человечества к совершенству. И не случайно фоном для романа служит борьба современной поэту Греции против турецкого ига. Эту борьбу Гёльдерлин представлял себе как столкновение мира гармонии и красоты с миром варварства и жестокости. Мятущаяся натура Гипериона во многом напоминала самого поэта, терзаемого вечным волнением за судьбу родного народа и всего человечества. Пройдут годы, и за этим первым фрагментом романа «Гиперион» последуют новые, свидетельствующие о неистовых поисках поэта, создающего циклопический труд своей жизни. Уже в безумии, живя в башне столяра Циммера, поэт, по свидетельству современников, иногда перечитывает «Гипериона» и восклицает: «Как это прекрасно!»

Образы романа — девушка Диотима, чуткая, утонченная подруга Гипериона, и его друг Алабанда, вначале единомышленник Гипериона и мужественный боец, затем становящийся на путь авантюризма,— приобретают обобщающую силу. В многослойном произведении, до краев насыщенном философскими мыслями века, отражены и высокие порывы к свободе, и мысль о необходимости борьбы за независимость в современной поэту Германии, и горькое сознание того «немецкого убожества», которое, по известному выражению Энгельса, вообще нельзя победить «изнутри». Страстные слова поэта о разобщенности соотечественников, произносимые Гёльдерлином, автор радиопьесы берет из «Гипериона». И оттуда он черпает веру Гёльдерлина в будущее, его обращение к потомкам, когда «все предуготовляет наступление лучших дней».

...Угасает воспоминание о короткой поре душевного равновесия в доме Шарлотты фон Кальб в Вальтерсхаузене, близ Мейнингена. На смену приходит трагический эпизод любви поэта к Сюзетте Гонтар, жене франкфуртского банкира Якоба Гонтара, в доме которого Гёльдерлин живет все на тех же правах воспитателя детей.

Младший современник Гёльдерлина, увлеченный, как и он, античностью, писатель Вильгельм Вайблингер (1804—1830), оставил ценнейшие свидетельства о жизни и творчестве поэта (Wilhelm Waiblinger. Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn, 1830). Недаром Стефан Хермлин в радиопьесе отводит ему ведущую роль. Историки немецкой литературы единодушно утверждают, что Вильгельм Вайблингер, умерший в 26-летнем возрасте на чужбине, в Риме, не успел осуществить свои огромные творческие возможности, свое незаурядное дарование. Действие радиопьесы относится примерно к 1826 году. Это приблизительно то время, когда Вайблингер учился в Тюбингенском университете. В своих вышеназванных воспоминаниях Вайблингер писал об отношениях Гёльдерлина и Сюзетты Гонтар, прозванной поэтом Диотимой: «...Это была мечтательная душа. Живая и темпераментная женщина, она очень быстро почувствовала силу грациозной и страстной природы молодого человека. Через небольшой промежуток времени Гёльдерлин со своей флейтой, клавиром и мандолиной, со своими нежными песнями, сентиментальным обращением, изящной фигурой, чудесными глазами и молодостью, со своим необычайным талантом и богатой фантазией завоевал полностью сердце этой впечатлительной женщины.

Гёльдерлин сам полюбил так же сильно и мечтательно. Он весь загорелся и закипел. Это было какое-то любовное безумие; и даже через двадцать с лишним лет были найдены у него письма, которые ему писала его любимая Диотима и которые он сохранял все эти годы. Молодой энтузиаст в избытке сил доходил до высшей экзальтации... Он был переполнен самыми высокими платоновскими идеями и совершенно покинул действительность».

На этот счастливый, хотя и краткий период в жизни поэта приходится его необычайная творческая активность. Завершается роман «Гиперион» в двух томах, набросана трагедия «Смерть Эмпедокла», возникают светлые лирические стихи, посвященные Диотиме.

В сентябре 1798 года произошел разрыв Гёльдерлина с мужем Сюзетты. Поэт вынужден был оставить дом банкира. С Сюзеттой он ведет тайную переписку и изредка встречается. Сохранившиеся письма Сюзетты дышат заботой о любимом человеке, насильно оторванном от нее.

Автор радиопьесы включает отрывки из писем Сюзетты и эмоционально воссоздает душевное состояние поэта. Существование Гёльдерлина, не защищенного от житейских бурь, было бы под ударом, если бы на помощь не пришли друзья, и прежде всего самый преданный из них — Исаак Синклер. Это был молодой и одаренный дипломат (шотландского происхождения), убежденный республиканец, вынашивавший идею создания в южной Германии демократического государства.

Сравнительно недавно были опубликованы исторические документы, раскрывающие деятельность тайного республиканского общества «Союз свободных людей» («Der Bund der Freien Männer»). Это общество возникло в Иене в 1794 году. В него входила главным образом студенческая молодежь, поклонники и почитатели Фихте. Од-

ним из деятельных участников этого общества был Исаак Синклер, за что привлекался к суду и находился под арестом. Во время пребывания у Синклера поэт писал, что он вращается в кругу единомышленников.

Исаак Синклер до конца жизни (он скоропостижно скончался в 1815 году во время заседания Венского конгресса) неустанно и нежно заботился о больном друге. В 1804 году Синклер придумывает для своего несчастного друга фиктивную службу — библиотекаря в Гомбурге.

Начиная с 1806 года и до конца своей долгой жизни Гёльдерлин живет в Тюбингене — сначала в психиатрической клинике, потом у столяра Циммера. В. Вайблингер так описал одно из последних посещений Гёльдерлина в башне-мансарде: «Нельзя без удивления глядеть на его профиль, высокий, полный мысли лоб, глаза погасшие, но приветливые. Следы разрушительной болезни коснулись щек, рта и носа. Болезнь выдает себя также в какой-то глубокой и скорбной морщине, прорезавшей лоб. С жалостью и грустью замечаешь судороги, которыми порой подергивается все его лицо, даже плечи и пальцы... К посетителям он обращается не иначе, как называя их «ваше величество», «ваше святейшество» или «милостивый государь, господин патер».

Стефан Хермлин дает представление и о скитаниях Гёльдерлина по Германии, Швейцарии, Франции. До наступления полного помутнения рассудка Гёльдерлин еще пробовал устроиться в разных домах гувернером. Во время пребывания в Швейцарии он узнает о заключении Люневильского мира (9 февраля 1801 года) и встречает эту весть восторженно. «Я верю, что теперь будет по-настоящему хорошо в мире. Я хотел бы видеть новые времена, как и давно прошедшие; все мне сулит радостные дни, дни благостные, спокойные, лишенные страха» (письмо к сестре 23 февраля 1801 года).

Неожиданная смерть Сюзетты Гонтар (22 июня 1802 года), о которой ему сообщил Синклер, окончательно подорвала силы поэта. Одинокий, несчастный, с блуждающим взглядом и всклокоченными волосами, он бродит по дорогам.

В радиопьесе есть эпизод, когда французский генерал Жан Батист Журдан, поставленный во главе армии, вступившей в южную Германию, грозит расправиться с немецкими республиканцами, которые надеялись на революционную Францию. Это исторически верно: французские армии, несшие вначале высокие принципы революции, превратились в оккупантов. Лучшие умы Германии теперь надеялись только на силы своего народа.

В заключение необходимо затронуть вопрос о положении Гёльдерлина в современной ему немецкой литературе. Его творчество не укладывалось ни в рамки веймарского классицизма, ни в прихотливые формы романтической поэзии. Только наиболее чуткие из немецких романтиков заметили поэзию Гёльдерлина. В 1826 году Людвиг Уланд и Густав Шваб издали сборник Гёльдерлина, в который входило семьдесят стихотворений. А. В. Шлегель и Клеменс Брентано оценили поэзию Гёльдерлина, а младшая сестра Брентано, Беттина фон Арним (действующее лицо радиопьесы), посвятила восторженные страницы своей книги «Die Günderode» (1840) поэзии Гёльдерлина. Шиллер вначале благосклонно отнесся к поэту и напечатал несколько его стихотворений и фрагмент «Гипериона». Но вскоре, не без влияния Гёте, заметно меняет отношение к Гёльдерлину. Что касается Гёте, то он с вежливым равнодушием относился к Гёльдерлину. Его поэзия с космическим, с всеобъемлющим мировосприятием была чужда Гёте, который советовал поэту «писать преимущественно маленькие стихотворения». И права Марина Цветаева, писавшая Горькому (27 октября 1927 года), что Гёльдерлин — гений, которого проглядел не только век, но и Гёте.

Мировая слава Фридриха Гёльдерлина и возрождение его поэзии пришли в XX веке, особенно в наши дни. Такому признанию поэта на родине и за ее рубежами много содействовал Иоганнес Р. Бехер, по-новому прочитавший и оценивший его творения. Называя Гёльдерлина **политическим поэтом**, Бехер определил огромную значимость его поэзии для развития немецкой культуры.

У истоков изучения Гёльдерлина и ознакомления с ним советских читателей стоит А. В. Луначарский, как исследователь и переводчик его произведений.

Юбилейный гёльдерлиновский год породил обширную литературу о поэте на многих языках мира. Радиопьеса Стефана Хермлина «Скарданелли» интересна как попытка художественно воссоздать образ сложного, быть может, до сих пор еще не совсем разгаданного писателя. Можно упрекнуть автора радиопьесы в некоторой эскизности создаваемого им характера, в преобладании Гёльдерлина-человека над Гёльдерлином-поэтом. Но Стефану Хермлину нельзя отказать ни в поэтичности, ни в находчивости, ни в своеобразном построении этой талантливой пьесы.

АЛЕКСАНДР ДЕЙЧ

МОЛЧАНИЕ МОНАХА ДОУСОНА

Piers Paul Read. Monk Dawson. London, Secker and Warburg, 1969.

Поставить в центр произведения о сегодняшней Англии молодого католического монаха — нет ли в самом этом выборе героя попытки уйти от сложных проблем современности? Такой вопрос неизбежно возникает при чтении первых страниц романа Пиейрса Поля Рида «Монах Доусон».

Закрытая школа при монастыре бенедиктинцев кажется надежно отгороженной древними стенами обители от грешной мирской суеты. С детства усвоенный кодекс абстрактных добродетелей оберегает душу

юного Эдварда Доусона от таких же абстрактных пороков и соблазнов.

Однако очень скоро становится ясен замысел автора — показать Англию наших дней через восприятие человека наивного и невинного, честного и добродетельного, совершенно не представляющего, какова же в действительности жизнь вне монастырских стен. Давний и беспроигрышный прием обнажения социального зла при помощи «дикаря», впервые открывающего для себя «цивилизованное» общество, по-новому используется автором. Знакомясь с Англией конца 60-х годов вместе с Доусоном, читатель в то же время имеет возможность следить за героем и его нелегким путем познания глазами рассказчика, Роберта Уинтермена, товарища Доусона по школе, ставшего преуспевающим журналистом.

Еще в годы учения проявляются лучшие качества натуры Доусона — целеустремленность и отзывчивость, доброта и сильная воля, еще в школе видит он жизненную цель в том, чтобы помогать людям. Оставшись после окончания школы в ней преподавать, он искренне верит в то, что помогает страждущим молитвами, что несет слово божье своим ученикам.

Однако именно в школе его впервые посещают сомнения в действенности его помощи. Он, например, не понимает, почему в монастырской школе не учатся сироты и дети бедняков и почему год пребывания в ней обходится от трехсот до четырехсот фунтов, что могут себе позволить только обеспеченные люди. Начинают казаться несправедливыми и некоторые от века установленные школьные порядки, когда каждый ученик старшего класса имеет право побить любого младше себя фактически без повода. Объяснения, которые он получает от руководителей школы, его не удовлетворяют, и он уходит в один из столичных приходов. Там истовая вера отца Доусона подвергается новым испытаниям.

Широко раскрытыми глазами пришельца из другого мира смотрит он на тяжелую жизнь в лондонских трущобах, и сознание собственного бессилия переполняет чашу его сомнений: церковь не всегда осуждает творящееся в мире зло, но часто поддерживает его. Сам герой говорит: «Совсем запутываешься, когда узнаешь, что епископы благословляют ружья».

Разрыв с религией и обращение Доусона к журналистике — это не просто перемена профессии. Молитвы как способ переделки мира оказались неэффективными. Его новое оружие — перо, способное искоренить зло и несправедливость в мире. Недаром в первой статье, объясняющей его отказ от сана, Доусон пишет, что «зло в мире имеет природу социальную, а не теологическую».

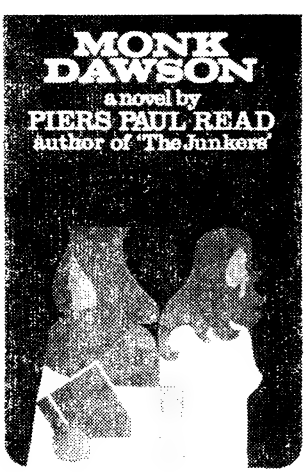
Он спускается на лондонское «дно», ходит по полицейским участкам и судам, пишет о ворах и проститутках, стремясь привлечь внимание общества к его изгоям. Он верит, что все люди от природы хороши, а «сомневаться в этом — и есть зло».

Но благородные побуждения «дикаря» по закону «жанра» в какой-то момент должны неминуемо встретить непонимание и противодействие со стороны «цивилизованного» общества. Причины поражения Доусона в этом столкновении последовательно и ненавязчиво вскрывает рассказчик, «из-за кадра» комментирующий поступки героя. Именно он впервые называет Доусона «убежденным либералом, которого одинаково огорчало существование как преступников, так и полиции». И пока он не пытается выйти за рамки либерализма, хозяева Флит-стрит не лишали его видимости свободы писать о чем он хочет.

Однако стоило ему в очередной статье изложить точку зрения руководителя бастующих рабочих, как сразу же возникли неожиданные для либерала и идеалиста Доусона затруднения. Ему, связанному контрактом, приходится согласиться выпустить эту статью в свет в искажающем ее смысл виде. И этот путь борьбы со злом и помощи страждущим оказывается иллюзорным.

Так же иллюзорно и непрочно и личное счастье простодушного Доусона. Его возлюбленная Дженни Стэнтен, богатая и сумасбродная женщина, которой надоели однообразные лондонские поклонники и увеселения (и Доусон-то привлек ее только потому, что совсем не походил на ее знакомых), оставляет его и в поисках новизны уезжает с молодым американцем в Венесуэлу, чтобы вступить в ряды партизан.

Рассказывая о приключениях Дженни в Венесуэле, Рид выгодно отличается от многих молодых интеллигентов из числа «новых левых». Он трезво оценивает чисто внешнюю архиреволюционность определенной части западноевропейской молодежи и ее поверхностное увлечение теориями и «романтикой» партизанской войны. Он знает, что этими молодыми людьми чаще всего движет не глубокое понимание закономерностей революционной борьбы, а охота к перемене мест и жажда острых ощущений.



То ли венесуэльская полиция, то ли, как мимоходом замечает автор, американская секретная служба следит за Джении и ее спутником. В тот же день, когда они находят партизан, лагерь окружают. Партизанский отряд разгромлен, а Дженни после недолгого домашнего ареста благополучно возвращается на родину.

Тяжело переживая крушение своей новой веры и измену Дженни, Доусон связывает судьбу с другой женщиной. Их брак без любви неудачен. Тереза, человек ограниченный, не в состоянии понять его мучительных раздумий о смысле бытия. Они становятся все более и более чужими друг другу, и в конце концов Тереза кончает самоубийством. Совершенно измученный и запутавшийся, Доусон вновь обращается к богу. Он вступает в монастырь траппистов, принимающих обет молчания.

В поисках истины Доусон прошел полный круг: от по-юношески восторженной веры в бога как во всемогущую высшую силу до сознательного отрешения от мира и возвращения к религии, как к последнему убежищу от жестокости мира. Ему нечего больше сказать людям, ему остается только молиться и молчать.

Думается, что к эскепизму Доусона Рид относится критически, что видно хотя бы из того, что он предоставляет своему герою возможность избрать путь активного противодействия социальному злу.

И тут особое значение приобретает разговор Доусона с руководителем бастующих рабочих, коммунистом Маккеоном. Доусон едет на встречу с ним, полный чисто буржуазных предубеждений. Он считает забастовку «глупостью и эгоизмом», потому что эти люди «приносят вред интересам страны, чтобы добиться небольших преимуществ для себя». Но аргументы Маккеона, ясные, четкие, обоснованные, увлекают и захватывают его.

Маккеон убежденно говорит о том, что непосредственный повод для забастовки, на первый взгляд несущественный, в действительности является лишь внешним выражением глубоких противоречий. Объединяя Доусона с либералами, Маккеон обвиняет их в том, что они готовы удовлетвориться незначительными реформами и «не желают радикальных перемен, которые бы отняли власть у денежного мешка и отдали бы ее в руки людей».

Поверив в правоту рабочего лидера, Доусон обещает написать все именно так, как сказал ему Маккеон, а тот предостерегает его, считая, что такую статью не напечатают, и оказывается прав.

Что же все-таки мешает Доусону окончательно встать на сторону Маккеона? Он не может преодолеть извращенные представления о жизни в социалистических странах, представления, которые формируются на Западе порой под воздействием самых нелепых и клеветнических измышлений, обрушивающихся из «свободных» средств массовой информации. Рид вплотную подводит Доусона к черте, отделяющей прекраснодушный и наивный либерализм от борьбы. Но перейти эту черту герой не в силах. Судьба его, человека субъективно честного, видящего зло, но не знающего, как с ним бороться, типична для многих интеллигентов Запада. Финал романа — молчащий и молящийся Доусон — символ сокрушительного поражения либерализма.

Появление в «Монахе Доусоне» образа коммуниста не случайно. Еще в предыдущем романе «Юнкеры» (1968 г.) Рид с глубоким уважением рисовал выходца из старинной немецкой юнкерской семьи, который во время второй мировой войны, находясь в рядах вермахта, сближается с немецкими коммунистами, помогает им, а в конце книги становится одним из руководящих работников в ГДР, посвящая свою жизнь построению новой Германии.

Пиейрс Поль Рид молод. Талант психолога, мастерство стилиста и обостренное внимание к социальной несправедливости — такое сочетание обещает многое. Сегодня П. П. Рид — один из тех, кто стремится продолжать лучшие традиции английского социально-психологического романа.

Г. АНДЖАПАРИДЗЕ

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

ВСТРЕТИЛИСЬ ПИСАТЕЛИ-ФАНТАСТЫ

Корреспондент журнала «Букс энд букмен» Роберт Рей сообщил о традиционной встрече писателей-фантастов и издателей Англии, США, Швеции, ФРГ и других стран. В ходе встречи, длившейся четыре дня, шел разговор об особенностях жанра научной фантастики в нынешнюю эпоху, когда человечество приступило к непосредственному изучению ближайшего небесного тела — Луны, а также о растущей популярности фантастики.

Характерная особенность многих произведений научной фантастики состоит в том, что этот жанр стимулирует интерес читателей к специальной литературе по разным отраслям научных знаний, отмечали участники встречи.

Популярный американский автор Джеймс Блиш дал свое определение жанра: «Научная фантастика предполагает, что человек способеи переделать свой мир и себя самого в лучшую или худшую сторону. Именно в этом отличие жанра фантастики от всех других». Писатель-фантаст вторгается во многие сферы жизни человеческого общества, затрагивает проблемы морали, социологии, психологии, политики, отметил Блиш.

Участники встречи говорили о том, что спрос на научную фантастику постоянно растет. Д. Уоллхейм из издательства «Эйс-букс» (США), постоянный участник встреч фантастов с 1960 года, привел данные о тиражах новых научно-фантастических книг. По его словам, первый тираж составляет 100 тысяч, второй 25—30 тысяч экземпляров. Издательство выпускает в год более 60 научно-фантастических книг. В числе наиболее популярных издатель назвал «Дело сознания» Джеймса Блиша и роман «Колыбель для кошки» Курта Воннегута.

«Я не стану пользоваться превосходными степенями,— пишет в заключение Роберт Рей,— и не буду утверждать, что список выдающихся произведений в жанре научной фантастики бесконечен, но он весьма внушителен и охватывает все стороны человеческой деятельности».

БОЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПЕРЕВОДЧИКОВ

В Софии состоялся Третий симпозиум переводчиков болгарской литературы. В нем приняли участие представители почти двух десятков стран, в том числе СССР, Польши, Румынии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Югославии, Франции, Англии, Канады, Италии, Индии, Турции, Сирии.

Во время пребывания в Болгарии переводчики познакомились с новинками болгарской литературы, с главными тенденциями ее развития, получили возможность всесторонне обсудить профессиональные проблемы, встретиться с болгарскими прозаиками, поэтами, критиками. В работе симпозиума приняли участие известные болгарские писатели и критики: Дико Фучеджиев, Ангел Тодоров, Божидар Божилов, Евтим Евтимов, Драгомир Асеиов, Васил Колевский, Симеон Султанов и другие.

ОБРАЗЫ, СОЗДАННЫЕ АПОСТОЛОМ КАРАМИТЕВЫМ

Имя актера Народного театра имени Ивана Вазова, лауреата Димитровской премии Апостола Карамитева известно всем любителям болгарского театра. Высокую оценку критики и общественности получили в минувшем году две его работы: царь Симеон в исторической драме М. Милкова «Монах и его сыновья» и Виктор Франц в пьесе А. Миллера «Цена».

Критика отметила своеобразие трактовки А. Карамитевым роли Виктора Франца. Любен Николов в журнале «Театр» писал, что в образе, созданном Карамитевым, преобладают энергич-

Народный артист Апостол Карамитев в заглавной роли в спектакле «Генрих IV».

ность, уверенность в себе, внутренняя устойчивость. Его герой в большей степени бунтарь и обвинитель, чем жертва.

К роли царя Симеона, по словам рецензента Лады Паневой в том же журнале, «артист подходит с трепетом и творческим вдохновением. Карамитев не оставляет в создаваемом им образе ни одного отрицательного качества, ни одной негативной черты... Его Симеон — возвышенная личность!»

Талант Апостола Карамитева заслужил высокое признание. К 25-летию социалистической революции в Болгарии он удостоен звания Народного артиста. За актерское мастерство в исполнении роли царя Симеона в пьесе «Монах и его сыновья» Карамитев награжден первой премией на IV национальном смотре болгарской драмы и театра.

Последняя работа артиста — Генрих IV в одноименной пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло — с большим интересом встречена ценителями его таланта.

ВЕНГРИЯ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГЕТЕ — ДЁРДЮ ЛУКАЧУ

Как сообщает печать, магистрат города Франкфурт-на-Майне присудил премию имени Гёте за 1970 год Дёрдю Лукачу. Премия присуждена за «гуманистический характер его произведений и важное значение его исследований произведений Гёте». Лукач решил пожертвовать большую часть премии народу борющегося Вьетнама и пострадавшим от наводнения в Венгрии.

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

РАССКАЗЫВАЕТ ФРАНСУА БАССОЛЕ

В Национальной типографии в Уагадугу вышла книга журналиста Франсуа Джоби Бассоле «Эволюция Верхней Вольты с 1898 года по 3 января 1966 года». Правдивая книга Бассоле, в которой резко критикуются порядки колониальных времен, пришлась не по нутру работникам редакции английского журнала «Африка рипорт», и потому там решили раскритиковать африканского журналиста.

Это огнюдь не огорчило Франсуа Бассоле — директора службы информации Верхней Вольты, издателя вольтийской еженедельной газеты «Карфур африкэн». Свою задачу журналиста он видит в содействии решению многих проблем, связанных с национальным строительством. «Именно журналисты пропагандируют понятие нации и национального единства среди разноплеменного населения наших стран, воспитывают чувство национального достоинства и патриотизма в каждом гражданине,— заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС.— Ведь без этого нельзя побороть нашу отсталость и построить новую жизнь. Содействуя формированию современных наций внутри наших стран, мы одновременно думаем и об африканском единстве — непременном условии укрепления независимости каждой африканской страны в отдельности.

Наша печать,— сказал далее Бассоле,— является, как правило, государственной, а не частной, коммерческой. Она не гонится, подобно западным газетам, за сенсациями и видит свою задачу в том, чтобы быть действенным инструментом социально-экономического развития наших молодых государств».

В прошлом году Франсуа Бассоле посетил СССР. Свои впечатления о поездке он изложил в большой статье в специальном номере газеты «Карфур афри-

кэн», посвященном Советскому Союзу. Сейчас Бассоле пишет исследование по новейшей истории Верхней Вольты. Он намерен также создать книгу о жизни и деятельности В. И. Ленина.

ГДР

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ИЗДАТЕЛЬСТВ

Крупнейшее в ГДР издательство художественной литературы «Ауфбау-ферлаг» отметило свой двадцатипятилетний юбилей.

Издательство выпускает произведения писателей-гуманистов стран немецкого языка, классиков мировой литературы. Особое внимание уделяется изданию немецкой антифашистской и социалистической литературы.

За четверть века издательством было опубликовано около пяти тысяч названий книг общим тиражом 62 млн. экземпляров. Многомиллионными тиражами вышли серии книг — «Библиотека немецких классиков» и «Хрестоматия нашего времени».

«Ауфбау-ферлаг» дважды в год участвует в традиционной Лейпцигской ярмарке. «Среди новинок, представленных издательством прошедшей осенью,— трехтомник стихотворений Гете, восьмитомник произведений Эриха Вайнерта, сочинения Мартина Лютера и Томаса Мюнцера в двух томах, «Письма к читателям» Анны Зегерс, антология «Лирика ГДР», книги современных писателей ГДР — Герберта Отто, Вольфганга Йохо и других.

* * *

Изданием работы Ленина «Что делать?» и «Манифеста Коммунистической партии» начало свою деятельность четверть века назад издательство «Диц-ферлаг». 5100 названий общим тиражом 240 миллионов экземпляров — таков итог его работы за четверть века.

В 1970 году издательство выпустило немало книг, посвященных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, а также биографические материалы из жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

На выставке 1969 года «Лучшие книги мира» «Диц-ферлаг» получило Серебряную медаль за «Иллюстрированную историю Ноябрьской революции». Издательство было награждено также орденом Карла Маркса и орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени.

В издательстве «Хеншель» за 25 лет вышло 1000 названий книг. Тираж их — около 10 миллионов экземпляров. Первоначально это издательство специализировалось на выпуске книг, посвященных театру, затем приобрело более широкий профиль: теперь оно публикует пьесы немецких и зарубежных драматургов, книги о театре, музыке, кино, а также по изобразительному искусству. Кроме того, «Хеншель-ферлаг» издает 6 журналов, и среди них — «Театер дер цейт», «Фильмшпигель», «Бильденде кунст».

ТЕЛЕФИЛЬМ ПО РОМАНУ ФАЛЛАДЫ

«Роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку» можно назвать своеобразным завещанием писателя»,— писал Иоганнес Р. Бехер, который помог в свое время тяжело больному Фалладе получить архивные документы о супругах Хампель, казненных гитлеровцами в 1943 году. Эти документы легли в основу романа, а супруги Хампель послужили писателю прообразами Отто и Анны Квангель.

История антифашистской борьбы семьи Квангель стала сейчас темой нового телевизионного фильма. Сценарист Клаус Йорн, режиссер Ганс-Иоахим Каспржик и драматург Венцель Реннер завершают этой работой телевизионную трилогию по произведениям Ганса Фаллады. Две их предыдущие работы «Волк среди волков» и «Что же дальше, маленький человек?» — с большим успехом демонстрировались на телевизионных экранах.

«Во всех трех фильмах я пытался сохранить документальность и достичь нужного единства,— рассказал Иоахим Каспржик корреспонденту «Берлинер цейтунг».— Наша цель была — показать судьбу человека в определенных исторических условиях, проследить неиз-

Кадр из телевизионного фильма «Каждый умирает в одиночку».

(Газета «Нейес Дейчланд»)

бежную связь одиночки с обществом».

«Квангель — один из миллионов борцов за гуманизм во всем мире. Он начинает бороться в одиночку, но постепенно приходит к пониманию того, что нужно действовать сообща. Перед лицом смерти он осознает, что если бы можно было начать все сначала, он действовал бы иначе», — сказал автор сценария Клаус Йорн.

Пресса ГДР отмечает прекрасную игру известного артиста Эрвина Гешоннека, который «скупыми средствами показывает богатую натуру Отто Квангеля». «Потрясающе, мастерски играющий Эрвин Гешоннек создает сильный, гордый характер,— пишет рецензент газеты «Нейес Дейчланд».— В романе Фаллады Отто Квангель именно таков, каким его представил Гешоннек».

Рецензенты отмечают также удачную игру Эльзы Грубе-Дейстер в роли жены Отто — Анны.

За свою работу по экранизации романов Фаллады режиссер Каспржик был удостоен Национальной премии за 1970 год.

Римское телевидение показало спектакль в двух частях «Мятеж декабристов», в котором рассказана история заговора декабристов в Петербурге и на Юге России, выступления на Сенатской площади, а также последующей казни и ссылки его участников. Автор телепостановки Луиджи Лунари, режиссер Марко Лето. В числе участников телеспектакля — сам Марко Лето, Бруно Черино, Марина Пегано и другие актеры. На снимке: сцена из телеспектакля.

(Газета «Унита»)

ИТАЛИЯ

ПАМЯТИ ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ

Двадцатилетие со дня трагической смерти писателя-коммуниста Чезаре Павезе (советским читателям известны два его больших произведения «Товарищ» и «Луна и костры», а также несколько рассказов) отмечалось в Италии как торжественный официальный юбилей с участием представителей президента Республики, правительства, литературной общественности и превратилось в событие культурной жизни страны. Газета «Унита» посвятила памяти Павезе целую серию статей: воспоминания друга Павезе писателя-коммуниста Давиде Лайоло, статьи литературоведа Джан Карло Ферретти, корреспонденцию о юбилейной церемонии в родном городке Павезе, Санто Стефано Бельбо, и мероприятиях по увековечению памяти писателя. На страницах крупнейшего буржуазного еженедельника «Эспрессо» и туринской газеты «Стампа» вспыхнула дискуссия о писателе и его творчестве. Спустя двадцать лет проза, стихи, а особенно дневник-исповедь Павезе «Ремесло жить», опубликованный посмертно, привлекают самое пристальное внимание исследователей, писателей, читателей. Тиражи некоторых произведений Павезе достигают почти миллиона экземпляров, что для его родины — довольно редкое явление; в университетах его творчество служит предметом постоянного изучения; с каждым годом книги Павезе все шире переводятся за границей.

В течение первых лет после гибели Павезе, пишет Ферретти, делалось много попыток объяснить причины его самоубийства. Одни искали их лишь в любовной драме, другие писали о яко-

бы имевшем место разочаровании Павезе в своих общественных идеалах, третьи — о его разочаровании в своей творческой деятельности. И даже теперь, когда опубликованы многие ранее неизвестные материалы, проливающие свет на комплекс сложных, взаимопереплетающихся мотивов, толкнувших Павезе на самоубийство, некоторые по-прежнему упрощенно подходят к этому вопросу. Ферретти, а также Давиде Лайоло решительно выражают свое несогласие с Альберто Моравиа, считающим Павезе декадентом и полагающим, что созданием «мифа своей смерти» покойный писатель хотел заменить якобы «несостоявшийся миф своего творчества».

В дни юбилея на доме, в котором родился Павезе, была установлена мемориальная доска, его именем названа улица. Проведению юбилейных мероприятий всячески противился местный священник, призывавший верующих не выходить из домов, чтобы не участвовать в юбилее самоубийцы. В городке основан центр по исследованию творчества Павезе; этот центр учредит ежегодную литературную премию имени Павезе, установит стипендию его имени. Крупные североитальянские книгоиздатели, в первую очередь Эйнауди (в издательстве которого Павезе много лет работал, пройдя путь от продавца до консультанта, переводчика, автора), предполагают осуществить юбилейные издания книг Павезе.

СЕРДЖО ЛЕОНЕ ПЕРЕВОДИТ ЕСЕНИНА

В ученых записках Венецианского университета опубликована статья молодого литературоведа Серджо Леоне о цикле стихов Сергея Есенина «Персидские мотивы». Леоне — ныне преподаватель кафедры русского языка и литературы Венецианского университета — заинтересовался творчеством замечательного советского поэта еще в студенческие годы. После окончания Венецианского университета его направили на практику в Ленинградский университет. Здесь-то молодой литературовед и решил попробовать переводить поэзию Есенина.

Ныне в переводах Леоне — впервые на итальянском языке — опубликовано шесть стихотворений из цикла «Персидские мотивы», в том числе: «Улеглась моя былая рана...», «Никогда я не был на Босфоре...», «Быть поэтом — это значит то же...»

В опубликованной недавно работе Леоне рассказывает об истории создания «Персидских мотивов», о пребывании Есенина на Кавказе, дает анализ стихотворений этого цикла.

В связи с 75-летием со дня рождения Сергея Есенина студенты русского отделения Венецианского университета своими руками создали выставку о жизни и творчестве поэта.

* * *

По сообщению еженедельника «Вие нуове», в Италии издан объемистый сборник поэзии Сергея Есенина в переводах Курции Феррари с предисловием Сальваторе Квазимодо. В сообщении подчеркивается, что нынешнее издание произведений С. Есенина — самое полное из выпущенных до сих пор в Италии.

КАМЕРУН

БУДУЩЕЕ — ЗА НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЯЗЫКАМИ

В столице Камеруна — Яунде прошли два совещания по вопросам африканской лингвистики: региональный коллоквиум по проблеме языков банту и семинар лингвистов — специалистов по камерунским языкам.

На языках банту говорит почти две пятых населения современной Африки — 60 миллионов человек. Однако до сих пор даже число этих языков точно не установлено: часть ученых утверждает, что их 360, другие — 470, третьи — 666. Языки банту изучаются с XVII века, но до сих пор не было единого алфавита банту. Эта задача и была главной, которую поставили себе африканские ученые-лингвисты, приехавшие в Яунде из Габона, Камеруна и Народной Республики Конго.

О важности использования национальных языков в экономической и культурной жизни африканских стран говорил профессор Марсель Бот Ба Нджок. Он, в частности, заявил: «Интерес африканской общественности к изучению и использованию разных языков имеет немалое значение для франкоязычной Африки, где до недавнего времени к национальным языкам относились с пренебрежением и даже с презрением».

В результате совместных усилий участников коллоквиума был одобрен и принят за основу единый для всех банту алфавит, разработанный в университете в Яунде. На совещании была также поддержана инициатива Организации африканского единства по созданию в столице Уганды Кампале Бюро африканской лингвистики для изучения языков банту. Приняты решения о разработке и издании словарей и учебников, а также программ для изучения языков банту в африканской школе. Будут созданы центры по изучению языков банту, учреждены литературные премии для авторов, пишущих на банту. Студенты Яундского университета в новом учебном году изучают семь местных языков.

Доклад доктора социологии Баокэна «Проблема использования камерунских языков в экономической, политической и культурной деятельности» обсудили лингвисты, прибывшие в Яунде из нескольких городов и районов Камеруна: Дуалы, Бафусама, Юафанга, Бокито и других. Участники семинара говорили о жизнеспособности национальных языков, о необходимости использовать их вместо европейских языков. По мнению основного докладчика, «цели и задачи,

стоящие перед страной, станут ясней и понятней каждому крестьянину, если они будут сформулированы на его родном языке».

ЛИВАН

В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

Подводя итоги празднования Ленинского юбилея в Ливане, обозреватель журнала «Ат-Тарик» пишет, что ни одна другая дата не отмечалась в стране с таким размахом и воодушевлением. Это не были обычные юбилейные торжества, на которых отдают только дань памяти великого человека. Ленинские дни в Ливане вылились в смотр всех передовых прогрессивных сил страны, послужили их дальнейшему сплочению в тяжелой борьбе против сил империализма и реакции, которую ныне ведут арабские народы.

В Бейруте и провинциальных городах состоялись многочисленные лекции о теоретическом наследии В. И. Ленина, были организованы кинонедели, а также поэтические вечера, на которых поэты читали свои стихи о великом вожде трудящихся. Многие ливанские газеты и журналы посвятили Ленинскому юбилею специальные номера.

* * *

Как сообщила ливанская газета «Аль-Уруба», известный ливанский поэт Радван аш-Шаххаль выпустил к Ленинскому юбилею книгу стихов «Ленин. Гимн во славу человека и земли». Обозреватель газеты отмечает неоспоримые художественные достоинства этой книги.

ОАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Театр под открытым небом организовал режиссер Мухаммед Абдалла, выпускник Каирского института кинематографии. В труппу нового театра входят шестьдесят энтузиастов — студентов, служащих и рабочих Каира. Сценой им служит тротуар, а декорациями — афиши, расклеенные на фасадах домов. Реквизит — самый минимальный: несколько стульев для музыкантов, столик на колесиках. Главная задача, которую ставят перед собою исполнители,— приобщение к театру зрителя-прохожего. Премьера первого спектакля — «Семья Сабауи» — проходила на одной из самых оживленных улиц Каира — Каср ан-Нил. Герои пьесы — наши современники, у каждого из них — свой взгляд на жизнь. Представление продолжается всего 45 минут — ведь зрители смотрят его стоя... Спектакли будут проводиться также в промышленных пригородах Каира.

Первое представление собрало большое количество зрителей — молодые энтузиасты уличного театра надеются, что их эксперимент будет иметь успех.

ПОЛЬША

СЪЕЗД ПЕРЕВОДЧИКОВ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В столице Польши прошел Второй международный съезд переводчиков польской художественной литературы (первый состоялся в 1965 году). На него съехались около 100 переводчиков из 20 стран, в которых литература Народной Польши издается на 36 языках. Среди них были представители Англии, Австрии, Болгарии, Чехословакии, Дании, Финляндии, Франции, Испании, Японии, Югославии, Монголии, Мексики, Норвегии, ГДР, ФРГ, Польши, Румынии, Швеции, Советского Союза, ДРВ, Италии, США.

В день торжественного открытия съезда к его участникам со словами приветствия обратился председатель Союза польских писателей Ярослав Ивашкевич. В последующие четыре дня работали литературные сессии съезда, на которые были приглашены писатели, литературные критики, деятели культуры Польши. В числе обсуждавшихся проблем — современная польская проза, поэзия, драматургия, радио и телевидение, достижения молодых литераторов. Переводчики из разных стран рассказывали о своей работе над переводами, о проблемах, которые возникают при их издании.

В дни работы съезда его участники познакомились с выставкой зарубежных переводов польской художественной литературы, где насчитывалось свыше тысячи экспонатов в переводах на 70 языков народов мира.

Лучшие переводчики были отмечены премиями. Зарубежные гости получили первые экземпляры «Словаря современных польских писателей», который только что вышел из печати.

Работа съезда была омрачена внезапной кончиной известного польского поэта Юлиана Пшибося.

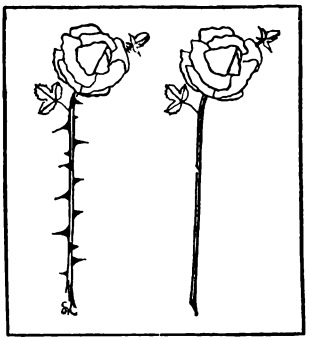
В МУЗЕЕ ОСВЕНЦИМА

Более полумиллиона человек в год посещает территорию бывшего гитлеровского концлагеря в Освенциме. Открытый здесь Государственный музей организует показ документальных фильмов, выставки, лекции и доклады, ведет систематическую научно-исследовательскую работу.

Музей работает над новым, дополненным изданием «Хроники лагерных событий»; исследуются подробности варварского уничтожения национальных групп в Освенциме. Тщательно изучается история лагерного движения Сопротивления. К печати готовится документальный сборник сообщений и записок лагерной подпольной организации.

В прошлом году музей выпустил справочники, изданные на английском, французском и русском языках, показания эсэсовца из политического отдела Пери Броада и номер «Освенцимских тетрадей».

Архивные коллекции музея постоянно пополняются. Они насчитывают свыше 187 тысяч памятных предметов, воспоминаний, сообщений, фотографий, доку-



Читателям польского еженедельника «Политика» хорошо знакомо имя художника Шимона Кобылинского: его карикатурами открывается каждый номер еженедельника. Здесь воспроизводятся три работы Кобылинского: «Роза обыкновенная и роза отчетная»; без подписи и «...Слишком смело, слишком боязливо, слишком смело, слишком боязливо...»

ментов, а также более 1300 произведений искусства, посвященных бывшим узникам лагеря. Постоянно пополняемая именная картотека бывших узников лагеря насчитывает более 1150 тысяч карточек.

«МИНИ-ЮБИЛЕЙ» ЖУРНАЛА «ПЕРСПЕКТИВЫ»

Осенью 1969 года польские читатели получили новое информационное издание — еженедельник «Перспективы», который сразу же завоевал популярность: в течение года его тираж увеличился с 200 до 250 тысяч. И все же не все читатели могут свободно его купить — таков на него спрос.

Еженедельник «Перспективы» печатает большое количество информации о жизни в стране и за рубежом. В разделе внутренней жизни польские читатели познакомились с интересными циклами статей о реформе школьного образования, о подготовке новых кадров для работы в сфере экономики и культуры и т. д. Много места отводится вопросам внешнеполитической жизни, печатаются корреспонденции из многих стран. Одна из самых популярных рубрик — «Перспективы — век XXI».

Читатели постоянно встречают на страницах еженедельника материалы, подготовленные польскими учеными, политическими и общественными деятелями, работниками культуры.

Рассказывая корреспонденту газеты «Трибуна люду» о «мини-юбилее» еженедельника «Перспективы», его главный редактор Доброслав Кобельский отметил как главную особенность то, что редакция привлекает к работе постоянно расширяющийся круг авторов. «Сотрудничество с этими людьми,— заявил Кобельский,— приносит пользу нашему журналу. Отсюда наш призыв: страницы «Перспектив» открыты для всех, кто хочет обогатить его содержание».

РУМЫНИЯ

СОКРОВИЩНИЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Три года назад торжественно отмечалось столетие библиотеки Академии наук Румынской Социалистической Республики. В честь этого события недавно выпущено четырехтомное юбилейное издание истории библиотеки, в котором подробно рассказывается о ее книжном фонде, рукописях, документах, гравюрах.

Все коллекции библиотеки составляют 6 миллионов книг и различных памятников культуры. Среди них, как сообщает научный обозреватель еженедельника «Ромыния литерарэ», особый интерес представляют 6000 румынских, 1500 греческих, 785 славянских рукописей. Среди ценнейших памятников культуры — «Канон покаяния», написанный в XI веке на греческом языке и украшенный оригинальными миниатюрами в византийском стиле; «Славянский псалтырь» XIV века, рукописи хроник летописцев Костина, Некулче.

В библиотеке находится самое древнее издание, напечатанное на территории Румынии,— «Славянская книга литургии» (1508 год), «Октоих» (1510 год), труд Дмитрия Кантемира по истории Турецкой империи. В кабинете эстампов насчитывается 70 тысяч гравюр, 40 тысяч рисунков, 240 тысяч фотографий. Богата коллекция рукописей зачинателей современной румынской литературы: Александри, Эминеску, Крянгэ и других писателей.

В юбилейном издании описывается также содержание кабинетов музыки, нумизматики и других. Здесь же опубликованы статьи: покойного директора Фундаментальной библиотеки общественных наук при Академии наук СССР М. Шинкова, а также румынских — М. Малицы и Перпессичиуса.

НОВЫЕ СТИХИ ЗАХАРИИ СТАНКУ

«Песни шепотом» — недавно вышедший сборник стихов Захарии Станку многим читателям напомнил литературный дебют «старосты румынского писательского цеха». Опытный журналист и полемист, известный прозаик Станку в последнее время часто возвращается к жанру поэзии. Почти за полвека писательской деятельности им были выпущены сборники стихов, ставшие

сейчас библиографической редкостью: «Простые поэмы» (среди которых был и его перевод поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина»), «Золотой колокол», «Красное дерево» и другие.

Рецензент сборника Раду Попеску писал в еженедельнике «Контемпоранул», что «Песни шепотом» без сомнения — новое слово в творчестве Захарии Станку и в румынской поэзии в целом: «Поэзия Станку вобрала в себя сказочный мир природы, и отсюда вытекает ее сходство с живописью, с фреской, с бесхитростным узором крестьянских ковров, здесь следует искать ее связь с трудовым народом, которому посвящено творчество Захарии Станку — прозаика и поэта».

США

«СУД НАД КЭЙТОНСВИЛЛСКОЙ ДЕВЯТКОЙ»

В 1968 году на улицах городка Кэйтонсвилл в штате Мэриленд поэт Дэниел Бэрриган и восемь его друзей сожгли документы местного центра по призыву молодежи в армию США — в знак протеста против «грязной войны» во Вьетнаме. Смельчаки были наказаны властями: суд приговорил их к тюремному заключению.

Недавно Дэниел Бэрриган создал пьесу «Суд над кэйтонсвиллской девяткой» об этих событиях, положив в ее основу стенограмму суда, свидетельства прессы и кинохроники. Пьеса поставлена в «Нью-тиэтр» Лос-Анджелеса режиссером Гордоном Дэвидсоном.

Спектакль открывается кадрами кинохроники, в которых запечатлена смелая акция по уничтожению призывных документов. В зале звучит голос диктора, рассказывающего зрителям о смысле борьбы за демократию и мир, которую ведет прогрессивная общественность США.

Печать разных направлений единодушно пишет об успехе спектакля. Даже обозреватель «Нью-Йорк таймс» назвал пьесу Бэрригана «своего рода призывом к разуму».

ФИЛЬМЫ МАЙКЛА УОДЛИ

Показанный вне конкурса на фестивале в Канне фильм «Вудсток» заставил газеты и критиков говорить о его авторе, молодом американском кинорежиссере Майкле Уодли. Он же — автор фильмов «Анатомия демонстрации», «Исчезающая американская газета», «Ни один вьетнамец не называл меня черномазым».

В последнем фильме Уодли рассказывается о состоявшемся прошлым летом в окрестностях небольшого городка Вудсток молодежном фестивале под названием «Три дня музыки, мира и любви». В фестивале приняли участие Джоан Баэз, Арло Гатри, Джими Хендрикс, Джон Себастьян и многие другие известные исполнители и ансамбли, а также более полумиллиона зрителей.

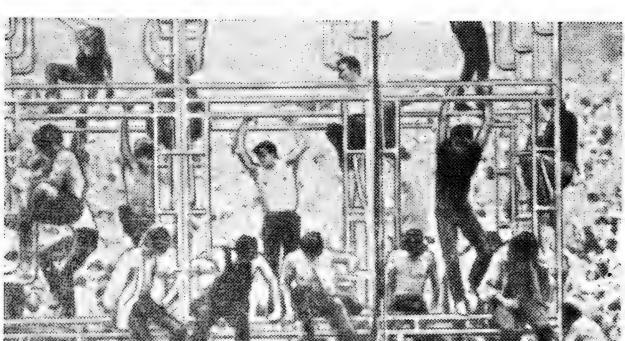
Фильм «Вудсток», по оценке рецензентов, представляет собой попытку познакомить со взглядами и требованиями «протестующего поколения». Автор фильма стремится проникнуть в суть молодежного движения, сформировавшегося под эгидой «поп-музыки» и «поп-фестивалей». Не скрывая недостатков этого движения, его стихийности и анархизма, Уодли подчеркивает его острую социальную и политическую сущность, выразившуюся в массовых протестах против сегодняшней американской действительности. Полицейские расправы, аресты, организованные полицией провокации и драки, показанные в фильме, свидетельствуют о страхе властей перед молодежными выступлениями.

«Основное в документальном кино, как в любом хорошем репортаже,— добиться того, чтобы люди говорили и делали то, что они думают,— сказал Уодли в интервью корреспонденту газеты «Интернэшнел геральд трибюн».— Нужно стремиться изменить мир, а не только говорить об этом. Документальное кино привлекает меня потому, что оно способно активно влиять на действительность».

Для того чтобы снять фильм «Анатомия демонстрации», режиссеру пришлось несколько месяцев прожить среди студентов одного из колледжей, вместе с ними решать их внутренние проблемы, организовывать в студенческом штабе марши протеста.

Фильм «Исчезающая американская газета» также основан на личных впечатлениях Уодли, который долгое время жил и работал в городе с двадцатитысячным населением, где местная газета, радиостудия и теле-

Кадр из кинофильма «Вудсток».
(Еженедельник «Синемонд»)



станция принадлежали одному лицу. Сконцентрировав в своих руках все средства информации, этот финансовый магнат безраздельно контролировал общественное мнение. Выход фильма на экраны, по свидетельству прессы, был «подобен взрыву бомбы».

Фильм «Ни один вьетнамец не называл меня черномазым» Уодли создавал на собственные деньги, понимая, что ни одна фирма не захочет его финансировать. «Я хотел в этой картине доказать, что деньги, которые тратит правительство на ведение войны во Вьетнаме, должны быть истрачены на улучшение условий жизни в Гарлеме»,—говорит режиссер.

И в этом фильме режиссер применяет свой излюбленный метод работы: «вжиться» в материал, окунуться в него. Несколько недель он вел съемки в Гарлеме. Личные контакты с людьми, интервью «по горячим следам» событий, точное знание реалий — все это помогло раскрытию авторского замысла. «Они рассказывали о том, что хорошо знают,— вспоминает Уодли об обитателях Гарлема на страницах газеты «Дейли уорлд».— Они знают, что у них дома есть крысы и нет пищи; знают, что у многих из них нет работы, но зато есть война, которую ведет правительство. И, конечно, они правы».

ФРАНЦИЯ

НА ФЕСТИВАЛЕ В АВИНЬОНЕ

В городе Авиньон прошел традиционный XXIV фестиваль театрального искусства, на котором были представлены новейшие достижения французского театра, балета, музыки, кино. Там было показано 48 спектаклей, три музыкальных представления и пять спектаклей для детей. Кроме того, демонстрировалось 120 кинофильмов, было дано много концертов современной и классической музыки. В рамках фестиваля проводились коллоквиумы, посвященные проблемам культуры и искусства.

Авиньонский фестиваль, как отмечают обозреватели, в последние годы утратил свою былую целеустремленность — поиски нового, прогрессивного в искусстве, поддержку его и широкую популяризацию. Он подвергся вторжению псевдоноваторских, авангардистских сценических произведений, которые не понятны простому зрителю.

Однако организатор и бессменный директор фестиваля, известный деятель театра Жан Вилар убежден, что здоровые тенденции со временем возьмут верх. «Фестиваль должен сохранять свой первоначальный смысл, — заявил он,— он должен быть народным праздником культуры, трамплином для творческой молодежи, поводом для анализа проблем народной культуры».

Традиционный участник фестиваля — Национальный народный театр — после двухлетнего перерыва показал пьесу английского драматурга Эдварда Бонда «Рано утром». Это острая сатира на Англию времен королевы Виктории. Пьеса показывает жизнь королевского двора, погрязшего в распрях и убийствах.

Событием авиньонского фестиваля, по мнению многих критиков, стал показ пьесы Евгения Шварца «Голый король» в постановке Театра современной драматургии и Дома культуры города Буржа. Перевод и адаптацию пьесы осуществил Жорж Сориа, поставил спектакль Кристиан Дант.

Зрители с интересом встретили пьесу Пиранделло «Сегодня вечером импровизируем», поставленную Областным парижским театром совместно с Театром западного Парижа.

Среди других спектаклей критика отмечает два, характерных своей политической направленностью: «Воплощение» Жака Гимэ и Франсиса Арно — сатирическая трагедия, разоблачающая преступления сицилийской мафии, а также «Одноглазый король» Карлоса Фуэнтеса (Мексика).

Одновременно с фестивалем в папском дворце Авиньона проходила выставка произведений Пабло Пикассо, созданных в 1969—1970 годах.

ШВЕЙЦАРИЯ

ПАМЯТИ РЕМАРКА

Несколько лет назад, в одном из своих немногочисленных интервью, Ремарк сказал: «Я верю, что люди найдут пути друг к другу. Я не наивный оптимист, но разве невозможно, чтобы люди учились друг у друга хорошему? Это было бы самое лучшее сосуществование...» Эти слова как нельзя лучше характеризуют недавно скончавшегося писателя. Гуманист, антифашист, страстно ненавидевший войну, Эрих Мария Ремарк одним из первых уехал из фашистской Германии. Несмотря на приглашения вернуться (в первые годы фашизма гитлеровцы еще надеялись заставить писателя работать на «великую Германию»), Ремарк остался в эмиграции. Его книги постигла та же судьба, что и книги Фейхтвангера, Брехта, Генриха Манна и других немецких писателей. Они были запрещены и сожжены, а сам Ремарк лишен гражданства. Однако книги его издавались огромными тиражами за пределами Германии. Широко известен его первый роман «На западном фронте без перемен», романы «Возвращение», «Три товарища», «Время жить и время умирать», «Триумфальная арка», «Черный обелиск». Многие его книги переведены на русский язык.

Ремарк умер в Швейцарии, где жил в течение многих лет. Как сообщают западногерманские газеты, похороны его, по просьбе вдовы писателя, известной актрисы Полетт Годдар, не сопровождались официальной траурной церемонией и какими-либо надгробными речами. Ремарку не суждено

было вернуться на родину. Но вся передовая немецкая интеллигенция признавала его огромные заслуги, его роль в мировой литературе. Когда писателю исполнилось 70 лет, Немецкая академия языка и литературы (ФРГ) избрала его своим членом. «Сегодня мы оплакиваем крупного *немецкого* писателя», говорится в некрологе, помещенном в газете «Франкфуртер альгемейне цейтунг»...

«ТИПОЭЗИЯ»

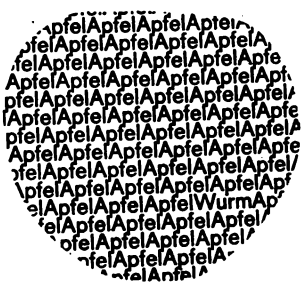
«В яблоке червяк». Таково содержание и форма «наглядного» стиха, который сочинил штутгартский доцент германистики Рейнгард Дёль. Слово «Wurm» (червяк) окружено многократно повторенным словом «Apfel» (яблоко).

Выращиванием подобного рода «литерафруктов», как сообщает рецензент западногерманского журнала «Шпигель», сейчас увлекаются многие любители «сапогов всмятку» в Европе, США и Южной Америке; в Японии и Турции также появились приверженцы нового литературного жанра, называющие себя «словосажателями», «литераписцами», «литераграфиками», «конкрет-поэтами», «типоэтами» (гибрид «типографии» и «поэта») и т. п.

Гамбургское издательство «Ровольт» еще десять лет назад выпустило сочинения некоего «типоэта» Гомрингера, швейцарский критик Макс Рихнер назвал его опусы «косноязычными обрезками». А недавно в Цюрихе открылась выставка под названием «Текст — буква — изображение», на которой экспонируются 620 произведений 178 авторов из 23 стран, пытающихся, по словам рецензента, типологически заполнить стык между поэзией и изобразительным искусством всевозможными «идеограммами», «текстальфавитом», «числотекстами», «текстобъектами» и т. д.

Поклонники этой разновидности «авангардизма» ссылаются на своих предтеч в лице итальянского футуриста Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944), призывавшего в 1912 году к «раскрепощению слов», а также на Льюиса Кэролла, Стефана Малларме и Гийома Аполлинера, которые еще до Маринетти «раскрепостили» поэтическое слово.

Вслед за учеником Маринетти Карло Беллоли и бразильской группой поэтов, называвших себя по примеру Эзры Паунда «нуагандрами», эстафету «типоэзии» подхватил швейцарский поэт Гомрингер. Он опубликовал манифест против стиха как поэтической формы, которую именовал «ремесленнической реминисценцией». По мнению этого «теоретика», между «поэзией в стихах» и обществом нет никакой связи; только избавленная от индивидуальных эмоций, от серьезных общечеловеческих социальных и эротических проблем, воспринимаемая оптически как единое целое и потому гарантированная от интерпретаций поэзия субтильных слово-констелляций может создать произведения, которые являются «реальностью в себе» и служат «предметом обихода»...



Образцы «типоэзии».
(Журнал «Шпигель»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВОСТИ СТУДИИ «БАРРАНДОВ»

Директор киностудии «Баррандов» Ярослав Штястный и заведующий репертуарным отделом студии Людвик Томан рассказали пражским журналистам о новых работах мастеров экрана. В нынешнем году студия выпустила 28 полнометражных художественных фильмов, в том числе 17 цветных (в прошлом году цветных было 6). Много внимания уделяется фильмам для детей: юные зрители получили 6 полнометражных художественных кинопроизведений.

Среди новинок киностудии «Баррандов» — поэтическая сказка режиссера Яромила Иреша «Валерия и неделя чудес» (по одноименному произведению поэта Витезслава Незвала). Режиссер Карел Земан, автор фильмов «Тайна острова Бек-Кап», «Барон Мюнхгаузен», «Хроника шута» и «Похищенный дирижабль», закончил фантастическую картину «Гектор Сервадак» (по мотивам произведений Жюля Верна).

Список новых кинокомедий открывает лента «Убийство инженера Черта» (режиссерский дебют Эстер Крумбаховой). Музыкальную комедию «Дьявольский медовый месяц» закончил режиссер Зденек Подскальский, фильм которого «Ловеласы» имел большой успех у зрителей. «Сумасшедшую» комедию «Кто хочет убить короля?» снимает режиссер Вацлав Ворличек. Карел Стеклый готовит комический фильм «Свадьбы пана Вока», рассказывающий о временах императора Рудольфа II. Пародию на детектив, до известной степени аналогичную фильму «Лимонадный Джо», будет представлять собой новая картина режиссера Ольдржиха Липского «Четырех убийств достаточно, дорогая».

Режиссер Владимир Чех

заканчивает музыкальный фильм «Святая грешница». Свой первый самостоятельный фильм «Невеста» поставил Иржи Сухи. Начал работу над новым фильмом режиссер Ян Шмидт, который экранизирует рассказы из сборника Владислава Ванчуры «Лук королевы Доротки». Режиссер Карел Кахиня снимает фильм для детей «Я опять прыгаю через лужи». Постановщик серии телевизионных фильмов «Грешные люди города Праги» Иржи Секвенс снимает два цветных полнометражных художественных фильма — «Пеночка и зонтик» и «Партии красавца драгуна».

В заключение интервью руководители студии «Баррандов» рассказали о том, что в последнее время усилилось сотрудничество с кинематографистами социалистических стран, и в первую очередь — с Советским Союзом, Польшей, ГДР, Болгарией и Венгрией.

ЮГОСЛАВИЯ

ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕСЕНИНА

По сообщению белградского еженедельника «Политика», издательство «Труд» впервые выпустило на сербохорватском языке полное собрание сочинений Сергея Есенина в шести томах. В заключительном, шестом томе помещен биографический очерк и воспоминания о поэте, а также его письма.

Переводы стихов выполнены группой известных переводчиков, в числе которых — М. Живанчевич, Р. Константинович, М. Сибинович.

* * *

Среди покупателей шести крупнейших книжных магазинов Белграда была проведена анкета с целью выяснения, книги каких писателей пользуются наибольшим спросом. Самыми популярными произведениями советских авторов оказались стихотворения С. Есенина и роман «Живые и мертвые» К. Симонова.

ЮНЕСКО

НА КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕЦИИ

В Венеции состоялась первая международная конференция по организационным, административным и финансовым аспектам культурной политики стран — членов ЮНЕСКО. В ее работе приняли участие представители 85 стран, входящих в эту организацию, в том числе Советский Союз и другие социалистические страны, а также международные организации и общества, занимающиеся проблемами культуры. В работе конференции принимал участие генеральный директор ЮНЕСКО Рене Майо.

Газета «Трибуна люду» опубликовала интервью с министром культуры и искусства ПНР Люцианом Мотыкой, который возглавлял на конференции в Венеции польскую делегацию. «По инициативе социалистических стран,— сказал министр,— участники конференции выработали определение сущности культурной проблематики и основ культурной деятельности. Культура должна способствовать улучшению взаимопонимания между народами, укреплению мира, бороться против социальной, национальной и расовой дискриминации... На конференции мы выдвинули тезис, что не всякая культурная деятельность действительно таковой является. Вне этой деятельности остается, например, фашистская литература и культура, в чем мы могли убедиться в годы господства гитлеризма. Участники конференции согласились с такой точкой зрения — и это было победой делегаций социалистических стран.

Второй важной проблемой, обсуждавшейся на конференции, был вопрос, возможно ли создание универсальной культуры единого образца, — продолжал Л. Мотыка.— Мы выступаем против создания всемирной суперкультуры и за полное равенство и уважение национальных культур и традиций, которые входят в сокровищницу мировой культуры. Мы — за взаимное проникновение и влияние в области культуры, но против экспансии, за конфронтацию культурных достижений разных стран, за культурный обмен и сотрудничество...

Сегодня все яснее становится связь между культурой и просвещением,— сказал далее министр.— Они одинаково важны в жизни общества, и потому сферу культурной деятельности нельзя отдавать на откуп коммерческим предприятиям. Отсюда — лишь один шаг до проблемы свободы творчества. В Венеции мы без обиняков заявили, что не дадим хода произведениям, содержание которых не соответствует нашим этическим и воспитательным принципам. Мы не позволим вести пропаганду войны, национальной и расовой дискриминации. В то же время мы предоставляем людям творческого труда полную свободу в области поисков художественной формы».

На конференции в Венеции обсуждался также вопрос об охране природы и связанных с этим проблемах туризма. Живую полемику вызвала выработка определения, какая страна может считаться высоко развитой в культурном отношении. Был признан спорным взгляд, что страна с высоко развитой экономикой может быть автоматически признана страной высоко развитой культуры.

В резолюции конференции в Венеции признано целесообразным созывать подобные международные форумы по вопросам культуры каждые 5—10 лет, а в промежутке между ними — региональные конференции для стран Европы, Африки, Латинской Америки, североамериканского континента и т. д.

Обсуждался также вопрос о возможностях создания Фонда развития культуры или Международного банка культуры.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Ежеквартальный журнал «Африкен коммунист», издающийся в Лондоне Южно-Африканской коммунистической партией, в одном из последних номеров опубликовал статью «Ленин и Африка». В течение 1970 года журнал систематически печатал статьи, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина.

Театры Улан-Батора отмечают ленинский год постановкой пьес советских авторов. Монгольские зрители тепло приняли спектакли «Любовь Яровая» К. Тренева, «Бай и батрак» узбекского писателя Хамзы Хаким-заде Ниязи и «Первый бой» С. Ермолинского.

Варшавское издательство «Полония» выпустило на русском языке книгу-альбом Валентины Найдус «Участие поляков в Октябрьской революции». В краковском Художественно-графическом издательстве также на русском языке вышел альбом «Владимир Ильич Ленин в Польше».

«Ленин в польском изобразительном искусстве» — так озаглавлена серия цветных репродукций произведений польских художников и скульпторов, выпущенных в честь ленинского юбилея. Среди авторов — имена Ксаверия Дуниковского, Мариана Внука, Стефана Гарватовского.

Сирийский журнал «Аль-Маарифа» опубликовал шесть стихотворений В. Маяковского в переводе известного поэта и новеллиста Саида Хаурания. Среди них — «Разговор с товарищем Лениным», «Прозаседавшиеся», «Стихи о советском паспорте» (отрывок), «Левый марш».

Берлинское издательство «Ауфбау-ферлаг» выпустило к 25-летию разгрома фашизма сборник рассказов советских писателей о Великой Отечественной войне под названием «Лики войны» (составитель Ньота Тун).

Лейпцигское издательство «Реклам» подготовило к печати поэму А. Твардовского «Василий Теркин» в переводе Гуго Гупперта, сборник очерков и фельетонов М. Кольцова и сборник рассказов М. Слуцкиса.

Издательство «Дас кейе Берлин» выпустило повесть М. Стельмаха «Гуси-лебеди летят».

По романам К. Федина «Первые радости» и «Костер» в ГДР создан телевизионный фильм в пяти частях.

„Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова вышли в Штутгарте, в издательстве «Дейче ферлагсанштальт» (ФРГ).

Книга В. Катаева «Кубик» вышла в Мюнхене, в издательстве «Цзольнай» (ФРГ).

Издательство «Корнел юниверсити пресс» (США) выпустило в переводе Ричарда Шелдона книгу Виктора Шкловского «Сентиментальное путешествие».

В США вышел первый том «Избранных работ» А. Довженко, в который включены наиболее известные его статьи, а также сценарии фильмов «Арсенал», «Звени-гора», «Земля» и «Поэма о море».

Одновременно в США и Англии вышел первый том «Избранного» С. Эйзенштейна.

По сообщению книжного бюллетеня «Коньвтайенозтато», в издательстве «Европа» (Будапешт) в серии «Шедевры мировой литературы» вышел сборник повестей «Мир в стеклянном шаре», включающий новейшие произведения советских писателей. Там же издан сборник современного эстонского рассказа «Предчувствие», а также книга К. Паустовского под названием «О художниках» и повесть Ювана Шесталова «Синий ветер каслания».

Будапештский театр имени Йожефа Катона подготовил к постановке пьесу М. Булгакова «Иван Васильевич».

Роман М. Горького «Мать» вышел в Лиссабоне (Португалия) в издательстве «Улиссея». «Поднятая целина» М. Шолохова и «Сорок первый» Б. Лавренева выпущены издательством «Аркадия».

Белградское издательство «Просвещение» выпустило серию произведений классиков мировой литературы к 14-й международной книжной ярмарке, которая состоялась в столице Югославии. В их числе — «Тихий Дон» М. Шолохова, «Русский лес» Л. Леонова, «Мертвые души» Н. Гоголя, «Война и мир» и «Анна Каренина» Л. Толстого.

В связи с 20-летием югославского издательства «Труд» им предпринято издание ста книг писателей мира. Среди них — произведения русских и советских писателей — И. Тургенева, Л. Толстого, Н. Лескова, А. Чехова, М. Горького и других.

В Белграде издана повесть Б. Соколова «Мы еще встретимся, полковник Кребс».

В Каире (ОАР) изданы роман А. Серафимовича «Железный поток», повесть В. Быкова «Третья ракета», повесть Ш. Рашидова «Победители» и сборник рассказов Г. Николаевой.

Очерк П. Лидова «Таня» издан на бенгали в гор. Дакка (Пакистан).

Издательство «Керберос» (Стокгольм) выпустило в переводе на шведский язык «Баню» В. Маяковского. Перевод осуществил известный исследователь творчества советского поэта Ула Пальмер.

Книга очерков Г. Фиша «У шведов» выпущена издательством центрального объединения профсоюзов Швеции «ЛТ» в Стокгольме.

Авторы этого номера

МИХАЙ ВАЦИ—VACI MIHALY (1924—1970).

Известный венгерский поэт, переводчик, публицист. Автор нескольких книг стихов. Первый сборник «Под крышей» («Ereszalja») вышел в 1955 году. Наиболее популярны его поэтические книжки «Всюду дома» («Mindenütt otthon», 1961), «Власть бедняков» («Szegények hatalma», 1964), «С востока» («Kelet felöl», 1965), «Дождь уходит в песок» («Esö a homokra», 1968) и др.

Много откликов имела книга «Птица Жеже» («A zsezsemadéz», 1964), включающая очерки по истории венгерской культуры, эссе, посвященные вопросам современной литературы, а также маленькие новеллы.

Поэт дважды был удостоен премии имени Аттилы Йожефа и премии Кошута.

Михай Ваци перевел на венгерский язык стихотворения Лермонтова, Кольцова, Есенина, поэму Твардовского «За далью даль», стихи Евтушенко.

О его творчестве см. статью О. Россиянова «Три поэта», напечатанную в нашем журнале (№ 3, 1968).

Публикуемые стихи войдут в сборник молодой венгерской поэзии, выпускаемый издательством «Молодая гвардия».

РЫШАРД КЛЫСЬ — RYSZARD KLYS (род. в 1928 г.).

Польский писатель. В юные годы принимал участие в антифашистской борьбе. С 1946 г. живет в Кракове, в настоящее время — член правления Краковского отделения Союза польских писателей.

Годы оккупации Польши стали одной из основных тем нескольких его романов: «Дорога в рай» («Droga do Edenu», 1960), «Кладбищенские гости» («Cmentarni goście», 1962), «Ангелы будут плакать» («Anioły płakać będą», 1965) и др.

Публикуя роман «Какаду» («Kakadu»), мы впервые знакомим советских читателей с творчеством Рышарда Клыся. Перевод романа выполнен по изданию 1965 года.

ЖОРЖ БРАССЕНС — GEORGES BRASSENS (род. в 1921 г.).

Популярный французский поэт и певец—автор и исполнитель множества песен.

Творчество Ж. Брассенса удостоено Большой премии поэзии Французской академии, а также отмечено Большой премией за лучшую грампластинку.

На русском языке стихи Ж. Брассенса публикуются впервые, они взяты из сборника избранных стихов поэта, вышедшего в известной серии «Поэты, современные сегодня» («Poètes d'aujourd'hui») в 1963 г.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1970 г. (№№ 1—12)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Альберти, Рафаэль — 1917-й (Стихи), № 4.

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», №№ 2—5.

Архипова, Л.— Просто Хуан Чакон, № 4.

Бейли, Уильям — Ветер рождает бурю (Повесть), № 4.

Блок, Жан-Ришар — Мысли француза о Ленине, № 4.

Васильева, И.— Вся жизнь—в борьбе, № 4.

Галас, Франтишек.— Стихи, № 4.

Гиленсон, Б.— Логика жизни, № 4.

Гиленсон, Б.— «Я выбираю путь Ленина», № 3.

Голик, И.— «Он дал нам жизнь...» (В. И. Ленин в немецкой литературе), № 2.

Голик, И.— Путь к Ленину, № 4.

Злобин, Г.— Лениниана продолжается, № 4.

ИЗ АРХИВА А. М. КОЛЛОНТАЙ (Дневники, письма, статьи 1915—1917 гг.), №№ 1—2.

Килко Уарак-ка — Встреча (Стихи), № 4.

Книпович, Е.— Читая Ленина, № 4.

Крлежа, Мирослав — «Лениниана», № 4.

Мамонов, А.— Японские поэты о Ленине, № 3.

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ, № 4.

Рутько, Арсений — С мыслью о Ленине, № 4.

Слуцкий, Борис — Встречи с Владимиром Ильичем Лениным, № 4.

Техада, Луис — Пылающее слово, № 4.

Те Хань — У Мавзолея Ленина (Стихи), № 4.

Фюрнберг, Луис — Вселенский гимн (Фрагмент поэмы), № 4.

Цветков, Ю.— Тысяча строк о Советской России, № 4.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Ас-Сибаи, Юсуф — Остров спасения (Рассказ), № 10.

Балаж, Бела — Родственники (Рассказ), № 3.

Бхарати, Дхармавир — Торговка Гулаки (Рассказ), № 10.

Бютор, Мишель — Изменение (Роман. Послесловие Т. Мотылевой), №№ 8—9.

Варас, Хосе Мигель — Рассказы, № 11.

Верissимо, Эрико—Пленник (Роман. Вступление Юрия Калугина), № 4.

Гарсиа Маркес, Габриэль — Сто лет одиночества (Роман. Послесловие В. Столбова), №№ 6—8.

Гордимер, Надин — Африканский фокусник (Рассказ), № 10.

Идрис, Сухейль — Простор (Рассказ), № 10.

Иллеш, Бела — Возвращение на родину (Рассказ), № 3.

Кайш, Хенрик — В свободу надо прыгнуть (Рассказ), № 5.

Кессель, Жозеф — Побег (Рассказ), № 4.

Кибера, Леонард — Общие интересы (Рассказ), № 10.

Клавель, Бернар — Плоды зимы (Роман), №№ 5—6.

Клысь, Рышард—«Какаду» (Роман. Послесловие С. Ларина), № 12.

Кортасар, Хулио — Две новеллы (Вступление М. Былинкиной), № 1.

Космач, Цирил — Баллада о грубе и облаке, №№ 2—3.

Ле Карре, Джон — В одном немецком городке (Роман. Послесловие Д. Краминова), №№ 1—3.

Лендьел, Йожеф — Голуби (Рассказ), № 3.

Макферсон, Джеймс Алан — Золотой берег (Рассказ), № 3.

Олдридж, Джеймс — Неотвоевавшиеся солдаты (Рассказ), № 6.

Охара, Томиэ — Ее звали о-Эн (Повесть. Предисловие И. Львовой), № 2.
Станев, Эмилиян — Легенда о Сибине, князе преславском (Послесловие Ефима Дороша), № 5.
Тимар, Матэ — Поправка к судьбе (Рассказ), № 3.
Фейфер, Джулиус — Убийство в Белом доме (Пьеса), № 11.
Фераун, Мулуд — Дни Кабилии (Главы из книги. Вступление В. Цоппи), № 4.
Фолкнер, Уильям и Камю, Альбер — Реквием по монахине (Пьеса. Послесловие П. Палиевского), № 9.
Хабиб, Асадулла — Биби Карбас (Рассказ), № 10.
Хемингуэй, Эрнест — Острова в океане (Роман. Вступление Г. Боровика), №№ 11—12.
Чапагай, Кришнапрасад — Кто виноват? (Рассказ), № 10.
Чжан Тянь-и — Записки из мира духов (Повесть. Послесловие Н. Федоренко), № 9.
Чивер, Джон — Буллет-Парк (Роман. Послесловие А. Мулярчика), №№ 7—8.
Шахани, Хосроу — Государственный мусор (Рассказ), № 10.
Шедд, Маргарет — Вечный свидетель (Рассказ), № 5.
Шойинка, Воле — Интерпретаторы (Роман. Предисловие Е. Гальпериной), № 10.
Шомоди Тот, Шандор — Как дела, молодой человек? (Повесть), № 7.
Эрдэнэ, Сэнгийн — Пожар (Рассказ), № 10.
Эркень, Иштван — Одноминутные новеллы, № 3.
Эркень, Иштван — Семья Тотов (Повесть), № 11.

СТИХИ

Ань Тхо — Северо-восточный ветер, № 10.
Аргези, Тудор — Из последних стихов (К 90-летию со дня рождения), № 7.
Бадано, Ариэль — Сын человечества, № 2.
Баччан, Хариваншрай — Что мне вспомнилось в эту ночь и др. стихи, № 10.
Бобровский, Иоганнес — Стихи разных лет. (Вступление Е. Мнацакановой), № 8.
Божилов, Божидар — Парадокс. Утро, № 2.
Бошо, Анри — Европа. Пилат, № 1.
Брассенс, Жорж — Стихи (Вступление Натальи Кончаловской), № 12.
Бриер, Жан — Письмо Ленину (Фрагменты поэмы), № 10.
Бркович, Еврем — Владимир Владимирович на площади Маяковского, № 11.
Всису, Муин — Стихи, № 2.
Василикос, Василис — Я видел, как распускаются розы..., № 7.
Вади, Михай — Стихи (Вступление Е. Малыхиной), № 12.
Вень И-до — Стихи. (Вступление Геннадия Ярославцева), № 10.
Вреттакос, Никифорос — Прощальное слово греческому солнцу, № 8.
Вукмирович, Мирьяна—Я под шапкой неба. Из книги дождя, № 11.
Гильен, Николас — Новые стихи (Из сборника «Зубчатое колесо»), № 1.
Де Гуараниа, Феликс — Ритмы Парагвая (Вступление Риммы Казаковой), № 3.
Дервиш, Махмуд — Три песни о дожде и др. стихи, № 10.
Деснос, Робер — Чума, № 1.
Димитрова, Блага — Вьетнам и др. стихи, № 2.
ДОРОГИ ВРЕМЕНИ. (Стихи югославских поэтов. Вступление А. Романенко), № 11.
Дюмен, Филипп — Карнавальное. 11 февраля 1941 г., № 1.
Зидаров, Николай — С Невою рядом, № 6.
Зигмунд, Роберт Джозеф — Глашатай войны, № 9.
Зобель, Франсис-Клод — Ливень. Песня. Трава, № 3.
Караангов, Петр — Сок диких ягод, № 9.
Карденаль, Эрнесто — Час 0 (Фрагменты поэмы. Вступление Юрия Дашкевича), № 3.
Кено, Рэмон — В защиту искусства поэзии и др. стихи (Вступление Самария Великовского), № 8.
Кокто, Жан — Барабанная дробь и др. стихи, № 1.
Коцбек, Эдвард — Зов, № 11.
Кутнер, Тоне — Жил-был человек когда-то... и др. стихи, № 11.
Ламар — Гора. Книгам, которые меня учили, № 2.
Лахбаби, Мухаммед Азиз — Стихи, № 5.
Лоуэлл, Роберт — Скрипка времени (Вступление Андрея Вознесенского), № 3.
Милошевич, Велимир — Царь-колокол, № 11.
Михалич, Славко — Поездка по Грузии, № 11.
Мицухару, Канэко — Стихи (Вступление А. Долина), № 11.
Мохиуддин, Махдум — Звезды и др. стихи, № 4.
Найду, Сароджини — Стихи (Вступление Е. Калинниковой), № 1.
Незвал, Витезслав — Ночной гость (Вступление Л. Будаговой), № 5.
НЕТ — ВОЙНЕ ВО ВЬЕТНАМЕ (Стихи американских поэтов), № 9.
Нету, Агуштинью — Мы. Февраль, № 10.
Нонг Куок Тян — Память. Записи, сделанные по дороге в Тэй-Бак, № 10.
Де Отеро, Блас — Героическая и скорбная и др. стихи, № 4.
Пикассо, Пабло — Десять стихотворений (Вступление Мориса Ваксмахера), № 3.
Пита Родригес, Феликс — Ленинский Октябрь, № 11.
Плавка, Андрей — Ветерок с востока, № 6.
Поллак, Феликс — Монолог героя, № 9.
Сек, Шериф Адраме — Черное перо, № 3.
Суан Миен — Письмо, не нашедшее адресата, № 10.
Те Хань — Стихи, № 1.
Тиуб, Шейх Шарль — Континент на экваторе, № 3.
Тодоров, Ангел — Баррикады, № 11.
Торн, Эвелин — Просто рассказ, № 9.
Тудэв, Лодонгийн — Стихи, № 10.
Тэуту, Николае — Remember, № 5.
Урошевич, Влада — Южная звезда, № 11.
Ферлингетти, Лоуренс — Стихи (Вступление А. Зверева), № 11.
Хридайя, Читтадхар — Не хочу быть богатым и др. стихи, № 6.

Хьюз, Лэнгстон — Гость на званом обеде— я и др. стихи, № 4.
Циммеринг, Макс — Площадь Ленина в Берлине, № 5.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Аль-Маарри, Абу-ль-аля — Стихи (Вступление Арсения Тарковского), № 10.
АМАДО НЕРВО (К столетию со дня рождения. Вступление И. Чежеговой), № 9.
Музиль, Роберт — Тонка (Повесть. Вступление Ю. Архипова), № 3.
Тагор, Рабиндранат — Крупицы, № 10.
ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА (Вступление Н. Томашевского), № 11.
Чапек, Карел — Жизнь и творчество композитора Фолтына (Роман. Вступление И. Бернштейн), № 1.
Элиот, Т. С.— Стихи (Вступление Р. Самарина), № 12.

КРИТИКА

Гальперина, Е.—Величие и трудности деколонизации (Франс Фанон. Человек. Идеи. Влияние), № 10.
Днепров, В.— Революционная мораль Брехта, № 9.
Затонский, Д.— Зеркала искусств (Ленинская теория отражения и некоторые аспекты современного литературного процесса), № 6.
Зверев, А.— «К хаосу или к сообществу?» («Негритянская революция» и современная литература США), № 3.
Ивашева, В.— Современный английский философский роман, № 5.
Ильинская, С.— «...Поднять над Элладою солнце!» (Греческая литература Сопротивления), № 2.
Кёпеци, Бела — В атмосфере споров и исканий (Заметки о венгерской литературе последнего десятилетия), № 3.
Ки-Зербо, Ж.— Состояние и перспективы новой африканской культуры. (Вступление Л. Куббеля), № 10.
Книпович, Е.—Томас Манн о фашизме (Разные концепции «Доктора Фаустуса»), № 12.
Мотылева, Т.— Ленинская мысль в творчестве Бехера, № 7.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ (Беседа с Тодором Павловым), № 11.
Тертерян, И.— «Где искать «устойчивые ценности»? (Заметки об испанском «почвенничестве»), № 12.
Тертерян, И.— Через прошлое — к будущему (Современная испанская проза о национально-революционной войне), № 1.
Фрадкин, И.— «Вечно вчерашние» — сегодня (Заметки о неофашистской литературе ФРГ), № 5.
Фридлендер, Г.— К. Маркс и мировая литература (Новые материалы), № 1.
Эйдлин, Л.— Идеи и факты (Несколько вопросов по поводу идеи китайского Возрождения), № 8.

Овчаренко, А.— Еще о социалистической литературе, о теоретических основах социалистического реализма (Ответ проф. Эрнесту Дж. Симмонсу), № 7.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

АННА ЗЕГЕРС О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ, № 11.
Фаиз, Ахмад Фаиз — Роль художника в развивающейся стране, № 10.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Обрегон Моралес, Роберто — Человек выходит на первый план (Вступление Юрия Дашкевича), № 6.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Доминго, Хосе — Книги и цифры (Письмо из Мадрида), № 11.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Алигер, Маргарита—В тени деревьев, № 9.
Алимжанов, Ануар — «Он вместе с нами», № 10.
Атарова, К.— Ничем себя не теша, № 5.
Баруздин, Сергей — Мудрость и нежность, № 10.
Бочкарева, И.— «Алым встает над землею рассвет», № 10.
Бочкарева, И.— Зимой сорок пятого..., № 9.
Гинзбург, Лев — Стихи болгарки, № 1.
Гончарова, Т.— Снова в Испании, № 8.
Горбунов, А.— Новая поэтическая серия, № 5.
Гордышевская, М.— Свет человечности, № 7.
Гусейнов, Чингиз — Солнце согреет тело планеты..., № 10.
Долматовский, Евгений — Говорит Африка, № 3.
Долматовский, Евгений — «Правда Ленина, ты для всех», № 10.
Зверев, А.— De profundis Курта Воннегута, № 8.
Кардин, В.— Время горя и надежды, № 3.
Котенко, Николай — «Иная, высшая повинность», № 6.
Котенко, Николай — Слаженный ансамбль, № 10.
Кулаковская-Ершова, И.— Осмысляя далекое прошлое, № 10.
Кулиев, Кайсын — С родиной в сердце, № 10.
Лакшин, В.— Увеличительное стекло зла, № 12.
Левик, Вильгельм — Поэты современной Италии, № 2.

Левин, Григорий — Писать стихи по-французски, № 8.
Левченко, Ирина — Не просто жить..., № 2.
Лисевич, И.— Китайская лирика 20—30-х годов, № 2.
Львов-Анохин, Б.— Мужество и горечь Ануя, № 8.
М. С.— Справедливое царство Рамы, № 10.
Нагибин, Юрий — Путем зерна, № 10.
Петриковская, А.— Рождение писателя, № 1.
Потапова, Вера — Наслаждение трудом поэтическим, № 10.
Рабинович, И.— В бою нет старости, № 5.
Сеф, Роман — Не все кувырком, № 1.
Слуцкий, Борис — Личная антология Михаила Зенкевича, № 11.
Степанов, Л.— Поэты мавританской Испании, № 7.
Суровцев, Ю.— Доброе знакомство, № 3.
Тыянова, Инна — Исторический роман о современности, № 9.
Харитоиов, М.— Нарушенный покой, № 3.
Харитонов, М.— Трудная судьба «Железного Густава», № 12.
Харитонов, М.— Читая «Игру в бисер», № 6.
Шерлаимова, С.— XX век — век революции, № 11.
Ярославцев, Геннадий — Поэт традиции и новаторства, № 11.

Издано за рубежом

Анджапаридзе, Г.— Во грехе, № 7.
Анджапаридзе, Г.— Молчание монаха Доусона, № 12.
Анджапаридзе, Г.— Трудно быть капиталистом, № 1.
Балашова, Т.— Рвется нить Ариадны, № 3.
Бернштейн, И.— Фразы и штампы, № 6.
Бочарникова, Е.— Поэзия, материнство, революция, № 3.
Вакс махер, Морис — Всю жизнь он шел в Гёттервальд, № 8.
Воронкина, Т.— Четверть века в памяти писателя, № 9.
Дейч, Александр — Оратория о судьбе поэта, № 12.
Долгошева, Л.— Миниатюры Василе Ребряну, № 6.
Зонина, Л.— Перпетуум-мобиле, № 5.
Книпович, Е.— Взглянуть в лицо, № 7.
Книпович, Е.— Новый роман Гюнтера Грасса, № 3.
Книпович, Е.— «Тупой долг» и «дикая вольность», № 1.
Кожевников, Ю.— Поэт неутомимого сердца, № 5.
Курбатова, Елена — Родная земля, № 2.
Макаренко, В.— Последний роман Амадо В. Эрнандеса, № 8.
Млечина, И.— «Психограмма» скучного человека, № 2.
Наркирьер, Ф.— Как разгораются огни гнева, № 11.
Никулин, Н.— Дебют вьетнамского драматурга, № 3.
Опульский, А.— Они принадлежат народу, № 9.
Прожогина, С.— Гнев и надежды литературы Марокко, № 10.
Проскурникова, Т.— Несостоявшееся бегство, № 7.
Радволина, Ида — Таков Данило, № 11.
Ратгауз, Г.— Поэт Эрих Арендт, № 3.
Сторк, Свен — Новая книга Ивара Лу-Юхансона, № 2.
Тертерян, И.— Всеобщая распродажа и бунт молодежи, № 6.
Шерлаимова, С.— Традиции чешской марксистской критики, № 5.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Араб-оглы, Э.— Панацея или бедствие?, № 3.
Бейлис, В.— От зачарованности прошлым к современности, № 1.
Березкина, М.— Испанская проза=«искалеченная жизнью тридцатилетняя женщина», № 2.
Божович, В.— «Новый язык» и новое содержание, № 11.
Вавилов, В.— О литературе и о себе, № 10.
Ванникова, Н.— В поисках собственного лица, № 7.
Дашкевич, Юрий — Вопреки заклинаниям дона Хуана Лискано, № 11.
Долгошева, Л.— В спорах рождается..., № 9.
Дорошевич, А.— Авангард, эволюция и немного диалектики, № 1.
Злобин, Г.— «Рай рядом», или История одного авангардного театра, № 5.
Карельский, А.— Без прикрас, № 6.
Козьяков, В.— Эфир и национальная культура, № 7.
Пиотровская, А.— «Все меньше экзотики, все больше проблем», № 8.
Проскурникова, Т.—Французская культура в американском зеркале, № 3.
Салганик, М.— «Будущее в нас болит», № 8.
Урнов, Д.— Какова она, литературная жизнь?, № 9.
Ягодовский, Л.— Большой и откровенный разговор, № 5.

ПУБЛИЦИСТИКА

Димитрова, Блага — Страшный суд (Отрывки из книги), № 10.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ О ПОДВИГЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА (К 25-летию победы над фашистской Германией), № 5.
Караганов, А.— Искусство, бизнес, политика, № 12.
Кондрашов, С.— Яростная Калифорния (Из американских впечатлений), №№ 6—7.
Кон, И.— Секс, общество, культура, № 1.
Макгрейди, Майк — Голубь во Вьетнаме, № 9.
Райан, У. и Саммерлин, С.—Облако над Китаем, № 11.
Рунге, Эрика — Ботропские показания, № 5.
Хеновес, Сантьяго — Человек — война или мир?, № 8.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Зельбман, Фриц — Задача, которая стоит перед нами, № 5.
Кёпеци, Бела — Этапы развития социалистического реализма, № 2.
Колевский, Васил — Ленин, социализм, литература, № 8.
ЛИГЕ ЛЕВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ КИТАЯ 40 лет, № 5.
Пархомовская, С.— Разговор друзей, № 8.
Топер, П.— На писательской встрече в Берлине, № 5.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

ТРИ ПИСЬМА ДЖОНА РИДА, № 11.

ОЧЕРКИ

Дарваш, Йожеф — Рождение книги, № 3.

ТЕАТР

Сиркар, Бадул — Новый бенгальский театр, № 10.

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Ганиева, Зиба — «Отец языка урду» (К 100-летию со дня рождения Абдула Хака), № 10.
Сахалтуев, А.— Лев Толстой читает Чарльза Диккенса, № 6.

НАШИ ГОСТИ

Богемский, Г.— Что дальше? Неужели капитуляция? (Джузеппе Д'Агата в «Иностранной литературе»), № 1.
Вагапова, Н.— Эстетическая позиция писателя — его творчество (Цирил Космач и Гане Тодоровский в «Иностранной литературе»). № 9.
Дашкевич, Юрий — Алехо Карпентьер: романист и его мир, № 7.
Лихачева, Л.— Главная тема — судьба родины (Василис Василикос в редакции «Иностранной литературы»), № 3.
Малыхина, Е.— Главное — жизнь, человек (Венгерские писатели в «Иностранной литературе»), № 5.
Пархомовская, С.— Писатели Словакии (Андрей Плавка, Ян Костра, Эмиль Болеслав Лукач, Винцент Шабик, Ян Ференчик, Винцент Шикула, Гелена Крижанова), № 2.
Салганик, М.— Обрести собственный голос, № 10.
Симонян, Л.— Еще одна встреча (Г. Бёль в «Иностранной литературе»), № 8.
Фиш, Радий — Времена меняются... (Орхан Кемаль в «Иностранной литературе»), № 6.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Былинкина, М.— Тревога за людей, гордость за людей (Аргентинский художник Хуан Карлос Кастаньино), № 8.
Виц, Игнацы — Традиция и поиск, № 1.
ВЬЕТНАМСКИЙ ПЛАКАТ (Цветная вклейка), № 3.
ИЗ РАБОТ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ГДР (Цветная вклейка), № 2.
Еникеева, Т.— Творчество Инжи Эфлатон, № 11.
Матусовская, Е.— Мир Уайеса, № 12.
ПЛАКАТЫ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (Цветная вклейка), № 4.
Потабенко, С.— Из индийской палитры, № 11.
Пышновская, З.— Вернер Клемке, № 9.
Уразова, Людмила — Документ времени, № 6.
Федоренко, Николай Т.— Японские записи (Из цикла «Традиции и творчество»), № 10.
ФОТОДОКУМЕНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (Цветная вклейка), № 5.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 2, 3, 12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1—3, 5—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

Сдано в производство 1/X-70 г. А11234. Подписано к печати 20/XI-70 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 27,76. Зак. 3386.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394